

И О В Ы И  
М И Р

И О В Ы И  
М И Р

1964

1

1964

# Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 1

Январь, 1964 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. КУЗНЕЦОВ — У себя дома, повесть	3
С. МАРШАК — Лирические эпиграммы	98
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — Пряжа и ткачиха; Вьюга в Подмоскowie, стихи	100
ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Двадцать два года	102
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Тайна осенней листвы; Кленовые листья; Дождик; Неугомонное сердце; Последние розы; Огни моего города; Что я ненавижу и что я люблю, стихи. С украинского. Авторизованный перевод Дмитрия Седых	119
И. ШМЕЛЕВ — Из прошлого	124
ДЖОН MORRISON — Австралийские рассказы: Мы мужчины...; Бунт Рори О'Мэхони. Перевела с английского И. Архангельская	144
УМБЕРТО САБА — Стихи разных лет. Перевел с итальянского Евгений Солонович	164

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — Целинная дорога	166
---------------------------------	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Я. ТАВРОВ — Год минувший и год наступающий	186
Е. ГНЕДИН — Судьба европейского наследства	202

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН — Иван Денисович, его друзья и недруги	223
--------------------------------------------------	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	246
Л. Лебедева. Люди на «Воейкове». — Вл. Солоухин. Годы и судьбы. — Ф. Светов. «Просто» или «не просто» детектив? — Е. Алексанян. Книга о мастере прозы. — Н. Мацуев. Новый библиографический указатель. — А. Снявский. «Пойдем со мной...»	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	264
<b>Б. Яковлев.</b> Живые ленинские черты.— <b>А. Китайгородский.</b> Пути развития науки.— <b>В. Писарев.</b> Мужество ученого.— <b>А. Турков.</b> Под присмотром «славных парней».— <b>Ю. Геккер.</b> Встречи с Югославией.— <b>И. Кравченко.</b> Книга о Тейаре де Шарден.	
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

А. КУЗНЕЦОВ  
★  
У СЕБЯ ДОМА

Повесть

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1

**В** центре Пахомова — большой, беспорядочно разбросанной деревни — стоял длинный белый дом. Он был недавно выстроен, и вокруг еще высились кучи строительного мусора с протоптанными тропинками.

В белом доме помещалось правление колхоза.

Галя вошла в темный и длинный коридор правления. Большинство дверей было распахнуто, в комнатах толпились люди, сидели за залитыми чернилами столами, сидели на подоконниках, слышалось щелканье счетов.

На одной двери имелась табличка «Председатель». Эта дверь тоже была распахнута, в комнате сидело особенно много людей, тоже щелкали на счетах и, перебивая друг друга, говорили крайне непонятно:

— Кукурузы триста... корнеплодов двести... Две тысячи семнадцать на два...

— Ты землю клади. Сколько у нас многолетних?

— Мужик раньше сеял девять пудов, а два центнера — понятия не имел.

— У тебя аппетит неправильный!

— Потише, потише, у нас чистого пара меньше будет.

— Где перспективный план? Тьфу, черт, истертый какой!

— Его же изменяли два раза.

— Кто изменял?

— Да кто? Ездили в управление.

— Вику на сено лучше бы. А семенники? Сколько семенников? Нет, несерьезные вы люди!

В несерьезности упрекал собравшихся тут людей большой плотный мужчина с хозяйскими манерами, сидевший в центре за столом.

У него была буйная, растрепанная шевелюра, широкое и рыхлое лицо, изрытое темными оспинами. Галя заключила, что это председатель.

Переступив порог, она заробела так, что готова была выйти обратно. Но люди сидели, курили, кричали, разворачивали истрепанные бумаги, выходили, толкая Галю и не обращая на нее внимания.

Она все стояла у двери, пряча за спину чемодан. Председатель мельком посмотрел на нее невидящим взглядом и опять уткнулся в бумаги.

Очевидно, здесь дела решались именно так: входили все, кому не лень, перекикивали других и, добившись своего, уходили. Пришел

тракторист, подписал бумагу и ушел; пришла баба, попросила лошадь и ушла.

В кабинете имелся продавленный диван. Некоторые люди забредали просто посидеть и послушать — покурив на диване, они уходили.

Галя устала. Она осторожно пробралась к дивану, села. На нее решительно никто не смотрел; люди продолжали кричать:

— Всхожесть была пятнадцать процентов!

— Я вас спрашиваю про однолетние травы!

— Семенники! Семенники!

— Черт его знает! Комбайны, тракторы, сажалки, копалки, разные вырывалки — а урожайность...

На диване было тепло. В углу стоял пук кукурузы вышиной до потолка — стоял, очевидно, не первый год, так как листья высохли и рассыпались от прикосновения в пыль.

— Ты что здесь? Ну? А?

Когда Галя открыла наконец глаза, в комнате людей не было. Перед ней, заслоня свет, стоял огромный сердитый председатель.

Галя вскочила.

— Я приехала...— сказала она.

— Почему?

Она торопливо полезла в карман и протянула заявление с просьбой принять ее в колхоз. Председатель схватил бумажку, словно только этого ему и надо было, отвернулся и пошел к окну.

Только тут она обнаружила, что он не громадный, а, наоборот, ниже ее на полголовы. Просто он был широк необычайно, приземист, как баобаб, у него была слишком большая голова и слишком короткие ноги.

Держа бумажку большими, корявыми, в рыжих волосах пальцами, он внимательно прочел и перечел ее.

— Что это в деревню принесло? — подозрительно и недружелюбно спросил он.— Женихов тут нет, сами нуждаемся.

— Я не за этим...— вспыхнула Галя.

— А за чем?

— Ни за чем.

— М-да. Стажишко заработать? Или чего натворила?

— Ничего не творила. Я жила здесь когда-то.

— Чего?

— Жила здесь.

— Ах, вот как! — В глазах председателя промелькнуло изумление.— Возвращаешься? А родные-то кто? Они здесь?

— Нет.

— А где мать-отец?

— Нет.

— Гм... Ну, иди пока к Марье Михайловне, пусть направит тебя в птичник, а там посмотрю.

— Видите ли, я хочу к коровам...

— На фермах у нас мест нет.

— Может быть, одно найдется?

— Я говорю по-русски: мест нет. Зимой надо приходиться. Летом вы все мудрые.

— Мы жили в Рудневе,— волнуясь, сказала Галя; она почувствовала себя беспомощной, сейчас по воле этого неприятного твердолобого человека мог в одну минуту рухнуть весь ее план.— Мы жили в Рудневе. Мама была дояркой, я бегала в коровник, училась доить. Это единственное, что я умею, и я вас прошу...

— А где теперь мать?

— Умерла.

— Не помню такой фамилии,— сказал он, посмотрев в заявление.— Макарова... Какая Макарова?

— Мы уехали давно.

— Куда уехали? Почему?

— Ну, туда, в город... Было трудное время,— попыталась объяснить Галя.— Мать работала с зари до зари, а на трудодни почти ничего не выдавали, коровник был разрушен, холод зимой, у нее начался ревматизм и отнялась рука...

— Знаем, знаем,— насмешливо сказал председатель,— просто драпанули из колхоза, говори. Понятно. Теперь, значит, помыкались по свету — и назад. Пронюхали, что теплее? Так у нас не теплее. Колхоз у нас отсталый. Так везде разотсталым и прописан. Поняла?

— Это неважно.

— К Марье Михайловне — на птицеферму,— четко сказал он, давая понять, что разговор окончен, и с удовлетворением следователя, который вывел преступника на чистую воду.

Гале захотелось ударить его в лицо. Но она продолжала настаивать, не замечая, что тон у нее уже был умоляющим:

— Я вас очень прошу, я вас прошу... Это единственное, что я умею делать. Моя мать была хорошей дояркой, вы несправедливы, у нее отнялась рука. Мы жили в Рудневе. Коровник был на холме.

— Там сейчас другой коровник,— сказал председатель.

— Вот... если вы не верите...— Не помня себя от волнения и страха, что ей откажут, Галя протянула замусоленную синюю книжицу с остатками позолоты на вытисненных буквах:

### ЛУЧШАЯ ДОЯРКА ОБЛАСТИ

— Что? — удивился председатель.— Это твоя мать? А? погоди, я, кажется, что-то припоминаю...— Он повертел волосатыми пальцами книжицу-диплом.— Гм... Что мне с тобой делать? К птицам не пойдешь?

— Нет. В коровник.

— Небось образование есть?

— Среднее.

— А почему в городе не захотела остаться?

— Ничего я не хочу, пустите меня в Руднево на ферму.

Председатель протянул руку, достал из-за шкафа суковатую палку и гулко постучал ею в стену.

В комнату заглянул какой-то искореженный, сгорбленный человек, с лихорадочно блестящими глазами, похожий на птицу. Председатель посмотрел на него не то брезгливо, не то злобно.

— Алексей Митрич, мне надо два слова...

— Говори.

— Такое дело — лучше бы с глазу на глаз.

— Какое дело?

— С глазу бы на глаз.

Председатель шумно встал, прошел к двери и демонстративно ее закрыл.

— Ну? А?

Человек-птица мялся.

— Говори смело, это свой человек. Ну?

— Зерно уворовали, Алексей Митрич! — выпалил человек.

— Кто?

— Шоферы.— Человек-птица говорил быстро, полушепотом, захлебываясь:— Гляжу, подъехали к дому-то, пять мешков скинули — и ходу. А в мешках пшеница-то. Мешочки-то в погреб и поволокли.

— В погреб?

— Так точно, в погреб.

— Отсыреет ведь?

— Ничего, им толечко к ночи. Дом я запомнил.

— Запомнил?

— Ага.

Председатель снял трубку телефона.

— Ежели поспеть, мы их накроем. Они в погребе лежат, до вечера не вынесут, уж я-то запомнил,— воодушевляясь, говорил человек.

— Горбачев? — закричал председатель.— Воробьев говорит. Тут такое дело, шоферы сперли пять мешков пшеницы и, говорят, положили в погреб. Да, дом известен... Так ты подошли милиционеров, а наш человек покажет... Какой человек? Да, он...

— Я только издали, издали! — закричал посетитель.

— Да, слушай, скажи им, чтобы шли сами, прямо в погреб, а он покажет издали... Он боится... Ладно, давай «газик». Только высадите его подальше, чтобы никто не видел... Вот,— сказал он, положив трубку,— придет газик, закрытый, ты сядешь на заднее сиденье и покажешь дом. А они тебя высадят подальше, понял?

Человек радостно затрепыхался:

— Я уж с дорогой душой покажу, только бы не успели вынести!

— Они что, враги твои?

— Не... так просто видел. Так я пойду?

— Иди, иди, они сейчас подъедут,— как-то устало сказал председатель, снова взяв палку и постучал в стену.

Человек, сгибаясь, вышел и только за дверью надел шапку. Председатель, не глядя на Гаю, барабанил по настольному стеклу волосатыми пальцами.

На этот раз сигнализация сработала, хлопнула соседняя дверь, и в кабинет вошел — не вошел, а влетел молодой улыбающийся парень. Лицо у него было здоровое, румяное, и характерность ему придавал крупный подбородок, разделенный надвое, а зеленоватые глаза блестели живо, умно и, казалось, чуть насмешливо, так что, когда он говорил, трудно было определить, сколько в его словах серьезности, а сколько шутки.

— Звали?

— Где ты был?

— В Даниловке, сеял панику. Сдали наконец мясо. Трактор стал, и резину просят.

— Резину! Резину!!! — вдруг истерически взорвался председатель.— Я сегодня в землю кланялся, в область трезвонил: дайте, дайте! Поймите, из двадцати машин шесть на ходу, остальные разутые стоят. На лысах скатах ходим, черт знает что. Попробуйте так прожить! Попробуйте вылезть из отсталых!

Выкрикивая это, он обращался больше к Гале, чем к вошедшему, но Галя не совсем понимала, а он думал, что такие примитивные вещи все должны понимать и — посочувствовать ему. Галя на всякий случай кивнула, он сразу успокоился и взял парня за карман.

— Вот это Волков, наш парторг. А это, Волков, дочка знаменитой доярки, лучшей доярки области, которую мы с тобой ни хрена не помним. А она за всю жизнь только и получила, что вот эту книжицу, а когда отнялась рука, никакой гад не поинтересовался, чем ей жить, и она бежала из деревни в город. Вот как!

Галя слушала, не веря своим ушам.

— Это было в Рудневе, в старом коровнике на холме, десять лет назад, когда ты под стол пешком ходил, впрочем.

— Девять лет назад я был в армии, допустим,— улыбаясь, сказал парень, и Галя с удивлением обнаружила, что он не такой уж молодой, как казалось с первого взгляда,— просто уж очень молодо он держался.

— Разве? Ну, тогда это я учился ходить после госпиталя, понял? — сказал председатель опять-таки не столько для Волкова, которому наверняка было это известно, сколько рисуясь перед девушкой.— Ну, вот, эта девочка, ее зовут Галя Макарова, просится на Рудневскую ферму. Как там эта горлопанка Данилова?

— Денисова.

— Заявление у нас лежит?

— Она еще второе написала.

— Отпустим?

— Как хотите. Я уж говорил, что с нее пользы, как с козла молока,— весело сказал парторг.

— Отпустим. Иди, Галюшка, к Марье Михайловне, пусть пишет тебя на Рудневскую ферму. Тебе жить-то есть где?

— Нет.

— И родственников нет?

— Нет.

— Ладно, как-нибудь устроим,— пообещал председатель.

Галя поблагодарила и вышла.

## 2

Прежде чем двинуться по нескончаемой пыльной дороге, Галя остановилась у колодца, прикованным к цепи ведром добыла воды и выпила прямо из ведра; вода ломила зубы.

Она почувствовала себя спокойнее и увереннее. Солнце грело ласково, горячо.

После всего того усиленного городского ритма, в котором она пребывала много лет, тишина поля, душные запахи хлебов и давно позабытый жаворонок заставили ее сердце биться учащенно, и она, как бывает в таких случаях, вдруг не столько подумала, сколько ощутила всем существом, как земля еще просторна, как много в ней здорового, о чем люди забывают за суетой.

Она остановилась, сняла босоножки, положила их в свой пустой чемодан и пошла босиком по теплой и мягкой пыли, шла не спеша, задумавшись, и ей хотелось долго идти.

Ей хотелось дольше быть одной, и когда сзади послышался мотор, она не обернулась, а только сошла на обочину.

Автомобиль, догнав ее, остановился. Это был ярко-красного цвета «москвич» на высококом шасси. С переднего сиденья иронически смотрели шофер и парторг Волков.

— Ненормальная,— с какой-то жалостью сказал Волков.— До Руднева семнадцать километров. Кому было сказано ждать машину за утками?

Галя молчала.

— Садись,— сказал он.— Я решил поехать, не был я там две недели.

Галя достала босоножки, надела их и тогда села в машину.

— Меня зовут Сергеем Сергеевичем,— сказал Волков.— А это Степка, а это наш «москвич» на длинных ногах. Мы ездим целыми днями, и нам кажется, что мы страшно занятые люди. С чего вы, Галя, идете в доярки?



— Так просто...— пробормотала Галя.— Я кончила школу, работала в гардеробе... И вот... просто...

— Ну, ну?

— Все,— с раздражением сказала Галя.

Она прошла бы трижды по семнадцати километров, лишь бы ни о чем не говорить. А Волков продолжал:

— Очень занятые, вроде нас со Степкой, люди подсчитали, что при немеханизированном труде руки доярки делают сто сжатий в минуту, то есть десять тысяч сжатий при дойке дюжины коров. А вы об этом думали когда-нибудь?

— Я умею доить, я знаю.

— Может быть, вы думали, что у нас электродойка, «елочки», карусельные доильные залы и прочая наука и техника, о которой пишут в газетах? Тогда запомните, что в Рудневе доят так, как доили при скифах. Десять тысяч сжатий за дойку, тридцать тысяч за день. В воскресенье у нас показывали киножурнал, в котором улыбающийся дядя лечил грязями руки улыбающейся доярке. Бабы смеялись и сказали: лучше бы дали ей доильный аппарат.

— А правда,— сказал Степка,— чего этих аппаратов не хватает?

— Сверни-ка на Лужки,— сказал вместо ответа Волков,— что-то там работа идет — дым столбом.

Степка ухарски развернул машину, так что из-под колес вырвался целый взрыв пыли, «москвич» рванулся прямо по траве, по едва приметной колее, протрался через заросли кустов и, как вкопанный, остановился.

В тени под кустами, постелив пиджак, сладко спал длинный, загорелый до красноты мужчина в выгоревшей рубашке. Другой мужчина лениво строгал ножиком палку.

Приглядевшись, Галя поняла, что он не просто строгал, а делал свисток. Она умела делать свистульки. Нужно было вырезать прутик, постучать по коре колодкой ножа, чтобы кора отстала, снять ее, сделать в древесине углубление, а в коре — прорезь и надеть кору обратно.

— Ну, как? — спросил Волков, поздоровавшись.

Спящий человек проснулся, вскинулся и сел, разморенный и взъерошенный.

— Ничего...— лениво ответил тот, который делал свисток.

— Много скосили?

— По возможности.

— Не перестояла трава?

— Не, ничего...

— А где же косилка твоя?

Мужчина удивленно огляделся, привстал и, успокоенный, сел.

— В балочке вон... пасется. Жарко.

Он надел кору, дунул в свисток, но свиста не получилось.

— Дырка большая,— заметил Волков.

— Не-е, ничего...

— Большая, говорю.

— Малость только подрезать.

Мужчина снял кору и снова начал строгать. Волков с интересом следил за работой. Другой, загорелый, так и сидел, не шевелясь, какой-то отрешенный и безразличный ко всему.

Мастер свистка попробовал подуть — свиста опять не вышло.

— Он высохнет, тогда засвистит,— успокоил шофер Степка.

— Не-е...— пробормотал мужчина, упрямо принимаясь строгать.

Гале уже надоело стоять и смотреть на дурака.

Было ясно, что дыра велика и теперь уже не поправишь, надо выбрасывать и начинать сначала, и она не понимала, почему он упрямо строгаёт, не понимала также Волкова и его интереса.

— Дай,— сказал Волков.

Он взял нож, начисто отмахнул неудавшийся свисток и на следующем куске прутика сделал надрезы, постучал колодкой, снял кору, сделал углубление, надел кору обратно.

Даже сонный человек проявил какие-то признаки жизни и мрачно пристально стал следить за всеми этими операциями.

Волков подул — и свисток засвистел. Не очень приятно, но довольно пронзительно. Он еще раз с торжеством посвистал и передал свистульку незадачливому мастеру. Тот с уважением принялся изучать работу.

— Прорезь вот какую, не больше, видал? — объяснял Волков.

— Ага.

— Ну, ладно, трудитесь, мы поехали.

— Далече?

— В Руднево вот новую доярку везем.

— А... — озадаченно сказал человек.

— Бывайте.

Волков, шофер и Галя пошли обратно, и пока они добрались до машины, завели мотор и выехали на дорогу, Галя недоумевала.

Проехав метров двести, Волков попросил остановиться. Он выглянул. По лугу быстро двигались две косилки, на которых сидели те двое, и даже издали было видно, что они полны решимости выполнить и пере- выполнить свои задания.

— От дети,— весело сказал шофер.

— В смысле сукины, конечно,— неожиданно зло сказал Волков.

— Ну, что жара — то правда.

— У них всегда жара или дождь. А свистки должен уметь делать всякий разумный человек,— строго сказал Волков, оборачиваясь к Гале; в глазах его уже была едва заметная ирония.— Когда он высыхает, внутрь бросается вишневая косточка, и получается свисток милиционерский. Если они правы, что жара, то, может, и мы имеем право искупаться? Хотите?

— Нет,— сказала Галя.

— Я хочу! — радостно сказал Степка.

— Тогда вы, может быть, позвольте нам? — попросил Волков.

— Пожалуйста,— пробормотала Галя, все более недоумевающая.

«Москвич» подпрыгнул, словно от радости, свернул в траву и помчался, качаясь и ныряя, куда-то прямо на луга. Вдруг радиатор задрался в небо, и машина остановилась.

Прямо под колесами был небольшой обрыв, а под ним — круглое темно-коричневое озерко. Не было на нем ни камыша, ни осоки, ни кувшинок, только густая трава космами свешивалась с берегов прямо в воду — в совершенно гладкую, темную и таинственную воду.

С берега метнулось что-то желтое, и не успела Галя ахнуть, как взлетели брызги и в желтоватой воде, как торпеда, пошло человеческое тело.

Волков вынырнул далеко от берега, двумя руками пригладил волосы и сказал:

— Господи боже ты мой, купайтесь же!

Он нырнул и вынырнул еще дальше и оттуда крикнул:

— Наверху теплая, как чай, а внизу — лед. Спуститься можно вот там.

Степка снял наконец ботинки и в каких-то несуразно огромных трусах, ежась и опасаясь, принялся задом спускаться с обрывчика, удерживаясь за травяные космы. Он был худ до синевы, щуплый и нескладный. Он сорвался, завизжал, отчаянно забарахтался, взмутил дно у берега, и мать пошла вокруг него клубами. Он барахтался в ней, икал от удовольствия, безгранично счастливый, и делал Гале страшные глаза.

Она сняла босоножки, сползла по траве к воде и достала воду ногами. Вода была действительно теплая, как чай. По озеру шли круги и клубы мути. Душно пахла трава, стрекотали кузнечики, жгло солнце с разморенного неба.

— Тут никто не достает дна! — восторженно сказал Степка, высовывая из воды голову.

— Это у нас называется Провалом. Это было сто лет назад, — сказал Волков, фыркая где-то у противоположного берега. — Провалилась земля, и стало озеро. Дна не достают не потому, что глубоко, а потому, что холодно и страшно.

— Метров двадцать будет! — возразил Степка.

— Нет, конечно, хотя и не меньше семи. В войну немцы сбросили сюда бочки с солидолом, а в сорок шестом один пацан нырнул и достал.

— Я слышал, — сказала Степка, — да треп это.

— Нет, не треп, я сам это видел.

— Кто же он?

— Местный, я его знал.

— Как же он достал?

— Набрасывал петлю, и люди тащили. Раз тридцать нырял.

— Чудно что-то... — не поверил Степка. — Не знал я таких ныряльщиков. Уж не вы ли сами это были?

Волков не слушал, он плавал, как дельфин, сверкая спиной и распространяя беспорядочно волны, которые достигали ног Гали. Он был счастливый, как мальчишка, и такой он понравился Гале. И Степка понравился. Ей захотелось, чтобы они купались долго, и так сидеть в густой траве с опущенными в воду ногами, и заснуть, не заснуть, а забыть, а потом проснуться — и все уже будет иное.

Она закрыла глаза и действительно забылась, но только на одну минуту, а когда открыла их, Волков уже был одет, а Степка зашнуровывал ботинки. Они говорили:

— Хорошего понемножку, белки и свистки — в другой раз.

— Ждем через Клин?

— Нет, через Дубки, срежем километров пять, а?

— Мостик-то разобран...

— Неужели мы не форсируем какой-то дрянной ручей?

— Форсировать можно...

— Тогда по коням.

Они поехали прямо через луг, петляли, объезжая болота, прыгали, проваливались, это была какая-то бесшабашная фантастическая поездка. Потом они вырвались на глухой проселок, по которому, видно, давно никто не ездил, и понеслись с бешеной скоростью.

По дороге шли какие-то люди, они принялись махать и делать тревожные знаки: мол, не едите туда, там не проедете: нет дороги. И действительно, дороги не было. Была балка с глубоким и быстрым ручьем, над которым свесились остатки провалившегося моста.

Но Степка провел машину на полном ходу, только брызги полетели, а потом взял такой крутой подъем, что, казалось, машина лезет на стенку, и Волков похвалил его и похвалил «москвича» на длинных ногах.

Село Руднево располагалось на берегу того же ручья. С одной стороны был лиственный лес, с другой — бесконечное поле. Село потонуло в садах, только выглядывали бурые и серые кровли.

Долина ручья была широка и полого, перегорожена плотинами, отчего образовались пруды. За прудами на той стороне виднелись в зарослях развалины старинного барского дома и ослепительно белая колокольня с растущим на куполе деревцом.

Было красиво, может быть, слишком. У Гали заколотилось сердце — она узнавала и не узнавала родные места, и на миг она почувствовала счастье оттого, что она здесь.

Контора была заперта, спросить не у кого: до сих пор им не встретилась ни одна живая душа, словно село вымерло.

Они пошли по улице. На траве, на лопухах и подорожниках лежал серый слой горячей пыли. Под заборами куры лежали в пыли, открыв пересохшие клювы. За плетнями в садах повисли на ветках гроздь тугих зеленых яблок и краснели, как брызги крови, вишни.

Вдруг послышался какой-то странный, ни на что не похожий шум. Было в нем и скрипение, и рокот моторов, и тонкие выкрики, и все это сливалось в одно непрерывное «а-ла-ла-ла».

Было похоже, будто массы людей взволнованно о чем-то кричат, и Галя холодея и недоумевающе прислушалась, а Волков и Степка не проявили ни малейшего беспокойства, шли себе, пробрались сквозь стену высоких кустов, и тут перед ними открылась необыкновенная картина.

Сколько видел глаз, земля была усыпана белыми движущимися точками. Это двигались утки, невероятное, неисчислимое количество уток. Все были белые, все кричали, так что больно становилось ушам.

Некоторые лежали на земле, но остальные непрерывно двигались, бежали толпами, незаметно оказывались в воде — пруда почти не было видно из-за птиц, и берег только угадывался — и плыли по воде, словно гонимый ветром пух, какими-то сложными массовыми кругами, куда-то судорожно стремясь и крича.

Чтобы попасть в утятник, достаточно было перешарнуть невысокую жиденькую изгородь из старых досок и жердей. Вдоль нее бегал костлявый хромой утенок и заглядывал в щели, ища выхода.

Волков нагнулся и схватил утенка. Он отчаянно затрепыхался, запищал; Волков усадил его удобнее, и тот замолчал.

Из сарая вышли мужчина и женщина. Женщина высыпала из ведер корм в корыто, и вокруг нее поднялось такое столпотворение, что, казалось, ее собьют с ног. Утки лезли друг на друга, топтали слабых, опрокидывались.

Женщина — Галя разглядела, что это была молодая девка, дебелая и краснощекая, — расталкивала уток ногами и продолжала наполнять корыта.

От крика у Гали заломило в висках. Видимо, утки были очень голодны. На всем пространстве утятника не виднелось ни травинки — лишь голая выбитая земля в пуху и помете да кое-где пучками возвышалась крапива. Это была необыкновенная крапива: высокая, как конопля, с толстыми обглоданными стволами, она смахивала на молодые деревца.

Мужчина был низенький и худой, в потрепанном выгоревшем костюме, и сам весь какой-то выгоревший, неприметный. На боку у него болтался фотоаппарат «Зоркий».

— Привезли тебе доярку, Иванов, вместо Денисовой,— сказал Волков.— Вот хорошая девочка, не обижайте ее.

— Мы никого не обижаем,— сказал Иванов.

— В первую очередь себя.

— Нас, Сергей Сергеевич, уж больше и обидеть нельзя.

— Так, начал приbedняться.

— Молотилку забрали? Шиферу не дали? Резину у вас год прошу!

— Ладно, сколько уток сегодня сдаешь?

— Тысячу. Больше не берут.

— А мог бы сдать?

— Пять тысяч хоть сейчас и через неделю пять. Все забито.

— Мистика какая-то,— с сердцем повернулся Волков к Гале.— Утки готовы, тысячи уток, народ ждет, а убить и ободрать некому. Комбинат мал, не принимает.

— Вы там покричали бы в обкоме,— сказал Иванов.

— Что обком — они все знают. Строители подводят.

— Строители всегда подводят,— согласился Иванов, тоже обращаясь к Гале, потому что она добросовестно слушала.— Вот смотрите, обещали новый комбинат в январе. Сейчас уж лето. Ну? Это ж кричать надо, это ж их спросить надо: почему?

— Заслушивали их на бюро,— сказал Волков.— Строители готовы бы сдать, но их плохо снабжают. Нет стройматериалов и тому подобное...

— Значит, снабженцы виноваты! — воскликнул Иванов.

— Снабженцы сваливают на совнархоз.

— Так-так, совнархоз во всем виноват! — иронически покачал головой Иванов.

— Да нет же,— улыбнулся Волков,— совнархоз жалуется на Госплан, а Госплан на Госбанк.

— В таком случае Госбанк во всем виноват, он один — и больше никто,— развел руками Иванов.— Только куда мне уток девать?

— Ладно, не нервничай. Было бы что, а куда девать — найдем.

— Пока найдем, у меня каждый день десятки дохнут.

— От чего?

— Черт их знает. много слишком, затаптывают слабых, калечатся. От голода. Не было рассчитано такую ораву кормить. Сказано — по достижении трех килограммов сдавать. А у меня они по месяцу такие бегают. И лишнюю машину комбикорма жрут. Это что — хозяйственно?

Волков задумчиво чесал шейку утенка, который сидел у него на руках; утенок пригрелся и закрыл глаза.

— Сооружай клетки и гони уток на базар.

— Давно бы так.

— Я скажу Воробьеву.

— Надо спасаться!

— И по этому случаю нас сфотографируй. Научился?

— Из тридцати шести шесть получают.

— Давай, сними нас шесть раз — один снимок как раз получится.

— Снять-то я могу... — пробормотал Иванов неуверенно, открывая футляр.

— Подумать только, какой кадр. Сюда бы самого Бальтерманца из «Огонька». Тридцать тысяч уток, а на горизонте недостроенный комбинат. Давай с Людмилой. Людмила!

— Ау! — откликнулась девушка с ведрами.

— Иди сниматься.

— Бя-гу! — Она побежала, на ходу снимая платок.

— Любят сниматься,— вздохнул Иванов.— Хлебом не корми...

— Тебя утки еще не съели? — весело спросил Волков Людмилу.

— Уж съели! Я их сама съем, я девка бядовая.

— Ты вот зачем у Марии мужа отбила и не отдаешь обратно?

— Пушай отберет, я разве дяржу?

— Не стыдно тебе? Мария небось плачет.

— Пушай плачет.

— Вот так они рассуждают,— вздохнул Иванов.— Справься с ними.

— Уж вы-то рассуждаете! — накинулась на него Людмила.— Умные такие больно. А мне что, прикажете век с вашими утками сидеть, свету не видать? Не хочу сидеть в девках!

— Ну, ну, потише,— прикрикнул Волков, нахмурясь.— Вот заставим тебя отчитаться перед комсомольской организацией.

— А я не комсомолка!

— Вот поговорите с ними,— уныло сказал Иванов.

— У Марии ребенок будет,— сказал Волков.— Поймешь ее, когда у тебя тоже будет и он тебя бросит.

— Коль найдет лучше, пушай бросает! А мне и то лучше, чем ничего. Я бядовая, не пропаду.

— Что-то ты слишком бядовая.

— А бядовым только и житье.

— На что он тебе сдался, дурья башка? Он же пьет, как сукин сын.

— А я ему еще подолью, за то и любит.

— Тьфу,— вдруг тонко и сердито плюнул Степка.

— Ты че-го плюес-си! — возмутилась Людмила.— Уж не ты ли меня возьмешь? Ну? Кто меня возьмет? Нечего плевать!

Она повернулась и ушла, сердито громыхая ведром.

Волков подумал и опустил на землю сидевшего у него утенка. Тот заковылял, жалко вспархивая крыльцами, к корыту, но там уже ничего не было, и его только потолкали, сбили с ног, он затрепыхался, полез, его опять сбили, он поднялся и отковылял в сторону.

— Этот не жилец,— сказал Волков.

— Нет,— подтвердил бригадир.

— Ты с ней построже.

— Что ей сделаешь? Школу бросила, мать хвора — не ходит, бабка старая. Одна всех кормит. А девка в соку... Слышит, как другие живут. Каждый хочет жить.

— Смотря, знаешь, как жить.

— Все это очень верно. Особенно если над вами не каплет. Оно к корыту не протолкаешься — не проживешь.

— Спрячь ты свой аппарат, все равно карточек не сделаешь,— раздраженно сказал Волков.— Тоже философ объявился... Идемте в коровник. Еще невест посмотрим.

Он засопел и решительно пошел прочь.

В этот момент Людмила показалась из дверей сарая с полными ведрами. Она насмешливо посмотрела на мужчин и с сердцем вывернула ведра в корыта. Поднялась новая утиная свалка. Людмила расшвыряла уток и вдруг запела — громко, сильно, каким-то необыкновенным, великолепным голосом:

Прощайте, глазки голубые,

Прощайте, русы волоса...

— Эй, Людмила! — сказал Волков строго.— Доиграешься. Много себе позволяешь, понятно?

— Отстаньте вы, начальник,— зло сказала Людмила.— Знаете одно — ездить-кататься да язык чесать. Ну, судите меня, ну, стреляйте меня! Поставить бы вас комбикорм мешать с ночи до ночи.

Она хлопнула дверью, и из сарая опять донеслась ее песня:

Прощайте, кудри навитые,  
Прощай, любимый, навсегда...

— Она что у тебя, в самом деле с ночи до ночи? — строго спросил Волков.

— Зачем? Кузьминична сменяет с четырех часов.

— Распустился народ у нас, — мрачно сказал Волков. — Плохо, что у вас коммунистов всего двое, даже организации нет... Горлопаны всякие...

Видно, его душили обида и злость, ему хотелось доругаться, но он старался не подавать вида.

— Работает она, надо сказать, честно, — пробормотал Иванов.

— А как насчет воровства? Уток не воруют?

— Вот чего нет, того нет, — сказал Иванов. — Уток не воруют.

## 4

Пониже утиног пруда находился другой — просто пруд, сделанный словно по заказу старомодного художника, весь в лилиях, обросший ивами, роскошный и томный.

Впрочем, он потихоньку погибал: мутная, зеленая вода из утиног пруда непрерывно текла сюда по цементной трубе и заражала его.

Над этим прудом, на бугре, стоял коровник.

Это было длинное кирпичное здание, крытое, однако, соломой. Ворота его были распахнуты и зияли чернотой, как беззубый рот. На крыше из соломы росли стебли ржи. На спуске к пруду стояла изгородь из жердей, отделявшая загон, где земля была черная, липкая, перемешанная с навозом.

Видимо, когда-то строители намеревались отгрохать коровник по всем правилам. Размахнулись они широко, вывели коробку, положили перекрытия с рельсом для подвесной дороги — и тут исчерпалась смета. Работы прекратились, и сооружение было законсервировано.

Коробка стояла несколько лет, поливаемая дождями и обдуваемая ветрами, потихоньку разрушалась, а после укрупнения новый председатель махнул рукой, велел навесить кое-как сколоченные ворота, навалить на потолок стог соломы — и так это славное сооружение, минуя полосу расцвета, сразу перешагнуло из своего рождения в упадок.

Мужчины и Галя пошли вдоль коровника, и Степка сказал:

— Пойду еще искупнусь, ладно?

Он отделился и запырил вниз, взбивая ботинками облачка пыли, снимая на ходу рубашку.

Тут Гале стало по-настоящему жарко, она почувствовала себя неважно. А вид коровника нагнал на нее что-то близкое к тоске.

За коровником оказались люди и стояла машина-цистерна с надписью «Молоко». Женщина в соломенной шляпе ругалась с шофером. Она упрекала его за то, что приехал поздно: молоко уже могло прокиснуть.

Молоко стояло здесь же на солнцепеке в больших помятых бидонах; было странно, почему оно ждало машину именно на солнцепеке. Машина гудела: шофер втыкал в бидоны толстый шланг, а через него молоко всасывалось в цистерну.

Заметив Волкова, женщина перестала ругаться и заулыбалась:

— Сергей Сергеевич, вот нежданный гость! А мы запарились совсем. Вот скажите, как работать, если транспорт прибывает после обеда? Ну,

полюбуйтесь! Вот хорошо, что партийное руководство само увидит. А у нас потом молоко не принимают. Пожалуйста!

— Маркин в аварию попал, я вторым рейсом пришел,— угрюмо сказал шофер.

— Часто так бывает? — строго спросил Волков.

— Да нет, сегодня первый раз, кажется,— сказал шофер.

— Ах, они когда хотят, тогда и приезжают! — всплеснула руками женщина.— Вчера пришел в пять часов, позавчера в семь... А сегодня— полюбуйтесь.

— Что за черт, уж не прокисло ли? — удивился Волков, заглядывая в бидон.— Это утреннее?

— Холодильника у нас нет, Сергей Сергеич, сами знаете. Я неоднократно обращала внимание руководства.

— Вы бы хоть в тени поставили.

— Рабочей силы нет, Сергей Сергеич. Доярки распустились, я одна разрываюсь, я не могу таскать бидоны, а их попробуй заставь — такого тебе наговорят!

— Слушайте, что это у вас творится? — хмуро спросил Волков у Иванова.

— Это сегодня,— поспешно ответил бригадир.— Молоко забирают утром, пока не испортилось. Корыто сделано, чтобы ставить бидоны в холодную воду, но они хранят в нем свои скамейки.

— А кому носить воду? — воскликнула женщина.— Я не могу одна носить, вы знаете, я человек больной, а их не могу заставить. Им и слова не скажи. Бегаешь, крутишься, ради общенародного же блага недосяпаешь, недоедаешь, а тебе еще упреки, заявления пишут!..

Она поднесла руку к глазам и всхлипнула.

— Какие еще заявления? — устало спросил Волков.

— На меня, какие же еще. Воробьеву подают.

— Я не видел.

— И хорошо, что не видели. Им верить нельзя, им лишь бы не работать. Никакой сознательности. А пуще всего Нинка Денисова!

— Денисова с завтрашнего дня свободна. Вот новая доярка вместо нее, знакомьтесь.

Женщина в соломенной шляпе быстро окинула взглядом Галю, приветливо улыбнулась, протягивая красивую тонкую руку:

— Софья Васильевна, заведующая фермой.

— Как у вас план? — продолжал спрашивать Волков.

— Стараемся. Выполнение положительное. Среднесуточный надой выше, чем в других бригадах. Получаем по четырнадцать килограммов молока от фуражной коровы.

— Неплохо. Для такой фермы неплохо.

— Ну как же! — обрадовалась заведующая.— Последнее решение обкома обязывает нас бороться за пудовые надои. Мы полны решимости достичь этого уровня.

Галя тем временем удивленно оглядывалась.

Шофер сложил шланг, завел мотор и поехал, ни с кем не попрощавшись, как лицо совсем постороннее.

Смуглая приземистая старуха принесла из пруда два ведра воды и принялась споласкивать бидоны. Ей, видно, было неохота и тяжело идти к пруду вторично — она сэкономила воду: сполоснув один бидон, переливала в другой и так далее. Раз сполоснутые бидоны она ставила вверх дном сушиться.

До Гали наконец начало доходить, как это утреннее молоко стояло до сих пор, почему бидоны моются водой из пруда — и никто ничего не



говорит, словно так и надо. Почему вокруг столько грязи, мусора, если достаточно пройтись граблями и убрать. Еще больше поразил ее коровник внутри.

Навоз лежал здесь таким толстым слоем, что нога ступала по нему, как по матрацу. Все вокруг было бурым от грязи, от подтеков воды с потолка (солома наверху была скорее декорацией, чем защитой от дождя), окна в большинстве выбиты.

Мордами к окнам, хвостами в проход стояли в два ряда коровы на цепях. Их облепили тысячи мух. Коровы беспрестанно топали, обмахивались хвостами, цепи гремели.

Волков осторожно шел первым по проходу, с опаской поглядывая на размахившиеся хвосты.

— Почему они голодные стоят? — спросил он.

— Это Панькин подкормку еще не привез, — объяснил Иванов.

— Чем подкармливаете? Викой?

— Ну да. С овсом.

— Свежим воздухом они их подкармливают! — раздался насмешливый голос.

В проходе показался молодой парень — рослый, загорелый богатырь с предлинным кнутом на плече.

— Свежим воздухом и молитвами, — весело повторил он. — Кабы я не гонял их на пашу, дали б они вам четырнадцать литров!

— Что врешь! — сердито крикнул Иванов.

— Почему вру? Пусть парторг сам поглядит в кормушки, да там две недели ничего не было.

— Чего врать пришел сюда! — истерически крикнул Иванов. — Позавчерась давал вику с овсом. Ты чего наводишь тень? Смотри, Костька, доведет тебя твой язык. Распустились!

— Я вас не боюсь, — насмешливо сказал парень. — Без меня вы зашьетесь с вашей фермой. Ясно?

— Ты знай свое дело и не трепись. Пришел выгонять?

— Ну?

— Ну и выгоняй.

Наступило неловкое молчание, только фукали и гроыхали цепями коровы.

Костя пожал плечом и стал отпускать коров. Почуя свободу, они как-то поспешно, испуганно бежали к двери, за которой звонкий мальчишеский голос на них бодро закричал, послышалось хлопанье бича.

— В самом деле, что-то у вас нехорошо... — пробормотал Волков, заглядывая в кормушку: она была чистая, вылизанная — единственное чистое место в коровнике; и только на дне лежал гладкий кусок серой каменной соли — лизунца: соль, видимо, имелась на ферме в достатке.

— Не слушайте их, горлопанов! — воскликнула заведующая. — Сергей Сергеич, им вечно мало, им все не так. Мы работаем не покладая рук. Коллектив полон решимости выйти на первое место по управлению.

— Коровки у нас хорошие, — оптимистично подтвердил Иванов.

Волков задумчиво смотрел, как коровы бегут к выходу, огибая грубо сколоченное корыто, в котором лежали скамейки и разная ветошь.

— Да, так вот, значит, новая доярка, — сказал он тупо. — К кому бы ее устроить жить?

— Можно и к тете Моте...

— Она одна живет?

— Одна.

— Я на тот предмет, что если дети, так... В общем, устройте. Где тут ее орудия производства?

Заведующая достала из корыта подойник и скамейку с нацарапанными надписями «Нина».

— Завтра первая дойка в полчетвертого.

— Хорошо,— сказала Галя.

Волков и Галя пошли к машине за чемоданом, а в коровнике сразу поднялся какой-то резкий разговор между бригадиром и заведующей фермой.

Пастух Костя шелкал огромнейшим бичом. Подпасок — мальчишка лет пятнадцати — бегал вокруг стада, как гончий пес, и направлял его. Получилось, что все пошли вместе — Волков, Галя, Костя.

Странно и неловко было смотреть на Костю. Он был так здоров, так красив, а одежка на нем была худа. Может быть, Галя после города просто не привыкла, а никто здесь этого не замечал?

— Ну, значит, теперь в пастухах? — спросил Волков.

— Мне нравится,— беззаботно сказал Костя.

— И не стыдно тебе?

— Чего стыдно? Работа почетная. Все ваши надои на мне да на Петьке держатся. И я люблю животных.

— Он комбайнер,— сказал вдруг Волков, обращаясь к Гале.— Он комбайнер и тракторист.

— Был! — весело сказал Костя.

— И назад не хочешь?

— Что мне, жизнь надоела?

— Так в пастухах век и проходишь?

— А мне хорошо. По крайней мере хоть работа чистая.

Волков, прищурившись, посмотрел Косте в лицо.

— Чего смотрите? — спросил Костя спокойно.— Небось так в парт-оргах век и проходите? А на трактор не тянет?

— Ты не знаешь моей жизни, Костя.

— А откуда вы знаете мою жизнь? — сказал Костя, подмигнув Гале, взмахнул кнутом и зашагал прочь.

Стадо удалялось в поле. Петька бежал прямо по картошке, лупил коров, сходявших с дороги, они шарахались, толкались, и он развил такую бурную деятельность, что стадо с необычайной быстротой, почти бегом, скрылось в облаке пыли.

«Москвич» на длинных ногах стоял у конторы на солнце, раскаленный и пахнущий бензином. Степка копался в кабине.

— Купался? — спросил Волков.

— Нет... Подзагорел малость, вишен поел. Вода в пруде такая зеленая, аж противно смотреть.

— Поедем в Дубинку.

— Это еще зачем?

— Посмотрим...

— Что ж, в Дубинку так в Дубинку. Свиной смотреть, да?

— Свиной,— устало сказал Волков.

Галя добыла чемодан. От жары у нее была тяжесть в голове и во всем теле.

— Я вот что хотел бы...— сказал Волков.— Вы свежий человек. Вы сейчас пойдете к Иванову, он вас устроит к тете Моте, а завтра вы начнете работу. Вы не могли бы посмотреть: что здесь такое делается? Что-то здесь очень нехорошее делается. И потом рассказать мне.

Галя слегка пожала плечами; ей становилось все хуже.

Волков сел на переднее сиденье, «москвич» взвыл, рванулся, бойко запрыгал по колеям, так что куры полетели по изгородям, и умчался, запыхав всю улицу.

От пруда шли гуси — ровной, до смешного правильной шеренгой. Они шли весьма гордо, неторопливо, переваливаясь, тяжело неся свои жирные брюха.

Передний гусак остановился и внимательно, испытующе посмотрел на Гаю. Все гуси за ним тоже остановились, не нарушая строя, и терпеливо ждали. Гусак что-то сказал Гале — мудро и очень убедительно. Он пошел дальше, все двинулись за ним, а он еще несколько раз оборачивался и повторял то же странное слово, справедливо подозревая, что Галя не совсем поняла его.

## 5

Пуговкину называли по-разному: и тетей Мотей, и Матреной Кузьминичной, и просто Кузьминичной; она работала второй птичницей на утятнике.

Она была одинока, потому что ее старика и двух сыновей казнили эсэсовцы как партизан. Старуха случайно избежала расстрела, более двух месяцев жила в поле, питалась мороженой картошкой, спала в стогах, и с той поры она была немного не в себе.

Все это рассказал Иванов, пока вел Гаю на квартиру.

То, что она не в себе, — ничего, успокоил он. Она просто молчит, только и всего. Зато изба просторная, и старуха в ней одна. Прошлым летом у нее жили практиканты-агрономы, остались довольны, и она тоже просила поселить еще.

Изба находилась за прудом, в той части села, где стояла белая колокольня и разрушенный барский дом. Иванов много и подробно рассказывал о колокольне и доме, но Галя невнимательно слушала, и ей хотелось пить, хотелось забиться в какой-нибудь угол и уснуть.

Пуговкина оказалась дома. Она собиралась на утятник. Это была полная флегматичная старуха, с большими руками, изъеденными черными трещинами. Она выслушала просьбу без всякого внешнего интереса, повела гостью в дом и показала закуток.

Изба была большая, но состояла вся из одной комнаты. Посредине возвышалась мощная русская печь, а от нее к стенам были проложены жерди. С этих жердей до полу свешивались выцветшие обои, создававшие иллюзию стен. Угол, отгороженный обоями, делился фанерной перегородкой пополам — таким образом получались как бы две маленькие комнатки, одна темная, в другой — окошко. В темной стояла кровать хозяйки, в светлой предложено было располагаться Гале.

Ей было все равно. Она поставила чемодан, договорилась о цене — все это как во сне. Договорилась, что будет столоваться у хозяйки, посмотрела, где лежит ключ. Отдала документы Иванову.

Она ждала, чтобы они ушли. Но Иванов все разговаривал об утках, погоде, о том, что Людмила распустилась. Старуха ходила по избе, тяжело топая.

Галя посидела в углу, не располагаясь, опустив руки, потом вспомнила, как нестерпимо ей хотелось пить, и пошла в сени.

Вода была в помятом цинковом ведре с привязанной веревкой. Галя выпила две кружки. Вода оказалась теплая и невкусная.

По сениям бродили куры, стрекотали, выпрашивая есть, и косились на Гаю желтыми глупыми глазами.

Вид у сений был совсем нежилой, запущенный. Валялись какие-то серые от времени деревянные грабли, пыльные бутылки из-под керосина. Пол был земляной, загаженный курами, все углы оплетены паутиной.

Галя села под избой на бревне, и тотчас куры сбежались к ней, возпросительно заглядывали и стрекотали так, будто не ели три дня.

У нее голова разламывалась и без этого крика, она замахнулась на кур, бросила щепку — и тогда удивленно подумала, что все это уже было, много раз было. И забылось до поры, даже, вернее, не забылось, а выглядело иначе, лучше, теплее, потому что было в далеком прошлом.

В начале 1943 года один из германских тяжелых бомбардировщиков, не пробившись к Москве, преследуемый истребителями, сбросил бомбы куда попало.

Четыре из этих бомб упали на село Руднево. Одна угодила в вишневый сад, две упали рядышком на улице, четвертая разнесла избу, где жила большая семья Макаровых. Из семьи не было дома только старшей дочери, которая в это время находилась в родильном отделении районной больницы.

Так, родившись на свет, Галя не обнаружила уже ни деда, ни бабки, ни братьев или сестер. Отца своего она тоже не знала, так как он погиб за полгода до ее рождения под Воронежем.

Мать ее была дояркой много лет. Ее портреты иногда печатали газеты. Она ходила вразвалку, руки ее всегда висели красные, растопыренные. Большую часть своей жизни она провела в коровнике. И Галя в основном выросла там же, среди коровьих хвостов.

Это не в переносном — в прямом смысле. Хвосты мешают дояркам работать, больно бьют по лицу, и Галя обычно держала хвосты, когда мать доила.

До семи лет Галя с матерью жила в Рудневе. Она знала оба пруда. Тогда по ним тоже плавали утки, но пруды были чище, в них водились зеркальные карпы.

Он знала колокольню и разрушенный дом, но не интересовалась ими и не знала того, что рассказал сегодня Иванов. Смутно помнила, что жили они на квартире в другом конце деревни и прежний коровник был там. Пуговкиной она не знала. Мать, должно быть, знала — в селе все знают всех.

Одним из самых странных воспоминаний детства были лягушата в пруду. Маленькие, как тараканы, они по вечерам прыгали по плотине, словно совершали великое переселение. Дети били их палками и визжали от страха. Никогда после Гале не приходилось видеть таких крохотных лягушек, и она не была уверена, верно ли помнит, не снилось ли это.

За селом тогда стояли два больших полуразрушенных амбара. Уходя на луг собирать щавель, Галя вместе с другими ребятами обшаривала амбары. Иногда они находили там гнезда с куриными яйцами, которые тут же выпивали. Это были таинственные, прекрасные, как в сказке, амбары, хотя не понятно, что могло быть в них особенного. Наверное, их нет уже.

За амбарами стоял танк — подбитый, распотрошенный внутри. Мальчишки забирались внутрь, опускали люки, а другие обстреливали камнями. Броня гулко звякала, это тоже было страшно, увлекательно, сказочно.

Уже в те времена Галя умела доить, только не хватало сил. Окончательно научилась в Дубинке, где жили потом, но то было плохое время, и там уже не было ничего фантастического или приятного. Было только бесконечное чувство голода. Она попросилась в Руднево именно потому, что с давних пор оно казалось ей обетованной землей.

Сегодня она ничего не видела в Рудневе обетованного.

До приезда Галя рассчитывала найти кого-нибудь из тех давних друзей, несомненно, что кто-то да остался; но теперь у нее пропало всякое желание спрашивать или открываться самой. Кому это надо и кому это интересно?

У нее было такое ощущение, как у человека, который долго стремился домой, но, прибыв наконец, увидел, что в доме живут чужие люди, которые ему не нужны и которым не нужен он, и делать ему здесь, собственно, нечего — он попросил воды напиться и ушел, потому что дома просто не оказалось.

Вышла Пуговкина, повязанная платком, сказала что-то насчет помидоров и ушла на работу. Галя обрадовалась, что наконец в доме никого нет, пошла в свою каморку, вытряхнула из чемодана все, что в нем было, книжки сложила на подоконнике.

Она нашла в сенях веник и подмела по всей избе. Забавно было подметать: пол был в больших щелях, мусор сразу же проваливался вниз, и до двери ничего не домелось.

Занавески на окнах были в желтых пятнах, Галя решила завтра выстирать их.

На столе она нашла с десяток помидоров, ломоть хлеба. Она поела помидоров, посыпая их солью. Вспомнив, что нужно вставать в три часа утра, она решила заснуть.

Она улеглась на кровати — под ней остро зашуршал жесткий соломенный матрас, — закрыла глаза и сразу забылась.

Когда она открыла глаза, было темно, как в могиле, и она не сразу сообразила, что ее разбудило. Но прекрасно помнила, где она находится.

За фанерной перегородкой зашуршал матрас, и вдруг раздался гулкий, нехороший стон старухи:

— У-у-у...

Гале стало не по себе, но потом она сообразила, что у хозяйки что-то, верно, болит. Ей страшно хотелось спать, дальше спать. Она закрыла глаза, но стон повторился и снова разбудил ее.

— Вам помочь? — спросила она, привстав.

Хозяйка ничего не ответила, и только раздалось все то же:

— У-у-у...

Она что-то пробормотала, но Галя не разобрала. Она опять закрыла глаза и тут ясно услышала, что бормотала старуха.

— У-у,— стонала та,— робёнки мои...

Галя больше ничего не помнила. Она провалилась в новый сон, как в яму.

## 6

И вот автомобиль «москвич» на своих длинных ногах кружился по нескончаемым дорогам среди пшеницы, гречихи, дороги кончались, и Волков с шофером, хохоча, купались в провальных озерах.

Прибежал председатель колхоза, тяжело дыша, принялся на них грубо, визгливо кричать:

— Украли пять мешков пшеницы! Высадите их подальше, а сами идите прямо в погреб!

Тогда они опять помчались по бесконечной дороге прямо через гречиху, и вокруг было так тепло, жужжали пчелы, воздух гудел от них, и дороги больше не стало, была сплошная духота, шофер и Волков сникли и растаяли как дым.

Автомобиль шел один. Ему кричали, махали, показывая, что там нет дороги, нет совсем, никто не ездил. Галя ухватила за руль, пытаясь его повернуть, но не имела сил сделать это, а машина несла ее, упрямо вырывая из рук баранку, и у Гали от ужаса выступил на лбу холодный пот: она поняла, что теперь у нее нет своей воли, нет даже права на нее, теперь она должна была, раз сев в эту машину, нестись, куда вынесет. Она стала бессильна что-либо изменить, предпринять, бессильна бороться с этой машиной.

— Вставай, три часа, — сказала Пуговкина, зевая.

Галя вскочила, дрожа, кинулась надевать босоножки, не попадала в рукава платья. Ее била дрожь, стучали зубы, все из-за открытого окна — почему и когда оно было открыто, она не могла вспомнить.

— Поешь! — крикнула Пуговкина вдогонку, но Галя только мотнула головой; косынку она уже повязывала на ходу.

Было раннее-раннее утро. Все вокруг казалось сырым и серым. Солнце еще не всходило, но в небе уже горело одно-единственное растрепанное облако — и бледнела луна.

Лишь увидев за старинными липами развалины церкви и услышав отчаянный рассветный концерт воробьев, гнездившихся в кустах, которыми поросли колокольня и спрятавшаяся в зелени церковь, Галя проснулась и сообразила, что напрасно торопилась. Надо было перехватить хотя бы хлеба с помидорами.

Она пошла тише, выбирая дорогу, с удивлением рассматривая церковь и любуясь ею.

Теперь она вспомнила, что рассказывал вчера Иванов, и, как ни странно, вспомнила ярко и точно.

Колокольня и церковь были выстроены в 1702 году боярином Рудневым, владельцем многих тысяч душ. Последними жертвователями были князья Оболенские. Это им принадлежал дом, подожженный крестьянами в шестнадцатом году, — развалины его сохранились. Последний молебен в церкви отслужили деникинцы, готовясь к взятию Москвы. После в церкви разместился клуб, превращенный в тридцатых годах в склад. В 1942 году в церкви были заперты и замучены семнадцать пленных красноармейцев, которых нашли и похоронили после отступления немцев. Сейчас церковь использовалась под зернохранилище.

А на колокольне, недосягаемые для мальчишек, жили колонией вороны и в каждой трещине гнездились воробьи, голуби. А вокруг росли буйные, положительно непроходимые заросли шиповника, черемухи, бузины, крапивы, дикой конопли и еще бог весть какой цепкой и упрямой растительности, и все это скатывалось зеленым валом к пруду, который в этот ранний час исходил паром и казался неподвижным зеркалом.

По противоположному берегу его краснело строение фермы, под ним на скамье блистали бидоны, а коровы, желтые, черные и бурые, неподвижно лежали или стояли в загоне.

Опять при виде фермы у Гали сжалось сердце. Она подумала: «Да, вот она такая, и отныне это моя ферма, мой дом, рабочее место, университет».

По загону угрюмо бродила одна-единственная доярка — большая, неуклюжая, лет двадцати пяти. У нее было белесое лицо, словно обсыпанное мукой, и глаза, и ресницы, и брови белесые.

— С добрым утром, — сказала Галя робко.

— А она дрыхнет! — вдруг закричала доярка хрипло и зычно. — Она дрыхнет, вот погляди ж ты, до пяти будет дрыхнуть, а придет, запишет и фить — к своему Цугрику.

— Кто? — опешила Галя.

— Заведущая наша, кто ж! — буркнула доярка, швыряя бидон так, что он чуть не лопнул по швам.

— Меня зовут Галей, буду работать вместо Нины, — сказала Галя. — Как вас зовут?

— Ольга. Ну-у! Покрутитесь у ми-не! — заорала доярка на корову.

«Ну и злющая, — подумала Галя. — Если я опоздаю, она так же будет орать. Назло им не буду опаздывать, буду вставать в два часа...»

Галя вошла в пустой коровник, отобрала из корыта подойник, скамейку и консервную банку с вазелином с метками «Нина».

— Покажи мне Нинкиных коров, — попросила она Ольгу.

Та пролезла под жердью в загон, подошла к дородной рыжей кра-савице, толкнула ее с силой сапогом:

— Ну-у! Вставай! Слива, ну! Не выпалась?

Слива моргнула влажными печальными глазами, зафукала и медленно поднялась. Она махнула хвостом, и Галино лицо оказалось все в мелких навозных брызгах. Она вытерлась и услышала запах керосина. Керосином отдавал вазелин.

— Чё нюхаешь? — насмешливо спросила Ольга. — Солидол это. Хорошо, у трактористов достаем... А ей только дрыхнуть! Только дрыхнуть да к Цугрику бегать! Погибели нету!

Она плюнула и ушла, загремела ведрами. Слышно было, как подходили доярки, сонно здоровались, коротко покрикивали:

— Цитра, подымись.

— Стой, Зорь.

И — «дз-дз-дз» — первые звонкие и веселые струйки молока о дно подойника.

Галя пристроилась к вымени, сжала коленями подойник, с бьющимся сердцем взялась за соски. «Дз-дз...» Струйки потекли и прекратились.

Она тянула, выжимала, беспомощно оглядывалась на корову. Слива спокойно стояла, пережевывая жвачку. Соски были пусты.

Галя выпрямилась, передохнула и осторожно огляделась: видят ли ее позор?

Кажется, еще никто не видел. Она снова взялась, тянула, жала — в сосках не было ни капли молока. Галя хлопала по вымени, толкала его, разминала — разбухшее, переполненное, во вздувшихся синих жилах. Она умоляла: «Ну давай же, ну что ты, почему?»

Наконец корове надоело стоять, она шагнула, наступив Гале на ногу. Галя охнула, из опрокинувшегося подойника вылилась рюмка надоеного синего молока.

Сцепив зубы от боли, прихрамывая, Галя погналась за Сливой, путаясь в ведрах, банках и табуретке. Корова дошла до куста и остановилась. Галя поскорее присела, с надеждой потянула соски.

«Кажется, я неправильно дою, я все перезабыла... Бывают коровы трудные, но надо пересилить, вот так, кулаком, сверху донизу, чтобы работали все пальцы...»

Отовсюду уже несло не звонкое «дз», а глухое урчание молока в пене подойника.

Солнце взошло, блеснули остатками позолоты ржавые купола церкви-зернохранилища. Проснувшееся воронье разоралось, разлеталось кругами возле колокольни. А Галя билась со Сливой.

Вдруг она услышала подозрительное рычание. Она подняла голову и обмерла: прямо к ней медленно приближался массивный, толстоно-

гий бык, который, оказывается, свободно жил в стаде. Он был гесь гладкий, лоснящийся, как торпеда, черный, с седой полосой по хребту, вырванными ноздрями и короткими черными, будто лакированными рогами. Это был породистый бык, красавец-бык, но Гале было не до этого.

Несколько поблуднев, она встала за куст, надеясь, что бык не заметит ее, ибо быки плохо видят.

Но он уже заметил, он слышал незнакомый запах, он подошел к кусту с другой стороны, совсем близко, так, что, просунув руку сквозь ветки, она могла бы дотронуться до его тупого лба, и зарычал с угрозой, с какой-то слепой клокочуіцей яростью.

«Если он двинется в обход, то это ничего, — подумала Галя. — Но если он пойдет через куст...» Бык пошел в обход. Она тоже пошла, не упуская спасительного куста между собой и быком. Он остановился, тяжело хрипя и как бы размышляя.

— Эй, Лимон, погибели на тебя! — крикнула Ольга издали. — А вот я тебя!..

Она швырнула кусок навоза. Лимон раздраженно зарычал.

Ольга схватила какой-то кол и огрела его по спине. Грозный Лимон фыркнул и затрусил прочь, обмахиваясь хвостом.

— Вот так все они, мужики-то, молодцы против овцы, — неожиданно заключила Ольга. — А ты чё скуксилась? Как сунется — скамейкой его промеж глаз. Дай-ка ведро.

У Гали отлегло от сердца, но уши ее горели от стыда. Она не знала, что доярки перемигнулись: а новенькая, мол, ничего, не завизжала, не побежала с криком, а ходила вокруг куста, сообразила, молодец.

— Он чужих не уважает, Лимон наш, — сказала Ольга. — Он скоро к тебе привыкнет.

Она подседа к Сливе, потянула раз-другой за соски.

— Слива, умница... Чует, хозяйки нет, не отдает, поганка.

Она похлопала корову по спине, бокам, холке — все ближе к голове, гладила морду, приговаривая:

— Ну вот, умница моя, хорошая моя, нониче у тебя новая хозяйка, ты же будь умница, слушайся...

И достав из кармана какую-то корку, сунула корове.

— Дой скорее — и сразу, бойчей!

Корова слизнула корку, а Галя бросилась к вымени, энергично стала доить, и молоко пошло, сначала слабо, потом сильнее, потом словно открылись краны глубокой цистерны. В подойнике поднялась шипящая пена. Галя торопилась, не смахивала пот со лба, не убирала с глаз волосы, только втягивала голову, когда коровий хвост грозил хлестнуть по лицу. Она доила, пока пальцы не онемели, спешила выдоить до последней капли, помня наставления матери, что молоко тем жирнее, чем ближе к концу, а последняя капля самая жирная.

Грело солнце, поднимаясь. Галя стала вся мокрая.

«Одна корова есть, — с облегчением подумала она. — Еще одинна-дцать...»

Следующей ей показали Белоножку.

— Тугосися она, — сказала Ольга. — С нею намучаешься. Слива — та хорошая коровка, с ней только отдыхать.

Солнце уже крепко припекало, когда Галя кончила отчаянную войну с Белоножкой, и когда она разогнула спину, руки ее уже не держали дужку ведра, глаза заливал соленый пот, а в груди комком стояли рыдания.

Некоторые доярки кончили доить, полоскали марлю, сквозь которую процеживают молоко. А Галя переходила к третьей корове — Тальянке.



Она досадливо отмахнулась от быка, который опять попробовал за ней увязаться, — просто у нее не было сил и времени думать о нем, и он, как ни странно, действительно отстал, просто ушел себе и стал чесаться о столб.

Галя чуть не плача гладила и ласкала Тальянку, упрашивала, толкала вымя кулаками, выдаивала пол-литра, отдыхала, потом выдаивала еще стакан. Ей все казалось, что руки сухие, она израсходовала пол-банки солидола и думала лишь одно: вот струйка, вот еще струйка, еще стакан...

Потом таким же образом последовали Комолая, Пташка, Амба, Арка и Вьюга. Все доярки давно помыли посуду и разошлись. Одна только Ольга нерасторопно возилась, толкала коров. Она еще не кончила доить, и это поддерживало Галю.

«Ну еще четыре коровы, — считала про себя Галя, едва передвигаясь от усталости и переживаний. — Четыре коровы, а тогда до обеда все, руки отдохнут».

— Ты Чабулю еще подой, — сказала Ольга, — а этих трех я уже опростала. Молоко я в твой бидон слила.

— Спасибо. — Галя оторопела.

— Ладно. С непривычки знаю трудно. Привыкнешь. Работа простая, да муторная. Ты когда училась-то?

— Мама была доярка.

— Померла?

— Откуда ты знаешь?

— Иначе б ты не пошла. Ну-у! Стой, Лимон, чтоб тебя!..

Когда Галя принесла последнее ведро, у фермы уже стояла вчерашняя голубая автоцистерна «Молоко», и шафер, сняв шланг, равнодушно совал его в бидоны, и шланг сосал, хлюпал, как поросенок. У машины стояла заведующая Софья Васильевна в своей кокетливой соломенной шляпке. Она только что пришла.

Ольга, не здороваясь, прошла мимо, взяла свои ведра и пошла к пруду полоскать.

Галя последовала за ней. Берег пруда был в ямах от копыт, подойти нельзя было, не разувшись. Галя сняла босоножки и забрела по колено в воду. Она подержала горящие руки в воде.

«Привыкну, — подумала она. — Кончатъ буду со всеми, и руки не будут болеть, это все придет. Завтра, или через месяц, или через год».

«Ольга лучше, чем я сначала думала, — решила Галя. — Она груба, потому что ей обидно. Она права, хотя я еще ничего не понимаю. Она красивее, чем мне показалось сначала».

Больше она ничего не думала: солнце нажгло голову, и все вокруг покачивалось, расплывалось.

Разрушенная церковь-зерноохранилище, роскошные купы лип и белоснежные облака дивной картиной отражались в пруду, но она этого почти не замечала, как почти не слышала, что поют петухи, что где-то хлопнула первая дверь и первая старуха, которой, верно, всю ночь не спалось, решила задать корму поросенку.

Раздались мужские голоса, и Галя увидела пастуха Костю и его помощника Петьку. Они стали открывать ворота загона, а Костя подмигнул Гале, дружески улыбаясь:

— Приступила? Ну, держись, бедолага... Сейчас ты беги домой и спи сколько сможешь. Жарко в избе, а ты в огород — и там спи. Иначе не вытянешь. А руки в мокрое полотенце заверни. Вон они у тебя какие тонюсенькие. Скоро не такие станут...

— Спасибо, я так и сделаю, — пробормотала Галя, смущенная и благодарная за эти первые по-настоящему теплые слова.

— И какая из тебя доярка! — добродушно сказал пастух. — Шла бы ко мне в подпаски!

Стадо повалило из загона, и Петька отчаянно лупил строптивного Лимона, а с поля понесся опьяняющий, сказочный, непередаваемо душистый ветер, и, почуяв этот ветер, коровы поднимали морды и взволнованно мычали. Костя выстрелил кнутом раз, другой, третий, и стадо быстро, компактно пошло и пошло почти бегом, удаляясь, подняв тучу пыли. И залаяли собаки. День начался.

Галя побрела через плетину — и вдруг увидела под ногами крохотных, как тараканы, лягушек. Они прыгали в одну сторону, возвращаясь, наверное, с ночной охоты по домам, а вокруг голосили петухи, и один крохотный, общипанный, без хвоста, с едва наметившимся желтым гребешком, перебежал дорогу, хлопнул крыльцами и просипел: «чи-ки-ки»...

А у Гали дрожали губы, потому что болела нога, и в самых костяшках пальцев рук поднялась ломящая боль. Руки повисли устало, растопыренные. Она вся успела пропахнуть насквозь навозом и молоком. Как просто: сделала положенные тысячи сжатий — и стала дояркой...

## ВТОРАЯ ЧАСТЬ

### 1

Давно уже научно и антирелигиозно доказано, что человек живет один раз. У каждого бывает одно имя, одна дата совершеннолетия и первая зарплата, один неповторимый день, когда он впервые понимает безграничность мира. Бывает один, как у Наташи Ростовской, первый бал, одно первое свидание, первый поцелуй и первая любовь.

Потом будут еще зарплаты, будут любви, думы о мире, может смениться фамилия, будут свидания, но первого такого свидания уже не будет и не будет больше первой любви.

К большинству людей это первое приходит трудной ценой как нечто едва ли не запретное — а потому часто скомканное, и это очень обидно.

В юности мы учимся. Но учеба, при всей ее прелести, не самоцель жизни, а лишь подготовка к ней.

В юности мы работаем. Но работа в эту пору редко для кого — уже найденное призвание, а лишь поиск призвания и просто средство к жизни.

В юности большинство людей неустроено и зависимо. Или крайне озабочено пустячными проблемами жилья, одежды, мелких благ, которые для зрелого человека уже не проблема. Или, наоборот, сбито с толку сомнительными идеями жертвенности и полного отрешения от личной жизни и благ.

Придет время, человек выучится, найдет свое призвание, и вообще будет у него многое из того, к чему он стремился, но уже не будет юности.

Стала ходячей фраза: «Юность моя пролетела, а я и не заметил».

Счастливая пора детства. Не всегда она была такой, но сейчас вряд ли кому придет в голову требовать от ребенка заработка на хлеб или отказа от жизни во имя чего-нибудь. Жаль, что ребенок не дорос, чтобы оценить свое счастье. Ценят детство уже взрослые, а не дети. Детство прекрасно для каждого только как воспоминание.

Когда-нибудь, когда люди станут жить умнее, они это поймут.

Это не мои мысли, уважаемый читатель, это мне однажды говорила Галя.

Однажды, когда уже совсем стало невмоготу, старая Макарова накопила четыре десятка яичек и отправилась в город на базар. В городе она остановилась у дальней родственницы, лифтерши.

Та ее сагитировала оставить деревню и подыскала место сторожихи. Потом она умерла, Макарова заняла ее место лифтера в гостинице, и так началась для Гали с матерью иная жизнь.

Галя была девчонкой диковатой, в городской школе училась без успехов: после деревни требования были не те.

Мать не могла нахвалиться новой работой: спокойно, тепло, легко; сиди себе, тыкай пальцем в кнопки. Иногда Галя каталась с ней.

Через лифт проходили вереницы людей: озабоченные командировочные с одинаковыми лицами, неизменными портфелями и бутылкой кефира в кармане; шумные, безалаберные артисты гастрольных бригад; заносчивые, балбесистые футболисты; то вдруг гостиницу заполняли хитроватые дяденьки-промкооператоры, съехавшиеся на совещание; то по коридорам слонялись унылые, молчаливые фигуры шашистов, участвовавших в розыгрыше первенства по стеклоточным шашкам; проезжали расфуфыренные дамы с лысеющими прилизанными спутниками и богатыми чемоданами, которые доставлялись отдельно благоговейшим швейцаром; по десять человек набивались в лифт крикливые участники комсомольской конференции.

Участники конференции питались ситро и колбасой в перерывах между заседаниями. Футболисты составляли в ресторане столы и питались научно, по спецзаказу. Шашисты жестоко пили, потом некоторых тащили в номера под мышки. Кооператоры пили шумно, бойко, с поцелуями, но уходили всегда своими ногами. Артисты, кажется, не пили и не ели вовсе. А расфуфыренным дамам ужин с вином подавался в номер, его возили в лифте на подносах, покрытых белоснежными салфетками.

Галя все видела, хотя многого и не понимала, и ей хотелось сначала быть расфуфыренной дамой, потом участницей комсомольской конференции, потом артисткой, но, закончив школу, растерявшись и поддавшись матери, она стала гардеробщицей в горном институте.

Целыми днями она принимала и подавала пальто, у нее уставали руки, опять перед ней чередой проходили люди, а она думала, слушала радио.

Потом она пережила короткий роман с одним из студентов института, который ей не нравился, но ей льстило, что в нее влюбились. Она ходила с ним на танцы, позволяла держать свою руку в кино, даже целовалась. Потом в нее влюбился другой студент, и с ним повторилось то же, только не так интересно. В третий раз это было еще неинтереснее, так что она даже расстроилась.

Дважды она пыталась поступить в институт (для того, по совету умных людей, и работала в нем), но так как горное дело было ей чуждо, а прошлые школьные успехи не блестили, она оба раза резалась, особенно не печалась.

Ей хотелось такого... чего-то такого, настоящего, огромного. Ни мать, ни соседи, ни подружки, ни ухажеры не могли объяснить, где оно. А оно где-то было, и от предчувствия, что оно может случиться, замирало сердце.

Однако его долго не было, и однажды Гале открылась ее судьба: выйти замуж за одного из студентов, уехать с ним, быть доброй женой, ходить на рынок и в гастроном, рожать детей, растить их — вот и «оно».

После этого ей пришла мысль, что нужно покончить с собой. Стало даже каким-то щемящим наслаждением думать об этом: она задерживалась у перил мостов, смотрела на колеса трамваев, носилась с этим, пока не поняла, что она набитая дуручка. Тогда она попросту поплыла по течению.

Многие люди не строят свою жизнь, потому что не умеют или не могут этого делать, а отдаются течению и не мудрствуют лукаво. С них достаточно и того, что они постоянно разрешают проблемы и заботы, которые высыпает перед ними каждый день, словно из рога изобилия.

Даже многие из тех, кто воображает, будто строит и планирует жизнь, всего-навсего приравниваются к обстоятельствам течения и оборачивают их в свою пользу, отчего, может быть, плывут быстрее — но все по тому же руслу.

Некоторым удается, однако, так повернуть свою жизнь и так попереть против окружающего течения, как это получилось, например, когда-то у Ломоносова.

Нужно иметь много жажды жизни и мужества, а вернее, доверять им, чтобы вырваться из того течения, которое тебя не устраивает, которое угнетает, которое не твое, но цепко держит своими вполне реальными и материальными присосками — и тут уж один выход: их нужно рубить, сколько бы крови ни вышло.

В принципе рубить надо довольно часто, потому что объективно равнодушная судьба помещает нас сплошь и рядом не в те реки и моря, на которых хотели бы мы видеть свои корабли.

Если бы не такая рубка, человечество не имело бы, скажем, Гогена, а был бы биржевой маклер; не было бы Чайковского, а был бы заурядный чиновник; беря ближе к современности, не была бы освоена Центральная Сибирь и целина; а говоря еще конкретнее, не было бы Гали-доярки, а была бы Галя-гардеробщица.

В тот день все было так же, как и в другие дни.

Мать взяла кусок хлеба с маслом, яблоко и пошла на работу. Дочка взяла другой кусок хлеба с маслом и тоже пошла на работу. Вдгонку им сосед Кутувенко крикнул:

— Я вас научу хлопать дверьми, в другом месте похлопаете!

У них были интересные соседи.

Самую большую комнату занимал нестарый еще пенсионер Кутувенко с женой. Прежде он двадцать пять лет проработал следователем и на этой почве стал шизофреником (а может, и всегда им был, но в преклонных годах болезни проявляются ярче).

Комнату рядом занимала пара бухгалтеров — муж и жена, тихие и бездетные. У них пройти нельзя было — столько они накопили вещей, и больше всего на свете они ценили спокойствие и свое здоровье, словно, как Тимоти Форсайт, решили во что бы то ни стало дожить до ста лет.

В третьей комнатке, поменьше, жила старая актриса, некогда певица, а теперь активная посетительница концертов и знакомых. Она рассказывала, с какими знаменитостями пила чай, какие прекрасные апартаменты были у нее до войны в доме, который разбомбили, и она много лет хлопотала, чтобы ей дали новые такие же. За этими хлопотами она коротала дни, хотя ясно было, что апартаментов она не получит и вообще всем надоела и зажила на свете.

Макаровы жили в самой крохотной комнатке, но именно она служила яблоком раздора.

Соответственно числу квартиросъемщиков квартира делилась на четыре ярко выраженных лагеря.

Злодейским началом был Кутувенко. Он поставил целью своей жизни выселить Макаровых и за счет их клетушки увеличить свою жилплощадь.

Утро начиналось с грохота в дверь, от которого просыпалась квартира.

— Гражданка Макарова! — гремел Кутувенко. — Вы что, неграмотная? Вам что, нужно персональное приглашение убирать коридор? Может быть, вас пригласить куда следует?

Сонная Макарова поспешно одевалась и шла за веником. По опыту все знали, что возражать бесполезно, он будет вопить хоть до вечера. Через пять минут голос гремел:

— Эт-то что еще такое? Вам кто разрешил мести в ту сторону? Здесь не деревня, где вы привыкли мести сор на улицу из ваших кулацких изб! Последний раз указываю, что мусорное ведро на кухне! Извольте выполнять правила социалистического общежития! Я из вас выбью эти вражеские замашки!

Если Макарова что-нибудь возражала, он свирепел:

— Эт-то что за разговоры? А под суд не хотите?

Вряд ли Кутувенко слышал об Ильфе и Петрове, но он ввел порядки, списанные с Вороньей слободки.

Он ввинтил всюду лампочки по шестнадцати ватт, так что в коридоре было темно, как в погребе. Сражение за электроэнергию началось шесть лет назад, и, как памятники ему, на стенах возникли четыре отдельных счетчика. В уборной, ванной висели таблицы: «Уходя гаси свет». Стены кухни были увешаны обведенными красным карандашом подекадными расписаниями на весь год: «Расписание уборки коридора», «Расписание уборки кухни», «Расписание уборки ванной и туалета», «Расписание очередности уплаты за счет в местах общего пользования», распределение уплаты за газ, за воду, за канализацию и т. д.

К Кутувенко никогда не приходили гости, но кто бы ни входил с улицы — моментально распахивалась дверь в конце коридора, и сам Кутувенко либо его жена сверлили глазами вошедшего, так что незамеченным никто не мог проскользнуть.

Жена Кутувенко была неряшливая, глупая, толстая, платье на ней висело сзади на пять пальцев ниже, чем спереди. Она готовила на кухне всегда одну и ту же какую-то мерзость, отчего задышалась вся квартира. Затем Кутувенко перекрывал под потолком газовый кран и уносил лещенку.

От этого особенно страдала маленькая актриса, потому что даже со стула не могла дотянуться до крана, и она завела в своей комнате электроплитку на такие случаи.

Бухгалтеров Кутувенко не трогал — видимо, боялся мужчины. Зато над женщинами измывался, как хотел. Даже если он не скандалил, а просто шаркал по коридору, сидеть в квартире было тягостно. Все, конечно, понимали, что человек болен и не надо с ним связываться, но не связываться было трудно.

Особенно возмущалась и выходила из себя нервная актриса.

— Я не могу, я сойду с ума, — повторяла она.

Они с Макаровой бегали жаловаться друг другу, обсуждали новые демарши противной стороны, обнадеживали друг друга, что скоро уйдут из этой квартиры. Макарова первая ушла — несколько неожиданным способом.

Весь день она ездила в лифте вверх-вниз, думая невеселые думы о своей жизни, заботах, о прошлых и предстоящих ссорах с Кутувенко, и стало ей плохо, так плохо, что хоть выходи и помирай.

Она остановила лифт, вышла на площадку пятого этажа, и ее странно затошнило, а сердце упало. Она села на пол, а когда открыла глаза, дом уже лежал на боку. Блестящий паркетный пол был стеной слева, а потолок с люстрой очутился на месте стены справа. По паркетной стене боком, словно невесомая, бежала горничная с испуганным лицом, туфли ее остановились перед самыми глазами лифтерши и стали меркнуть. Тут Макарова ясно поняла, что умирает. Ей стало страшно жаль дочку, которая останется одна, без роду-племени, она подумала, что надо бы просить актрису позаботиться о дочери, потому что та одна пропадет среди чужих людей.

## 2

Доярок было семь, все они были люди разные, со своими странностями, но все одинаково не любили заведующую.

Не любили за то, что она не трудит руки, приходит поздно, что на ферме беспорядки, что у нее есть любовник зоотехник Цугрик, что она купила диван, зеркальный шкаф, что носит шляпу и так далее.

Доярки с ней не разговаривали, а дела шли сами собой. Каждый выполнял положенный минимум и уходил, остальное его не касалось.

Сначала Гале показалось, что заведующую ненавидят без причины. Просто люди, которым приходилось тяжело работать, обращали свою обиду на начальство, которое болтало языком, а не работало, как они.

Правда, сердце разрывалось при виде голодных коров. Правда, заведующая могла бы приходиться на ферму не только для того, чтобы сдать молоко. Действительно, было интересно, на какие деньги она покупает новую мебель. А шляпа — остроконечная, с грязным голубым бантом — была дико безвкусна. И Галя открыла, что сама ненавидит заведующую, как все остальные.

## Ольга

Это была мощная женщина: высокая, дебая, с громадными, полными руками, она вся так и выпирала из старенького ситцевого платья. Голос у нее был зычный, как труба, и, когда она принималась обзывать заведующую выдрой, стервой и так далее, это было слышно половине села.

Ольге не хватало волос: они росли у нее жиденько на маленькой голове, и она ничего лучше не могла придумать, как заплетать их в две мыцинные косички, отчего голова казалась еще меньше.

Ольга была очень сентиментальна. Найдя у дороги цветочек, обязательно втыкала его в косичку за ухом, в карман, в петлю, так что иногда она вся была в цветочках.

Она работала дояркой десять лет и рассказывала о каком-то золотом веке на ферме, когда грели котел, а коровы ели отруби.

Коров она лупила и любила. Кажется, она не проводила принципиальной грани между ними и людьми. Когда она думала, что ее не слышат, беседовала с какой-нибудь Зорей примерно так:

— А я ему, слышь, Зорь: нема дурных, отваливай, я мужняя жена, и какой у мене ни есть муж, и какой ни дом, а все ж ты мене своим дубовым шифоньером и никелевой кроватью не купишь. Вот так, стерва Зорька, чё фукаешь? Жри!

Муж ее был трактористом. Несколько раз приходил — щупленький, чумазенький, только зубы блестят. Тогда у Ольги все падало из рук, на полуслове прекращалась ругань, Ольга на цыпочках, вся расцветая, бежала к мужу. Они отходили к пруду и долго тихо о чем-то беседовали, улыбаясь. Муж был тихий-тихий, застенчивый молчун.

Однажды Галя пошла с Ольгой в поле. Дело в том, что после дневной дойки Ольга не шла домой, а несла в узелке обед мужу, и, как бы

далеко он ни работал, она находила и кормила его. Это было не потому, что он требовал, но просто он был «какой ни на есть муж» и святая обязанность жены была снабжать его обедом.

Они долго шли полевой дорогой. Вокруг было хорошо, щебетали жаворонки и пахло сено. Хотелось зарыться в сене и спать. Галя хронически не высыпалась: днем съедали мухи, а ночью старуха стонала, поминая своих «робёнков».

Вдруг где-то далеко послышался трактор, и Ольга встрепелась, почти побежала через стерню напрямик. Они бежали полчаса, пока добрались до луга, где колесный трактор сгребал сено.

Муж остановил машину и ждал улыбаясь. Ольга неуклюже вскарабкалась на трактор, поставила узелок на раскаленный капот, и они стали целоваться, нежно, осторожно, сентиментально, «как голубки». Галя ошалело посмотрела и отвернулась. На обратном пути Ольга крыла заведующую самыми последними словами.

Гале довелось посмотреть и «какой ни на есть» Ольгин дом. Она вызвалась скроить ей платье, они вечером пошли. Это было незабываемо.

Миновали церковь, углубились по тропке в лес, потом через поляны, засаженные картошкой, через болото по шатким мосткам. И вдруг взошла луна. С земли, с болота тонкими струйками поднимался туман, в нем плавали березы и кусты. Блеснуло озеро — дивное, сказочное озеро, клубящееся серебряным туманом. Неправдоподобно роскошно над ним склонились неподвижные серебряные ивы, и среди них стояла полуразрушенная халупа — Ольгин дом.

Покроили ситец, поели вареной картошки. Когда Ольга вышла проводить, Галя спросила, почему они не построят новый дом. Ольга махнула рукой:

— Разве он чегой-нибудь добьется? Другие горлопанят, он молчит, а молчит, ну и ладно. Может, когда-нибудь накопим, так купим... Замаялась я ходить к председателю. Придешь, а он с порога: почему это у вас пудовых надоев не видать? Ты ему слово, он два. А!..

И она заплакала, заревела грубо и сипло, раскачиваясь, отпихнула Галю, взяла ее за плечи и, как перышко, толкнула прочь.

### Баба Марья

Марья Петровна Осипова, смиренная, неприметная старушка, вся в черном, была самой старой среди доярок. Она приходила очень тихо, так что этого никто не замечал, и так же тихо исчезала.

Ольга кричала, шумела, бранилась, а баба Марья никогда слова не говорила. Казалось, что и коровы ее — самые неприметные. Она их выдаивала быстро, ловко, но сдавала молока меньше всех — видимо, недодаивала. Да и не по силам это было ей.

Баба Марья всю жизнь проработала дояркой. Она много могла бы рассказать, если бы не молчала. Но во время всяких бесед или передряг она отодвигалась в сторонку, старалась найти себе дело, а пуще всего боялась оказаться при перебранке с начальством.

— Чего ты молчишь? — накидывались на нее другие — Тебе-то хуже всего!

— Бог с ними, — шептала старушка. — Не нашего ума дело.

Как-то Галя мыла с ней бидоны и заговорила о заведующей, что, пока она на ферме, вряд ли будет порядок.

— Что ты, деточка! — горько махнула рукой баба Марья. — И с другой не будет.

— Почему?

— Перевидала я их на своем веку, все одинаковы. Нема порядка, и где ты его возьмешь — лучше не встречай, делай свое дело, да и молчи...

Если бы можно было не доить коров, она бы не доила с облегчением. Но молоко нужно было сдавать — и она сдавала. Если бы на нее накричали, что недодаивает, она бы с испугу сдала больше всех. Правда, это портило коров, но мало ли коров портится на свете? Она не была злая, не была добрая, она, как равнодушная усталая лошадь, тянула хомут, который неизвестно зачем, но спокон веков был надет на нее, вздыхала и помалкивала. Кто знает, может, она не всегда была такой. Может, в юности она была веселой девчонкой, пела, озорничала, а потом ее пришибли раз, пришибли другой — может, муж, может, кто иной дали ей понять, что, если не хочешь быть битым, лучше молчи, и так она на этой мудрости и поехала.

### Тетушка Аня

Анна Ивановна Архипова за словом в карман не лезла. Для своих сорока семи лет она была довольно моложава, улыбчива и приветлива.

На ее плечах лежало большое домашнее хозяйство, и было странно, как она ухитряется все успевать: вставать в три, день-деньской крутиться на ферме, дома у печи, в хлеву, и когда она спит, и почему она такая цветущая.

Старшие ее дети работали, младшие учились, муж-инвалид сторожил утятник и ферму. Изба у тетушки Ани была лучшая в селе — так весело она глядела на мир своими чистыми окнами, такие цветы росли перед ней, такой садик ее окружал. Самая вычищенная посуда на ферме была тети Анина, самые приятные коровки — тети Анины.

Пожалуй, она иначе и не представляла себе жизнь, как крутиться, крутиться, и она ни разу не жаловалась ни на что.

Добрая, деловитая, в голубом халате с белым отложным воротничком, она быстро выдаивала свою группу, быстро убиралась, и вот уже ее воротничок мелькал где-то за плетнями — спешила домой, к другому своему стаду.

Заведующую она не любила из солидарности со всеми, но еще и потому, что та была лентяйка. Однако вступать в какие бы то ни было конфликты отказывалась:

— И что вы, девоньки, разве с ней справишься: у нее рука, ее Цугрик не выдаст. Не знаю, правда ли, сам Воробьев с ней шуры-муры крутил, а вы удивляетесь, чего это она на нашей шее сидит! Нет, увольте меня, я свое дело знаю, ко мне никто не придерется, делайте и вы так — вот весь и сказ.

Произошел такой случай. Ребятишки нарезали камышей, связали из них плот и стали плавать по пруду. На середине плот стал разваливаться, и двое малышей стали тонуть.

Доярки услышали крики, заметались по берегу. Тетя Аня, как была в халате, свирепо пошла в воду, решительно, по-собачьи поплыла, ребятишки уцепились за нее, она их вытащила, оттрепала как следует и отправила по домам.

### Сестры Ряхины

Они были неразлучны, кругленькие, белокурые и разбитные. Бегали на работу в затрапезных капотах, сбитых тапках, но молодость перла из них, и они были хорошенькие.

Эти первые поддерживали Ольгу против заведующей, кричали много и бестолково, а работа им не нравилась и вообще все на ферме не нравилось.



Старшая, Люся, была поумнее и вдумчивее. Именно она сдавала больше всех молока. Ее мучила совесть.

— Несчастные коровы,— говорила она.— Мы грыземся, а они при чем?

Как-то Галя понесла в коровник скамейку. Люся сидела на перекладине, прислонясь к столбу, и грызла соломинку. Был у нее такой тоскливый, замученный вид, что Галя встревожилась:

— Что с тобой?

— Ничего, устала,— сказала Ряхина и вышла.

В другой раз она злобно сказала:

— Уйду на железную дорогу шпалы таскать... или в город на стройку; тут пропадешь ни за что. Яма.

— И я уйду,— сказала Валя.

— Нет, останешься, а то огород отымут.

— Тогда и ты оставайся!

— Ну, жребий бросим...

И та же Люся умела всех здорово смешить. Шутки ее были несложные, получались как-то сами собой по любому поводу. Перевернув ведро с молоком, она серьезно говорила:

— Ах ты, батюшки, чуть не разлила.

Похлопав Лимона по спине, спрашивала:

— Лимон, чай ты дурак? Господи боже мой, пошли мне такого мужа!

Задумчиво дергая из последних сил двенадцатую корову, замечала:

— Дуракам везет, но чего ж это нам не везет?

Младшая, Валя, напротив, шутить не умела, и была она какая-то пустая, ничем веским не заполненная. Люся все что-то переваривала, задумывалась, а эта жила так, будто кто-то ее завел и пустил скакать, а за чем завел — неизвестно. Впрочем, она сама была устроена так, что эти вопросы ее не касались.

Надо доить — подоила («А, чтоб вы схоли!»), надо убирать — убрала («Сполосни и мой подойник»), открыт магазин — шмыгнула («Ой, бабы, синие босоножки привезли»), можно пойти в клуб — побежала («Девочки, гармонист новый будет!»).

Придется ей выйти замуж — выйдет как ни в чем не бывало, детей народит штук шесть, будет их колотить, будет их целовать. Для всего этого таких и заводят ключом и пускают в мир, и они, в общем, безобидны, только скучны, неинтересны, потому что разговоры у них самые прикладно-конкретные: Зорька сено разбросала, Васька жену побил, Зинка юбку купила, трактористы солидолу не дают.

Сестры были внешне похожи и неразлучны, но с Люсей Галя сдружилась, а с Валею нет.

## Тася

Тасе Чирьевой исполнилось тридцать лет, детей она не имела, а муж появлялся в селе на месяц-другой, чтобы набедокурить и опять исчезнуть: он не вылезал из тюрьмы.

Никакого хозяйства Тася не имела, никакого порядка не признавала. Могла прийти на работу раньше всех, а могла вообще проспять и не явиться. Доила с пятого на десятое и могла совсем забыть подоить какую-нибудь корову.

Наплевать ей с высокой колокольни было на пудовые надои, планы, обязательства, а любила она посплетничать да повеселиться и любила компанию.

Говорят, за компанию цыган утопился; Тася была, вероятно, его родственница. Когда Ольга ругалась, Тася крикливо и тонко ее поддерживала. Когда тетушка Аня торопливо уходила домой, Тася бросала недомытую посуду и шла за ней. Когда сестры Ряхины спешили в клуб на танцы, Тася бежала впереди них.

Ох, и танцевала она, и пела, частушек знала тысячи. Казалось, что живет она на этом свете, как птичка божия, никогда ни о чем не заботясь, хотя, может, это было и не так.

В прошлом году зимой Тасю поймали с ведром комбикорма, который она ночью тащила с фермы, да и раньше за ней водились грешки. Неразгаданной осталась пропажа дешевеньких часов «Звезда», которые Валя Ряхина сняла и повесила на столбик перед дойкой. Люся Ряхина предположила:

— Корова языком слизала.

Когда-то муж выбил Тасе передние зубы. Она вставила себе золотые, ужасно гордилась ими, шеголяла, поминутно улыбаясь без причины. Но золотые зубы как раз ее не украшали, и становилось заметно, как она стареет, дурнеет, хоть и хорохорится. Иногда было жаль ее.

### Заведующая

Среди всего этого общества Софья Васильевна была аристократкой. В деревнях встречается такая особая категория женщин, которых никогда не увидишь в поле, а только в конторе за каким-нибудь замызганным столом. На их не весьма чистых ногтях может оказаться полублезший маникюр, голова может быть завита барашком, на ногах могут быть модельные туфли на массивном каблуке, и они причисляют себя к сельской интеллигенции.

Софья Васильевна прошла долгий и сложный путь, чтобы удержаться на плаву в высших сферах. Была она и нерасписанной супругой директора бывшей МТС, и единственным другом жизни главного агронома, и женой прежнего председателя колхоза, и золотой душой общества зоотехников.

Соответственно тому она работала учетчицей, заведующей лабораторией, секретарем, заведующей избой-читальней, а теперь заведующей фермой. Она только не работала в полеводческой бригаде, в свинарках или дояркой — для этого она всегда была больна.

Поскольку тащить с фермы уже было нечего, кроме вазелина, Софья Васильевна и не проявляла к ней интереса. Следовательно, заведующая сама по себе не приносила особого вреда. Но ее ненавидели доярки, которые из-за этого работали скверно. Галя поняла это и вскоре, помня просьбу Волкова, написала ему довольно примечательное письмо:

«В вашей работе есть досадная ошибка, при которой вы никогда не узнаете подлинного положения дел. Вы приезжаете, ходите, смотрите и говорите с начальством, а вы бы походили без него.

Я не хочу высказывать вам свое мнение, с которым вы, может, не почитаетесь, и тем более мне неприятно было бы информировать вас о чем бы то ни было. Вы приезжайте к нам с утра и посмотрите сами от начала и до конца».

Она показала записку Люсе Ряхиной, Ольге, тетушке Ане, и те одобрили. Правда, тетушка Аня сказала, что все это бесполезно, начальство и само хорошо все знает. Главное — «рука».

## 3

Волков приехал в четыре часа утра: наверное, никогда еще не появлялись посторонние на ферме так рано.

Галя билась с «тугосисей» Белоножкой, когда услышала мотор, подумала, что это автоцистерна, но, увидев «москвича» на длинных ногах, она радостно удивилась, и ей стало страшно.

Доярки побросали работу и сбежались к машине. Волков — помятый, невыспавшийся, но решительный — полез через изгородь в загон. Тут он познакомился с Лимоном, которого в конце концов пришлось выгнать за изгородь.

Обстоятельно, с комментариями, Волкову были продемонстрированы солидол, ягнята, зеленая вода, рваные цедилки, ржавый кипяильный куб.

Повели его по коровнику через горы навоза, вдоль пустых кормушек, затем как бы невзначай по самым скользким доскам, но перестарались: Волков спросонья поскользнулся и шлепнулся в коровью лужу. Принялись замывать костюм зеленой водой — только развезли.

Злой как черт Волков велел послать за заведующей и Ивановым.

После дойки никто не пошел домой, а прямо под стеной коровника началось стихийное собрание.

Женщины тихо приснули, когда Волков возмущенно начал:

— Вот у вас скользкие доски проложены. Днем вы доите в коровнике и носите ведра с молоком. Говорят, многие падали, но, к счастью, никто не покалечился. Вон за утятником работает пила, там полно опилок. Нужно только привезти и посыпать. Даже не привезти — принести в мешке. Что, вам для этого нужно специальное решение парткома?

— Я им говорил, — сказал Иванов, — и напоминал.

— Я уж устала говорить! — воскликнула заведующая. — Разве они слушают слова? Им же только прийти, отбарабанить — и домой.

— Сама иди потаскай, потруди руки! — не очень убедительно стала защищаться Ольга. — Все вы хороши говорить! А чего это я буду носить? Она с Цугриком прохлаждается, а мы носим? Нема дурных!

— Цугрик здесь ни при чем, — заметил Волков.

Ему никто не возразил, и он заговорил опять:

— Вот вы моете бидоны и всю посуду водой. А почему не кипятите ее?

— Я сигнализировала товарищу Иванову: исправьте печь, — сказала заведующая.

— Когда это вы мне сигнализировали? — рассердился Иванов. — Я сам говорил: кипятите воду! И напоминал!

— Сами себе вы напоминали, — возмутилась заведующая. — Печь мы не можем топить, она дымит, коровы задыхаются.

— Там кирпич в трубу упал, — сказала Ольга. — Залезть да вытащить, так ей же лень ручки марать, ей чтоб кто-нибудь, а самой только к Цугрику бегать!

— Цугрик, говорю вам, ни при чем, — раздраженно сказал Волков. — А вот вы, Ольга, скажите лучше, почему у вас коровы грязные? Вы, видно, разучились скребки брать в руки, отчего это?

— наших коров чистить — это перпетуум-мобиле, — сказала Люся.

— Вы у нее дома поглядите! — завопила Ольга. — Тогда узнаете, как Софья Васильевна чистоту наводит. Потому что ее собственное, туды же ведь Цугрик ходит!

— Прекратите о Цугрике! — завопил Волков. — Я вас по существу спрашиваю! Почему смазываете руки черт знает чем, какой-то дрянью?

— Завтра я вазелин доставлю,— спокойно сказала заведующая.— Признаю критику, это моя недоработка; были перебои, потому что мне некогда было съездить.

— Полгода уже недоработка!

— Она ворует! — воскликнула Ольга.— Она на ем наживается, и молоко ворует, и вазелин ворует, и ведра поворовала, она диваны да шифоньеры покупает, милого своо приваживает. А я не хочу работать, коли так все идет, она вам «выполним-перевыполним, горим решимостями», а сама воровка и потаскушка со своим Цугриком, вот как!

Тут поднялся невообразимый шум, и напрасно Волков кричал, стучал кулаком: бабы разошлись и перебивали одна другую, заведующая махала рукой, ничего нельзя было понять, даже баба Марья вскидывалась, открывала рот, но, впрочем, молчала.

Наконец страсти немного улеглись. Заведующая застыла с каменным лицом.

— Может, послушаем вас? — нерешительно спросил Волков.— Что вы скажете?

Заведующая встала, оглядела всех презрительно и выложила:

— Чирьева — лентяйка и первая горлопанка потому, что ее поймали в прошлом году с ведром комбикорма. Она мне этого простить не может.

— Сама ты воровка! — презрительно закричала Чирьева.

— Баба Марья злится, что я не даю молока, она неоднократно просила молока для себя, а я не давала. Архипова Анна — бракоделка, потому у нее свое хозяйство, а к государственному душа не лежит, ей лишь хвостом крутнуть — да домой. Таких заставишь лишний час переработать, держи карман.

— Ты много лишних переработала! — крикнула Валя Ряхина.

— И вы, Ряхины, туда же. Нету чтобы проявить трудовой энтузиазм, с комсомольским огоньком, как вас учили. Вы взяли бы пример с новенькой, она — посмотрите — пришла на трудную и незнакомую работу, а старается, потому что она честная комсомолка, она знает: родине нужно молоко и наш коллектив должен не склоками заниматься, а неустанно повышать производительность труда, добиваться пудовых надоев от каждой фуражной коровы. Этого требует от нас родина, этому учит нас партия!

Она с достоинством села. Наступило молчание. Галя посмотрела вокруг: доярки притихли. У Ольги на лице было такое выражение, будто ее ударили обухом. Иванов улыбался. Волков опустил глаза и рассматривал руки.

— Может, пастухи что-нибудь скажут? — спросил он.

— А что? Наше дело малое, гоняем,— неохотно сказал Костя с какой-то насмешкой,— наше дело пастушье равно что телячье...

Волков посмотрел на Галю. У нее упало сердце.

— Вас заведующая похвалила. Вы уже работаете полтора месяца и комбикорма, молока, ведер, кажется, не собирались воровать, а чужой личной жизни вам завидовать рано. Может, вы нам что-нибудь скажете?

У Гали пересохло в горле. Она не ожидала, что все обернется тем, она поняла, что Волков недаром вызывает ее: она заварила кашу и путь держит ответ. Она проглотила слюну и испуганно поднялась.

Если бы у нее был жизненный опыт, она бы моментально сообразила: дело доярки проиграно, почти доказано, что рыльце у всех в пуху, а красно говорят они не умеют в такой мере, в какой это умеет заведующая. Иванов будет только рад, если Галя поддержит заведующую. Волков поморщится, но обрушит свой гнев на доярку, а Галя никаких фактов ему не писала, она просила только приехать и посмотреть.

Свергнуть заведующую не удастся, как видно, у нее действительно «рука», и недаром пастухи смолчали, они видят, что эта каша ничего, кроме вреда, не принесет.

Но Галя еще была молодая и неопытная, она стала говорить как раз то, что думала.

Собрание шло прямо на траве. Люди сидели широким кружком, и солнце уже припекало им затылки. Рядом о жерди чесались коровы и бродили ягнята. Иванов поймал одного и стал выбирать у него репья.

Галя сказала:

— Но послушайте, дело не в вазелине или ведре комбикорма. Софья Васильевна говорила обо всех очень нехорошо. Это неверно, наши женщины очень старательные, очень трудолюбивые. Как раз сама Софья Васильевна, мне кажется,— ленивый и равнодушный человек. Когда заведующая относится к делу плохо, то и другие тоже относятся плохо, потому что обидно и вообще... Судите сами: все приходят в половине четвертого утра, а кончают вечером в одиннадцатом часу, это трудная, беспорядочная жизнь. Заведующая бывает на ферме только утром, чтобы сдать молоко, вот и вся ее работа. Так разве это не обидно? Зачем тогда заведующая, молоко мы могли бы сдать и сами...

— Вы такие грамотные, без меня насдаете — в тюрьму сядете!— воскликнула Софья Васильевна.

Поднялся шум. Ольга уже вытерла слезы и полезла на заведующую с кулаками, ее держали и успокаивали.

— Продолжайте,— сказал Волков.— Интересно...

— Мы потому писали вам, просили вас приехать,— сказала Галя, осмелев,— что сами мы бессильны. Вначале мне стало просто страшно: такой грязи в жизни я не видела. Навоз ведь надо убирать, каждый день убирать, и бригадир пусть выделят людей, а про опилки я не думала, но мы принесем, а лучше сразу привезти несколько подвод, дайте подводу, это какой-нибудь час дела. Мы и погрузим и разгрузим...

— Скажи про подкормку святым духом,— напомнила Люся.

— Днем, в жару, коровы не пасутся из-за оводов, стоят часами на цепи в коровнике, и никакой подкормки нет, надежда вся на выпас. Но ведь это азбука зоотехники — чтобы скоту давали в стойле траву или сено, а здесь голодовка стала азбукой. Никогда никаких пудовых надоев не будет, всем это ясно, но никого это не беспокоит. Лисичка должна была телиться, ее не выгоняли в стадо, она двое суток стояла голодная, потом все-таки выгнали — так ведь и коров и телят можно покалечить. Это позорно, и если товарищ Иванов так занят, что не занимается этим, то Софья Васильевна должна была устроить, и людей послать косить, и лошадей найти...

— Один фотографирует цельными днями, а другая дрыхнет! — зычно крикнула Ольга.

— Как вам не стыдно,— говорила Галя закусив удила,— как не стыдно употреблять высокие слова, чтобы спекулировать ими. Вы говорите о родине, обязательствах, долге и партии, но вам ведь наплевать на этот долг и обязательства. Ведь вы же сами ничего полезного для родины не делаете! Вы только произносите слова, которые специально выучили, которые для вас — способ пускать пыль в глаза и запугивать: мол, вот я какой идейный человек, попробуй тронь меня. За эти фразы вы прячетесь, как за забор. Ими вы выставляете себя в глазах начальства, чтобы не потерять теплое место, круглую зарплату, иначе вам придется работать в поле или на заводе у станка, а это — не по вашей ленивой душе, вот вы и произносите речи из слов, которые вы оскорбляете и вряд ли в них верите. Вы просто негодный и ненужный работник.

— Боже, какая змея! Они на меня писали,— с ужасом сказала заведующая, всплеснув руками.— Люди добрые, у нас по четырнадцать литров на корову — это что же, с неба упало?

— Но это же совсем не благодаря вам, а несмотря на вас,— с досадой сказала Галя.— Просто не все такие ленивые, как вы.

Она села, и дальнейшее происходило для нее как в тумане.

Шум поднялся невероятный, были вытянуты на свет грехи всех и каждого, нынешние и минувшие. Но чем-то Галя всех подкупила, и речь ее все-таки повернула собрание. Она только слышала, как под конец заведующая истерически выкрикнула:

— Ни минуты не останусь! Меня в «Рассвет» уже год зовут завчистальной, больше моей ноги тут не будет!

Она вскочила и ушла, провожаемая криками.

Доярки торжествовали. Теперь они не понимали, чего ради они так долго терпели, почему раньше не могли избавиться от нее.

— Придется вам некоторое время пожить без заведующей,— пошучивая, сказал Волков.

— Не надо нам совсем,— ответила Ольга.— Пушай Галка или Люська сдают, сами справимся.

— Посмотрим, посмотрим...— пожал плечом Волков.— С тобой, Иванов, нам придется говорить особо.

Они пошли в контору, и вскоре после этого к коровнику подкатила подвода, доверху груженная опилками.

— Куда тут сваливать? — крикнул возчик.

## 4

— Дай-ка руку,— сказал Костя.— Не думал я, что в тебе столько пыли.

Он крепко пожал ее руку и немного задержал.

— Ну, доярочки, сегодня я вам коров напасу — будут, как бочки, сегодня праздник.

— Держитесь, девчата, ну, теперь в грязь не ударить! — говорили все.

Ольга объявила, что домой не идет, что в кладовке лежит мешок извести и она побелит коровник. Надоело.

Все были возбуждены. Даже вечно занятая тетушка Аня закатила рукава и принялась мыть окна. Сначала ей пришлось обметать их веником — столько накопилось паутины и сору. Сестры Ряхины метлами очищали потолок и стены. Ольга, вся с ног до головы в брызгах, белила.

Им хотелось доказать, что они были правы, и никому не жаль было труда, и им было так весело, ну, просто все покатывались.

Выскоблили кормушки; Галя полезла на крышу и пробила дымоход. Баба Марья и Тася вычерпали жижу из котла, оттерли его кирпичом, наносили воды из колодца и разожгли огонь.

Все вместе взялись за вилы и грабли и два часа убирали навоз, наворотили его за коровником целую гору и докопались до подлинного пола, а скользкие доски выбросили. Пол посыпали опилками. Мусор вокруг здания сгребли и подожгли. От костров потянул веселый едкий дым, как бывает весной в садах, когда сжигается прошлогодний лист. Может, потому у всех было какое-то весеннее настроение.

Колхозники потянулись на огонек, шли посмотреть, что тут делается, улыбались: разошлись доярки!

В довершение всего прибыли телеги со свежескошенным овсом. Вид-

но, разговор между Волковым и Ивановым носил сугубо конкретный характер.

Это были счастливые часы. Все носилось вперегонки, словно отделивали свою новую квартиру, без усталости и ссор.

Сев передохнуть, Галя изумленно оглядывалась. Что же все-таки случилось? Почему раньше все шло через пень-колоду, если были те же самые люди, с теми же руками? Заведующую не заставили работать, ее только прогнали.

Неужто в самом деле один паразит, сидящий сверху, способен так расстроить, разочаровать целый коллектив и отбить всякую охоту к делу?

Люди с золотыми руками — повсюду, люди умеют умно сеять, чисто косить, беречь урожай, любить скот, лелеять землю. Отчего же в одном месте сеют так, что любо-дорого взглянуть, а в другом — ковырнули сверху, будто со зла, и с плеч долой? Отчего одни собрали зерно к зерну, а другие рассыпали его по дорогам, по станциям, под дождями сгноили тысячи центнеров к чертовой матери и никто не почесался?!

Посмотрите, как любит народ кормилицу-корову, какие ласковые имена дают телятам при рождении. Ведь не существует просто коров, а есть непременно Зорьки, Дубравки, Ромашки, Метелицы, Черешни, Красавки, Любимки... А потом, глядь, лежат эти Дубравки и Ромашки, прикованные цепями, голодные, ревут, встать не могут, по шею в навозе, а вокруг ходят те же люди, все те же люди — и делают лишь бы с плеч долой. Почему?

Или они злые, или стали вдруг лентяями беспросветными, или мстят кому? Да не мстят, не лентяи и не злые. Просто нужно искать ту холеру, которая села им в душу, которая-то и есть самая злая, ленивая и равнодушная — и гнать ее шпалы носить, ломом ворочать, раз не умеет другого дела, кроме как языком пустословить. Вот эта холера — она самая вредная и есть!

Первые дни Галя думала только одно: как бы выстоять. Она запомнила эти дни на всю жизнь. Это был кошмар: она не успевала выспаться, не отходили руки, пальцы немели. Каждый день трижды по дюжине коров, трижды по десять тысяч сжатий.

Потом наступила глухая усталость с безразличием. Она работала, как машина, как автомат. Никаких посторонних мыслей, своей жизни — только коровник и сон, сон и коровник.

А дальше началось что-то похожее на жизнь тетушки Ани. Галя крутилась с утра до ночи, но уже особенно не уставала, сна ей хватало. Она произвела переворот в хозяйстве Пуговкиной, выскоблила, надраила избу, все перестирала, и наступил день, когда она обнаружила, что дома вроде делать нечего. Тогда она впервые задумалась над фермой.

Когда пригнали стадо на дневную дойку, коровы очень удивились. Коровы могут удивляться. Они, не узнав коровника, сбились в воротах и боялись входить, пришлось загонять силой и разводить по местам.

Они сразу же наляпали навозу на свежие опилки, стали разбрасывать и затаптывать зеленый овес, это было досадно, и стало ясно, как много теперь прибавилось работы, чтобы поддерживать чистоту.

Не надоест ли это все? Опять не привезут подкормку, опять нарастет навоз и засорится печь... И Галя поспешно поклялась себе: нет, даже если у всех опустятся руки, она все равно будет держать так, как сегодня. К сожалению, она не знала, что Люся, Ольга, тетушка Аня и даже Тася про себя решили то же.

Дойка прошла гладко, коровы охотно отдавали молоко: они рылись в овсе и не обращали внимания. Доярки просто нахвалиться не могли. До сих пор еще никто не ходил домой, и на радостях они принялись чистить и скрести коров.

В человеке спрятано удивительно много сил. Силы эти, однако, не так просто открываются, а где-то спят, дремлют, и нужен какой-то особый душевный порыв или трудный переходный период, чтобы силы эти хлынули из всех шлюзов, как молоко из Сливы, и тогда человек преобразается. Может, преобразается не на день, не на два, а на всю жизнь.

Лентяй привыкает спать по пятнадцать часов в сутки и устает после малой работы. Другой спит шесть, а дел ему все мало. И хотя бы тот ленивый прожил сто лет — так нет же, помрет, сукин сын, на пятом десятке! А люди, подобные тетушке Ане, живут да живут: дела и заботы не отпускают их.

Так, один за жизнь сделает столько, что хватило бы пятерым, а другой едва-едва успевает съесть свои сорок тысяч котлет. Эти самые сукины сыны просыпают жизнь, так и не узнав, не заподозрив даже, какие титанические силы в них вместо бурного огня пшиком пошли. Таким людям жизнь, конечно, очень коротка, короче, чем кому-либо.

### Разговор автора с героиней

А в т о р. Ну, и когда же ты ушла домой в тот день?

Г а л я. Почистила коров и ушла.

А в т о р. Устала?

Г а л я. Еще бы. Да, кстати, там еще была радость. Начала я чистить Сливу, облила ее водой, скребла, чесала, а потом гляжу — батюшки мои, какая красавица! Не смейтесь, это приятно. Шерсть у нее светло-желтая, львиного цвета, лоснится и отлиывает медью. А живот белый, пушистый. Очень хорошая корова Слива, молочная.

А в т о р. Волков еще приходил в коровник?

Г а л я. Приходил смотреть чудо. Я этого уже не видела, меня замутило от голода, я пошла домой. Ушла и всю шатало.

А в т о р. Ну, в этот день ты уже не жалела, что приехала?

Г а л я. Нельзя сказать, чтоб я жалела раньше, о чем мне было жалеть? Просто пришибло все это как-то... очень пришибло.

А в т о р. Я это знаю, это страшно, так можно и не подняться.

Г а л я. Конечно, случается, кончают сельскохозяйственный институт, едут в деревню, потом бегут обратно и работают кассиром в магазине, и я их понимаю. А если еще родные и всякое такое... очень понимаю.

А в т о р. Когда думаю о таких людях, я считаю их искалеченными, и они сами виноваты в том больше всех.

Г а л я. Да...

А в т о р. А что?

Г а л я. Вы судите умственно и — ах, как правильно. Их трудно осуждать, очень трудно, хотя нужно. Но надо иметь на это право. Они не виноваты больше всех. Я осуждаю. Я бы не убежала так. Все равно бы поборолась рано или поздно. Но это же потому, что я понимала: сдаться — это действительно искалечиться, совсем пропасть. Не все это понимают, правда?

А в т о р. Ладно, согласен, но я хочу еще вот что сказать. Еще меньше люди понимают, что не сдаваться, что драться и доказывать — это не просто верный путь, а единственно верный путь человека. Ну, а как вообще — Иванов, Пуговкина, доярки не обижали тебя?



Г а л я. Нет. Доярки, в общем, добрые. Иванов не трогал. С Пуговкиной тяжеловато бывало; может, напрасно у нее поселилась.

А в т о р. Да, вот я все время думаю: на какие средства ты стала жить? Зарплаты-то ведь у тебя не было?

Г а л я. Иванов выписал небольшой аванс, чтоб я протянула до осени, а тогда будут трудодни. Ладно у Пуговкиной нашлось помидоров много. И молоко доярки пьют на работе.

А в т о р. А! Это по закону или тайком?

Г а л я. Не знаю, как назвать. В общем, наверное, не положено, никто не разрешал, но никто и не запрещал. Это уж так заведено, пьют — да и как же иначе? Если, говорят, не пить, тогда совсем святые будем.

А в т о р. На здоровье вам. Вот почему, оказывается, все доярки такие крепкие да румяные.

Г а л я. А вы идите сами, поработайте, как они, — тоже будете румяным.

А в т о р. Ладно, не сердись. Ты устала.

Г а л я. Устала. До свидания.

Пуговкина, как всегда, была дома и занималась непонятно чем. Каждый день она много топала, много переставляла, копалась, начинала варить, а результатов не было видно. Как с утра в избе было не прибрано, так и к вечеру; как с утра стрекотали голодные куры, так они кричали к вечеру.

— Что, новые порядки заводите? — спросила Пуговкина. — Скоро, говорят, коровам перины стелить будете?

— Перины не перины, а надоело в свинушнике работать, — сказала Галя.

— Уже надоело. Что-то ты дальше запоешь?

— И дальше то же самое, а что?

— Видела я многих, как ты. Брались новые порядки вводить. Ох, сколько тех новых порядков... То одно сеять, то другое не сеять; одно меняют, другое ломают, а толку нет.

— Почему нет толку? — возразила Галя. — Вот вы видели много на своем веку — неужели нет разницы? Как было раньше, как стало теперь...

— И раньше добра не было, и теперь нету, — злю сказала Пуговкина.

— Раньше была темнота и невежество, — сказала Галя.

— Раньше хоть бог был, а теперь и бога нету. И пожалиться некому.

— Как же вы так живете? — озадаченно сказала Галя. Она еще не отошла после сегодняшнего возбужденного утра. — Зачем же тогда жить на свете?

— Не знаю, — сказала Пуговкина. — А ты зачем живешь? Чего ты сюда приехала? Много ты знаешь. Поживи, как я, тогда объяснишь мне, зачем люди живут. Жрать хотят, вот и живут. Вон утки — жрут, жрут, а потом ее за крылья да на живодерку... Чего они живут? Жрать хотят, вот и живут.

У Гали вдруг заболела голова. Она чувствовала, что в чем-то Пуговкина права, однако это не та правда, которая самая большая, а какая-то другая правда, недобрая. Но она не могла возразить что-нибудь такое же сильное, как это «жрать хотят — живут». Она смолчала.

— И правды нету, и добра нету, и справедливости нету! — бормотала Пуговкина, копаясь в горшках. — Хоть бы помереть скорее, пропади оно пропадом.

Галя пожала плечом, ушла к себе в закуток, стала причесываться, но руки ее устали, были тяжелы, и на душе стало тяжело как-то. Она при-

слушивалась, как топают и бормочет Пуговкина, и так и сидела с гребешком в руке.

Впервые она подумала, что жизнь этой женщины, должно быть, ужасна, если она так смотрит на все.

Галя легла на свою кровать не раздеваясь, закрыла глаза, и перед ней закружилось огромное беличье колесо, в котором по сетке бежала она, бежала Ольга, сестры Ряхины, Тася Чирьева, бежали быстро, изо всех сил, а колесо стояло на месте.

В этом состоянии ей показалась такой чепухой вся сегодняшняя возня в коровнике, все эти опилки, побелки, подкормки. Есть ли опилки или нет — какая разница? Когда нет опилок, колесо стоит, а когда есть опилки, оно начинает бешено вертеться на месте — вот какая разница.

Оно вертится, девушки в нем стареют. В колесо карабкаются маленькие девчушки, дети этих пожилых женщин-доярок. Девчушки держат хвосты, им интересно, для них колесо полно неизъяснимой прелести и таинственности, они пробуют доить коров, а у старых женщин отнимаются руки и ноги — они пытаются отдохнуть, но колесо их подхватывает, и носит, и треплет. Старые женщины стонут жутко, неправдоподобно:

— Робёнки мои...

Этот животный стон повторился много раз, как показалось Гале. Она проснулась, села на кровати, обхватив тяжелую голову руками. Она не спала и пяти минут. А Пуговкина плакала за фанерной перегородкой, сморкалась. Во дворе стрекотали куры. Солнце стояло высоко, и было невыносимо душно.

## 5

«Что со мною? Что я, с ума схожу?» — думала Галя, спускаясь по тропинке; ее словно била лихорадка, руки не находили места, хотелось заламывать их; хотелось с кем-нибудь поговорить, умным и спокойным.

Она спешила к коровнику почти со злостью и отчаянием, она была уверена, что коровы затоптали подкормку, а Слива вывалялась в навозе.

Слива не вывалялась в навозе, стояла, пережевывала жвачку, и шерсть ее отливала медью.

Галя зашла со стороны кормушек, взяла Сливу за морду и заглянула в глаза. Корова не противилась, только глаза ее выпучились, стали видны белки с красными жилками. Зрачок у нее, как у всех коров, был в форме маленького прямоугольника. Этот прямоугольник был подернут лиловой дымкой, казалось, Слива прячется за этой дымкой, и только изредка в глазах ее мелькало что-то осмысленное.

— Слива, королева ты моя... — сказала Галя.

Корова насторожила уши, протянула морду и дружелюбно фукнула. Нос у нее был широкий, черный, холодный.

Галя пошла по ряду своих коров, трогая их за рога, заглядывая с какой-то надеждой в глаза; все глаза были подернуты лиловыми дымками, от этого ее тоскливое одиночество еще усилилось.

Она чуть не вскрикнула от радости, когда раздался голоса. Жара спадала, и пастухи пришли выгонять. Она стала говорить с ними о самых пустячных пустяках.

— По правилам, это вы должны отвязывать коров, — говорил Костя ворчливо. — А мое дело получить стадо и сдать. Да что с вами делать...

А она слушала его слова, как музыку, и про себя просила об одном: «Говори, говори!» Она решила, что теперь будет каждый день помогать ему выпускать стадо, потому что это самый хороший момент на дню.

Петька протяжно кричал, направляя стадо на дорогу. Мелькнула горпедоподобная спина Лимона, и вокруг него произошла какая-то свалка.

— Можно, я пойду с вами? — спросила Галя.

— Зачем? — удивился Костя.

— Помогу.

— Сами справимся.

— Ну, возьмите!..

— А мне что? — пожал плечом Костя. — Иди себе.

И у нее ноги подкосились от счастья. Она поняла, что весь день ждала именно этого — чтобы пойти в поле со стадом, чтобы бегать вокруг, махать палкой и кричать, а потом лечь в траву, вспомнить о небе и посмотреть в него.

Двигать стадо быстро и собранно — это был стиль Кости и один из его секретов. Он давал коровам добрую разминку, держал их, как говорится, в форме, после чего они жадно накидывались на еду. И чем быстрее добирались до пастбища, тем больше времени было на эту еду.

Плохой пастух гонит — стадо плетется, коровы забредают в огороды, останавливаются, мычат. У Кости вся единая масса шла быстрым шагом — и сам он вышагивал широко, красиво, с рваным дождевиком через плечо, постреливая бичом, а Петька с устрашающими воплями шнырял вокруг стада, как борзой щенок. Галя трусила рысцой сзади, не поспевая за ними.

Кончилось село, потянулись картофельные поля, скошенные луга. Долина ручья была роскошная, поросшая камышами и осокой, местами в ней образовались небольшие, но глубокие ямы-бочаги с таинственной темной водой, по поверхности которой шныряли серебряные плавунцы. Стадо пошло по траве, перестало пылить, и навстречу хлынул лесной пьянящий воздух.

С краю лес был редкий, березы вперемежку с осинами стояли просторно, в одиночку и кучками, солнце свободно светило сквозь них, перебирая стволы, и все это было славное, доброе, спокойное.

Стадо рассыпалось между березами, жадно щипля траву. Костя швырнул на папоротники свой дырявый плащ, расправил его барским жестом и вытянулся во всю длину. Петька последний раз похлопал бичом, и стало тихо-тихо, только дышали коровы.

Галя потянула к себе Костин кнут.

Это была сложная штука метров двенадцати длиной. Рукоятка — с добрую скалку. К ней намертво обручами, шурупами и проволокой крепилась вырезанная из автопокрышки полоса — чем дальше, тем тоньше. Она наращивалась крепко пришитым к ней приводным ремнем от какого-то мотора. Затем следовали резиновые жгуты неизвестного происхождения, к последнему из них был пришит двухметровый сыромятный ремешок, а последний метр этого уникального кнута был сплетен из черного конского волоса с узелком и красной кисточкой на конце.

Вот чтобы, не сходя с места, за двенадцать метров достать коровьи ляжки этим узелком, и было создано это чудо.

У подпaska тоже имелся кнут, но соответственно его рангу не превышал восьми метров.

Когда Галя подняла кнут и размахнулась, ничего у нее не вышло, только запуталась. Пастухи с удовольствием смотрели на ее упражнения, потом Петька бросился учить.

Он взмахивал, и длинный бич, все эти резиновые полосы, жгуты, ремни кольцом катились от него и выкладывались в траве прямой дорожкой. Развернув таким образом кнут, он делал новый взмах, вся цепь ремней возносилась в воздух, проносилась со свистом вперед, а в послед-

ний момент Петька делал незаметное движение на себя, и раздавался такой оглушительный выстрел, что звенело в ушах, а с земли взлетали рассеченные травинки и сухие листья.

Научиться стрелять таким бичом, наверное, было необыкновенным счастьем. Галя научилась раскладывать его, потом взмахнула — и тут произошло неожиданное. Вместо того чтобы просвистеть вперед, кнут всей силой обрушился на нее. Она почувствовала дикую, обжигающую боль и упала, много раз обвита кнутом. Петька повалился от хохота: видимо, ему это и требовалось доказать.

Галя рассердилась, у нее выступили от боли слезы. Она упрямо развернула кнут. На этот раз ей почти удалось отскочить от свистящей змеи, но последний хвостик из конского волоса, как ножиком, хлестнул ее по ногам.

Петька катался, а Костя с интересом наблюдал. Галя вытерла пот со лба.

— Дурак,— сказала она Петьке.

— Руку отводи вот так,— посоветовал Костя.

Сжав зубы, Галя сделала кольца и снова послала вперед. На этот раз кнут миновал ее, но выстрела не получилось. Она повторила еще раз, дернула к себе — и прозвучал жиденький хлопок.

— Ого,— сказал Костя с уважением.— Для первого раза сила! Рукой под конец делают так...

Он подошел к ней, пристроился сзади и показал, держа ее руку в своей. Он размахнулся ее рукой, как-то ловко тронул, всего лишь тронул на себя, и эти свистящие кольца произвели непостижимую перестройку — и грохнул выстрел.

Галя ощутила своей спиной широкую и твердую, как каменная глыба, грудь Кости.

— Хватит,— ласково сказал он.— Ты и так сама себя высекла.

Только теперь она почувствовала, как ей по-настоящему больно. Даже нельзя было определить, где сильнее болит. Она была вся жестоко исполосована, и ей стало так смешно, так смешно, она просто готова была повалиться в траву, как этот дурачок Петька, и хохотать от боли и счастья.

— Значит, мать копает картошку? — спросил Костя у Петьки.

— Ага.

— Одна?

— Ага.

— Ну, дуй, помогай, черт с тобой. Галка побудет покуда, вишь, сама напросилась. Только смотри, чтоб Иванов не засек, а заметит, не ври, а прямо говори: Костя отпустил. Понял?

— Ага!

— Заверни напоследок Лимона, в клевер пошел.

И тут Галя очнулась. Она увидела, что находится в лесу, что исхлестана кнутом, а Петька уходит.

Она закрыла глаза и подумала: это хорошо, пусть поскорее уходит.

Солнце было уже низко, и тени становились длиннее. Коровы помахивали хвостами и щипали, щипали торопливо, не имея времени мотнуть головой. Костя озабоченно достал карманные часы.

— Ладно, дам еще часок, а клеверу на закуску. Видишь, клевер рядом, а никто не лезет, кроме Лимона-балбеса. Уже знают свое время.— Он покосился на Галю и слишком деловито добавил: — На клевере держи их по минутам, с часами в руке, не то беда.

— Какая? — спросила Галя и не узнала своего звонкого голоса.

— Едят, пока раздуются, как бочки, тогда падают и подышают. Однажды у меня было, одна удрала на клеверище. Списали.

Он сел на плащ и жестом пригласил Галю. Она спросила:

— Правда, ты был комбайнером?

— Правда, — сказал он. — И трактористом — тоже правда.

— Почему ты пастух?

— Мне в самом деле нравится, — улыбнулся он.

— Почему?

— Почему да почему, — добродушно сказал он. — Очень хорошая работа, спокойная, здоровая, и я сам себе хозяин. Пастух — это, брат, на селе почетное дело! Знаешь ты, сколько надо знать пастуху: все травы, и все повадки, и часы — и все иначе в разное время года. Тебя пусти — ты загубишь стадо в два дня. Они же не дикие, они забыли все на свете, жрут что попадя, без меры. Хороший пастух — это все, это и молоко ваше, и мясо. А я хороший пастух.

Подул ветер, прошелся по вершинам, и вершины зашумели, заговорили, листья на осинах затрепетали, и скрипнуло старое дерево. Коровы паслись — только шорох стоял. Они понемногу углублялись в лес, передних уже не видно было. Костя и Галя подняли плащ и перенесли его на другое место, поближе.

— Зачем ты живешь? — спросила Галя.

— Нравится, — засмеялся он. — Я же говорю, что нравится. Вот живу — и все, и не понимаю вас, чего вам надо? Мне бы, если бы поесть было, так ничего и не надо. Спать люблю, вот так сидеть люблю, любить люблю.

— Любить?

— А что? Вот придешь ты — любить буду. Многие приходили.

— А что-нибудь другое, огромное...

— Что?

Она хотела возразить, что человеку нужен весь земной шар, как она учила в школе, что жить надо ради больших целей, но почему-то у нее не находилось слов, она запуталась в мыслях и вспомнила беличье колесо.

Она подумала: «Не все ли равно, кто как живет и что ему нравится. Может, как раз это и есть оно, огромное: вольно дышать, думать, любить все это, быть здоровым, не усталым, с миром в душе и хорошим настроением, среди природы — частицей ее, а не гробиться в грохоте на тракторе или крутиться в колесе? Костю не тянет в большой мир, для него мир всюду велик. Ему нравится просто жить. А мы зачем-то мечемся, убиваемся на ферме, вскакиваем в три часа утра. Но он счастливее нас?»

— А ноги ты себе отхлестала, — сказал Костя и провел рукой по красным вздувшимся полосам на ее ногах. — Ноги у тебя красивые.

Она спрятала ноги под юбку. Костя усмехнулся.

Она подумала:

«Господи, какой он красивый, какой спокойный. Как этот лес. Наверное, те девушки, что приходили к нему, ныряли в этот лес с головой и не находили дороги обратно. Счастливые, наверное, им было спокойно, хорошо».

— И лицо расхлестала, — сказал Костя, разглядывая ее. — Теперь все узнают, что ты у меня была.

Она подумала: «Ну и пусть. Что в этом такого?»

Он положил ей руку на плечо, она не удивилась, не отодвинулась.

Неподалеку белела странная береза. Там было какое-то болотце, ключ, наверное, вода подточила березу или ветер свалил — дерево упало в воду, упало давно когда-то, но продолжало расти, изогнувшись кверху. Половиной ствола оно лежало на воде, а половиной выгибалось к небу, изящно отражаясь в воде.

Галя глядела на эту березу и думала, что даже в уродстве своем природа красива.

Костя обнял ее — спокойно, ласково, легонько привлек к себе, она не сопротивлялась, прижалась затылком к его плечу, и стало ей тепло и уютно, хорошо и бездумно, — так они сидели довольно долго, а стадо опять ушло и почти скрылось в чаще.

Они опять встали, перенесли плащ к самой березе. Костя пошел заворачивать коров, слышался его голос, несколько раз выстрелил бич.

Галя стояла и ждала одного: чтобы то повторилось, чтобы он сел, а она прижалась затылком к его плечу.

Она услышала, как Костя хлестко лупит кого-то и грубо ругнулся. Лимон вылетел из кустов, как снаряд, сослепу кинулся в другие кусты, только треск пошел по лесу.

Костя пришел смеясь.

Она зажмурилась, а Костя схватил ее радостно и сжал так сильно, что хрустнули кости. Она стала вырываться, но это было все равно что вырваться из тисков. Он поднял ее и понес к плащу.

Галя отбивалась руками, била его по лицу, извивалась, а он посмеивался и даже не прятал лицо — для него это были комариные укусы. И тогда, разъяренная, она вцепилась зубами в его щеку и укусила так, что он отпустил ее, сел и удивился:

— Вот бешеная! Не я, так другой...

Не помня себя, она вскочила и побежала, как никогда в жизни не бегала. Ей казалось, что он гонится по пятам, она ныряла под ветки, прыгала через ямы, некогда было оглянуться. Она выбежала на край леса, с перепугу повернула не в ту сторону и отмахала добрый километр, пока сообразила, что бежит не туда. Тогда она пошла в поле и вернулась полем, дрожа и поминутно оглядываясь.

Показались серые избы села, донесся шум утятника, и это показалось ей родным и спасительным. Она вытерла лицо, как могла, пригладила волосы и вошла в село успокоенная, как в родной дом.

И тут она проснулась. Проснулась так, что ничего, ровно ничего не поняла: ни почему ее весь день так колотило, ни зачем она пошла с пастухами и сидела, прижавшись затылком к Костиному плечу, ни тем более того, что так по-дикарски удрала и летела сломя голову, хотя за ней никто не гнался.

## 6

Перед вечерней дойкой приехал председатель Воробьев и привез писателя.

Они прибыли на красном «москвиче», и председатель повел писателя по селу, показывая утятник, пилораму и коровник, который особенно рекомендовал посмотреть.

Они ходили серединами улиц, заложив руки за спины, вразвалку. Оба были в светлых просторных штанах и светлых рубашках, оба приземистые и широкие. По селу разнесся слух, что Воробьев привез очень большое начальство, и бабы бросились загонять по дворам поросят.

Писатель был дородный и холеный, с артистической шевелюрой. колечки которой вились у него на затылке. Когда-то он написал неплохую

книжку, ее давно забыли, но он не подозревал об этом, потому что в издательствах считали своим долгом помнить название этой книжки.

Затем он написал много плохих книжек, которые проходили без сучка и задоринки.

Живя безвыездно в столице, он считался знатоком сельского хозяйства, так как первая книжка была о колхозе. Поэтому время от времени он делал краткие набегі на тот или другой колхоз, но в основном был знаком с сельским хозяйством только по газетным статьям.

Воробьеву в жизни не приходилось иметь дела с писателями. На всякий случай он обкормил его жутким обедом с крепленным вином, бросил дела и отправился сопровождать, против чего писатель не протестовал.

Приведя писателя на ферму, Воробьев рассказал ему, как здесь раньше было плохо и как теперь стало хорошо.

Однако и в новом своем виде коровник не понравился писателю, он посмотрел в дверь и дальше не пошел. Доярки бегали мимо, с любопытством поглядывая, а писатель достал блокнот и занялся сбором жизненного материала.

— У них была плохая заведующая,— объяснил Воробьев.— Но наш парторг провел собрание, и заведующую сняли. Они сами обходятся, без заведующей.

Писатель пожевал губами. Он сомневался, стоит ли это записывать — факт был сырой, малоинтересный.

— Кто трудится лучше всех? — задал он испытанный вопрос.

Председатель не знал. Пришлось послать за Ивановым.

— Как сказать...— ответил Иванов.— Все стараются, работают в общем и целом.

Писатель занервничал. Он надеялся написать по крайней мере очерк для журнала, и имена были обязательны. Иванов подумал: была не была, наверно, Галя теперь на хорошем счету у Волкова и назвать ее не будет ошибкой.

— Девушка старательная, активная, борется...— сказал он.

— Ага! Это хорошо! — воскликнул писатель; это уже шло в очерк.— Я бы хотел с ней побеседовать.

Пришлось Гале идти в контору, где все вчетвером сели за стол, и писатель начал допрос.

— Какие обязательства вы взяли в этом году?

Воробьев с Ивановым переглянулись.

— У нас еще нет, это наша недоработка,— сказал Иванов, а председатель показал ему под столом кулак.

— Обязательства должны быть у всех,— изумленно сказал писатель.— Как же вы тогда работаете? Вот в «Рассвете» доярки обязались надоить по четыре тысячи килограммов от каждой фуражной коровы, а некоторые даже четыре с половиной. Вы потянули бы столько?

— Я не с начала года работаю,— пробормотала Галя.

— Но у вашей предшественницы были обязательства?

— Не знаю...

— Это наша недоработка! — поспешил на выручку председатель.— Это мы завтра же провернем. Можно смело писать, что обязательства будут, потому что фактически так и есть. Бери, Галя, смело четыре с половиной тысячи, коровки у нас хорошие... Идет?

Галя смущенно кивнула головой, она пока не представляла себе этой цифры, но писатель уже удовлетворенно записал: «Берется за достижение 4,5 тыс. кг в год».

— А сколько вы надаиваете от коровы ежедневно? — спросил он.

— Как когда, — сказала Галя. — Сегодня было хорошо, дали подкормку. А когда коровы голодные стоят, тогда и десяти литров не возьмешь.

— У коровы молоко на языке! — весело сказал Иванов, беспокоясь, как бы Галя не наплела лишнего. — Так еще наши деды утверждали. Народная мудрость, так сказать.

Воробьев облегченно кивнул, а писатель подумал, что, хотя поговорка очень уж затаскана, можно рискнуть употребить ее в последний раз, и записал.

— Но все-таки сколько вы надоили, к примеру, сегодня?

— Двести десяти литров.

Писатель застрочил: «210 литров, это же более двух центнеров! И все это выдоили ес маленькие руки, которые вливают в широкую молочную реку...» Он почувствовал, что заврался, и решил насчет молочной реки додумать дома.

— По сколько это на корову?

— В общем, по восемнадцать литров! — быстро подсчитал Иванов.

Писатель писал, не задумываясь: «По 18 литров от каждой закрепленной за ней фуражной коровы надаивает ежедневно эта маленькая, загорелая, веселая двушка с озорными глазами. Рассказывая об этом, она заразительно смеется». Посмотрев на Галю, он почувствовал легкий укол совести, но у него уже был создан образ доярки, и он не мог его менять.

— Отлично, отлично, — сказал он, потирая руки. — Вот мы и поработали. Сейчас отметьте мне командировку и доставьте на вокзал, но прежде я бы хотел поговорить и с вами немного, дорогой председатель. Мы вот беседовали с народом, вы мне все показывали, а вот о вас-то самом я и не знаю, что писать.

— Что там писать, — смутился Воробьев, и шея его покраснела. — Люди! Вот они главное. А мы что — бегаем, ругаемся. Так, Иванов?

— Конечно! — подтвердил Иванов, показывая все свои зубы. — Но не скажите, Алексей Дмитрич, председатель вы у нас хороший. Вот и товарищ писатель, он сам может судить...

Писатель поспешно записывал все, он только на ходу заменил слово «ругаемся» на «беспокоимся». И председатель и бригадир ему очень понравились: простые, бесхитростные люди из народа. Он вдруг почувствовал, что достигает вершины в своем сборе материала, и он задал вопрос, который неизвестно как пришел ему на ум, по вдохновению, наверное:

— А что вас держит в жизни, какие стимулы? Ведь по существу вы живете в глуши, света, так сказать, не видите... Поймите меня. Я приведу себя. У нас, писателей, например, ясные стимулы: здесь, так сказать, и материальные стимулы, и известность — слава, так сказать. Не всех она постигает, но все солдаты мечтают быть генералами, ха-ха. А что стимулирует вас? Ведь если разобраться, работа у вас малоинтересная, скучная...

Воробьев, который было очень насторожился, наконец понял, что от него требуется, и радостно ответил:

— Нет, работа наша интересная! Для того, кто любит сельское хозяйство, здесь все увлекательно. Сельское хозяйство — это что? Это, так сказать, залог нашего продвижения к коммунизму. Это обилие продуктов в стране — раз. Это сырье для промышленности — два. Это в конце концов школа народного опыта — три. И мы полны решимости...



Он испугался, не загнул ли насчет школы народного опыта, но писатель строчил в упоении.

— Насчет стимулов! — напомнил он, не поднимая головы.

— И стимулы у нас есть, — неуверенно ответил Воробьев, лихорадочно соображая: «Какие ему еще к черту стимулы? Кажись, все сказал, как следует...»

— Сколько вы, например, зарабатываете?

— А! — понял наконец Воробьев. — Зарботки наши зависят от благосостояния колхоза. Богатый колхоз — полновесный трудодень. И так, знаете, боремся за увеличение колхозных богатств, за повышение материального и культурного благосостояния... — Он устал говорить и, вытерев платком лоб, вдруг съехал: — А вообще, знаете, морочливая работа председателем, ну его к лешему.

— Однако по душе? — подсказал писатель.

— Можно сказать, по душе. И так втягивает — бывает, ночью лежишь, все соображаешь, калькулируешь, как то, как другое, там, понимаете, загородку достроить надо, там удобрения пришли — значит, транспорт выделяй, там в столярке гроб делать — старик, понимаете, помер, и так одно к одному каждый день тебе, да еще эти совещания... — Он махнул рукой.

Все это было не очень выразительно, писатель не стал записывать. Но, почуяв интимные нотки, он бабахнул самый что ни на есть интимный вопрос:

— А что, если бы вас спросили, хотели бы вы сменить вашу жизнь председателя на что-нибудь иное?

— Нет, не хотел бы, — не моргнув, отвечал председатель.

И писатель закончил: «И ни на что другое он не променяет свою трудную, но прекрасную судьбу».

Это была его коронная фраза. Кого бы он ни спрашивал — сталеваров и забойщиков, доярок и рыболовецких бригадиров, комбайнеров и милиционеров, — никто не соглашался менять свою трудную, но прекрасную судьбу.

— Благодарю вас, — еказал он, очень довольный.

Фактов у него накопилось вполне достаточно, и он мог теперь два месяца спокойно работать в Доме творчества Литфонда и, выбирая за столом меню завтрашнего дня, рассказывать другим писателям: «Да, а вот я был в области\*\*\*, там, вы знаете, я нашел удивительного председателя! У него, поверьте, птицеферма — это что-то фантастическое, от уток стонет земля, они не знают уже, куда их девать. На молочной ферме у него работают девчонки со средним образованием, надаивают по восемнадцати литров от коровы — это, представьте себе, она сдает за день более двух центнеров молока. А мы сидим и пишем бог весть о чем, выискиваем всякие психологические проблемы, тогда как люди работают без всяких этих психологических проблем — и творят чудеса! Я провел в этом колхозе незабываемые дни, я побыл среди героев наших дней, которые сами просятся в книгу!»

Он повторит эти слова в очерке, статье, на собрании секции прозы, на заседании правления Союза, в личных беседах с молодыми начинающими — и может случиться, у всех создастся впечатление, что он идущий в ногу со временем, активно творящий писатель, и главное, он сам поверит в это. Его помянут в отчетном докладе прежде, чем «и др.», и, может, даже дадут бесплатную путевку в Дом творчества. И уж там-то он напишет эту книгу, в которую сами просятся герои, она без сучка и задоринки пройдет издательские конвейеры, ее похвалят.

— Мне можно идти? — спросила Галя клюнув носом.

— Да! — вспомнил о ней писатель, отрываясь от своих мечтаний.— Идите, девочка, отдыхайте, вы рассказали очень интересные вещи.

— Теперь перекусим чем бог послал,— сказал Воробьев.

— Перекусить можно,— согласился писатель.— Только без этого самого...

— Ни-ни, чуточку только! — воскликнул Воробьев, страшно довольный, что пытка кончилась.— Мы ведь по-простому, по-деревенскому.

## 7

— А мы тебя ищем-ищем! — сказала Ольга.— Все бабы собрались, тебя лишь нет.

— Где собрались?

— У тетки Ани, гулять будем, праздновать, что ту выдру вытурили! Что же нам, и поспрашивать нельзя?

В просторной избе тетушки Ани было уже полно народу. Были все доярки, оба пастуха, Людмила с утятника и ее «муж», которого пригласили за гармошку. Этот мужичок уже здорово наклюкался, но исправно перебирал кнопки. Впрочем, выводил он все одно и то же, под частушки: «та-ра, ту-ру». Он был круглый, полный и добродушный.

Иванов в качестве почетного гостя сидел в красном углу, весь красненький, «тепленький», с аппаратом через плечо, и ковырялся вилкой в консервах.

Галин приход был встречен бурей восторга, и ее заставили пить штрафную. На столе стояли разные бутылки: с водкой, брагой, вермутом и графин лимонада. Галя не выносила водки, а брагу ей не позволяли пить.

— Ну, этого выпей! — сказала Ольга, берясь за лимонад.

Галя обрадованно кивнула. Когда она хлебнула этого лимонаду, у нее пошли круги перед глазами, она задохнулась и не могла ни кашлянуть, ни закричать — казалось, конец ей пришел. А все захохотали, захлопали в ладоши.

— Это самогон, глупенькая,— жалостливо сказала тетушка Аня.— Хлебни водички, пройдет. Чего взбесились, глупые? Так человека убить можно.

Галя отдышалась. Ей налили водки и заставили выпить. После самогона водка показалась ей нестрашной, и она выпила, потому что иначе нельзя было.

Она накинулась на бычки в томате, и, когда съела полбанки, ей стало хорошо, а люди вокруг показались милыми и забавными.

Тетушка Аня тихо шмыгала и, как хозяйка, все подавала, угощала. Изба ее была забита всяким хламом: сундуками, скамьями, картинками, фотографиями, бумажными цветами, вышитыми полотенцами.

Все вместе это походило на какую-то до предела забитую экспозицию этнографического музея, но должно было, очевидно, свидетельствовать об уюте и удобстве жизни. Когда Галя поднимала глаза, у нее рябило от пестроты.

Тася Чирьева блеснула золотыми зубами, вышла на свободный пятак посреди избы и начала плясать. Она плясала почти на месте, несложно перебирая ногами, и вытаскивала за руку то одну, то другую доярку, но те отнекивались и не шли.

Наконец Ольга гикнула, швырнула платок и пошла. Они работали ногами старательно, серьезно и безразлично глядя друг на друга, и Тася

Чирьева вдруг взвизгнула и запела пронзительным гортанным голосом, так что казалось, у нее полопаются связки:

Ах, милка моя,  
Чем ты недовольна?  
Хлеб на полочке лежит,  
Не ходи голодна!

Всем это показалось очень остроумным, все захохотали, и Галя тоже. Иванов вытащил аппарат и пытался снять танцующих, хотя лампочка горела слабо и в избе было полутемно.

Тася с каким-то ухарством, с вызовом прошлась, задевая сидящих мужчин:

Меня милый не целует,  
Опасается поста.  
А любовь без поцелуя —  
Что собака без хвоста. И-их!..

Ольга немедленно ответила:

Вот каки у нас ребята,  
Что собаки вякают:  
Целоваться не умеют,  
Только обслюнякают.

Гармонист раскрыл пасть и заревел глупо и пьяно:

Девочки, такая мода —  
Поясочки лаковы.  
Девочки, не зазнавайтесь,  
Все вы одинаковы.

И так это началось. Ольга и Тася вспотели, с гармониста тоже пот лился градом, но никто не останавливался, и все они были с серьезными лицами, и это длилось бесконечно долго.

За это время кто-то успел налить Гале еще две рюмки, она их выпила легко, почти не заметив, только потом опять набросилась на бычки в томате и подскребла банку дочиста.

— Что ж ты убежала? — спросил Костя грустно. — Чего ж драться-то? Сказала бы — ну и все.

Галя посмотрела на него, и он вдруг показался ей таким добрым, ласковым, славным, ей страшно захотелось его поцеловать по-братски, она даже испугалась, хотя и была пьяна.

Костя взял ее руку и рассматривал красные полосы от кнута.

— Болит?

— Нет.

— Если тебе нравится, приходи в лес, я тебя не трону, — сказал он. — Я тебя не понял.

Она чуть не заплакала от благодарности — за то, что он так хорошо сказал, что он такой добрый и спокойный, как сам лес. Она сказала:

— Я буду иногда приходить.

Гармонист посмотрел на них, сделал глупое лицо и заорал:

Полюбил я гу Татьяну  
Не то сдуру, не то спьяну!

Костя добродушно ухмыльнулся, махнул рукой. Галя тоже смеялась. Ей было хорошо. Танцующие наконец повалились, и гармошка умолкла. Гармонисту поднесли стакан водки.

Баба Марья, которая, сложив руки на груди, сидела тихо как мышь, вдруг протяжно запела приятным печальным голосом, сильно окая:

Огни горят, костры пылают,  
В вагонах все спокойно спят.  
А паровоз там мчится тихо,  
Колеса медленно стучат.  
Один солдатик, всех моложе,  
Шинель на грудь его легла,—  
Ах, мать, зачем меня родила,  
Зачем в солдаты отдала?

Она всхлипнула и зарыдала, и все бабы принялись ее успокаивать. Но она плакала, и все были пьяны — на столе в графине почти ничего не осталось, а бутылки из-под водки давно валялись на подоконниках.

Иванов, хитро улыбаясь, потянул к себе творог в тарелке и сказал: — Вороне где-то бог послал по блату сыру...

И Гале это показалось таким смешным, ну, смешнее всего на свете, она громко, неприлично расхохоталась, но никто и не вздумал обратить на нее внимание. Тася опять пошла стучать каблуками, выкрикивая: «Раздайся, народ, меня пляска берет!» И все говорили, что-то доказывая, проклинали бывшую заведующую, костили Иванова, тут же оборачиваясь к нему и похлопывая по плечу:

— Ты не обижайся, Иваныч, мы ведь по-свойски.

Он не обижался, кивал головой и тихо съел всю тарелку творогу.

— Люблю творог! — доверительно сказал он Гале. — Эт-то еда! А тебя — замуж отдадим, дай срок, гулять будем, пить будем, правильно я говорю?

— Правильно! — подтвердила Галя.

Люся Ряхина сказала:

— Боже, до чего я пьяная, в Иванова влюбилась, тьфу!

Пошла в сени, забрала сестру и ушла. А Иванов упал головой на стол и захрапел. Подпасок Петька мирно спал на кровати.

Костя один казался не пьяным, распорядился и наводил порядок, и за это Галя полюбила его еще больше.

— Ольгу надо домой довести, — доверительно сказал он Гале. — Эти доберутся, а ей далеко. Я пойду.

— Я тоже! — сказала Галя.

— Как хочешь. Тогда я и тебя отведу.

Он поднял Ольгу со стула, поставил перед собой и сказал:

— Домой, девица! Твой там уж заждался.

Они вышли на улицу. Навстречу шли в темноте двое каких-то мужиков.

— Доярки гуляют! — сказал один с завистью.

— Это они умеют, — сказал другой. — Бабы здоровые...

Полюбила тебя-а,  
Черта неумытого!  
Надоело покупать  
Мыло духовит-тае! —

орала Ольга, раскачиваясь всюю и толкая Галю и Костю, поддерживавших ее с боков.

Костя посмеивался, и Гале было весело. Земля была мягкая и покачивалась под ногами. Чем дальше, тем она качалась все сильнее,

и свежий воздух не помогал, а, наоборот, только больше опьянял, и вдруг у Гали что-то щелкнуло в голове, и она стала плохо слышать, и вообще весь мир как будто закрыла пелена. Она откуда-то издала увидела себя, Ольгу, Костю, но временами забывалась и только усилием воли опять возвращалась и видела. Она понимала, что очень пьяна, что нужно держаться, шагать, но ноги несли куда хотели, и ей уже не было смешно, а только дурно, тяжело, плохо. Она вдруг вспомнила этот страшный графин на столе, и ее затошнило от одного воспоминания. Ее так затошнило, что она не могла ступить шагу.

Но потом все прошло, она успокоилась и сказала:

— Ну, пошли, что ли.

Ольга сидела на дороге, раскачиваясь и напевая что-то похожее на молитву. Костя подхватил ее, как куль с овсом, и они опять потащились куда-то.

Был лес, была картошка, было фантастическое озеро со склоненными ивами, и в крохотном оконце светился огонек. Галя была в восхищении от Кости: что он такой умный, такой трезвый, нашел дорогу. Они сдали Ольгу на руки ее мужу, который не удивился, не рассердился, поговорил с Костей о каких-то покрывках, которые ему обещали достать.

У меня залеток два,  
Они оба лопухи.  
Одного склевали куры,  
А другого петухи,—

сказала Ольга.

— Ладно,— добродушно сказал Костя,— с тебя пол-литра за доставку.

Ольга выругалась.

— Смотри ты,— удивился Костя.— Способная еще!

Они с Галей пошли обратно. На болоте он взял ее на руки и перенес. У него была колючая щетина на щеке.

Она немного протрезвела и шла, почти не шатаясь. Идти нужно было далеко, за пруды и церковь, и это ее радовало. Ее больше не тошнило, а просто был пресный, спокойный хмель.

Они прошли мимо коровника. В загоне виднелись темные силуэты коров. По плотине прыгали лягушки.

— Хочешь посидеть? — спросил Костя.

Она обрадовалась и свернула с дороги. Они сидели над прудом, и он обнял ее, и она прижалась затылком к его плечу.

— Я тебя знаю,— сказала она.— У тебя была самая сильная рогатка, и однажды ты вылезал из танка, а мальчишки толкнули люк, он упал и прибил тебе пальцы. Ты целый год ходил с распухшими пальцами, они почему-то очень медленно заживали.

— Ты откуда знаешь? — потрясенно спросил он.

Тогда она рассказала ему свою жизнь, и он смутно припомнил ее, он даже помнил те два амбара и сборы конского щавеля на лугу, все это было странно и здорово. Они сразу стали как бы сообщниками.

— И когда ты ходила за мной в лес, ты тоже знала это? — спросил он.

— Конечно,— сказала она.

— Я не буду тебя больше трогать.

— Нет, трогай,— сказала она.

Он удивился, повернул ее лицом к себе, провел пальцем по расщепленной брови.

— Болит?

— Нет,— сказала она.

— А тут болит?

— Нет,— сказала она.

Он крепко сжал ее и стал целовать в губы, в щеки, глаза, брови, подбородок, шею; она знала, чего он хочет, но ей не было страшно или неприятно. Она увидела звезды в небе. «Значит, я трезвая,— подумала она,— раз вижу звезды и узнаю их. Значит, мне в самом деле хорошо, а не от водки. Водка была давно, а это другое. Я люблю его».

Когда она открыла глаза, был уже рассвет. В небе горело растрепанное золотое облако. Костя смотрел на нее влюбленными глазами, и целовал время от времени нежно, бесконечно ласково, и гладил по голове, потом шею, потом спину, как гладят котят. Ей это было до слез приятно, до слез нужно, и она снова закрыла глаза, чтобы это продолжалось дольше.

Замычали коровы, раздались звуки железа.

Возле коровника кто-то появился. Галя посмотрела — это пришла баба Марья. Пожалуй, было уже три часа, если не больше.

— Пора идти,— сказала Галя.

— Да,— согласился он.

— Я пойду.

— Иди,— сказал он.

Она поцеловала его, посмотрела на его лицо испуганными, недоумевающими глазами, посмотрела так, словно хотела навсегда запомнить его таким,— и пошла через плотину к коровнику.

### ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

#### 1

Она почувствовала, что жизнь ее решительно переменилась. Она не верила своему счастью.

«Нет, но скажи, как это,— спрашивала она.— Где ты был раньше, где я была? Нет, объясни мне, как это, почему мы встретились? Почему именно я — и ты».

Она не высypалась, голова была глупая, но ноги носили ее, словно по воздуху, все у нее горело в руках, и она готова была плакать от благодарности за тепло, которым одарила ее судьба.

Шла осень. Леса становились красными, желтыми, лиловыми. Листья сыпались огненным дождем с кустов, когда их задевали.

Этот прощальный великолепный пир задавала природа, словно с необъятных синих высот своих спрашивала: «А вы так умеете?»

Убирались и оголялись поля; листвою были запружены ручьи; листья плавали в ведрах, вытасненных из колодца, и вода пахла ими. Солнце стало холоднее, небо бледнее. Скот за лето нагулялся, был сытый, лоснящийся. Уток на утятнике поменьшилось, новых не выводили, а оставшиеся, ждавшие своей очереди на мясокомбинат, временами поднимали невероятный гам, когда в небе, покрякивая, пролетали на юг дикие гусиные стаи.

Совершенно неожиданно Рудневская ферма вышла на первое место по области. Пришла газета, и в длинной сводке ферма была напечатана первой.

Доярок это здорово удивило, потому что такого спокойя веку не было, и потом никто за это первое место не боролся. Они даже посмотрели газету с каким-то недоверием. Чудо какое-то.

Однако никакого чуда не было. Молока они сдали действительно столько, сколько показала газета. Просто очень ловко пас коров пастух Костя; просто Волков здорово взгрел бригадира, и подкомка поступала вовремя; просто коровы были хорошие, не ахти какой породы, но это были обыкновенные здоровые коровы; и просто доярки работали честно, с хорошим настроением, рук не жалели, раздоили этих коров на славу. Было совпадение тысячи разных мелочей, на которые никто не обращал внимания как на что-то важное. Просто, когда заболела Чабуля, Галя как сумасшедшая носилась в Пахомово за ветеринаром. Когда Комета телилась, Ольга просидела над ней сутки. Когда Комолу бодали и пробили рану на боку, эта рана была сразу же смазана, заклеена пластырем, и никаких осложнений не произошло. Подвигов не совершали, каждый делал то, что ему естественно положено было. И надоили молока по семнадцати литров на корову.

Это доказывало ту простую истину, что дело не только в чистоте пород, не только в механизации или расстановках и перестановках — то на привязи, то без привязи, а прежде всего в хорошем корме и человеческом к скоту отношении.

Первенство по области обернулось для фермы целым рядом событий.

Первым его результатом был торжественный визит зоотехника Цугрика. Это был породный, цветущий, и уже немного лысеющий мужчина с большим задом и гладкими, холеными руками. Одет он был в умопрачительные хромовые сапоги, синие галифе, белую вышитую рубашку, подпоясанную шнурком с кистями, и в китель нараспашку. Этот стюга прибыл в кабине грузовика, привезя с собой в кузове три ящика пустых водочных четвертинок и тихую, перепуганную девицу-лаборантку с острым красным носом.

— Так-с, девочки, — сказал он сбежавшимся дояркам. — Самотека довольно, ставим ферму на строгий учет. Вот эти бутылки — отныне вы будете их наполнять, то есть брать пробы от всех коров утром, днем и вечером. Я вам покажу, как это делается.

Сняв китель, он прошествовал в коровник, а девица понесла за ним ящик. К сожалению, показать он не успел. Как раз Чабуля махнула мокрым хвостом, и вышитая рубашка оказалась вся в брызгах. Цугрик так расстроился, что оставил пробы и отправил девицу стирать его рубашку. А без нее пробы взять было невозможно: доить он сам не умел и не хотел, чтобы это открылось. Он занялся теоретической частью.

— Надаиваете от каждой коровы неполную четвертинку и наклеиваете этикетку: такого-то числа, столько-то часов, такая-то корова. Определяете жирность...

— У нас нечем определять жирность, — сказала Галя.

— Как нечем? За вашей фермой числится аппарат!

— Мы его не видели...

— Как не видели? Да вы знаете, сколько он стоит!

— Мы никогда его не видели!

— Значит, украден? Хорошо, — зловеще сказал Цугрик. — Тогда придется разложить стоимость на всех — и возмещайте.

Начался форменный скандал. При уходе Софьи Васильевны никакого акта о передаче ценностей не составляли, Цугрик особенно на это упирал. Ольга дошла до слез. Галя тоже расстроилась.

Наконец, вдоволь покуражившись, Цугрик согласился поискать аппарат у себя, но потребовал, чтобы с фермы дважды в неделю отправлялись ящики с пробами, и анализы будут производиться там.

Поднялась на ферме бурная деятельность: мыли бутылки содой, резали бумагу, клеили этикетки, надаивали молоко, писали, сушили ру-

башку, бегали за утюгом. Только к вечеру энергичный зоотехник отбыл с ящиками и девицей, и тогда только Галя вспомнила, что забыла спросить: куда будет поступать молоко после лабораторных исследований и по какой графе его проводить.

Вторым результатом первенства был приезд грустного дяденьки из областного издательства за передовым опытом.

Дяденька этот жил у тети Ани три дня, очень много кушал, старательно смотрел, как доярки доят коров, и что-то писал в клеенчатую тетрадку.

Он понятия не имел о животноводстве, но нуждался в деньгах. А в областных издательствах выпускается пропасть суесловных художественно-технических брошюр.

Пишут эти брошюры не сами передовики, а подставные за них лица, равно далекие и от литературы и от опыта, но нуждающиеся в деньгах.

Вопрос десятый, сколько действительного, а не описанного во всех учебниках опыта излагается в этих брошюрах и насколько они дублируют друг друга по стране.

Вопрос также сотый, куда потом поступают эти художественно-технические книжицы, распределяют ли их по разрядке, покупает ли их какая-нибудь живая душа, идут ли они обратно в котел,— главное, издательства работают полным ходом, планы по «опыту передовиков — в массы» составляются, одобряются, выполняются и гонорары выплачиваются.

Подобного опыта у нас накопилось уже столько, что положительно шагу нельзя ступить без него. Жаль только, что доярки в Рудневе его не читали: присланный по разрядке, он лежал грудями в самом пыльном углу правления, и лаборантки иногда заворачивали в него партии семян.

Грустный дяденька долго и нудно канючил, выпрашивал какие-то секреты. Коров он боялся, и коровы пугались его. Доярки нервничали — они и рады были помочь, но не знали как. Так он и уехал с пустой тетрадкой.

Однако брошюра все-таки появилась. Дяденька остроумно вышел из положения, переписав в нее большую часть руководства, выпущенного Сельхозиздатом, только изложив это в форме диалогов и расцветив дюжиной тощих эпитетов для придания художественного блеска.

Третьим результатом было прибытие фотографа из газеты. Это оказалась женщина, очень сердитая, очень требовательная и решительная.

Лишь переступив порог, она поставила требование, чтобы доярки были в белых халатах. А где их было взять, если рудневские доярки сроду не видели белых халатов и не представляли, как это в них работают?

Дошло до того, что хотели принести простыни и задрапироваться в них. Но тут вспомнили о медпункте, одолжили один халат и, надевая его по очереди, все переснимались. До смерти напугав коров вспышками лампы, решительная женщина отщелкала ленту и уехала, снимков не пообещав.

Четвертым результатом было прибытие вымпела. На нем было вышито: «За первенство в социалистическом соревновании», но откуда он прибыл, кто и когда его присудил — этого доярки так никогда и не узнали.

Присуждение где-то состоялось, было занесено в протоколы, но пока вымпел путешествовал до места назначения, обратный адрес потерялся. Так иногда бывает: вымпел присудят, а вручить забудут, а если передадут, так забудут сообщить от кого и за что. Далеко не всегда так бы-



вает, но — иногда. А шофер, с которым передали, смотришь, уехал. Воробьев, пожалуй, мог знать, откуда выпел, или разузнать, но у него дел и без того много, да и вообще кому есть досуг заниматься такими расследованиями. Есть выпел, и хорошо.

Однако раз есть выпел, надо его куда-то помещать. Поместить было решительно некуда. Вот тут-то Иванов и превзошел сам себя: прислал плотников, и те в один день оборудовали в пристройке красный уголок. Он получился уютный и теплый, так как одна стена обогревалась котлом. Тут можно было и переодеться и погреться зимой. Доярки уж так благодарны были этому выпелу, повесили его на самом почетном месте.

Более того, Иванов собрал по ящикам разные валявшиеся у него брошюры, как-то: «Устройство доильной площадки типа «елочка», «Использование синтетической мочевины в животноводстве» — и красивым веером расположил на столе. Опять-таки мочевины на ферме не было, а площадку «елочка» без доильных аппаратов не устраивают, но Иванов тонко рассчитал, что, если в следующий раз придет писатель или начальство, оно сразу увидит, что воспитательная работа среди доярок ведется на должной высоте и в результате достигнуты успехи.

## 2

Костя пришел со стадом сердитый и расстроенный. Когда он гонял коров по убранному полю вдоль леса, исчезла Пташка.

Петька обрыскал пол-леса, но коровы не нашел.

— Придет,— успокаивали доярки,—никуда не денется, разве к соседям забредет.

Галя подумала и решила идти искать, у нее были основания беспокоиться.

— Я с тобой,— сказала Люся Ряхина,— возьмем велосипеды, мой и Валькин.

Они выехали после обеда.

Погода была хороша, хотя в воздухе уже ощущался осенний холодок. Велосипеды были не новые, скрипели и щелкали, а впрочем, бежали бойко по твердым непыльным тропкам.

Когда-то здесь впервые Галя шла в лес со стадом, видела камыши, осоку, бочаги с плавунцами. Плавунцов уже не было, а в бочагах гнили листья.

Проколесив по лесу часа полтора, они выехали прямо на родник с болотцем и изогнутую березу.

— Стоп,— сказала Люся.— Отдохнем.

Они положили велосипеды в траву и сами присели. Гале стало сладостно-больно и грустно. Береза все так же отражалась в воде, усеянной листьями, голая, неестественно изогнутая, но полная жажды жизни. Шел когда-то по лесу великан. Краем сапога он наступил на эту березу. Она упала и выпрямиться не смогла, только изогнулась, продолжая тянуться к небу. А лет ей было, наверное, пять в ту пору, а сейчас уже сорок, пожалуй.

— Было у меня тут дело,— сказала Люся.— Смеяться ли, плакать, сама не знаю, а вспомнишь — вздохнешь.

— Что было? — холодея, спросила Галя.

— Так, стадо пасти помогала,— насмешливо сказала Люся, сгребая кучки листьев.

— С Костей?

— Ага.

Галю бросило в жар. «Вот кто к нему ходил! — подумала она в каком-то страхе. — Она тоже сидела, прижавшись к нему спиной, а может, хлесталась кнутом, и Петька уходил домой, умный такой, все понимающий Петька».

Ее разом охватила такая ярость, и обида, и злоба — она бы ударила в Люсино лицо, оно было отвратительно, и вся она отвратительная, мерзкая, липкая...

— Костька не дурак малый, пока ему не надоест, — говорила тем временем Люся, — а вообще хамло, каких мало на свете.

Прошел по лесу порыв ветра, голые ветки зашуршали, застучали в вышине. И разом Галина ярость прошла так же быстро, как и появилась. «Люська была до меня, — подумала она, — а теперь уже нет, и какое мне дело. Пусть она ревнует, а не наоборот».

— Теперь ты кого-нибудь любишь? — спросила она дипломатически, чтобы успокоиться.

— А, никого не люблю и любить не буду, — равнодушно сказала Люся. — Ее нет, любви, все выдумки.

— Ты что?..

— А что? Любовь! Только в книжках читала когда-то, и то треп.

— Ну, — улыбаясь, сказала Галя, — есть, я знаю.

— Нету, выдумки! — запальчиво воскликнула Люся, и Галя подумала: «Какая она маленькая, как из детского сада».

— Вон Валька спуталась с шофером, он ей: «Люблю тебя, любовь моя», а сам только и знает что под кофту лезть. Нужна мне такая любовь! А Валька только и знает: «Пойдем распишемся». Тоже «любовь».

— И что?

— А что? Согласен! Дом у него в Дубинке, правда, отцовский, не свой, но и свой, говорит, в момент построим. Шоферы, они все достанут. Валька ревет: не хочу в девках сидеть, когда-то другой случай представится, а с ним будет хорошо, все достанет, и дом свой, из джорк смыться можно, а любовь мы в кино посмотрим.

— Любовь — когда без другого человека жить никак нельзя, — глубокомысленно заметила Галя. — Пусть бы меня резали, не пошла бы замуж только за какой-то дом, тьфу! Лучше умереть.

— Ну и отыщачишь сорок лет в джорках — и тогда умрешь.

— Хотя бы и так, скажи своей Вальке. А свою душу, свою надежду, веру в счастье, будущую любовь топтать ради какого-то дома — это же страшная глупость! — воскликнула Галя, а сама подумала: «Она тут была с ним, он, наверное, говорил ей: «Бедненькая моя» — и гладил по голове, потом по спине, как гладят котят».

Не в силах больше сидеть и говорить, она вскочила, и тут ветер донес странный звук. Она прислушалась — тихо мычала корова.

Они нашли Пташку в неглубокой яме, усыпанной буро-желтыми листьями, скрытой кустами. Сама буро-желтая, корова стояла, испуганно глядя на людей, а у ее копыт лежал бурый, мокрый, вылизанный теленок. Челка у него топорщилась, и он задирал маленький сопливый нос. Пташка прядала ушами, взволнованно фукая. В отличие от теленка она была грязна и облеплена листьями.

— Сумасшедшая корова, — сказала Галя, — ведь ждали через три недели.

Теленок был славный, они бросились к нему, гормоша и разглядывая, переполненные нежностью и восторгом. Пташка беспокойно просовывала морду между ними, лизала свое дитя и лизала им руки, словно прося не обидеть. Они и посмеялись и прослезились, и было такое чувство, что их тут не двое, а трое, так понятна была Пташка-мать.

Галя осталась сидеть с коровой, Люся поехала в село и вернулась с подводой, на которой к вечеру теленка доставили на ферму. Тут Пташка и теленок были разлучены навсегда: теленок — в телятник, корова — в коровник, как было заведено испокон веков по методу Цугрика, несмотря на то, что корова тревожно мычала и вертела головой с испуганными ищущими глазами.

Пташка ревела несколько дней. Галя не раз уже видела, как забирают телят у коров, но на этот раз была потрясена. Слишком хорошо она знала свою Пташку и, еще сидя в лесу возле нее, подумала, что каждая скотина — это не просто скотина, а целый мир, пусть проще, бесхитростнее человека, но все же мир, похожий на наш и понятный нам, на который, впрочем, мы не обращаем внимания и с которым не считаемся.

ПТАШКА, например, была нежным и добрым существом. У нее были крутые лакированные рога с черными кончиками, но она не подозревала, зачем ей они. В толкучке за едой она неизменно оказывалась позади; Костиного кнута боялась пуше огня, и он ее не бил: достаточно было слова, она понимала.

Она любила лизать руки Гале и некоторым дояркам, но мужчинам никогда не лизала — может, потому, что пахли табаком.

Своего теленка она помнила слишком долго и иногда принималась так мучительно и по-бабьи тоскливо мычать, что хоть возьми и принеси его ей.

Она была безобидна и послушна во всем, кроме одного заскока: еще не было случая, чтобы она родила теленка в коровнике. Не понятно, как ей это удавалось, но она неизменно обманывала всех и в момент, когда этого меньше всего ждали, вдруг убегала из стада, забиралась в рожь, в глухие заросли, и, пока ее искали, теленок появлялся на свет. Потом это место она долго помнила и, тоскуя по отнятому теленку, не паслась, а все стремилась к этим зарослям, уже не слушаясь ни слова, ни кнута, и Костя поджигал кусты, выжигал саму землю и запах, тогда Пташка умолкала.

Иванов за это ее страшно невзлюбил: всякий раз, высылая подводу, клялся, что в следующий раз этот номер ей не пройдет. Но следующий раз наступал, и номер проходил.

ЧАБУЛЯ, наоборот, своих детей не любила, не понимала и сейчас же их забывала. Уносят теленка — она даже не покосится, жует себе и помахивает хвостом.

Это было угрюмое, глупое и бестолковое животное, постоянно битое не за свою зловредность, а именно за глупость.

Молока она давала меньше всех, хотя ела без меры, раздувалась, как пузырь. Часто вываливалась в грязи. Какая-то тупая флегма, без запросов, без фокусов и талантов, она больше всего соответствовала идеалу Иванова, пожалуй, но Гале она была неприятна, и с ней она никогда не сдружилась — это было просто невозможно.

БЕЛОНОЖКА была приятна и общительна. К сожалению, будучи «тугосисей» от природы, она доставляла много трудов хозяйке, но за характер Галя ей все прощала.

У Белоножки были хорошие глуповатые глаза, она любила, чтобы ей чесали шею — тогда она поднимала голову так, что, казалось, хрустнут позвонки.

Никогда никому Белоножка не сделала зла, была простой, привязчивой сангвиничкой, с которой всегда можно сладить. Она отличалась необычной мастью: шерсть ее была белая-белая, даже рога были напо-

ловину белые, но когда светило солнце, Белоножка казалась розовой. Ее знало все село.

КОМОЛКА родилась на свет без рогов. Даже бугорков на лбу не было, вместо них, наоборот, две ямки. Из-за этого морда ее казалась удлиненной и изящной, как у лани.

Она была в стаде возмутителем спокойствия. Без всякой причины она своей безрогой головой так толкала соседей, что те падали на колени. «Ух ты, аристократка,—рычал Костя, нешадно полосуюя ее,—я тебя научу лаптем ши хлебать!»

Но она ничему не научалась. Ее били, но она только пуше злилась. Если бы ей еще рога, житья бы от нее не было; к счастью, бог предусмотрел это: как известно, он бодливой корове рогов не дает.

АМБА была верной подручной Комолки в побойшах: едва та заварит кашу, Амба уже тут как тут.

Эта дурная особа никогда не ела из своей кормушки, а разевала рот на чужой каравай. Какое бы вкусное сено ей ни положили, она оставляла его на потом, а сама, натягивая цепи, лезла к соседям, потрошила их кормушки, тащила, расшвыривала, при этом зло бодала соседей и даже своей наставнице Комолке однажды пропоролла брюхо.

В стаде пастухи нешадно огревали ее батогами вдоль и поперек, отчего она ходила вся полосатая и доярки звали ее «Тигра».

Эта закоренелая злодейка смиренно опускала голову лишь перед Лимоном, вдруг становясь этакой смирной, послушной и вежливой, едва он останавливал на ней свои бессмысленные выпученные глаза.

АРКА считалась «шаговитой» коровкой. Она ходила быстрее всех, как-то споро, мягко, без суеты. Пастухи были просто без ума от нее: она словно угадывала их мысли, и одного легкого свиста Петьки было достаточно, чтобы она свернула на нужную тропинку.

Галья гордилась, что впереди стада неизменно идет ее умная, толковая Арка.

Плохо только, что у этой умницы были какие-то законченные, безмятежные глаза. Отлично постигнув все правила жизни, она не знала никаких сомнений. И хотя она не брыкалась, не бодалась, вела себя крайне дисциплинированно, к ней все же не тянулась душа.

Так что, несмотря на все уважение к Арке, сердце Галино к ней не лежало, сердце любило Сливу.

СЛИВА была очень женственна, если позволительно так сказать о корове. Она не фокусничала, как Комолка, не подличала, как Амба, не была тупой, как Чабуля, или отличницей, как Арка, она была доверчиво-добрая, чувствительная и задумчивая. Ее не следовало бить, даже бранить — от этого она сверх меры пугалась и шкура у ней нервно подрагивала. Она любила спокойные, ласковые слова и прикосновения.

Слива и Белоножка стояли рядом и очень дружили. Но в Сливе была та глубина, которой полностью лишена была Белоножка. Слива могла подолгу стоять в задумчивой позе, не обращая внимания на шум, драки, мычание, и в этот момент Гале казалось, что Слива, потеряв всякую надежду понять окружающих, живет в своем замкнутом трудном мире и все думает и думает о чем-то.

Галья подходила, гладила ее спину. Уши коровы вздрагивали, настораживались, она минуту ждала, потом поворачивала голову и смотрела как бы с надеждой: не тот ли это случай, которого она так долго и тоскливо ждет, и казалось, она сейчас заговорит.

Да, она иногда действительно говорила «мы-ы», получала корку хлеба с солью и удовлетворенно помахивала хвостом.

Галья любила в минуты усталости облокотиться на ее гладкую спину

с золотистой короткой шерстью и так постоять отдыхая, тоже как будто о чем-то думая.

Однажды Галя стояла так, стояла, опираясь на прочную теплую спину Сливы, положив подбородок на руки, смотрела, как под коровьими брюхами копошатся доярки, таскают ведра, звякают, толкают коров и те бухают копытами. Тускло горели лампочки; хотелось спать.

И вдруг она потеряла ощущение — где здесь люди, а где не люди; были живые существа; одни живые существа возились с другими живыми существами. и все были равны перед жизнью, только одни были смелее, другие проще, одни ходили на четырех ногах, другие ходили на двух...

Она тряхнула головой, наваждение прошло, но странное ощущение осталось и не покидало ее несколько дней.

### 3

В один прекрасный день к ферме подкатил грузовик, набитый какими-то трубами, флягами, ящиками. Из кабины выглядывало сияющее лицо Волкова.

Колхоз получил новую доильную установку, после жестокого спора правление решило отдать ее Рудневской ферме, и это был самый существенный результат первенства.

Волков суетился, помогал сгружать, подмигивал девушкам. Ольга даже растрогалась:

— Мы уж думали, так всегда и будем гробиться, богом проклятые, не дождемся добра.

— Добро,— сказал Волков,— в наших руках. Условно, конечно, но, пока жив человек, надо верить, требовать, добиваться, тогда и добро будет, разве не так?

Механики собрали установку.

Над стойлами протянулась железная труба, из которой насос выкачивал воздух. По трубе шли краники, к которым присоединялись доильные аппараты. Как только они присоединялись, из них тоже вытягивался воздух.

Сам аппарат состоял из герметического бидона, от крышки которого отходили четыре резиновые трубки с четырьмя колпаками на концах. Колпаки были продолговатые, металлические и назывались «стаканами». Они заменяли человеческие руки. Стоило поднести такой стакан к коровьему соску, как он присасывался к нему, словно медицинская банка, и тянул молоко. Несложное устройство — пульсатор — то прерывало сосание, то включало с такой ритмичностью, с какой тянет теленок. Аппарат все время издавал звуки: «тик-пшик», «тик-так». В нем было смотровое стекло, за которым проносилось порциями молоко, а потом видна была уже одна только пена — значит, дойка кончена, и аппарат отключали, переносили к следующей корове.

Вся работа доярок сводилась к тому, что они рубильником включали мотор с насосом, надевали и снимали стаканы да перекачивали бидоны от коровы к корове. Инструкция гласила, что пульсатор дает сорок — пятьдесят пульсов в минуту, а вся дойка длится не больше семи минут.

Это была фантастика, настоящее рукотворное чудо. Доярки смотрели, учились, доили, не веря своим глазам.

Это было бы полной фантастикой, если бы только все получилось по инструкции. Но получилось не так.

Когда на рудневских коров надели эти жесткие, шелкающие, оттягивающие вымя железяки, когда вокруг все зашипело, затиктакало, а соски начали сильно дергать, коровы перепугались и зажали молоко.

Аппараты им решительно не нравились, аппараты вызывали в них ужас.

— Не привыкли еще, — успокаивали механики.

Когда-то в первый день Слива не отдавала Гале молоко только потому, что Галя была чужая. Теперь не помогали ни уговоры, ни корки хлеба с солью, ни ведро комбикорма, которое Галя с отчаяния бухнула в кормушку. Слива комбикорм слопала в десять минут, а аппарат четверть часа совершенно бесполезно прощелкал на ее вымени.

Галя села доить руками — молоко пошло. Надела доильные стаканы — ни капли. Опять взялась руками — Слива перестала отдавать и рукам. Галя стала с ней такая же красная, мокрая и беспомощная, как в свой первый день. И помочь никто не мог — все бились так же. С Белоножкой можно было не пробовать: эта «тугосисяя» и рукам-то едва отдавала...

Несколько дней ферму колотило. Удои полетели вниз, как в пропасть. Доярки изнервничались, коровы тоже.

Только очень немногие коровы начали потихоньку привыкать и смиряться. Выражалось это в том, что половину молока они отдавали аппаратам, а потом их додаивали руками. Однако все до единой коровы стали доиться хуже. Слива, дававшая прежде в день по двадцати литров, съехала на двенадцать.

Прибыл на ферму какой-то корреспондент, хотел описать успехи, но быстро ретировался.

Но хотя на девушек теперь пришлось всего по семнадцати коров, такой тяжелой работы они еще не знали. Порой некогда было и пот со лба вытереть: надевай стаканы на одну корову, сама кидайся додаивать другую, на третьей аппарат шипит впустую, скорее снимай, переноси на четвертую, а тут уже первая не отдает, снимай с нее и додаивай. А аппарат выполняет самую легкую часть дела, «снимает сливки», а вторая часть дойки всегда труднее, так что доярка все так же гнулась над выменем, только бегать стала больше.

Раньше, подоив, ополаскивали ведра и шли домой. Теперь надо было мыть горячей водой весь аппарат да еще периодически разбирать его до основания, мыть все его железки в соде, менять трубки, клапаны. Таким образом, на каждую доярку пришлось работы больше, а молока ферма стала давать меньше.

Галя кинулась к инструкции, к учебникам и брошюрам передового опыта. Везде доильные аппараты расхваливались как замечательное достижение науки и техники, но нигде не было объяснено, что делать со Сливой.

Вся эта литература абсолютно игнорировала корову как живое существо. Предполагалось, что это тоже своего рода машина или бесчувственное бревно, которому безразлично, пият его вручную или электропилой.

Нашлась и на ферме такая корова, которая ближе всего подходила к научно-техническому идеалу, — Чабуля. Это тупое и глупое животное, отнюдь не молочное, раньше давало дюжину литров. Теперь от нее Галя надаивала аппаратом литров восемь да руками два-три — и на том спасибо.

Со Сливой же творилось что-то неладное. Она была позднего отела, ей бы доиться да доиться, а молоко убывало катастрофически. Галя хотела поехать на какую-нибудь другую ферму, поговорить с опытными людьми, но когда и как? Выходных не было. Она очутилась в безвыходном положении: советов, инструкций, указаний было хоть пруд пруди, а

на самый простой и главный вопрос — никакого ответа, будто он впервые возник.

Тася Чирьева сказала:

— Давайте их поломаем, эти проклятые аппараты, переделим коров по-старому и руками опять...

Составляя вечерами справку о надое, Галя подолгу в тупом недоумении задумывалась над ней.

## 4

Шел одиннадцатый час вечера, дойка кончалась, и Галя выключила мотор. Она с минуту постояла, отдыхая, наслаждаясь тишиной. Уже все разошлись. Галя в этот день задержалась больше, чем когда-либо, еще надо было отнести свои бидоны и запереть подсобку.

Было такое ощущение, будто какая-то корова осталась недодоенной. Из-за того, что все время мечешься, немудрено запутаться в семнадцати головах. Вспомнить ошибку не хотелось, и она не стала вспоминать.

Коровы ее ряда стояли беспокойно, еще не придя в себя после аппаратов. Амба и Чабуля коротко подрались, и обе отпрянули, гремя цепями. Слива стояла неподвижно, как статуя, глядя в одну точку.

— Что мне с тобой делать... — сказала Галя, тронув ее.

Корова вздрогнула, потянулась влажными губами к руке и щедро лизнула ее, так что рука стала мокрая. Уши настороженно слушали, пушистые, в золотистом сиянии от электрического света. Вдруг они быстро повернулись, и Галя тоже услышала какой-то тихий стук.

Сторож еще не приходил, а если приходил, то не с той стороны. Гале стало страшно, она тихо прошла к подсобке и заглянула в дверь. Там метнулась громадная тень. Галя чуть не закричала, но тут вышла Тася Чирьева с мешком в руках.

— А! — сказала она. — Звоняюсь...

Она спокойно вернулась к закорму и вытряхнула из мешка комбикорм.

— Ты никому не говори, — сказала она, просительно улыбаясь и сверкая золотыми зубами. — Я больше не буду.

Галя молчала, смешавшись.

— Ты чего так засиделась? — сказала Тася. — Девки в клуб пошли, там матросик приехал... Пошли и мы. Ладно?

Они вышли в темноту и, спотыкаясь, проваливаясь в колеи, пошли к клубу, который ничем не отличался от других изб и который постороннему человеку трудно было бы найти.

— Ты на меня не обижайся, что я хотела таяпнуть, — сказала Тася. — Я же не у тебя хотела, а так. Вот ты у меня Костьку отбила, а я и то не обижаюсь...

— Костьку?

— Ну да. Как ты стала к нему ходить, он со мной и знаться не захотел. Сижу теперь одна как палец. Нечто в клубе какого мужичка подцепить?..

— Вернется муж, он тебе устроит, — сказала Галя несколько дрогнувшим голосом.

— Устраивал уже! Поцапались мы с ним, я говорю: уходи. Он ушел к своим. Через два дня идет — за вещами. Ну, бери. Слово за слово, он мне одно, я ему два, он как сгреб меня, как стал душить за шею, аж кости повредил, я уж кончалась, когда соседи отняли. Получил, гад, за то три года и отсидел сполна. Такой муж. Нет у меня мужа, нету никого.

— И родных нет?

— Была мать, да в пятьдесят втором году померла.

— Не могу я только понять, как ты живешь.

— Так и живу!

— Скажи, ты когда-нибудь думаешь: зачем?

— Ой, мамочки, насмешила! — воскликнула Тася. — Да что я, чокнутая? В жизни не думала и думать не хочу, пусть лошади думают, на то у них головы большие.

— Правда?

— А то! Тьфу! Гляди, а Костыка-то наш не дурак, уже новую обживает!

Галя взгляделась в темноту, и сердце ее упало. Впереди шла пара, и парень был Костя, а девушку она не могла разглядеть. Они поднялись по ступенькам и вошли в избу-клуб.

— В самый раз я тебя повела? Да? — хихикнула Тася. — Ладно, не теряйся, главное — не думай, как я. Все бывает!

— Погоди, не лети, дай я отдышусь, — сказала Галя.

Они постояли под крыльцом. В избе пиликала гармошка, и на занавесках мелькали быстрые тени. Все крыльцо было усыпано окурками и подсолнечной шелухой.

Отпускной матросик для деревни — это почти как фестиваль для столицы. Матросик был по всем статьям — отутюженный, загорелый, прощенный, даже с баяном. Но в последнем как раз и крылся его минус: он играл, улыбался, но не танцевал, так что возле него можно было разве что посидеть.

Клубная изба была просторная и голая. Потолок был низок, и под ним горела одна-единственная, но нестерпимо яркая лампочка.

Некрашенный пол избы был из широких досок, между которыми образовались такие щели, что приди кто-нибудь на тонких кублуках — ушел бы без них.

Вдоль стен стояли длинные грубые скамьи, а на стенах висели пожелтевшие сельскохозяйственные плакаты. В углу имелся стол с подшивками двух газет и почему-то журналом «Советский воин». Иногда кто-нибудь листал их от скуки, но, как правило, самый свежий номер был недельной давности. Всем этим делом заведовала жена Иванова; по существу ее функции сводились к тому, что она приходила и отпира-ла всякий замок, а иногда не приходила и ее искали по всей деревне.

Самыми стойкими посетителями клуба были мальчишки десяти — пятнадцати лет. Они приходили первыми и уходили поздно. Трудно сказать, что их привлекало. Они сидели рядами вдоль стен, вскакивали, бегали на улицу, бузотерили, пищали, квакали и выключали свет.

Другой категорией постоянных посетителей были старики. Эти приходили с палками, прочно усаживались на одни и те же любимые места и высиживали до полуночи, иногда крича что-нибудь друг другу на ухо, а то молча. Большим событием вечера было, если удавалось расшевелить кого-нибудь из них. Сидит дед, сидит, потом лихо вскрикнет, шваркнет шапку о пол и пошел топтаться криво-косо на потеху мальчишкам и всему обществу. Об этом вспоминали несколько дней.

Гармонистом обычно был «муж» Людмилы, умевший играть только «та-ра, ти-ри», и под эту нехитрую музыку честной народ ухитрялся танцевать все. Иногда случались заезжие гармонисты из других сел. Это устраивалось заранее, по обдуманному плану. Перед этим девушки целый день шушукались, покупали вскладчину пол-литра, кто-то ехал в другое село, кто-то завлекал, и вот гармонист торжественно являлся. В такой вечер приходили даже женатые.

Женатые обычно в клуб не ходили. Негласно считалось, что клуб — это место знакомств, где присматриваются друг к другу. Ну, а коль уже поженились, то ходить в клуб странно. Замужние женщины сразу ста-



новились чинными, мужчины блекли и начинали танцулькам предпочитать выпивку. Женатики смотрели на клуб и всякую шушеру, которая туда ходит, свысока, устаивая своим посещением разве что ради приежжего гармониста.

По вторникам и субботам в клубе пускали кино. Тогда уж шли все без различия, набивалась полная изба. Но механик всякий раз скандалил и кричал, что не начнет пускать, пока не купят двадцати билетов — это был его минимум.

Войдя в клуб, Тася почувствовала себя, как рыба в воде, вскрикнула «их, их!» и пошла танцевать, выкамаривая перед матросиком.

Галя осмотрелась и увидела в углу, у стола с газетами, Костю. Он стоял спиной и разговаривал. Девушку она опять не видела.

Тогда она прошла в другой угол, увидела ясное, улыбающееся Костино лицо и увидела ту, с которой он говорил. Это была Людмила-птичница.

Галя села на скамейку и стала ждать. Но Костя и не думал ее замечать. Когда матросик заиграл какой-то модный чарльстон, Костя с Людмилой стали танцевать. Танцевали они польку. Очень долго танцевали. Людмила вся таяла и толкалась о Костю грудью.

Галя почувствовала себя очень неловко и странно, она сидела, как чужая, скамья по обе стороны была свободна.

Так прошел час, наверное, как показалось Гале. Потом Людмила накинула платок и ушла. Костя постоял и тоже ушел, но вернулся сейчас же и прямо направился к Гале.

— А, привет! — сказал он. — Станцуем?

Она положила ему руку на плечо, но танцевалось плохо, она все время почему-то заплеталась. Засиделась, видно. Костя был хороший, внимательный и ласковый. У нее опять отлегло от сердца.

— Что такая скучная? — спросил Костя. — Опять думаешь? Охота тебе задумываться!

— Вы все учите меня не думать, — с досадой сказала она, — я неспособная, не получается.

— Иди ты, — вдруг грубо сказал он, — надоело мне твое рассуждательство.

Если бы он этого не сказал, она бы ни словом не попрекнула его за Людмилу и вообще забыла бы этот тягостный час, и все было бы по-прежнему, но эта неожиданная грубость и холодок зацепили ее. Она возразила:

— А может, мне надоела твоя бездумность?

— Пожалуйста. Мне наплевать.

— Нет, не плевать, — сказала она, чувствуя, что ее заносит, но не имея сил остановиться; теперь ей было уже страшно обидно за то, что он привел Людмилу в клуб, а не ее. — Нет, не плевать. Ты живешь, не думая, а придет пора об этом пожалеть.

Он с иронической улыбкой смотрел на нее.

— Да! — воскликнула она, сама не зная, что говорит, но желая любой ценой уязвить его. — Будь я такой здоровенной, не сидела бы у стада в рваных опорках, а водила бы комбайны!

— Ого! — сказал Костя. — Это уже разговор. Ну-ну.

— Ты такой силач, бык, — говорила Галя, уже пугаясь своих слов, — живешь, как скот, нажрался, баб себе в лес водишь, а потом валяешься и в небо смотришь, что ты там видишь, спрашивается!

— Вороны летают, — пошутил Костя.

— Там такие парни на ракетах летают, а ты — как жаба в болоте, вот так!

— Ну, — сказал Костя. — А мне все равно.

— И плохо, что все равно,— сказала Галя.— Нам дана жизнь. Слива и та живет пятнадцать лет, а мы сто, да за эти сто можно такое сотворить!.. Слива и та море молока дает, а что ты бы мог дать!

Они уже не танцевали, а стояли у стены, насторожившись.

— Свинья,— сказала Галя,— свинья ты, а не человек, и вкуса у тебя нет, и порядочности!

— А ну,— вдруг тихо, озверев, сказал Костя,— уматывай отсюда: я не желаю тебя тут видеть.

— Сам уматывай,— ответила она.— А тронешь, я... я не знаю, что сделаю.

Он посмотрел на нее с такой ненавистью, с такой жестокостью, что у нее похолодела спина. Она еще не видела его таким. Но она стойко выдержала его взгляд, не веря, что он сможет ударить ее.

Никто этого не заметил. Гармонист-матросик старался изо всех сил, Таська Чирьева, обняв его за шею, орала частушки, девушки в сапогах отчаянно топали по полу, в дверях сбилась плотная толпа, и даже Иванов пришел и высовывал нос из-за чужих спин.

Костя опустил глаза.

— Ну, дура...— озадаченно сказал он.— Между нами все кончено. Здравоваться, впрочем, с тобой я буду.

— Можно и не здороваться,— сказала Галя.

Он пробрался к двери, растолкал толпу и ушел. «Сам ушел, а не я...» — подумала Галя.

Один из дедов гикнул, шваркнул шапку о пол и пошел плясать под одобрителный хохот.

Галя постояла у стенки, потом выбралась из клуба.

Она шла и не понимала, что же это случилось. Обычная это ссора или необычная? Опыта у нее не было.

Она не хотела упрекать его комбайнами и космонавтами, только ревновала. Но наговорила она чего-то, в сущности, точного, своей цели добились и допекла его не больше ли, чем стоило? Она ничего не понимала, но было ей очень мерзко. Она готова была побежать, разыскать его и просить прощения, но в чем? Она подумала, что опускается, раз готова бежать.

За время жизни в деревне она заметно изменилась. Уже не была той испуганной, застенчивой девочкой, какой приехала. Даже в голосе появились резкие нотки.

Если бы школьные подруги увидели ее, они бы здорово удивились. Она ни с кем не переписывалась и вообще уехала тогда, как в воду канула, имея при себе от прошлого только материн диплом да несколько учебников. Иногда по вечерам она разворачивала историю или химию и прочитывала несколько страниц, прячась даже от Пуговкиной. И со страхом убеждалась, что все забывает.

Открыла она и любопытную вещь: раньше учебники были чем-то навязанным, неприятным, а сейчас даже химия была увлекательна, как роман. Наверное, потому, что никто не стоял над душой и не требовал зубрить «от сих до сих», а в книге было много интересных вещей, она не обращала на них раньше внимания, теперь только оценила, как, наверное, Робинзон ценил каждый предмет, каждый гвоздь, доставшийся ему после кораблекрушения.

## 5

Начались дожди, и стадо теперь не выгоняли, разве только на водопой, остальное время коровы стояли на цепях, и у доярок прибавилось много работы с раздачей корма. К счастью, Иванов пока не скупился и сено, силос, жом поставлял исправно.

Для вывозки навоза наладили подвесную вагонетку. Странное дело, рельс под потолком был и раньше, а вагонетка ржавела за коровником, пока Галя не спросила: «А это зачем?»

И оказалось, что она там наладила с времен постройки коровника, и никому в голову не пришло наладить, а много людей мучились годами, выволакивая вручную навоз.

Теперь уже не то. Вот ведь забыли, например, доярки, как мыть посуду сырой водой. Теперь мыли посуду только кипяченой и, если котел запаздывал, бранились, но никто порядка не нарушал — сидели и ждали, пока вода вскипит.

Костино пастушество на этот год кончилось: он пошел в уборщики, а Петька — в возницы. Костя приходил в коровник, убирал навоз, вывозил и слово свое держал: с Галей здоровался, но всяких разговоров избегал. И уже всем было известно, что он «ходит» с Людмилой. А тот «муж» с гармошкой плакался и переживал.

Галя не стала переживать. За работой она света не видела и так выматывалась, что едва хватало сил дотащиться до постели и бухнуться в нее. Имея мало помощи от аппаратов, она все семнадцать коров даивала руками.

Но тут Валька Ряхина наконец закончила свой роман свадьбой с шофером и объявила, что уходит. И так у каждой доярки стало по двадцати одной корове.

Свадьбу шофер справлял лихо, на широкую ногу: сначала в Рудневе, затем в Дубинке.

Изба Ряхиных была полна знакомого и незнакомого народу. Стояли длинные столы, и все ели, пили. Людмили «муж» тут как тут пиликал свое «та-ра, ту-ру». Шофер был комсомолец и пожелал играть свадьбу без старинных обрядов.

Галя еще не забыла свою первую пьянку и наотрез отказалась пить. На нее сначала обиделись, потом простили. Она посидела для приличия четверть часа и, не в силах больше дышать дымом, вышла на крыльцо.

В доме запела Людмила — красиво, звучно. У нее был отличный слух и хороший голос. Она пела долго, а Галя сидела и слушала.

На ферму идти было рано. Было прохладно, и с неба временами сыпалась изморось, но это ей не мешало.

Людмила вышла на крыльцо. За ней никто не пошел; она, шатаясь, спустилась на землю и, увидев Галю, упала на нее с объятиями.

— Не сердись, — сказала она Гале, — не сердись, дорога душа, я подая, но я его не отбивала, он сам прицепился.

— Ладно, — сказала Галя, — не надо. Это ты выпила, иди лучше домой.

— Не пойду, — сказала Людмила упрямо. — Пусть все пропадет, а я сдаваться не желаю, я свое урву, а тогда помру, поняла? Осуждаешь меня? А я на тебя плевала. Осуждайте меня, а я над вами посмеюсь!

Гале надоело это, она встала и пошла по улице. Людмила, наверное, не заметила, потому что продолжала что-то говорить.

Дорога была мокрая, скользкая. Галя шла, опустив голову, глядя в землю, и скользкая земля бежала ей под ноги, как колесо.

Моросил дождь, и Галя пришла на ферму мокрая. Она была неприятно удивлена, увидев Костю с длинной лопатой и граблями, убравшего навоз. Она поздоровалась, и он поздоровался с ней. Он был злой, сникший. Она принесла аппараты, намереваясь доить.

— Ты слушай, — сказал Костя, — ты зачем со мной так разговаривала в клубе, будто я перед собой виноват или должен пять копеек? Высоко себя ценишь.

— Мне было обидно,— сказала Галя.

— А меня зло взяло. Чего ты ко мне так прицепилась? Я с тобой не расписывался и расписываться не собираюсь, учти.

— Брось ты... никогда я не думала об этом.

— Думала! — затравленно воскликнул он.— Все думаете! Об одном только и думаете — как бы на шею сесть какому дураку.

— Я не собиралась женить тебя на себе,— сказала Галя.— Если бы ты мне предложил даже сам, я бы не согласилась. Я тебя любила. И теперь еще немного люблю. Это пройдет. Просто мне не с кем слова было сказать и я вообразила...

— Поменьше воображай,— буркнул он, чем-то тронутый в ее голосе или словах.

Он швырнул лопату и подошел ближе.

— А хочешь, давай мириться? И я скучаю без тебя.

— Нет, не хочу,— сказала Галя.— Не надо.

— Ты что, хотела бы, чтоб я тебе в вечной любви поклялся? Так не могу. Я вообще никого не люблю. Может, потому и такой...

— Неправда, любишь,— сказала Галя.— Ты очень любишь. Очень. Себя. И потому ты такой.

— Себя я люблю,— охотно согласился он.— Каждый любит себя. А если говорит, что не любит,— так врет. А ты мне нравишься, и проводить с тобой время я могу и дальше.

— Благодарю,— сказала Галя,— не надо.

— Точно не надо?

— Точно не надо...

Ей надобно было сказать что-то такое жесточайше-уничтожающее, убивающее на месте, она знала, что должна это сказать, но не было слов и перед глазами у нее все поплыло.

— К черту,— сказал он, забрал лопату и грабли, с грохотом зашвырнул их в угол и исчез — она не поняла куда, но во всяком случае его не стало, словно он растворился.

Как во сне, она принялась за обычные дела. Включила установку, надевала стаканы на Чабулю. Видно, на дворе шел сильный дождь, так как с потолка полились целые потоки.

С тех пор как начались дожди, труды по побелке и чистота рухнули. Груды соломы на потолке не только не спасали от дождя, но еще собирали воду, и дождь в коровнике еще долго продолжался после того, как снаружи кончался. На полу вечно стояли лужи, коровы мокли и хандрили. Может, они простужались.

Галя говорила Иванову, требовала: сделайте хоть какую-нибудь крышу. Он клялся, что это не в его силах. «Я поеду к Воробьеву!» — угрожала Галя. «Езжай, мне что,— пожимал он плечами,— жили уже сколько лет твои коровы без крыши».

Галя уже выдоила пять коров, когда явились Люся и Тася, обе навеселе, обе бесшабашные, потащили аппарат, разбили стекло. Ольга, сообщивши они, осталась спать.

Доили они с пятого на десятое и все время хохотали. Удивительно, как они не разлили молоко вообще. Тася первая закончила, умылась, помахала ручкой и ушла.

Галя закончила своих коров и принялась за Ольгиных. Люся немного помогла. Но она так устала, что едва двигала руками. Галя отправила ее домой.

— Я бы помогла,— оправдывалась Люся.— Но нет сил, пойми меня.

— Прощаю, прощаю, иди.

— Сестренку замуж отдала, родную сестренку...

— Конечно, да иди, иди. Не хнычь.

Люся ушла. Галя возилась, наверное, до часу ночи. Хорошо, пришел хромой муж тетушки Ани, помог катать бидоны.

Только они успели сделать это, как погас свет. Галя как ни устала, а обрадовалась, что свет погас не раньше. Она взяла мешок, чтобы укрыться от дождя, и, попрощавшись со сторожем, пошла домой.

Открыв дверь коровника, она ожидала что-нибудь увидеть. Она сделала несколько шагов и растерянно остановилась: не видно было ничего. Лил невидимый дождь с ветром, хлюпал, а в небе не было ни просвета, ни серого пятнышка — сплошная тьма.

Только по памяти Галя прошла несколько десятков метров, щупая ногой землю и надеясь, что глаза привыкнут и что-нибудь различат.

Но она шла и шла, а глаза ничего не различали, и ей стало не на шутку страшно: она уже не знала, где она. Натолкнулась на какой-то куст, хотя вблизи коровника как будто не было кустов. Под ногами была грязь — дорога или нет, непонятно.

А дождь все лил и лил, бил в лицо косыми струями, и мешок на голове сразу промок, отяжелел, ноги были давно насквозь мокры, туфли полны грязи. Она затопталась на месте, все более пугаясь, беспомощно пытаясь сориентироваться — но была только тьма и тьма.

И тут вспыхнули лампочки в избах, засветились окна коровника. Галя была на обочине дороги, направляясь прямо в пруд. После фантастической тьмы эти слабенькие лампочки светили ей лучше прожекторов. Она, задыхаясь, побежала через плотину, скорей домой, промокая до нитки, стучащая зубами. Дома была теплая печь.

Галя разделась догола, развесила все по печи, забралась наверх и сидела там, отогреваясь. Нашупав какие-то семечки, стала их с голоду грызть. Пуговкина храпела в закутке. Шумел за стенами дождь.

«Нет смысла в жизни, — думала Галя, — нет. Есть жизнь, есть смерть. Создала все жестокая природа. Вот и все. Очень просто. Очень просто».

Ей становилось теплее, она нащупала какое-то покрывало, завернулась в него и прикорнула, не собираясь слезать. Так тепло стало, так уютно, такое счастье было, что есть изба, в ней теплая печь, где можно спрятаться от холода.

## 6

Ранним утром забили на мясо трех свиней, и Петьке было поручено отвезти туши в Пахомово. Узнав об этом, Галя поручила своих коров Ольге и попросила подвезти ее.

Туши положили в телегу, накрыли соломой, Петька бросил сверху рогожу, и Галя кое-как устроилась.

Они медленно, медленно потащились по грязям и хлябям через лес, через убранные поля, и дождик моросил, унылый и бесконечный. Петьку это не смущало, он бодро посвистывал, почмокивал на коня, конь старался изо всех сил, месил, месил копытами черную, вьющуюся змеей дорогу.

— Люблю погонять! — сообщил Петька. — В прошлом году, как «мо-сквича» не было, я самого Воробьева часто возил! Он как поедет по полям — никого, говорит, не хочу, пусть меня Петька везет.

— Хвастунишка! — улыбнулась Галя.

— Я не хвастаюсь, спроси кого хочешь. Алексей Дмитрич правильный мужик, я его вот с таких знаю. Бывало, приедет. о том о сем, а потом: а ну, запрягай, хлопцы, в кино поедем, в Пахомово. У нас клуба ведь не было. Ну, и едем всей деревней, весело было. А потом клуб сделал.

— Уж и клуб! — сказала Галя.

— Клуб-то ничего, дела в нем мало. Ничего, все со временем будет. Воробьев все сделает, это такой мужик!

— Ты с матерью живешь?

— Ага. Воробьев говорил: ну, Петька, в армии послужишь, приедешь — новую избу вам поставим.

— В армии ты пошатаешься по свету, увидишь другое и вернешься не захочешь. Все вы так — из колхоза в армию, из армии на завод, и ищи вас, свищи.

— Ну, я не такой, я не брошу, увидишь. Мать, во-первых, я не брошу, так? От такого председателя, как Воробьев, только дурак разве уйдет, так? Избу строить буду — значит, деревню не брошу, так? А потом, какая такая совесть у меня останется, чтобы я Руднево на полном развороте бросил, а? Я приеду, погляжу, что без меня народ поделал — да я же со стыда удавлюсь, так?

— Оптимист ты, Петька, — сказала Галя, — до чего приятно с тобой говорить! Как на тебя ни посмотри, никогда ты не скучаешь.

— А чего скучать? Раньше в деревне было плохо, и народ скучный был. А теперь скучать некогда.

У Воробьева в кабинете стоял крик и спор, словно не прекращался с весны:

— Я понимаю, однолетние травы сократить, это я понимаю, но...

— Сколько зерна без гречихи, где план?

— Откуда вы эти площади взяли?

— Э, нет, оставьте семенники!

Воробьев остановился на Гале невидящими глазами, весь взъерошенный и потный. Она постояла немного, вздохнула и села на диван.

— А, девочка-красавица! — сказал, заглядывая, Цугрик. — Ты-то мне и нужна, пойдем ко мне. Это почему вы пробы перестали давать?

«Спрошу про аппараты», — подумала Галя, идя за ним.

— Мы не успеваем, — сказала она, — нам было не до проб.

— Ничего себе ответ, — удивился Цугрик. — Мы вам механизацию, а вы обрадовались, что теперь можно ничего не делать?

— Половину молока мы доим руками.

— Ну и что? — весело сказал Цугрик. — У всех так. Часть руками, а часть аппаратами.

— У всех?!

— Конечно. А ты что же, девочка, думала?

— Скажите, и это что, так будет всегда?

Она спросила таким перепуганным тоном, что Цугрик невольно улыбнулся и сказал мягко, тихо, как по секрету:

— Глупенькая, изловчаться надо. Вот надоест вам доить руками, будете только аппаратами. Многие так и делают. Поняла?

— Тогда же... Какой же будет удой? Коровы испортятся... — пробормотала Галя.

— Да, — авторитетно сказал Цугрик, — молока, конечно, меньше. Ну, додаивать надо. Надо. Додаивайте. Которые коровы не принимают, у вас много таких?

— У меня, например, Слива отдает только рукам. Аппараты ее совсем расстроили. Летом давала двадцать, а теперь восемь...

— Слива? — повторил он, размышляя. — Восемь — это мало. Мало...

— Я уже ничего не могу сделать, молоко просто пропало.

— Ничего, будем делать сортировку скота, — солидно сказал Цугрик. — А пойдет молодняк — тот сразу привыкает и все налаживается. Если только новые аппараты не придумают к той поре.

— Зачем же пишут инструкции так глупо... — разочарованно сказала Галя. — Дойка — семь минут, эх!

— Так оно и есть, — сказал Цугрик. — А потом ручками. Если так уж охота.

Она смотрела на него и не понимала: серьезно он это или шутя, прощупывает ее? Он был ей совершенно непонятен. То, что он предлагал намеками, было прямо кощунственно, но она могла вообразить, что такое на фермах есть.

— Это пустяки, — сказал Цугрик, роясь в бумагах. — Я должен поговорить о другом деле. У нас из рук вон плохо поставлена отчетность. Конечно, сам я делаю все, что могу, но главное осталось за вами. Вот журнал — правда, это для учета осеменения, но вы используйте графы, а как записывать данные, я сейчас покажу. — Он раскрыл журнал и начал с первой страницы: — Здесь пишете кличку коровы, номер по порядку, год рождения, масть, вес, особые приметы, число отелов, число приплода, пол приплода, его масть, вес и приметы. Тут запишете вкратце, куда телята поступали — остались на ферме, сданы на мясо и прочее, а если околели, тоже отметьте. Сделать это нужно по каждой корове за все прошлые годы.

— У нас есть старые коровы, это нужно поднимать архив, — озадаченно сказала Галя.

— Ничего, вы девочки молодые, энергичные, пореетесь и найдете. Ничего не поделаешь, это для дела. Область требует так. И чтоб без выдумок, смотрите мне, чтоб все было в ажуре. Запомнили, как писать? Здесь — порядковый номер и кличка...

— Порядковый номер и кличка... — стала повторять Галя, запоминая.

— Отлично. Дальше следует такой раздел: в таком-то году от коровы по кличке Красавка надоено столько-то молока. В следующем году от нее же надоено столько-то. Сколько у вас коров?

— Восемьдесят пять.

— По всем восьмидесяти пяти. Затем переносите весь список сюда и уже отмечаете ежедневно, сколько дала Красавка, Слива и так далее в утреннюю дойку, сколько в следующую и так далее, это уже, значит, ежедневно.

— Но мы доим аппаратом несколько коров одну за другой, и молоко смешивается, — пробормотала Галя, начиная чувствовать что-то вроде панического страха.

— Это пустяки. После каждой коровы откройте крышку и слейте в молокомер.

— И потом мы руками додаиваем!

— И руками тоже — измерьте и приплюсуйте.

— У меня двадцать одна корова, я с ними так запутываюсь, что и додоить иную забываю!

— А вот это плохо, очень плохо, какая же вы тогда доярка!

Галя на миг вообразила, как она мечется с бумагой от коровы к корове. Аппараты стоят, потому что она меряет. Сорок два раза за дойку меряет молоко. Дойка тянется долгие часы, сведения перепутываются...

— Зачем это? — воскликнула она.

— Научно поставленное животноводство, дорогая. Мы должны иметь четкое представление о делах на ферме. Раскрыл журнал — и все тут как на ладони. Журнала вам хватит примерно на неделю, а в пятницу я вам подошлю еще. Сейчас как раз кончились.

— Может, это и надо, — сказала Галя. — Но тогда надо держать специального учетчика, и то работы ему будет по горло.

— Не горячись, — сказал Цугрик. — Тебя никто не просил брать на

себя функции завфермой. Вы сказали, что будете сами — вот и выполняйте ее работу. Сведения — это святое дело, они помогают...

— Что они там помогают!.. — с сердцем сказала Галя. — Вы напишите в первой графе, что съела корова, а я во второй с закрытыми глазами напишу, сколько она дала молока! От этих журналов прибавится ли хоть литр, скажите?

— Дитя мое, — мягко сказал Цугрик. — Вы можете изворачиваться с учетом как хотите. Все мы знаем, что не прибавится. Но научный метод есть научный метод. Он требует строгого учета и отчета. Молоко, так сказать, в руках божьих, корова может дать, может и не дать. Отчетность же в руках человеческих — тут уж дай и все. Если греют за молоко, сошлись на корову, на корма. Если греют за отчетность — не на кого сослаться, ты виновата. Поняла? Как хотите управляйтесь, а сведения представляйте и бумаги заполняйте все до единой! — Он спохватился, что напрасно так откровенничает, и мигом свернул на попятный: — Не смейся, это действительно имеет огромное значение. Вот ты Сливу свою как кормишь?

— Как всех, но...

— А когда она молоко зажимает, комбикормцу подсыпашь?

— Немного, только чтобы она успокоилась.

— Ну вот, а мы посмотрим на сведения и определим: эта корова нерентабельна, ее сдать на мясо. Комбикорм нам нужен для тех, кто дает молоко, а не ломается. Бери журнал, и пишите с богом.

Галя повертела в руках журнал и положила его на стол:

— Не будем писать. Сведения эти глупые.

— Но-но, — сказал Цугрик. — Все фермы пишут, и никто не протестовал.

— А мы протестуем! Не будем, не будем!

— Тогда придется поговорить с вами по другой линии, — невозмутимо сказал Цугрик.

— Ну и говорите! — крикнула Галя и выскочила.

За дверью она крепко сжала руки, чтобы успокоиться — так все в ней вдруг заколотилось. «Я становлюсь грубиянкой, как Ольга, — подумала она. — Привыкаю, как видно».

Она поймала Воробьева в момент, когда тот запирает кабинет. Председатель поморщился, но кабинет открыл, и они вошли.

— Дайте нам крышу, — сказала Галя. — Нас заливают.

Председатель устало потер лоб, глаза и вдруг вызверился:

— Идите вы ко всем прабабушкам, только у меня и забот с вашими крышами! Это что, специально за этим приехала?

— Да.

— Убирайся обратно!

Галя встала и пошла к двери.

— Подожди, — окликнул он, посопел и сказал: — Передай Иванову, пусть соломы еще стог подбросит — и перезимуете.

— Не перезимуем, — сказала Галя. — Мы все переболеем и коров угробим. Я буду писать в газету.

У председателя был такой вид, что только пистолет в руки. Он схватил палку и забарабанил ею в стену так, что посыпалась штукатурка.

— Что за шум, что за пожар? — сказал Волков, вбегая. — А! Руднево прибыло! Как там коровки, привыкли?

— Не привыкли, — злобно ответила Галя. — Удой десять литров.

— М-да... — сказал Волков. — Ну, осень пошла, удои, ясно, ниже... но вообще... Аппараты хоть не портятся?

— Пока нет, но они же не все выдаивают!



— Терпите,— сказал Воробьев, уже немного успокоившийся.— Терпите, к весне улучшится. Но аппараты не аппараты, а молоко гоните!

— Кажется, вы только это и умеете: гоните, гоните! — сказала Галя раздраженно.

Воробьева это почему-то не задело, он смолчал, а Волков улыбнулся.

— Теперь я все поняла,— сказала Галя.— Когда вы привезли аппараты, мы чуть не плясали, теперь мы чуть не плачем. Как же это получается?

Председатель и парторг молчали.

— А вы что, против работы? — спросил Волков холодно.

— Или против механизации? — добавил Воробьев.

— Нет, мы не против механизации вообще. Но если бы вы заранее узнали — а вы должны были узнать, это для вас не первый раз,— вы бы не свалили нам все это на голову: нате и давайте! Вы бы объяснили, что надо медленно вводить и не спешить наваливать на нас по семнадцати коров. А теперь у нас уже по двадцати одной корове, и нет уже никакого выхода: к аппаратам они не готовы, а рук у нас только по две! Мы не против работы, Сергей Сергеевич, и не смотрите на меня такими ледяными глазами. Мы работаем, и вы не смеете нас упрекнуть. Но мы за нормальную работу. В городах семичасовой рабочий день, а у нас выходных нет, крутимся с утра до ночи. Если такая работа — мы против.

— Зимой отлежитесь! — жестко сказал Волков.— Мы не даем выходных, потому что у вас неравномерная нагрузка.

— Ладно, Сергей, — мрачно сказал Воробьев.— Зимой им тоже хватает дел. Пожалуй, выделим по фермам подменных доярок и дадим выходные. Составим график отпусков, хоть зимой.

— Я работаю без выходных! — воскликнул Волков.

— Это тебе на том свете зачтется,— улыбнулся Воробьев.— На твоей и моей могилах напишут: вот лежат двое помешанных, которые работали без выходных.

— Мне надо ехать,— сказала Галя.— Я прошу вас: сделайте крышу.

— Она за крышей приехала,— сказал Воробьев.— Может, в самом деле сделаем? А то у них там действительно гора соломы — плюнь да разотри.

— Ну, подумай,— сказал Волков.

Галя испуганно посмотрела на обоих. Прошибло их, или они просто ломаются?

— Может, еще претензии есть? — спросил Воробьев.

— Клуб у нас,— сказала Галя, чувствуя себя, как загипнотизированная,— клуб... Живем, как на острове... Хорошо бы телевизор...

— Ага, телевизор?

— Да.

— Телевизор? Ну-ну. Еще что-нибудь?

— Больше ничего,— прошептала она.

Оба руководителя сидели молча. Галя встала, сказала «до свидания» и осторожно вышла, как пьяная.

Только на крыльце она пришла в себя, увидев Петьку, который, видно, долго ее дождался. Она бросилась к нему, прыгнула в телегу, крикнула:

— Гони!

Телега уже отъехала, когда на крыльцо выскочил Воробьев без шапки.

— Эй, Макарова! — закричал он.— Ты почему отказалась представлять отчетность? Вернись сейчас же, журнал возьми!

— А идите вы ко всем прабабушкам! — воскликнула Галя и упала в сено.

У коровника стоял грузовой автомобиль и копошились люди. Галя удивилась: никакой машины сегодня не ждали.

Грузовик подъехал необычно — со стороны пруда, под обрывчик, продрав скатами колею в траве, видно, изрядно побуксовав. Задний борт его был откинут, к обрывчику проложены доски, и Тася Чирьева тащила на них упирающуюся корову. Галя всмотрелась и совсем ничего не поняла: тащили Сливу.

Она спрыгнула с телеги и побежала.

— На, сама волокиты! — обрадовалась Тася. — Не идет, вредная. Отжилась твоя Слива, на бойню сдают.

— Как? — оторопела Галя.

— А так, молока не дает — ну, на мясо.

— Кто распорядился?

— Начальство, кто ж.

— Иванов?

— Да.

— Где он?

— В коровнике — греется, паразит, а ты тащи.

Галя бросилась в коровник. Иванов подкладывал щепочки в топку котла.

— Зачем вы Сливу губите? — жалобно выкрикнула Галя

— А зачем она? — Иванов удивленно посмотрел на нее.

— Она хорошая корова.

— Тыфу ты, напугала. Это нас не касается. Цугрик позвонил и велел сдать, а тут машина подвернулась. Ты там у себя запиши: как непригодную к молочному производству.

Он отвернулся и принялся опять любовно подкладывать щепочки в огонь.

Галя все поняла. Это она сама, своим языком предала Сливу, и этот бюрократ, обозленный за отчетность, решил ее так пакостно уколоть. Может, и не думал колоть, просто он должен был выбраковать коров на мясо, и вот он выбраковал с ее слов.

— Не отдавайте Сливу, я прошу вас! — стала она молить Иванова. — Это очень молочная, первоклассная корова!

— Слушай, — сказал Иванов. — Ну, как на вас всех угодить? Кто для меня важнее — ты или Цугрик? Да плюнь ты на эту Сливу, подумаешь, молочная!

— Я Сливу не отдам! — быстро сказала Галя и выбежала вон.

— Эй, эй, — закричал Иванов, высовывая нос из пристройки. — Акт составлен, ты знаешь, что за самоуправство полагается?

— Не отдам, — чуть не со слезами сказала Галя, обхватывая корову за шею и заворачивая ее в коровник. — Как вы можете? Все понимаете — и так можете? Это же разбой! Не отдам! Ее испугали аппараты, она же чувствительная, как человек, она отойдет!..

— Чувствительная! — захохотал Иванов. — А читать она у тебя не умеет? Может, в школу отдадим? А ну, отдай корову, не дурачься, мне некогда с вами заниматься глупостями.

Галя уцепилась за Сливу и приросла к ней. Иванов кликнул шофера.

— Отпусти, — сказал шофер. — Добром непустишь, силой оторвем.

— Попробуйте, — сказала Галя.

— Берите корову, а я ее придержу, — сказал шофер, смеясь.

Он схватил Галю и потащил от коровы. Галя извивалась, била его каблуками, но он только посмеивался:

— Ух, хороша, злющая доярочка! Где ты живешь, я тебя украду.

Галя извернулась и вцепилась зубами в его руку. Он охнул и выпустил ее.

— Ого, гадюка...

Он уже не смеялся. Он наступал, здоровенный, грозный, разъяренный от боли.

— Бей,— сказала Галя, изо всех сил цепляясь за Сливу.

Шофер свирепо посмотрел на нее, опомнился и, плюнув, отошел.

— У вас тигры, а не доярки,— сказал он.— Ну вас, так все и расскажу Цугрику, пусть сам приезжает.

Когда мотор его машины затих вдали, Галя выпустила Сливу и поверила в свою победу. Она не знала, что теперь будет.

Иванов побранился, покружил вокруг Гали и ушел. Ему, собственно, было все равно.

Тасю вся история очень позабавила.

— Молодец,— сказала она.— Пусть он сам, боров жирный, протрясется сюда, а то привык браковать, не глядя. Хорошо ты им нос утерла.

Галю долго еще трясло. Она сидела возле Сливы, без меры давала ей комбикорм, вздрагивала при малейшем звуке, ожидая гула грузовика. Но грузовика все не было.

В дороге Галя промокла, сейчас ее брал озноб, но она боялась отлучиться хоть на полчасика.

Так она просидела неизвестно сколько времени, когда явился Костя убирать навоз.

— Караулишь?— сказал он.— Вся деревня уже знает, как ты воюешь. Давай, давай, орден получишь...

— А ты не издевайся,— попросила Галя.

Но он был в таком настроении, что ему хотелось издеваться.

— Дурочка ты...— сказал он.— За что ты воюешь? С кем ты воюешь? Приедет Цугрик, ну и что ты докажешь?

Галя повернулась к нему спиной. Его это уязвило, он стал смеяться:

— Хорошее жаркое из Сливы получится, жирное. Перво-наперво на бойню — шварк. Кровь в одну сторону, кишки в другую.

И он смеялся, находя в этом большое удовольствие: травить.

Она не знала, куда спрятаться, едва дождалась, когда он убрал навоз и ушел.

Галя пошла в пристройку, раздула в топке огонь, подложила щепок. Она дрожала и была голодна.

Щепки горели, а она не ощущала тепла и совала, совала руки в огонь, пока не обожгла их.

Цугрик не явился до вечера. Скорее всего ему было лень, а может, он по опыту знал, какое это хлопотное дело — связываться с доярками.

Галя с пятого на десятое подоила своих коров. У нее разболелась голова, просто разламывало виски. Никогда она не сливала так мало молока.

Потом она долго, очень долго брела в темноте через плотину, мимо церкви, и всю ее шатало, как пьяную, она все время напряженно думала, куда ступить.

Придя, она не стала ужинать, а одетая завалилась на свой соломенный матрац — и поплыла в душной, горячей тьме без огоньков, без проблесков. Очень смутно слышала, как Пуговкина шаркает, бубнит, трогает ее лоб, кладет какую-то мокрую, со стекающими каплями тряпицу.

— Сливу не отдавайте,— сказала Галя.  
— Что, что? — пробубнила Пуговкина.  
— Сливу не отдавайте,— сказала Галя и провалилась в темноту, как в яму.

### Разговор со скептиком

Он с необычайной сердечностью пожал мне руку:  
— Молоток! Гигант! Поздравляю! Это я понимаю — блестяще. Веришь, я сначала как посмотрел: про доярок, ну, думаю, пшено. Я не верил, что ты так смело долбанешь. Как это у тебя напечатали? Порезали сильно? Дай куски, что не пошли.  
— Все пошло...  
— Колоссально, старик! Ну, эти твои бабы — очуметь можно. Вот она, деревня, колхозик-то. Мрак. Яма. Полькой чарльстон танцуют. Эта главная чувиха у тебя слишком идейная героиня, противно. Но жизнь ее хорошо — по соплям! В общем, ничего. Слушай, старик, скажи по-честному, в деревне что, в самом деле так?  
— Не везде. Бывает по-разному. Я не брал лучшей, это у меня захудаленькая такая, немного затерянная... Кое-что обострял, кое-что не смог поднять.  
— Ладно, не скромничай, поднял ты дай бог. Главное, беспросветность.  
— Мой роман не беспросветный.  
— Старик, все понятно! Пару идей, тирли-мирли, иначе не пустят, а сам материал?! Твоей Галке уж так лажово, так лажово — хуже некуда. Вляпалась, что называется. Ты бы сделал ее не такой идейной, а, старик? Это пшено.  
— Не могу я убавлять идейности, прибавлять идейности, и вообще это не разговор. Она вот такая — честный и порядочный человек. Это идейность?  
— Ну! Уволь меня от этих честных и порядочных, все они кретины.  
— Она тоже?  
— Понимаешь, Галка — нет. Чувиха, правда, не первый сорт, но годится, потому я и сказал «убавь идейности». Порядочность пусть за ней остается, но на фига ей за что-то там бороться, верить во что-то. Сам-то ты веришь?  
— А пошли вы к чертовой матери,— сказал я.— Закройте дверь с той стороны, не мешайте работать.  
Он обиделся и ушел.

### ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

#### 1

За окном виднелся огород с сухими помидорными стеблями, окруженный кустами смородины и голыми рябинами. Покосившийся, гнилой заборчик отделял его от улицы, по которой редко-редко кто проходил, большей частью знакомый.

На рябинах бойко копошились синицы, а в воздухе летали белые мухи. Шла зима.

В доме было сухо и жарко, но окно постоянно запотевало, и время от времени лежавшая на подоконнике тряпка набухала. С утра непрерывно топилась печь, полы были застланы мешками, рогожами, всяким тряпьем, какое только могла достать Пуговкина.

Галя лежала, закутанная в одеяла и тулупы, пропахшие уксусом — Пуговкина вытирала ее, — то засыпала, то думала в полудремоте, то смотрела сквозь окно на огород и в сизое, с низкими тучами небо.

Глотать ей было больно: началась ангина и, кажется, с двух сторон. Еще в городе ангина была ее проклятием: не проходило зимы, чтобы она не укладывалась в постель раз, а то и два.

Медсестра оставила стрептоцид и прочее, но Пуговкина засунула таблетки в шкатулку и сама готовила какое-то горькое, пахнущее сеном зелье, которое Галя должна была пить. Она знала, что зелье, как и стрептоцид, все равно раньше двух недель ее не подымет, и, не сопротивляясь, пила.

Ее болезнь взбудоражила доярок.

Ольга пришла, принесла горшок с картошкой — это тронуло Галя, — заставила Пуговкину сварить картошку, и Галя, накрывшись платком, сидела и дышала ее паром.

Тася дважды в день носила ей парное молоко с фермы.

Пришла тетушка Аня с узелком яблок своего сада, долго судачила с Пуговкиной и объявила, что возвращается на ферму подменной дояркой — четыре раза в неделю, так что остальным будут выходные. Это было уже что-то новое.

Даже Иванов счел своим долгом навестить и принес всем на удивление пушистого котенка.

— Пушай растет, — деловито сказал, — а то у вас мыши.

Галя попросила его принести книг по животноводству, и он приволок целую связку, у многих страницы были слипшиеся от долгого неупотребления.

Учебники были интересны, полны важнейших сведений, которых ни Галя, ни кто другой на ферме не знали. Зато брошюры были полны чепухи вплоть до анекдотов.

Автор одной из них серьезно сообщал, что какая-то доярка доит молодых телок. Хотя они ни разу не телились, но после упорных трудов, массажа вымени и прочего они начали давать немного желтого, с особым привкусом молока.

Ольга и Тася много хохотали и острили по этому поводу: они не сомневались, что от телок можно добиться молока, а если их еще помучить, они, может, станут давать и простоквашу, но не проще ли сводить их к быку?

Пуговкина пришла с тяжелой новостью: умерла баба Марья. Никто толком и не понял, от чего — «от болести», да и все. Приехала невестка из Рязани, голосит над ней, а дьячок из Дубинки читает молитвы. Гале хотелось пойти попрощаться с бабой Марьей. Она не могла забыть, как та пела про солдатику, который «всех моложе, шинель на грудь его легла». Наверное, баба Марья была все-таки хорошим человеком, но слишком уж пришибленным жизнью. Отмолчала свое и теперь уж замолчала навсегда.

Люсю Ряхину было слышно еще от калитки. Она ворвалась в избу холодная, пропахшая морозом, сорвав платок, кинулась трясти Галю:

— Машины с шифером пришли, крышу строят!

Галя смотрела на нее, не веря.

— Бабы сверху солому сбрасывают, а там уже не солома — сплошной перегой... Плотники приехали...

Насилу Галя поверила этой удивительной новости. Это было совершенно непостижимо; надо было удостовериться собственными глазами. Та самая крыша, о которой она продолбила уши Иванову, которой грозила Воробьеву, из-за которой, в общем, и слегла!..

Она заставила Люсю повторить самым подробным образом: какие машины, сколько шифера, какие плотники, откуда лес и куда сбросили гнилую солому, а сама думала: «Ничего без бою в этой жизни не дается, за каждую крышу, каждый гвоздь, оказывается, надо воевать, шаг за шагом, шаг за шагом, отмечая все эти простые победы и удерживая их за собой, как уже удержаны котел с горячей водой, вазелин, красный уголок, выходные дни и так далее и так далее...»

У нее уже в голове намечался стратегический план на будущее, и вместе с Люсей они наметили программу-минимум, обсуждая которую вскрикивали и визжали, как дети. Планы были настолько увлекательны и грандиозны по сравнению с крышей, что было от чего визжать:

- 1) Автоматические поилки.
- 2) Синтетическая мочеви́на.
- 3) Добить Воробьева насчет отпусков.
- 4) Начало борьбы за содержание без привязи.
- 5) Доильная площадка «елочка».

У старухи был свой взгляд на человеческие болезни и медицину вообще.

Болезнь происходила потому, что человек ходил «раздевшись», этим воспользовался «враг» и залез внутрь. «Враг» этот очень боялся тепла и совсем не боялся таблеток. Чтобы выкурить его, следовало потеть — это ему было пуще горькой редьки.

Вдоволь напив Галю зельем, она подняла ее с постели и отправила на печь. Там, завернув в простыню, она закутала ее, словно кокон, ватным одеялом, предварительно нагретым, как сковорода, сверху надела тулуп, застегнув на все крючки, и повязала теплым платком.

Сидя на темной печи в таком состоянии, Галя посмеивалась, но потом ей стало так жарко, что в ней поднялся животный ужас. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, она задыхалась. Пуговкина же топала по избе, время от времени заглядывая и любуясь своим злодейством.

— Уже,— говорила Галя,— уже!

— Сиди, сиди...

Прошло неизвестно сколько времени. Галя тонула в поту, она крутила головой, чтобы хоть сбросить платок, но узлы были завязаны на совесть, и безжалостная старуха только ругалась, вытирая пот с Галиных бровей. Дышать было нечем: не воздух — сплошной раскаленный жар. У Гали временами затуманивалось сознание, и она начинала смутно видеть то автопоилку, то синтетическую мочеви́ну...

— Кончаюсь,— стонала она, просыпаясь.— Кузьминична, пощадите, вас же за меня судить будут...

Ее стало клонить в сон, она прислонила лоб к стенке и забылась неизвестно на сколько в жарком сне-полубреду. Она карабкалась на крутую гору, ей становилось все тяжелее, силы иссякали с каждым шагом, а потом кончился этот подъем, она почувствовала свободу и облегчение, расправила затекшие руки и ноги. Пуговкина ее переодевала, ворочала, как куклу, а Галя только разморенно улыбалась и пыталась свернуться в клубок. Пуговкина сердилась, заставляла ее сидеть и пить теплое молоко из чашки, а пенки в нем цеплялись на губы, Гале было смешно, она дурачилась, пока старуха не стала хлопать ее по рукам.

Она выпила молоко с закрытыми глазами — так сильно хотелось спать.

— Глотка болит? — спрашивала старуха.

— Нет,— говорила Галя, глотая и проверяя,— нет.

— Слава богу, враг ушел.

Как заснула — она не помнила. Лишь среди ночи проснулась от непонятого внутреннего толчка и села. Она находилась на той же печи под ватным одеялом, но ей не было жарко, а только тепло, и тело было сухое, какое-то звенящее.

Она отодвинула занавеску — хлынул удивительно приятный свежий и вкусный воздух.

«Глотка болит?!» — подумала она, проглотала несколько раз так и этак — горло не болело. Она не могла поверить, проверяла, проверяла — горло не болело. Вообще она была здорова. Она не могла объяснить эту уверенность, но уверенность была настоящей, радостной.

У нее подымалось в душе что-то большое, светлое — оттого, что выздоровела, от сознания, что добилась все-таки для коровника крыши, что ее не забывали девки и что отныне навсегда будут выходные!..

Она подумала, что если хочешь видеть людей хорошими — пожалуй, прежде всего относись к ним сам хорошо.

В человеке удивительно много граней: за какую грань его потрогай, таким он тебе сразу и покажется. В одном граней добрых много, в другом их меньше. Но даже самый положительный человек становится скотиной или забитой жертвой, если с ним вечно обращаться по-скотски, и самый отъявленный негодяй становится лучше, если к нему отношение человеческое.

Поэтому люди во многом такие, какими хотим мы их видеть. В окружающих нас раскрывается то, что мы сами в них пробуждаем. И с человеком, право же, нужно обращаться душевно, искренне и бережно — и, право же, ему нужно больше верить.

## 2

Варварский способ лечения Пуговкиной привел к тому, что Галя встала с постели через день.

Она закуталась, надела валенки, потому что на дворе выпал глубокий снег. Она торопливо кончала одеваться, когда за окнами услышала причитания и пение: несли бабу Марью.

Она выскочила на крыльцо.

Процессия была небольшая, почти сплошь старухи да еще вездесущие мальчишки. Старухи были в черных платках, со строгими, отрешенными лицами.

Скрипел под валенками снег. Шли и шли косолапые валенки. Невестка покойницы неестественно голосила — почти пела странные, неуместные слова:

— Я ли тебя не ле-ле-яла-а? Я ли за тобой не вхажо-ва-ла-а?..

Старый, очень старый поп, небрежно поддерживаемый дьячком, семенил в тяжелой ризе. время от времени что-то неразборчиво бормоча.

Процессия бесприютно остановилась у церкви-зернохранилища, и, так как войти было нельзя, молебен стали править так, прямо под стенами. Все это было так жалко, убого, неестественно...

Когда мужики сняли с плеч гроб и поставили на табуретку, которую специально нес мальчишка, Галя смогла разглядеть бабу Марью. Покойница была по самый подбородок покрыта тюлевым покрывалом с кровати, вокруг головы лежали дубовые веточки с сухими листьями, а на лбу — какая-то бумажная лента с церковными письменами. Лицо было строгое, пугающее, неприятное.

Процессия медленно потащила через плотину, мимо коровника, откуда высыпали доярки и смотрели, вытирая глаза платками.

Галя не пошла дальше, только посмотрела вслед.

Коровник пахнул на нее таким теплым, живым духом, что у нее вдруг екнуло что-то внутри. Навозный дух показался ей приятным, и вообще все здесь было свое, близкое, так что она горько усмехнулась. Ближе ничего не было.

Коровы тянулись к ней мордами, ее трогало это. Слива косилась уже издали выпученным глазом, натягивая цепь.

— Ну-у! — кричала Ольга. — Потопчись у ми-не!..

Они искренне обрадовались, что Галя выздоровела, рассказали нехитрые новости, а Галя смотрела на них, и ей хотелось всех поцеловать, она переводила глаза с одной доярки на другую, плохо слушала их, а все не могла насмотреться. Они были хорошие, были добрее, чем кто-либо из прежних ее друзей, и она озадаченно поняла, что уже давно любит всех и любит свою ферму.

В красном уголке на столе лежал толстый журнал, в который Люся задумчиво вписывала какие-то цифры.

Галя пригляделась. Это был тот самый журнал, который пытался всучить ей Цугрик.

— Прислал, паразит, — сказала Люся. — Передал, что всю ферму разгонит, если не заполним.

— Как же вы управляетесь? — ахнула Галя.

— Управляемся, дело плевое, — беззаботно сказала Люся, продолжая быстро работать.

— Меряете все. Архивы подымали?

— Ты что, сумасшедшая? Сели, сочинили, а теперь, когда делать нечего, сидим себе и пишем что взбредет. Главное, чтобы итог сходился.

— За очковтирательство он еще больше взбеленится...

— Так он сам посоветовал.

— Сам?

— Не нам. В Дубинке пишут; он посоветовал, девки хохотали — понравилось. Такую науку развели!

— Бессмыслица какая-то...

— Это очень со смыслом, — возразила Люся. — Дела идут, контора пишет, с каждой фермы по такому журналу в неделю — да у Цугрика стол провалится от дел! Все пишут: в телятнике пишут, в свинарнике пишут, Иванов пишет, Воробьев пишет, а уж там дальше, верно, полки считак сидят — это уж так положено: один работает, двое считают, ведро молока — два листа бумаги... Тебе сколько на Сливу записать?

— Сколько она дает?

— Совсем плохо — пожалуй, запускать пора. А я ей пишу по десять литров, чтоб он, гад, не прицепился. Хочешь, напишу пуд?

Галя взяла журнал, полистала: цифры были убедительны, даже не верилось, что они — дитя Люськиных фантазий.

Хорошее настроение пропадало, и никого уже не хотелось целовать.

Она вдруг решительно выбежала, открыла дверь в котельную, не слушая испуганного Люськиного «куда», сунула журнал в топку и поленом еще подвинула на самые углы. Он почернел по краям, ярко вспыхнул. Люся вбежала, заглянула в топку — села на пол и принялась хохотать:

— Вот наконец польза с него будет... Жалко. Я так забавлялась, пока тебя не было.



Галя смотрела в огонь, и в ней быстрее стучало сердце, в ней накоплялась ненависть, она должна была эту ненависть вылить, она закидала поленьями остатки журнала, забила ими топку доверху, хлопнула дверь и энергично пошла.

Потом она поняла, что идет в контору.

Иванов сидел в конторе в полном одиночестве, и по тому, как он старательно-вежливо приветствовал ее, подал табуретку, пытался помочь снять полушубок, но неожиданно отлетел в сторону, стукнувшись о стенку, Галя поняла, что он здорово пьян.

— Что наша жизнь — игра, — хитро сказал он, сосредоточенно принимая вертикальное положение.

Галя подошла к телефону и стала крутить ручку, вызывая Пахомово.

— Чудо техники, — объяснил Иванов, хватаясь за аппарат; он был, что называется, ни в дугу, его так и носило по комнате.

— Спать бы шел, — с досадой посоветовала Галя.

— Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать, — хитро сказал Иванов.

Она с удивлением покосилась на него. В это время правление в Пахомове ответило, и Галя закричала в трубку:

— Передайте Воробьеву и Цугрику, чтобы приезжали разгонять Рудневскую ферму, мы сожгли учетный журнал и заполнять его на веки веков отказываемся.

Из-за помех связи блеск этой фразы, потерявшись в контактах, не дошел до того конца, и там удивленно завопили:

— Кого разгонять? Кого?

Пришлось раз пять повторить по частям, но это уже было не то, и фразу оценил только Иванов, который, икнув, неожиданно восхищенно сказал:

— Правильно, разбойница.

### 3

Изда оказалась заперта. Пуговкина, очевидно, еще не вернулась с похорон. Галя достала ключ, вошла в обдавшую ее душным теплом избу и, едва сняв полушубок, без сил повалилась на кровать.

Скрипнула дверь, кто-то на пороге усердно отряхивал ноги и сопел. Она подумала, что вернулась Пуговкина, и не выглядывала.

Отодвинув занавеску, в ее закуток заглянул Костя.

— Не ждала? — сказал он, усаживаясь на табуретку.

— Нет, — созналась Галя.

Она смотрела на него новыми глазами и не понимала, что такое могло ей когда-то нравиться в нем. Сидел обыкновенный парняга, а на лице ничего светлого, ничего умного.

— Я мириться пришел, — сказал он. — По этому случаю выпил. Знаю, что свинство, а выпил. Потому что иначе не пошел бы, боюсь тебя, и ты меня прости. Ты не такая, как все, ты необыкновенная. Никого никогда не боялся, а тебя боюсь. Что ты на это скажешь?

— Почему боишься? — спросила Галя.

— Я нехорошо с тобой говорил. Нехорошо поступал... Я ничего не понимаю... Кто ты есть, если разобраться? Обыкновенная себе доярка, как все. Подумаешь, в городе пожила, не таких мы видели... А вот пришел я к тебе и говорю: ты не такая, как все.

— Что тебе надо? — спросила Галя.

— Говорю тебе, мириться пришел. Насовсем мириться.

— Зачем?

— Места себе не нахожу. Как увидел тебя сегодня у коровника, так за водкой сразу побежал. Закрою глаза — тебя вижу, какая ты умница, как целовал тебя, обнимал, как ты любила сидеть, прислонившись головой. Правда, ты любила меня?

— Да, — сказала Галя.

— А сейчас?

— А сейчас уже нет.

— Я тебя люблю.

— Так быстро?

— Правда! — воскликнул он, поднимаясь и немного пошатываясь. — Ты же меня знаешь, я бы не пришел по пустяку. Я хожу и думаю, сплю — во сне вижу. Наваждение какое-то. Давай мириться.

— Ладно уж, пойди проспись сначала, — сказала Галя, немного испугавшись. — Выпил двести грамм, и любовь вспыхнула.

— Ты что смеешься? — спросил он. — Я же правду говорю.

— Какое мне дело... — с горечью сказала она. — Правда, лучше бы ты ушел, и поскорее.

— Иди ко мне.

— Ни за что! — воскликнула она.

Он потянулся к ней. Но он стал ей противен, она отпрыгнула, скользнув в большую комнату. Он пошел за ней.

— Может, ты кого другого нашла? Так то и скажи.

— Нет, и искать не буду.

— Иди ко мне.

— Знаешь что, по-хорошему уходи-ка, — сказала Галя.

— Ты со мной так не обращайся, а то прирежу.

— Да? Прирежь!

— За это я тебя и люблю... — пробормотал он. — Забыть тебя я не смогу. Я пойду просплюсь, а потом приду — идет?

— Нет, — сказала она. — Больше не приходи. Все давно кончено. Здраваться я с тобой буду, но больше ничего, потому что ты мне надоел, страшно надоел.

— Ага, моими же словами меня бьешь? Мстишь, значит?

— Не мщу, сам очень много старался, чтобы мне надоест. Так и вышло, я даже не могу поверить, что ты меня любил. Ты любишь себя — люби на здоровье. Ты ничего в жизни не хочешь — не хоти на здоровье. Немедленно уходи, я кричу!

— Я тетке Мотьке два рубля дал, чтоб гуляла на поминках и до вечера домой не шла... — признался он. — Может, ты меня все же оставишь? Я хоть у тебя просплюсь. Честно...

— Вон, вон, — сказала Галя, сжимая руки и чувствуя, что ее уже начинает мутить.

Костя мрачно посмотрел на нее, почесал щеку.

— Пропали два рубля... — пробормотал он, повернулся и, пошатываясь, побрел вон.

Галя сейчас же накинула на дверь крючок, посмотрела в окно, как он роет валенками сугробы, и сжала руками виски. Мысли рассыпались. Она не находила себе места, ей стало плохо, плохо.

Она решила умыться, набрала в кружку теплой воды, намылила руки — и вдруг впервые заметила, какие они красивые, корявые. Ногти были короткие, в суставах появились какие-то морщины, запястья распухшие. Так быстро? Руки доярки.

## 4

## Разговор автора с героиней

А в т о р. Он больше к тебе не вернулся?

Г а л я. Не вернулся, конечно. Я не жалела, было обидно за прошлое.

А в т о р. Все-таки это была любовь?

Г а л я. Да, он мне так нравился...

А в т о р. Мне он тоже сначала понравился. Правда, когда он сказал тогда вдогонку: «Не я. так другой» — я насторожился.

Г а л я. Я тоже, но потом была гулянка... Если бы я была не такая пьяная... «Лес, лес!» Оказался просто пенёк.

А в т о р. Никогда много не пей.

Г а л я. В жизни больше не буду пить!

А в т о р. Ну, не зарекайся. Ты еще молода, что-то еще будет. Я хотел спросить: а что же с Костей все-таки стало? На чем он утешился?

Г а л я. Он потом начал сильно с Людмилой крутить. А «муж» ревновал. Однажды они здорово подрались. «Муж» собрал манатки и ушел. Косте Людмила сильно надоела, и он ушел... Она кричала, косы рвала...

А в т о р. В общем, ее жизненные установки ударили по ней же другим концом.

Г а л я. Да, наверное, есть в этом какой-то закон. Я много думала над этим потом.

А в т о р. Ох, Галка, чего ты такая думающая, то такая несчастная, то такая идейная, все до чего-то доискиваешься? Достанется мне за тебя.

Г а л я. А вы не бойтесь. Валяйте дальше! И веселее! Жизнь интересна, и жить все-таки очень хочется...

А в т о р. Без дураков?

Г а л я. Без дураков!

## 5

В середине зимы телились многие коровы.

Были бессонные ночи, тревожнения, ферму колотило, иногда она была похожа на ветлечебницу.

Начиная снова доить, коровы уже не так пугались аппаратов, да и молоко распирало им вымя, поневоле они отдавали. Доярки уже привыкли додаивать руками, и на этой ферме не произошло понижения удоев, как на других, следовавших негласной системе Цугрика.

Если бы с самого начала знать, что аппараты — это только помощники, а не заменители рук, никаких бы недоразумений и раньше не произошло.

Работали с такой же нагрузкой, как прежде, но благодаря аппаратам обслуживали не двенадцать, а двадцать коров, вот и все.

Галя вычеркнула из своей программы-минимум доильную площадку «елочка», потому что она сводилась к тому, что коровы расставлялись более удобным способом — и это все. Нет, не в расстановках дело, чувствовала она, а в создании такого аппарата, который выдаивает до конца.

Отелилась и Слива, последняя из Галиной группы, и с этого момента Галя свету невзвидела.

Молока у Сливы было сказочно много, аппаратам она отдавала едва третью часть. И, послушав опытных старух, Галя принялась доить

Сливу не три, а шесть раз в день. Придя на работу, она прежде всего начинала доить Сливу, а уходя через два-три часа, уже доила снова.

Она гоняла своих коров гулять по берегу пруда, и Сливу водила отдельно еще, на веревке, и разговаривала с ней. Корова настораживала уши, слушала. Она так привязалась к Гале, что в выходные дни тетушка Аня прибегала и просила: пойдн успокой ее, зовет тебя, мочи нет.

После казни учетного журнала Иванов страшно зауважал Галя. Иногда нелегкая приносила его в коровник, он сиротливо путался меж хвостов, охотно топил котел, и стоило ему пожаловаться, что сено кончается,— моментально прибывали вoзы.

Иванов воспылал любовью и к Сливе. Подолгу и задумчиво он смотрел, как Галя наполняет ее молоком ведро за ведром. Слива стала давать в день двадцать пять литров, а то и больше, и о ней пошли слухи. Таких коров в Рудневе спокон веку не было, и только один глухой дед уверял, что у покойного барина до революции были две коровки, дававшие по три ведра молока, но ему не верили.

Однажды Воробьев приехал лично посмотреть Сливу.

Галя отнеслась к нему холодно, велела стоять далеко и не курить. Он слушался.

Сначала, как обычно, Галя надела стаканы, и за смотровым стеклом понеслась сплошная белая масса. Казалось, аппарат захлебывается от молока, даже звук его стал глухой.

Воробьев долго и терпеливо ждал до конца, пока Галя додаивала руками, потом озадаченно почесал затылок.

— Значит, Цугрик брал ее напрасно?

— Напрасно.

— Это ж с ума сойти, это ж корова высшего класса!

Галя пожалала плечами и понесла молоко. Он поплелся за ней в подсобку, сел на край закрома.

— Я позвоню в газету, чтобы прислали человека, расскажи ему, как это делается.

— Алексей Дмитрич,— сказала Галя.— Мне нечего рассказывать, в учебниках все написано и всем известно, просто нужно к корове относиться по-человечески.

— Вот это ты и скажи...— пробормотал Воробьев.— Как к корове относиться по-человечески. Многим полезно научиться.

— Многим надо сначала к человеку научиться относиться по-человечески,— заметила Галя.

Она пошла чистить коров, но он пришел через минуту и сел на кормушку между Пташкой и Амбой. Ее раздражало то, что он пугает коров, но она смолчала.

— Не сердись,— уныло сказал он.— Вот если бы ты побыла в моей шкуре... Вы думаете: председатель растакой, председатель рассякой, председатель не заботится, а я уж забыл, когда в кино ходил... Это же черт знает сколько надо в наших деревнях перевернуть, чтоб выйти в какие то люди... Я бывал с тобой груб, извини. Со всяким народом имеешь дело, тут хоть будь золотой человек — в стертый медяк превратишься. И врут тебе, и стелются, и душу выкладывают со слезами — голова лопнет. А порядок сам не придет — каждую дрянь с боем берешь. от одного урываешь, другого латаешь...

— Бедный, бедный председатель,— вздохнула Галя.

Он засопел.

— Зачем ты журнал сожгла? Цугрик у меня на диване в истерике бился.

— На диване? — заинтересованно спросила Галя.

Ей надоело, что он курит коровам в нос, она бросила чистку и пошла топить котел. Он угрюмо потопал за ней, и так она увела его от коров.

— Слива телочку принесла? — спросил он, садясь на поленицу дров.

— Телочку.

— Телочку эту, — кашлянул он, — беречь надо. Проследи, я тебя очень прошу, пожалуйста. Дело не в том, что Слива одна бидон молока дает, а надо выводить новое поколение — чтоб оно с самого начала знало одни аппараты и чтобы все были, как Слива, тогда и мы до какого-то добра придем...

— Отпуска вы нам до сих пор не составили, — сказала Галя.

— Тьфу ты! — рассердился он. — Сказал — будут, ну, будут. Ты ей об одном — она о другом, настырная.

— Я не настырная.

— Хорошо — настойчивая, — развел он руками. — Устраивает? Слушай, мы будем ругаться с тобой до скончания веков, наверное, наша планида с тобой — ругаться. Но давай не ссориться, а?

— Скажите прямо: что вы от меня хотите? — улыбнувшись, сказала Галя.

Он грустно усмехнулся.

— Ничего, от тебя я ничего не хочу, я хотел бы от других. В конце месяца будет областное совещание доярок, поедет Волков, и мы решили послать тебя.

— Это что еще?

— Такие совещания проводятся каждый год, ты не работаешь года, да какой там бес знает это, и мы решили послать тебя, потому что и слепому ясно: с твоей настырностью, то есть настойчивостью, ты будешь дойти тысяч пять. Я хочу тебе удачи.

Галя подумала: это хорошо, если пошлют в город, надо будет побегать по магазинам... От аванса, выданного ей, оставалась еще половина.

## 6

Новый зоотехник Коля Пастухов работал после института первый год.

Он был длинный, худой, малоразговорчивый, в роговых очках и огромной заячьей шапке, совсем не похожий на свергнутого Цугрика. Это было событие, о котором говорили две недели. После тихого и мирного разговора с Галей Воробьев отправился в Пахомово и поднял там скандал, орал на Цугрика, швырял его папки в форточки, топтал ногами и в довершение всего разбил палкой настольное стекло.

Новый зоотехник еще не прибыл, а девкам уже было известно, что он не женат, что в городе у него осталась горячо любимая мама, которая через день шлет письма и уже прислала две посылки.

Он приехал на ферму, долго ходил по ней, тихий, нескладный, ужасно вежливый, чем нагнал страху, и, если он делал какое-нибудь замечание, все бросались выполнять со всех ног.

Первым делом он прицепился к Лимону. Почему такой отличный племенной бык живет в стаде?

После упорной торговли Лимон был отправлен на центральную усадьбу, а оттуда в племсовхоз в обмен на породистых коров.

Собрав доярок в красном уголке, Коля, поблескивая очками, прочитал им лекцию об искусственном осеменении и закончил ее, красный как рак. А доярки хихикали и задавали каверзные вопросы.

С Лимоном было расставаться жаль. Хоть какой он ни был балбес, а все к нему привыкли и провожали с грустью. Люся Ряхина спохватилась:

— Чего мы его словно хороним? Да ему, паразиту, там знаете какая будет жизнь!

Затем Коля Пастухов прицепился к халатам, вернее — к отсутствию их. Весь прогрессивный мир ходил за коровами в халатах, только на возмутительной Рудневской ферме их нет.

На возмутительной Рудневской ферме царит умопомрачительная грязь, здесь бытуют какие-то первобытные понятия о чистоте. Напрасно доярки ахали, всплескивали руками и рассказывали, что тут было раньше. Если бы сюда зашла Колина мама, она умерла бы от испуга, — было им сообщено, и этот довод неожиданно всех убедил.

Так они несколько дней заново скоблили, белили коровник, чистили коров, прибывали над ними таблички, шили халаты и стали носить их, стирая раз в неделю.

Набравшись духу, Галя спросила у нового зоотехника, нельзя ли достать ту фантастическую мочевины, о которой пишут, будто она повышает удои.

Коля удивился и сказал, что на центральной усадьбе лежат в дальнем углу кладовой двадцать мешков мочевины, — почему они не берут?

Галя так и ахнула. Нет, право, стоило бы Цугрику набить морду.

Послали Петьку, он привез пять мешков мутновато-бесцветных кристаллов, которые стали подсыпать коровам в корм.

Тогда Галя завела разговоры: а как насчет беспривязного содержания?

Коля ответил, что на этот счет мир придерживается разных точек зрения. В Южной Америке коровы гуляют вообще на воле, дичают, и их ловят лассо. Это мясное животноводство. При молочном же коровы находятся в загонах и коровниках, доятся на специальных площадках, но, когда они гуляют без привязи, нужно много корма.

В целях той же экономии мы отрываем телят от вымени, и телятницы кормят их молоком из бутылки, в которую добавляют половину воды.

При этом спрашивается: какие могут вырасти телята?

Коля немедленно выделил двух коров кормилицами для телятника, а соски выбросил в снег, где они были разобраны мальчишками на рогатки.

## ПЯТАЯ ЧАСТЬ

### 1

Дни все еще были короткие, и потому казалось, что встаешь и ложишься глубокой ночью.

У Гали давно выработался тот внутренний будильник, который будил ее в четвертом часу независимо, когда бы она ни легла.

И вставать каждый раз все равно не хотелось, и вечно приходилось бороться с собой, с искушением полежать под одеялом хоть пять минут, и никогда это искушение не удовлетворялось.

Противнее всего были первые минуты: тело ломило, как от ревматизма, руки-ноги не двигались, не хотелось есть. Но как раз все это нужно было проделывать.

Галя помахала руками, чтобы прийти в себя, разожгла в печке лучинки, поставила таганок с вчерашним супом: если не поешь с утра горячего, весь день будет холодный и тягостный.

Она поела без всякого аппетита и стала собираться.

Затруднительны были эти сборы на областное совещание доярок. Пальто приличного не было — она таскала старый полушубок Пуговкиной. Туфли имелись, но в дорогу надо ехать в валенках... Она завернула туфли в бумагу, чтобы там все-таки переодеть. Платье было. Простенькое, сама осенью сшила и в деревне годилось, но ехать в город в нем было стыдно.

Она взяла тетрадь и карандаш — записывать разные умные вещи, — покрепче затянула узел платка и пошла искать машину — этакая покачивающаяся, утопающая в снегу, неуклюжая матрешка в валенках.

За ночь намело нового снегу, и ей пришлось брести в нем по колено, прокладывая первый след.

Всегда она прокладывала первый след по утрам, и потом уже все так и ходили, как прошла она, а если она делала нечаянный зигзаг, то и все делали такой же зигзаг и прочно утаптывали дорожку с зигзагом.

Задумавшись, она и сделала именно такой зигзаг, машинально свернув к коровнику, но вовремя спохватилась и почувствовала себя тревожно и странно.

Словно с этого дня начиналась какая-то для нее новая, неведомая жизнь.

Машина стояла у конторы, залепленная снегом, как на новогодней картинке.

Это был тот самый грузовик, на котором пытались увезти Сливу.

Галю несколько покорибила предстоящая встреча с шофером. Она его уже встречала раньше, но даже не здоровалась, а теперь — на тебе, тащись вместе семнадцать километров.

Она открыла дверцу, залезла в холодную кабину и, усевшись удобнее, задремала, как в яму упала.

Ее разбудил шофер.

— А! — сказал шофер. — Это ты, тигра? Если сегодня вздумаешь кусаться, не поеду, ты сразу скажи, чтоб не возвращаться.

— Не буду кусаться, — пообещала Галя.

Шофер долго заводил застывший мотор, наконец это удалось, он поспешно плюхнулся на сиденье, включил фары — и все вокруг преобразилось.

С боков в кабину хлынула тьма, а перед радиатором все заискрилось, засверкало, так что глазам стало больно, и была сказочная красота, а шофер сказал:

— Ну, помучаемся мы в этом адском снегу.

Машина натужно запыхтела, заскрипела, но пошла, давая снежные заносы, медленно прошла село, выбралась в поле и все шарила, шарила своими стеклянными глазами, отыскивая едва приметную дорогу, не обращая внимания на сверкание и елочные блески.

— Хорошо, цепи новые поставил, — сказал шофер довольно, — даст бог — выберемся, не такие снега проходили.

— Давно вы работаете? — спросила Галя из вежливости.

— С сорок первого года.

Галя удивилась. Шоферу только того и нужно было.

— Я водил еще старые полуторки, — похвастался он. — То была машина, все четыре колеса. На ней мы бы уже давно сидели по ноздрю, а как мы тогда ее хвалили! Славная лошадка была по тем временам, на ней мы самое страшное время войны проехали. Ты, верно, не помнишь! Он помолчал, лавируя рулем, но, видно, он славно выпался и настроение у него было хорошее, ему хотелось беседовать.

— Удивительное дело, — сказал он. — Кажется, совсем недавно смотрел я в журнале картинку — проект новой машины «победа». Смотрел

и думал: ух, черт, вот это машина — ракета, а не машина. А сейчас на ту «победу» никто и не взглянет. Стара матушка стала. «Чайка», говорят, — вот ничего машина. Спрашивается, что же будет через двадцать лет? Я нестарый человек, родился после революции, а помню, как однажды батя привез на телеге радио — громадное, сложное сооружение. Не помню, из скольких ящиков состоял тот приемник: не то их было четыре, не то пять, на одном еще лампочка сверху торчала. Расставил он все это на двух столах, аккумулятор подключил, колдовал, крутил, и вдруг эта штуковина как заорет! Музыку, понимаешь, из Москвы мы в деревне слышали. Старики сбежались, шапки долой и давай креститься. Попробуй, пусть кто-нибудь сейчас тебе перекрестится. Сидят перед телевизором, глядят, зевают. Радио так радио, телевизор, телефон там — все нормально, что такого? На одном моем веку — теперь считай — сколько нового появилось. Чертовски интересно так жить и, правда, обидно, что жизнь коротка. Еще война распроклятая забрала четыре года. Четыре лучших года, черт подери!

— Вы прошли всю войну? — с уважением спросила Галя.

— Всю. Шесть раз в госпитале лежал, и так мне везло, что все заживало, как на собаке, и посылали меня опять в самое пекло. Шарахнет — ну, думаю, на этот раз, братец, номер не пройдет, а он проходит! Я уж удивляться начал, а потом, когда пришел день победы, когда понял, что суждено мне жить и жить, — вовсе от удивления рехнулся. Удивляюсь и плачу, все тут. Это же черт знает, это же невозможно описать. Уж как нравится, что вот вышел — и живешь. Словно на большак выехал, удивляешься. А ты нет? Что вы понимаете, молодые-зеленые. Выросли — думали, так всегда было. Так никогда не было! Вы этого не понимаете.

— Мы понимаем, — сказала Галя.

— Ага! — довольно сказал шофер. — Как ракеты стали летать, так и вы кое-что поняли, даже вас удивили.

В Пахомово они прибыли, когда в домах уже светились окна и из труб до самого неба поднимались прямые белые дымы. Ветра не было, мороз кусал.

— Скорее, скорее, опаздываем! — сказал Волков, выбегая из правления, закутанный в шубу, в большом треухе.

«Москвич» у Степки был разогрет, Галя только перепрыгнула из кабины в кабину, и опять под радиатор поползла сверкающая дорога. Волков был бодрый, потирал руки, необычно взволнованный, наверное, предстоящей поездкой.

— Итак, тебе сегодня нужно выступить, — начал он, оборачиваясь. — Обязательно!

— Что вы, ни за что, — сказала Галя. — Никогда в жизни не выступала.

— Ложь номер один. Выступала, очень удачно, это было однажды хорошим летним утром под стенами коровника.

— Ну, то... Там все свои были.

— Тут тоже свои. Понимаешь, собирается самый цвет людей, которые поставляют молоко, квинтэссенция их. Ты выступишь и скажешь, как к коровам нужно относиться по-человечески.

— Ваша квинтэссенция это прекрасно знает, — возразила Галя. — Не буду выступать, можете поворачивать обратно.

— Да, упрямая, — огорчился Волков. — Знаешь, я на тебя посмотрелся — сам упрямым стал. Вчера было правление, я одно дело предложил — все против, я как заупрямился, всех переупрямил, вот так. Все из-за тебя.

— Упрямымством города берут, — заметил Степка-шофер.



— Не упрямством, положим, а нахальством, темный человек. И кстати, насчет начальства: пришло в область письмо из Министерства высшего образования, в котором говорится, что специально для молодых рабочих и колхозников забронированы места в ряде вузов, то есть на эти места конкурс минимальный, хотя поблажек не будет, но вас приглашают.

— Пошлите меня,— сказал Степка.

— Куда тебя, шалопая?

— Да хоть на клоуна!

— Это мысль,— сказал Волков,— своего клоуна у нас в колхозе нет. Так как ты смотришь, Галя?

— Если вы будете отпускать на экзамены...— осторожно и дипломатично начала Галя, но Волков перебил:

— На экзамены — законно. Потому что, если не будем отпускать, нам головы снимут, не беспокойся.

Гале это понравилось, и она спросила:

— Вы все делаете под страхом снятия головы?

— Нет, иногда мы делаем под страхом совести с зелеными глазами, но головы нам ежедневно грозятся снести. Мы со Степкой уже перестали понимать — полезные мы существа или нет. Ему еще я иногда выношу благодарность, а на меня сыплются одни колотушки — снизу и сверху, в хвост, в гриву, не понимаю, как только их выдерживаю.

— А вы бросайте это дело,— посоветовал Степка.

— Нельзя.

— Почему нельзя?

— Есть такое слово.

— Что за слово? — удивился Степка.

— Такое простое слово: партия,— сказал Волков.

— А, на партийной работе вы можете и где-нибудь в другом месте работать, не обязательно здесь.

— Ты думаешь,— спросил Волков,— что где-то есть тихая и мирная партийная работа? Тогда да будет тебе известно, что такой работы не было и нет, а если существует, то это — не партийная работа. Думаю, что и в будущем никогда такой не будет.

— Ясно, вы уже люди будущего,— усмехнулся Степка.

— Нет,— сказал Волков,— мы не люди будущего. В будущем такие, как мы, пожалуй, окажутся не нужны. Не сразу, конечно, не пугайся, нам с тобой хватит, мы заездим еще не один «москвич», но придет такое время, когда люди, случайно оглянувшись, скажут: да как же это было, что человек норовил не выйти на работу и, когда не выходил, ему выносили выговор. Разве ему было неинтересно?

— А-а! — воскликнул Степка.— Вот то-то что вам интересно, оттого и день у вас ненормированный, и вы мечетесь как угорелый.

— Нет,— опять возразил Волков,— я бы с большим удовольствием копался в археологии, это моя любимая наука...

— Тогда совсем не понимаю,— сказал Степка.— Мне вот нравится, в общем, ездить, я езжу, а не понравилось бы — ушел.

— На более легкую или более трудную работу?

— Ну, допустим, на более легкую совестно как-то,— раздумывая, сказал Степка.— Люди, чего доброго, скажут...

— Ну, вот мы и договорились,— заключил Волков.

Машина въезжала в город.

Потянулись трамвайные пути, замелькали огни вывесок. Промелькнул магазин «Молоко», а через квартал — другой, и возле него стояла голубая автоцистерна.

— Это не наша ли? — спросил Волков, вглядываясь, но проехали так быстро, что не успели рассмотреть.

Как каждый трубочист оценивает город прежде всего с точки зрения труб, так и Галя с Волковым невольно замечали у парадных проволочные ящики с белыми бутылками, бидончики в руках старушек.

«Молоко,— думала Галя,— хорошая вещь, оно заслуживает доброго слова. Оно сопровождает человека всю его жизнь, как хлеб. Дети вырастают на нем, еще не умея жевать. Это самый питательный продукт на земле — в нем абсолютно все, что надо для жизни. Два с половиной миллиарда людей его пьют и потребляют его продукты, а это уже что-нибудь. Дай бог здоровья коровам и тем, кто работает возле них».

## 2

Совещание доярок проходило в драматическом театре.

У входа бурлила толпа, вдоль тротуара выстроилась длинная шеренга машин. Все время прибывали автобусы, из них высаживались бабы в валенках, теплых платках, девки, старухи.

Оставив Степку при машине, Волков и Галя предъявили свои билеты и прошли внутрь.

Вдоль стен фойе, прямо под портретами артистов и макетами декораций были расставлены доильные аппараты, жиरोмеры, молокомеры, сепараторы, висели ряды плакатов.

В боковом фойе играл духовой оркестр, но никто не танцевал, люди жались по стенам, стесняясь своих валенок. И Галя порадовалась, что захватила с собой туфли и смогла переобуться в гардеробе.

В фойе второго этажа были поставлены длинные столы, уставленные бутылками с пивом и закусками. Кроме того, в этом расширенном буфете кипели самовары, и официантки едва успевали наливать чай, открывать бутылки и рассчитывать.

Закуски так аппетитно стояли на столах, что невольно тянуло присесть. Опытные председатели колхозов подавали пример, накачивались пивом. В углу образовалась длинная очередь за апельсинами.

По радио объявляли: «Представители колхоза имени Революции, подойдите к столу регистрации», «На втором этаже открыта продажа промтоваров, просим посетить».

Волков повел Галю в зал. Здесь на каждом кресле лежали плакаты о передовых доярках с их портретами: «З. П. Шаповалова выполнила свое обязательство!», «Анна Калинина крепко держит слово!»

Устроившись поближе к сцене, Галя с Волковым развернули плакаты. Доярки были действительно не какие-нибудь: об одной сообщалось, что она «надоила в минувшем году по 5,5 тысячи килограммов молока от каждой закрепленной за ней фуражной коровы». Другая надоила почти шесть тысяч.

Галя поневоле волновалась. Сейчас ее работа выступала — при этом блеске ламп, музыке оркестра, при таком торжестве — в каком-то новом свете, о котором она мало задумывалась, когда билась с «тугосисей» Белоножкой, раздаивала Сливу и таскала опилки.

Волков мешал ей сосредоточиться, показывая знаменитых доярок и председателей колхозов, которые сидели в первом ряду, явно предыдущие, что их попросят в президиум.

Прямо перед Галей сидели три женщины, и средняя, чем-то похожая на Софью Васильевну, натаскивала доярку постарше:

— Скажешь: мы берем обязательство надоить по три с половиной тысячи. Скажешь: у нас хорошо трудятся Никитова, Павлова, Анохина. Скажешь...

— Ой, забуду! — трепетала доярка.

— Запоминай! Скажи: мы боремся за высокие надои.

— Мы боремся за высокие надои...

— Наш трудовой коллектив под руководством опытной заведующей Ольги Петровны Горчаковой...

— Наш трудовой коллектив... ой, забуду!

— Под руководством...

— Под руководством... Пусть Нинка выступит!

— Нинка пуще забудет. Я тебе на бумажке напишу, ты только прочтешь. Ты уже в списке, должна выступать.

Зал наполнялся. Звонили уже четыре раза, призывая засидевшихся за пивом председателей; потом выяснилось, что в промтоварном киоске доярки стоят за какими-то модными платками. Киоск до перерыва закрыли, тогда зал наполнился.

Доклад читал старый дяденька, закаленный и прокаленный в такого рода вещах. Читал он по напечатанным листкам долго, нудно, перечисляя цифры по области в целом, цифры по управлениям в отдельности, цифры по колхозам и совхозам в частности. Из доклада явствовало, что налицо имеется серьезное отставание с выполнением, но вместе с тем многотысячный коллектив полон решимости, так что вроде бы ничего.

Ритмично вскидывая руку, он нечаянно задел графин, вода плеснулась, он едва успел подхватить графин, отряхнул руки и пробормотал, виновато-сконфуженно глядя в зал:

— Фу ты, надо же такое...

И сразу стал человеком. Галя подумала, что у него, наверное, есть старенькая добрая жена и много детей, которые его любят... Но он опять пошел перечислять цифры, которыми снабдили его разные цугрики, и она слушала, слушала, ее стало неудержимо клонить ко сну, она посмотрела на Волкова — тот тоже клевал носом.

— Давай сбежим, пива выпьем? — сказал Волков, просыпаясь. — Жми за мной через равный интервал, я подожду за дверью.

Он, пригибаясь, пошел к выходу, а Галя за ним.

В фойе было много народу — не одни они с Волковым были такие хитрые. Волков заказал две бутылки и бутерброды. В последний раз Галя пила пиво, кажется, на выпускном вечере. Она храбро пропустила два стакана и почувствовала, что хмелеет.

— Скажите, кому нужен такой доклад? — спросила она.

— Аллах его ведает. Так заведено в общем, — ответил Волков, налегая на бутерброды. — Для солидности — и потом, чтоб было что обсуждать.

Подсел корреспондент, обвешанный аппаратами, спросил, из какого колхоза, стал брать интервью:

— Кто у вас хорошо трудится?

Галя назвала своих доярок.

— По сколько надаиваете от коровы?

Галя ответила.

— Какие обязательства у вас?

— Четыре с половиной тысячи, — бойко ответила Галя.

Он вскочил и убежал дальше.

Волков расслапался и повел Галю смотреть выставку. Здесь их оставил другой корреспондент, из молодежной газеты, и спросил, какое

Галя взяла обязательство, по сколько доит от коровы и кто на ферме особенно хорошо трудится.

Затем подходили еще представители радио, издательства и «Блокнота агитатора». Очевидно, это был их стиль: ходить на совещания и в перерывах ловить передовиков, беря у них материал.

Послonyaвшись по фойе, посмотрев сепараторы и макеты, Волков и Галя спаслись от корреспондентов бегством обратно в зал. Там уже шли прения.

— Коровы у нас хорошие,— говорила худая, смуглая, очень толковая доярка,— а ферма никудашная. Судите сами: в дождь всех коров как из ведра поливает, на стенах грибы поросли. Сколько мы просили, напоминали: поставьте же наконец крышу! А дирекции совхоза что — над ними не каплет! Доим коров вручную. Привезли в совхоз доильные аппараты, так они уже три месяца лежат в кладовой. Говоряг, нельзя ставить, потому что электричество нерегулярно бывает. Так поставьте движок! До каких же пор мы будем руки убивать? С водой опять же: провели нам водопровод, а он два дня работает, а неделю нет. Разве это порядок?

Галя и Волков переглянулись и понимающе улыбнулись. Даже победно улыбнулись. А с трибуны говорили интересные вещи.

— И вот после каждого аппарата додаиваем руками коров едва не на пятьдесят процентов,— выступала другая доярка, помоложе, очень взволнованная.— Я не хочу сказать плохое про наших ученых и техников, но пусть они придут в наш коровник и убедятся сами! Нужны такие аппараты, чтоб сосали не как телята, а лучше телят, иначе не стоило и огород городить. А это наша наука сделать может, может, она доказала, что она все может! Только, видно, лень кому-то! Я хочу сказать про рабочий день доярки. Работа нелегкая, вы все здесь знаете, что мы встаем до рассвета, ложимся в полночь, а днем досыпаем урывками. На многих фермах доярки имеют выходной день. А у нас, как у богом проклятых, ни выходных, ни отпусков, как прикованные, даже в город поехать купить себе что — некогда. Нам говорят: это не завод вам и не совхоз. А что же, по-вашему, в колхозах не советские люди работают?

Галя и Волков опять переглянулись, уже не так весело. Волков пожал плечом и отвернулся, разглядывая ярко освещенный зал.

Но вот на трибуну взошла пожилая доярка, сидевшая перед Галей. Она перепуганно комкала бумажку.

— Мы... — хрипло сказала она и замолчала.

Секунд пятнадцать зал терпеливо ждал, потом кое-где послышались смешки. Очень уж забавно стояла она с раскрытым ртом.

— Не волнуйтесь, ничего,— успокоил кто-то из президиума.— Расскажите, что хотели.

Доярка посмотрела в бумажку и медленно разобрала по слогам:

— Мы берем за высоко-ки-е на-дои... Наш трудовой коллектив под руко-водством опи... опи...

В зале уже откровенно смеялись.

— ...опытной заве-ду-щей,— чуть не со слезами читала доярка,— Ольги Петровны... наш...

Она махнула рукой и пошла со сцены. Раздались жидкие иронические аплодисменты. Она, красная, села на свое место, опустила голову, и три женщины до самого конца не проронили ни слова.

Опять выступали, опять никто не хвастался. Недаром корреспонденты ловили неосторожных в фойе, а не сидели в зале. Очевидно, у них был опыт.

— Можно подумать, что у нас все только плохо,— сказала Галя, уже начиная уставать.

— Люди стали очень требовательные,— сказал Волков.— Чего бы они ни достигали, хотя бы большего и лучшего... Удивительное дело, смотрю на зал и думаю: в наших краях когда-то охотился Тургенев. Бежин луг, Красивая Меча — это наши места. Были здесь люди, о которых он писал. Потом их потомки делали революции. Сейчас в этом зале собрались потомки уже этих потомков. Как ты думаешь, а ведь все-таки серьезно мы изменились с тех пор?

— Очень,— сказала Галя.

— Ну и то хорошо, будем хотеть лучшего. Только бы войны не было. — Теперь, кажется, и я бы выступила,— вздохнула Галя.

— Поздно,— сказал он.— Да и мне расхотелось, чтобы ты меня колотила на все заставки.

— Я бы и похвалила,— сказала Галя.— Вы быстро исправляетесь. Помните, когда везли меня, сказали: там доят, как при скифах? За полгода мы от скифов добрались до нынешнего века, и за это я готова вас уважать.

— Слушай, Галя,— сказал он немного грустно.— Не бросай ты наш колхоз.

— С чего вы? — удивилась она.

— Какой бы он ни был — не бросай! Вот выдвинешься, потом закончишь институт, переманят тебя на сладкие места, а если ты уйдешь, мне будет горько, право.

— Не думаю уходить,— пробормотала Галя.

— Наш колхозик,— говорил он, не слушая,— ты увидишь лет через десять, ты не узнаешь его, глазам не поверишь...

— Я верю, верю! — сказала Галя.

— И жениха тебе найдем, если хочешь. Торжественно тебе обещаю. Если не найду — сам женюсь, честное слово,— сказал он, переходя на свой обычный шуточный тон.

— Я за вас еще не пойду.

— Ничего, я очарую: отпущу чуб и приеду с гармошкой петь под окнами про черемуху, как это делают в колхозных опереттах.

— Разве что с гармошкой,— сказала Галя.— Гармошка нам в Рудневе страшно нужна.

Объявили перерыв, и бабы густой толпой побежали в промтоварный киоск за платками.

### 3

— Ужасно неинтересно,— говорил Волков, расхаживая с Галей по фойе,— посвящать свою единственную жизнь какой-нибудь чепухе, рвать, подличать, юлить или вообще сдаваться. В нас так много талантов, что жить с ними по-хамски — это просто грешно.

Он все время здоровался, представляя кому-то Галю, она плохо его слушала, у нее от всего этого калейдоскопа кружилась голова.

— Не пасовать перед жизнью,— говорил Волков.— На черта мне тогда вообще такая жизнь! Я хочу создавать ее, распоряжаться ею, ощущать ее каждой клеткой себя — это уже так много, что бог весть когда оно придет для всех, на высшей фазе коммунизма, быть может...

Они остановились перед промтоварным киоском. Давка была невообразимая.

— Так у нас делается,— раздраженно сказал Волков.— Эти платки по городу во всех магазинах, но дояркам некогда бегать, и вот не могли поставить несколько продавцов.

В противоположном конце все играл оркестр. Опять люди жались к стенам, никто не танцевал, и было жаль музыкантов, которые старались без результата.

— Пойдем? — спросил Волков.

— Я разучилась! — испугалась Галя.

— Все разучились! — воскликнул он, подхватил ее и вытащил в круг.

С боков подходили люди, охотно смотрели, толпа у оркестра все увеличивалась, но Волков и Галя как начали, так и закончили танец одни.

Оркестр заиграл танго, и тут желающих нашлось сразу десятка три, даже стало тесно. Галя вздохнула свободнее, ей стало очень хорошо.

— Так надо поднимать массы, — сказал Волков, — личным заразительным примером.

Ему подмигивали знакомые, а он, не смущаясь, показывал им сквозь щеки язык; Галя видела, что он ею гордится, и ей понравилось это. Она чувствовала, как на нее смотрят, и совсем перестала стесняться. Волков танцевал хорошо. Они танцевали все танцы подряд, до самого третьего звонка, и, когда пришли в зал, оказалось, что их места заняли. Они сели где-то в заднем ряду. Волков сказал улыбаясь:

— Ну, ладно, так я завтра покупаю гармошку. Идет?

Он полез в карман и добыл большую конфету, которую купил неизвестно когда. Галя конфету долго ела и спрятала обертку, чтобы когда-нибудь, взглянув на нее, вспомнить этот день.

На сцене лысый ученый рассказывал о подборе кормов, другой — химик — говорил о разных препаратах и витаминах, третий оказался специалистом по телятам.

Галя слушала и убеждалась, что ничего этого не знает, ей до тоски захотелось в институт. Словно угадывая ее мысль, Волков сказал:

— Вообще сейчас от доярки не требуется среднего образования, но насколько доярка с образованием нахальнее доярки без образования, видно хотя бы на примере Рудневской фермы. Скоро в доярки будут принимать только с высшим образованием, тебе не кажется?

Полгода назад скажи Гале кто-нибудь такое, она посмотрела бы на него, как на сумасшедшего. Теперь она подумала, что когда-то так будет. Надо бы подбить девок на ферме учиться, чтобы не оказаться потом на задворках.

Зачитывали имена награжденных, стал играть оркестр, и они, эти награжденные, выходили на сцену — всякие-разные, мешковатые, смущенные, неуклюжие, получали знамя, или вымпел, или подарки, терпели, пока их фотографировали.

Она почувствовала, как Волков ее толкает в бок, не поняла, что это значит, а он кричал на ухо:

— Тебя вызывают, выходи!

Он ее просто вытолкнул из ряда, она поверила ему на слово, пошла по длинному проходу, опять заиграл оркестр, и кто-то в первом ряду громко сказал:

— Та, что танцевала!

Ослепленная огнями, она поднялась на сцену. Мигнула вспышка, когда ей вручали грамоту и золотые часы. Как вернулась обратно — не помнила, увидела только лицо Волкова, его протянутую руку, ухватила за эту руку и села. Соседи заглядывали через ее плечо в грамоту — там было действительно написано ее имя.

— Зачем вы это сделали? — возмущенно сказала она Волкову. — Это ваша работа, я знаю.

— Допустим, это твоя работа, если на то пошло,— ответил он, обидевшись, но тут же пожал ее локоть и стал смотреть на сцену.

Она не знала, куда положить грамоту и коробку с часами. Они жгли ей руки. Приоткрыв коробку, она увидела маленький циферблат.

— Я бы, например, надел,— сказал Волков,— карманов у тебя ведь нет. Тут есть и ремешок, это они теперь предусматривают.

Он отобрал коробку, взял ее руку — Галя повиновалась, как во сне,— осторожно и ловко надел часы, и ее не радовали эти часы, но были приятны его прикосновения. Она бы еще раз сняла, чтобы он снова надел.

А коробку с фиолетовым бархатом все равно было жалко выбрасывать. Так она и унесла ее с собой.

Кончилось все; за столами в фойе мужчины торопились в последний раз выпить пива, в раздевалке была толпа. Волков принес Галин полшубок и валенки, она облачилась и поняла, что действительно кончилось все.

Грамоту она держала свернутой в трубочку, опасаясь измять. Коробку от часов положила в карман. «Узнала бы мама,— подумала она.— Положу я эту грамоту к ее диплому...»

Ей стало грустно, так грустно, что хоть сядь на полу и плачь. Волков озабоченно проталкивался, балагурил и тащил ее к выходу. Толпа их вынесла из подъезда, а у нее внутри все скипелось так, что не продохнуть, она проглатывала, проглатывала комок, но глаза не выдержали, закапали слезы. Волков не замечал, он искал машину, ее загнали за угол проулок, и Степка лежал в кабине, читая потрепанную книжку.

Галя увидела, что на улицах страшно много воды, и небо синее; верно, был хороший день и здорово шпарило солнце, потому что со всех крыш лилось, а вдоль тротуаров неслись грязные потоки, огибая колеса машин. Снег на асфальте стаял дочи́ста, только оставался на газонах.

— Как ты поживал? — спросил Волков.

— Вот. Печенье купил,— Степка протянул пачку.— С девочкой познакомился.

— А весна, черт ее дери, не шутит...

— Предсказывают раннюю в этом году.

— Поехали?

Они долго выбирались из затора машин, которые двинулись все разом, как тараканы.

— Галя, Галя,— сказал Волков, оборачиваясь.

Она встрепенулась, ожидая, что скажет он, но он, видно, просто так сказал, посмотрел на нее, улыбнувшись, и сел прямо.

Из-под передних машин летели грязные брызги, ветровое стекло густо покрылось ими, и очиститель только развозил муть. Степка нервничал, но не мог остановить, чтобы протереть.

В боковые стекла были видны магазины, по которым Гале так и не удалось походить, на некоторых уже горели вывески — короткий день кончался. Степка несколько раз останавливал, протирал стекло, но оно опять забрызгивалось.

Потянулись окраины, склады, гаражи, рельсовые пути, а потом уже пошли просто поля, на которых за день солнце согнало снег с бугров.

Она спала, но сквозь сон хорошо слышала все звуки: как идет дождь, как он булькает в выбитых ямках за стеной, как почему-то на утятнике сильно кричат утки.

Весна началась. Все потекло, дороги развезло, дул южный ветер, и коров уже иногда оставляли ночевать в загоне, а в утятник выпустили несколько тысяч утят, которые стали расти не по дням. Было странно, что они кричат ночью, но не было сил проснуться и обдумать.

Она спала и не спала, тянучие мысли набегали одна на другую, наслаивались — все разные житейские заботы, но не успевала она закончить с одной, как спешила другая, и все стучалась тревога: вот не успею, вот не выйдет.

Вдруг распахнулась дверь, вошла Пуговкина и сказала:

— Вставай, атомная бомба.

Галя ошалело вскочила, вылетела в одной рубашке на крыльцо, и перед ней открылась жуткая картина.

На полнеба, до самого зенита, поднималась неправдоподобно седая туча, поднималась до невероятных высот, лениво клубясь и охватив уже больше половины горизонта. Звук еще не дошел, он должен был вот-вот разорвать воздух. Эта гигантская катастрофа, ясно, уже поглотила Пахомово и распространялась с курьерской скоростью. Во всяком случае Галя уже видела стремительные клубы, проглатывающие поля, и крохотное Руднево в долине замерло, как кролик, перед этим идущим раскаленным шквалом. Галя заметалась по крыльцу, не зная, падать ли, бессильно ли смотреть — она понимала, что идут последние секунды ее жизни, — она застонала жутко, каким-то не своим, клокочущим голосом и проснулась.

Она села, вся в холодном поту, немного опомнилась, почувствовала невероятное счастье, что это только сон, и посмотрела в окно.

За ним была темнота, хлюпал дождь, отдельные капли стукались о стекло, сползали по нему медленно, задерживаясь на полпути.

Все еще дрожа после страшного сна, Галя встала, зажгла свет и, убедившись, что Пуговкина до сих пор не пришла с утятника, пошарила в шкафчике.

Есть ей не хотелось, но она обнаружила в стакане давние, слипшиеся конфеты-подушечки, отломив одну, стала сосать.

Сердце успокаивалось. Котенок сладко спал на ее кровати в ногах, свернувшись в клубок, разморенный, теплый и мягкий. Она потормошила его, он развернулся на спину, не собираясь просыпаться. Он так уповательно спал, что Галя сама от зависти захотела спать. Она погасила свет.

Автомобиль «москвич» на своих длинных ногах мчался по нескончаемому полю, за рулем сидел Волков, а вокруг были глубокие провальные озера, цвела гречиха до самого горизонта, от ее душного запаха трудно становилось дышать, и над ней гудели мириады пчел. Какие-то люди шли и махали, делали знаки: там нет дороги! Волков покосился на них и сказал:

— Нам нравится ездить без дорог.

«Значит, это продолжается тот сон», — подумала Галя и повернулась на другой бок, чтобы удобнее смотреть.

Но автомобиля уже не было. Остались только поля и облака. Галя и Волков танцевали, он вел ее бережно, нежно, лучше, чем в жизни, — и говорил, а глаза его улыбались, и нельзя было понять, говорит он в шутку или всерьез:

— А разве поездка сама недостаточно хороша, чтобы ждать раздачу пряников в конце? Если страшно неинтересно посвящать жизнь чепухе, то тем более неинтересно юлить или сдаваться. Добро в наших руках, условно, конечно, но, пока жив человек, ему надобно из всех сил держать



его, и тогда оно будет, тогда оно будет! Да, к сожалению, мы порастем кустами, но пусть никто не скажет, что под этими кустами лежат гады, ленивцы или невеселые люди. Они посмотрят и, может быть, захотят жить так же весело и умно или лучше, дай им бог!

— Вставай, утятник затопило,— сказала Пуговкина, входя.

Она была мокрая, грязная, сразу же стала переодеваться в сухое.

Галя, дрожа, вскочила, сослепу кидалась, не находя одежду; ей показалось, что произошло что-то непоправимое, она ни о чем не спрашивала, только побежала за Пуговкиной в темноту, шлепая по лужам и спотыкаясь.

Ничего, собственно, не случилось, а просто воды с полей переполнили пруд, он вышел из берегов, и, опасаясь, как бы не прорвало плотину, Иванов стал загонять уток в сарай, но только переполошил и разворочил весь утятник. Тогда он послал Пуговкину созвать людей подсыпать плотину, потому что цементная труба не могла пропустить излишки воды.

Пруд был как наполненная до краев тарелка. Утки светлыми комками плавали по мутной воде и пищали. Пуговкина сунула Гале лопату, и она стала бросать землю на какие-то носилки, а подняв лицо, увидела, что их носят Люся и Ольга. В темноте копошились еще несколько человек, а Иванов зло кричал:

— У вербы!.. У вербы!

Дождь шпарил сильный и холодный, вскоре вода потекла Гале за воротник. Цементная труба гудела — так неслась сквозь нее вода, но вскоре выяснилось, что пруд переполняется быстрее, и где-то среди ночи вода пошла через верх, сразу в нескольких местах.

Бросив бесполезную лопату, Галя тупо смотрела, как от плотины отваливаются большие куски, как кракнула и развалилась старая цементная труба; видно, она давно уже растрескалась и держалась на честном слове.

Ольга стряхнула воду с лица ладонями и злобно, с ненавистью сказала:

— А, пуцай плыветь! Може, хоть теперь почистят эту зар-разу.

Но недоговорив, она всплеснула руками и бросилась на плотину; случилось то, чего опасался Иванов: уток понесло в прорыв. Они попали в поток, били крыльями и летели по водопаду вниз, расплываясь по нижнему пруду, словно кучки тряпья.

Ольга выбежала на плотину и стала зычно кричать, швырять куски земли, чтобы отогнать уток. Часть отвернула, но других вода продолжала захватывать и нести.

Ольга полезла в прорыв, сорвалась, промокла до пояса, выругалась и пошла в воду. Растопырив руки, она хватала уток за крылья и швыряла их на плотину.

— Чокнутая, паразитка, вернись! — заругался Иванов, но она сунула ему пару уток, и он выкинул их на берег.

Сама собой как-то вышла цепочка, передавали мокрых, растрепанных уток из рук в руки, некоторые больно щипались, но Галя не обращала на это внимания.

— Эх, бабоньки мои! — воскликнул Иванов снизу, стоя в воде и бросая уток.— Бабоньки мои! Я ж вам... я ж вам... пол-литра поставлю!..

Ольга бултыхалась в воде, и время от времени от нее летели вверх тормашками утки.

— Бабоньки мои,— бормотал Иванов, весь мокрый — по лицу вода, словно плача и смеясь.— Вы ж у меня молодцы!..

Скоро верхний пруд вытек; Иванов погнал Ольгу переодеваться, потому что уткам уже не могло быть вреда.

Галя промокла до нитки, и заледенелые руки не сгибались. Она пошла домой, переделалась во всякое старье, какое только нашла, посмотрела на часы и удивилась: был рассвет.

Она только и успела перекусить и побежала на дойку. Дождь продолжался. Плотины были разрезаны пополам провалом, как разрушенная крепостная стена, и внизу журчал мутный ручей, через который кто-то перекинул уже доску. Утки барахтались в донной грязи, расплзались по берегам. Растопырявая руки, Пуговкина и Иванов ловили их.

Дойка прошла спокойно, утомительно длинная: коровы, напуганные шумом и дождем, бесились, Амба перевернула полное ведро.

Доярки говорили о том, что уток погибло много, но это еще неплохо — год назад в «Рассвете» таким образом вообще погиб весь утятник.

Несмотря на то, что Галя почти не спала, ее не клонило ко сну, только во всем теле была какая-то судорожная напряженность и сердце устало стучало.

Подбросив коровам корму, она, волоча ноги, вышла и остановилась, потрясенная.

На полнеба, до самого зенита, поднималась неправдоподобная серая мгла. Туча клубилась, за ней тащились разорванные клочья, а над головой уже засинело небо в просветах, дождь еще шел в полях, бушевал в Пахомове, но здесь уже кончился. Вся эта громадная, захватившая полгоризонта туча двигалась быстро, в ней происходили какие-то перемещения, в разрывах за колокольной стало проглядывать солнце: проглянет и скроется, проглянет и скроется. В воздухе была свежесть, какая-то кристальная чистота.

— У-у, весной пахнет,— говорили доярки, выходя из коровника.

Галя тоже пошла, вышла на плотину и увидела Воробьева, который в сопровождении Иванова и Пуговкиной, бранясь и чертыхаясь на чем свет стоит, ходил по распотрошенному утятнику.

У сарая стоял «москвич» на длинных ногах. Скорее всего Иванов сообщил в Пахомово по телефону, и Воробьев примчался.

У него был растрепанный вид, сапоги по колени в грязи, которой он уже успел тут набраться. Галя спустилась и подошла послушать, о чем они говорят.

— А к чертовой матери,— говорил Воробьев.— Ладно, пруды давно пора чистить. Слушай, Иваныч, перекинем-ка мы утятник на нижний пруд, а в этом — рыбу развести, что ли? А ты, в общем, здесь перепаша, земляца хорошая, удобренная. Здесь мы посадим сад.



---

---

С. МАРШАК

★

## ЛИРИЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ

I

Власть безграничная природы  
Нам потому не тяжела,  
Что чувство видимой свободы  
Она живущему дала.

II

Старайтесь сохранить тепло стыда.  
Все, что вы в мире любите и чтите,  
Нуждается всегда в его защите  
Или исчезнуть может без следа.

III

Немало книжек выпущено мной,  
Но все они умчались, точно птицы,  
И я остался автором одной  
Последней, недописанной страницы.

IV

Пускай стихи, прочитанные просто,  
Вам скажут все, о чем сказать должны.  
А каблуки высокие нужны  
Поэтам очень маленького роста.

V

Сменялись в детстве радугой дожди,  
Сияньем солнца — сумрачные тени.  
Но в зрелости не требуй и не жди  
Таких простых и скорых утешений.

VI

И час настал. И смерть пришла, как дело.  
Пришла не в романтических мечтах,  
А как-то просто сердцем завладела,  
В нем заглушив страдание и страх.

## VII

Старик Шекспир не сразу стал Шекспиром,  
Не сразу он из ряда вышел вон.  
Века прошли, пока он целым миром  
Был в звание Шекспира возведен.

## VIII

У одного советского министра  
Спросила мать, живущая в деревне:  
— Ты кем сейчас работаешь, сынок?  
Он ей назвал свой пост и учреждение.  
Но мать, не успокоившись, спросила:  
— А это в помещении, сынок?  
— Да, у себя, в служебном кабинете.  
— Ах, в помещенье? Ну и хорошо.

## IX

Искусство строго, как монетный двор.  
Считай его своим, но не присваивай.  
Да не прельстится шкуркой горностаевой  
Роль короля играющий актер.



---

---

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

## ПРЯХА И ТКАЧИХА

Дождик частит.  
Он не скоро пройдет —  
на серое небо  
взгляните:  
это осень прядет  
дождика  
серые нити.

Ей прясть и прясть,  
пока в полях  
не застекленеют лужи,  
пока  
под каблуками земля  
не зазвенит  
по утренней стуже,

пока не поймет сама  
по ясности той холодной,  
что ей на смену  
пришла зима  
снежные  
ткать полотна.

## *Вьюга в Подмосковьѣ*

Вьюга, вьюга.  
Не угадать  
ни севера, ни юга.  
Белые сполохи мечутся  
до самого неба,  
до самого  
новорожденного месяца.  
Вьюга,  
первая в этом году вьюга,  
заметает дороги, тропы,  
кого-то с полустанка торопит.  
Снѣга охалки —  
на шали, на шапки.

Мурашки — от головы до пят.  
Змейки жесткой поземки  
под ногами шипят.  
Две машины забуксовали,  
а снег воронками кружит  
и валит, валит,  
и на дороге  
сквозь темень видны —  
не фары —  
четыре тускловатых луны.  
Под чьими-то окнами  
отряхивается  
от снега сосна,  
а в доме спят.  
Спокойного сна,  
спокойного сна!



---

ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ

★

## ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА

*Год назад в нашем журнале была опубликована повесть Леонида Волынского «Сквозь ночь» («Новый мир», № 1, 1963) — о войне, о фашистской неволе.*

*Недавно писатель снова побывал в тех местах, где происходило действие повести.*

*Его новое произведение «Двадцать два года» было написано в результате этой поездки.*

1

**Н**икифор с женой и детьми ели размятую — «топаную», как говорят на Украине, — картошку, когда в хату вошли Яшка Гусачёк и с ним второй полицай. К весне топлива почти не стало, печь едва дышала теплом, там — на печи — все и сидели.

Яшка Гусачёк сказал «с добрым утром» и сел на скамью у окна, не снимая шапки. Второй полицай скинул с плеча винтовку и тоже сел. Никифор продолжал есть картошку. Все продолжали есть, хотя картошка уже не имела ни вкуса, ни смысла, и если бы в глубокой миске теперь оказалась полова, сечка или даже мятая глина, то было бы, наверно, все равно.

Яшка Гусачёк скрутил сигарку и закурил, роняя махорочные искры. Он терпеливо слушал стук деревянных ложек и смотрел на грязные наетки под своими сапогами.

Всего лишь каких-нибудь полгода назад он носил лейтенантские кубики на петлицах и вообще сроду не думал, что вернется когда-нибудь в Броварки. И вот довелось вернуться...

Плюнув на недокурок, он растер его каблуком и поднялся. Хватит, довольно тянуть резину. Уж если так повернулось — значит, так тому и быть, никуда не денешься.

— Пойдешь с нами, — сказал он Никифору.

Никифор слез с печи, заматал портянки, обул валенки, надел пальто.

Я хорошо помню это пальто, узкое в плечах, линялое со спины, с вытрепанными по краям рукавами и плешивым каракулевым воротником.

Он простился с женой и детьми, надел шапку и вышел. Тетка Настя пошла по хате, будто слепая, и было упала, чтобы заголосить, дать хоть какой-нибудь выход горю, — и увидела Никифоровы калоши под лавкой.

Поспешно одевшись, она взяла калоши и побежала вслед.

На дворе была мартовская медленная оттепель, в полях и огородах еще белел снег, а дорога была коричневая, и в низинах, в ямах полной талой воды. Никифора гнали пешком. Яшка Гусачёк со вторым полицаем ехали в санях. Под широкими полозьями булькало и шипело, сзади тянулся двойной жидкий след.

— Люди добрые,— сказала, догнав сани, тетка Настя,— дайте ему надеть калоши.

-- Не треба,— махнул рукой Гусачёк.— Они ему не нужны.

— Как же не нужны,— сказала тетка Настя, подступая поближе,— как же не нужны, когда ему до самого Градижска по таким калюжам пешком идти, он же грудью больной, застудится.

-- Ничего, не застудится,— сказал Гусачёк.

Он мог бы еще сказать, что теперь-то все равно, застудится или не застудится, но не сказал, а только усмехнулся. Он мог бы, правда, и позволить надеть калоши, шут с ними, это ведь тоже все равно, что в калошах что без калош. Но позволить он не хотел и не захотел бы ни за какие просьбы, а почему — сразу и не объяснишь. «По злобе»,-- скажут одни. так ведь не такой уж он был темный зверь. И на Никифора ничего личного таить не мог. А мстил он ему — и не столько ему, сколько всему белому свету — за свою собственную грязь, за свою замаранную совесть, за желто-голубую полицейскую повязку, за все, что случилось и случилось.

— А ну давай подальше, туды твою!..— Он замахнулся плеткой.

Тетка Настя отбежала в сторону, прижимая калюши к груди. Она еще долго бежала обочинами, проваливаясь в кашистые лужи, скользя по наледи, падая и поднимаясь. И потом еще долго стояла -- пока не скрылась вдали фигура Никифора, шагающего рядом с санями.

## 2

Все это рассказала мне тетка Настя. За двадцать два года слезы не иссыхали; рассказывая, она то и дело подносила к глазам платок, а я все повторял: «Не плачьте, тетка Настя», хотя и понимал, что не плакать ей невозможно. И было странно, что высокий, крепкий мужчина, сидевший рядом с ней, кусая губы и часто смаргивая, будто что-то мешало ему смотреть, и был тот самый пацан, чья русая головка свешивалась с печи вместе с головкой девчурки, когда я впервые пришел к Никифору.

Да это ведь и был тот самый Леня, «Льонько», а теперь Леонид Никифорович, бригадир колхоза, а рядом сидела его замужняя сестра, черноглазая и круглолицая Оля, а с печи теперь свешивались две другие русые головки — пацана и девчушки: это были дети Леонида Никифоровича, внуки тетки Насти.

Все как бы говорило тут о постоянном круговороте жизни и о том, что пережитое ушло в далекую даль. И вместе с тем оно было с нами и не давало забыть о себе.

И даже то, что хата теперь была не та, Никифорова, а другая — новая, с высокими потолками, с электричеством,— даже и это с особенной резкостью напоминало о заиндевевших оконцах, мигающем огоньке копилки, о той прощальной ночи, когда Никифора просили — я только теперь узнал об этом — уйти со мной на рассвете, уйти на восток, уйти, уйти, уйти, а он не смог решиться оставить Настю с маленькими детьми, боялся -- живут со света, замучат, убьют.

Легче ли было бы ему погибать, если б знал, как оно будет, если бы мог представить себе этот день и дом, детей и внуков? Тогда, в марте, кто-то принес тетке Насте клочок бумаги, обрывок, смятый, затоптанный,-- кто знает, как удалось протиснуть эту записку на волю. Тетка Настя узнала руку Никифора, прочла: «Живите... береги сына... а мы здесь...»

Многие бабы кружили тогда в Градижске поблизости бывших конюшен, где расположилась районная полиция. И так ведь получается — никакими стенами, решетками, колючей проволокой не прикроешь до конца



злодейство. О каждом или почти о каждом бабы дознавались. О Никифоре было сказано, что били его, кровью забрызгивая стены, мучили недели две, а потом к самым дверям подъехала крытая немецкая машина, туда затолкали полно людей и повезли. А где расстреляли — неизвестно. Много еще безымянных могил на этой земле.

## 3

...«Шестого ноября в семь часов утра я буду в Кременчуге, это точно, в словах своих и поступках я пунктуален».

Не так уж часто получаешь письма от людей, о которых писал, а это письмо было и вовсе особенное. Оно было от Василя, от моего босоного десятилетнего Василя. Думаю, читатель поймет волнение, с каким я подъезжал к Кременчугу.

Поезд втянулся на двухъярусный новый мост; справа виднелись остатки старого — искалеченные взрывом, изъеденные временем, вымытые водою щербатые зубы опор. Тот мост разбомбили на моих глазах летом сорок первого года, когда наши танки наводили здесь запасную понтонную переправу.

Каждый день «хейнкели» или «юнкерсы» прилетали сюда по несколько раз дюжинами, ничего им не нужно было, кроме моста, — и улетали ни с чем. Воду вскидывало к небу столбами, и на берегу воронок прибавлялось немало, а мост стоял целый. Наши зенитки не давали немцам снизиться, мешали вести прицельное бомбометание — и все обходилось, пока не подбили одного.

Он загорелся на большой высоте, задымил с хвоста и стал падать, и остальные «хейнкели» дали деру, и наши зенитки смолкли, все умолкло, только смотрели во все глаза, как он падает, таяко переворачиваясь через крыло и показывая все свои кресты, а за ним тянется черный густой дым. И все ждали, как он врежется в воду. А он и не думал врезываться.

Он вышел из штопора почти что над самым мостом, положил бомбу-пятисотку в средний пролет (все ахнуло громом и грохотом) и пошел на полном газу вдоль реки, прежде чем зенитчики успели опомниться.

Вот что значит военная хитрость...

Впрочем, я отвлекаюсь, а в те минуты ничто не могло бы отвлечь меня от мыслей о встрече с Василем. Из писем я кое-что узнал о нем: что работает в Харькове бригадиром электриков на заводе, что женат (жену зовут Тая, она копировщица), что дочери Ирочке пять лет, что квартира в Харькове хорошая — две комнаты, кухня и все удобства. «Приедете — сами увидите»...

Вот то-то же и оно, дорогой Василь, все надо самому увидеть. Поезд дернулся с перестуком и остановился. Я вышел на платформу и встал возле пятого вагона, как было условлено.

Прошло минуты две или три, прежде чем я увидел его — не узнал, а увидел, понял. Он шел ко мне через пути улыбаясь, и я понял, что это он, хоть и не узнал бы никак. Да разве узнаешь через двадцать два года? Правда, Василь прислал недавно фотографию, но и на нее не очень-то был похож.

Мы обнялись, он прижался небритой щекой. Только глаза и остались прежние на этом серовато-бледном, потерявшем округлость лице — карие материнские глаза в темных ресницах. Видно, нелегко дались Василю прошедшие годы. На нем было длинноватое не по моде пальто в крупную елочку, белый шелковый шарф и светло-серая кепка — он ее носил, как на известных фотографиях Ильича, откинув назад верх и чуточку прижав его.

Росту Василь оказался небольшого, и вся его стать, вся повадка была какая-то городская, рабочая — будто не он десятилегным пацаном гонял гусей в сестриных сапогах и учил меня толочь и просевать ма-хорку.

— Вот так-то,— сказали мы разом, поглядев друг на друга.— Вот так.

Василь признал себя и других на страницах журнала, разыскал мой адрес, прислал письмо. Почерк у него оказался крупный, четкий, с особенной законченностью в росчерках, какая бывает у людей, настойчиво учившихся грамоте.

Наверное, это было самое дорогое письмо за многие годы, хоть в нем и содержался откровенный упрек: как же это я не побывал до сих пор в Броварках?

И верно, как же? Откладывать дольше невозможно было, мы условились встретиться утром шестого ноября в Кременчуге, чтобы провести праздник у тетки Ивги. Это была единственная на ближайшее время возможность собраться всем; очередной отпуск Василь отбыл в феврале, лечился в санатории, следующего ждать было долго, а тут у него набралось четыре свободных дня.

Однако не он один спешил домой к празднику. У автобусной стоянки на привокзальной площади творилось бог знает что. Люди, чемоданы, туго набитые мешки, кошелки — все ходило волнами, напирало, сбивалось и застревало в дверях автобусов под крики осипших шоферов и кондукторш.

Рейсы на Градижск были через каждые полчаса, и все равно трудно было рассчитывать оказаться на месте раньше вечера, а это нас не устраивало. Нам необходимо было попасть в Броварки к полудню, ни в коем случае не позднее, так сказал мне Василь, а почему — объяснять не стал, озабоченно улыбнулся — «увидите»...

Он оставил меня у автобусов и подался куда-то ловить такси; видно, и это было непросто, но все же через некоторое время он подкатил, сияя победной улыбкой.

В машине сидело еще трое: мужчина в темно-синем пальто и темно-синей шляпе, с чисто выбритым дородным лицом, женщина — должно быть, его жена, в розовой полупрозрачной косынке на пышно взбитых подкрашенных волосах, и девочка лет пяти-шести с целлулоидной безрукой куклой.

Оказалось, это был школьный товарищ Василя, одноклассник, они не виделись лет семнадцать, а сейчас вот столкнулись чуть не лбами у автомобильной дверцы.

— Так ты где же теперь? — спросил Василь, когда все уместились и такси стронулось в ход.

— На ха-те-зе,— ответил школьный товарищ.

Он курил на переднем сиденье, нам виден был его аккуратно подстриженный затылок.

— И чем заворачиваешь?

Я уловил в голосе Василя едва заметный оттенок ревностной насто-роженности.

— Поммастера,— кратко ответил школьный товарищ.

Кажется, он был из неразговорчивых. Его жена осторожно поправила на волосах косынку.

— А вы, значит, харьковчанка? — обратился к ней Василь.

Она подтвердила односложно. Разговор как-то не клеился. Все замолчали, глядя вперед на дорогу и осенние поля. Дождей здесь, как видно, не было давно, озими зеленели негусто. Кое-где стояла неубранная кукуруза; а когда не оставалось ни зеленцы озимей, ни бегущих на-

встречу машин, высоко груженных сахарной свеклой, вдруг все вокруг делалось до режущей полноты похоже на ту дорогу и те поля, мимо которых гнали нас конные конвоиры в сторону Кременчуга двадцать два года назад.

Да ведь это, собственно, и была та же дорога и те же поля.

## 4

И въезд в Броварки был тот же: старые осины и тополи по сторонам ложбины-улицы с белеющими хатами среди дымчатой однотонности поздней осени, среди вспаханных огородов, стожков соломы, припасенных к зиме кукурузных стеблей.

И бугристое старое кладбище в конце длинной этой ложбины-улицы было на месте. На месте была и хата тетки Ивги — столетняя хата с тремя оконцами на восток и на юг. Только разве что покосилась еще немного, еще глубже ушла в землю и ниже надвинула шапку почерневшей соломы, приваленной кое-где жердями.

И сама тетка Ивга оказалась там, где я и ожидал ее увидеть — у глинобитного сарайчика, с вилами в руках. Она уронила их и пошла навстречу, обняла Василия и меня.

— Ну что ж, заходите в хату, — только и сказала она, подталкивая нас легонько. — А ось и Наталка...

— Не узнаете?

Я готов был солгать, но тут из-за спины незнакомой тридцатипятилетней женщины с обветренным докрасна лицом и выбеленными солнцем бровями выступила пятнадцатилетняя, белолицая и темнобровая, с выбившимися из-под бахромчатой яркой косынки прядками темно-русых волос.

— Узнаю, — сказал я с облегчением, — конечно же, узнаю.

Пожалуй, нельзя было бы придумать ничего иного, что так безжалостно просто сказало бы обо всем.

— Дочка моя, — сказала Наталка. — Похожа?

Похожа ли? Нет, слово было не то. Ведь это и была она. Та, пятнадцатилетняя Наталка. Та самая, что кричала немцам: «Это наши, наши!»... Та, да не та.

На этой был голубой свитерок в обтяжку с каким-то значком, спортивные черные шаровары, туфли на невысоком каблуке. Ее глаза — Наталкины серые глаза под четко обрисованными бровями — улыбались по-своему, чуть загадочно, будто ей известно и понятно было что-то такое, чего никогда уже не узнать и не понять ни Наталке, ни тем более мне.

Ей было чуть больше пятнадцати, она училась в девятом классе дешней одиннадцатилетки.

— А дальше?

Я почти не сомневался в ответе.

— В институт, — улыбнулась она.

— А гочнее?

— В строительный.

Это было для нее так же ясно, как дважды два, и так же несомненно

Мы вошли в хату. Здесь все было прежнее — даже запах, который я узнал бы и через полсотни лет. Пахло хлебом, парным молоком, духом вытопленной на рассвете печи и немного овчиной. Все та же медная резная лампада висела в углу под темноликой иконой, на которую давно уже никто не крестился. Все теми же домоткаными из суровья дорожками были покрыты скамьи под окнами. Все так же устойчиво подпирал некрашенный круглый столб черносмоленую потолочную балку.

«сволок». Только выбеленные с голубизной могучие доски потолка прогнулись еще круче дугой вслед за осевшими в землю стенами да в углу вместо деревянных полатей, где я спал когда-то, стояла высоко застланная кровать с горкой ситцевых цветастых подушек.

И будто бы для того, чтобы еще раз напомнить мне, где я, лежали на выскобленном столе свежеспеченные балабушки под чистой холстинкой.

Пока мы с Василем умывались над цинковым корытом, хата наполнилась детьми. Они входили друг за дружкой, здороваясь, — тринадцатилетняя Таня, девятилетний Валерка и еще три девчушки помладше, быстроглазые и смешливые; я было затруднился в соображениях, от куда их столько, когда вбежала Лена, младшая дочь тетки Ивги, о которой я постыдно забыл. На это она, кажется, нисколько не обижалась — затормошила, звонко чмокнула в обе щеки и даже сказала, что я «ни чуточки» не изменился и уж она-то признала бы меня сразу, если б встретила. А я так и не мог вспомнить, какая же она была тогда. Что говорить, двадцать два года — не шутка.

Итак, в хате у тетки Ивги собралось шестеро внуков от двух дочерей. Василева Ирочка в Харькове была меньшенькая, а старшую внучку завтра, в самый праздник, выдавали замуж. Тут-то и была закавыка, которую имел в виду Василь, когда говорил, что нам необходимо поспеть в Броварки к полудню.

А поспеть необходимо было потому, что выдавали-то старшую внучку не в Броварках, а на Киевщине, в Иванковском районе, где старший сын тетки Ивги, прежде морской офицер, председательствовал в колхозе. Туда на свадьбу и спешили сестры с мужьями, а уехать, не повидавшись с нами, никак не могли.

Что ж, пришлось без длинных предисловий усесться за стол, где было тесно расставленным теткой Ивгой мискам с куриным студнем, тушеной картошкой, ряженкой, солеными помидорами, квашеной капустой, граненым стопкам и бутылкам, заткнутым самодельными затычками из облущенных кукурузных початков.

Так мы и встретились снова на том же месте, где сиживали долгими зимними вечерами, сумрачно глядя на мигающий огонек коптячки и слушая, как Наталка с подружкой поют в два голоса древнюю песню о казаке, уехавшем на войну.

## 5

Летом сорок второго года Наталку угнали в Германию.

Вот написал «угнали в Германию» и подумал, что требуется какое-то усилие воображения, чтобы снять с этих слов ужасающую обыкновенность.

Страх, отчаяние, облавы, лежание на чердаке или где-нибудь в замураванном чулане, подполе. Товарные вагоны, материнский плач, крики, стрельба конвоиров... Может быть, народилось поколение, которому все это покажется до нелепости неправдоподобным, тем лучше. Для нас это было через меру правдоподобно, мы ведь жили в эпоху эшелонов. Их колеса прошли сквозь нас по всем направлениям — на север, на запад, на восток и на юг.

Наталку эшелон завез в Аахен, под бельгийскую границу, и она работала там на патронном заводе, где фабриковали смерть для ее братьев, жила за проволокой, ела эрзац-хлеб, пила эрзац-кофе, получала натуральные подзатыльники. Ее знакомство с древней сердцевиной Европы длилось три года. Она вернулась в Броварки осенью сорок пятого — и не одна, с мужем.

Вот он сидит за столом — Николай, муж Наталки-полтавки, москаль из Владимирской области, высокий, с крепким подбородком и светлыми глазами северянина. Ему хочется выпить с нами, а нельзя: он ведь шофер, это его «драндулет» стоит наготове у хаты, пора ехать, и все же...

— Ладно, налейте одну.

Ему ведь тоже хочется рассказать, как было и в Аахене, и до Аахена, и после, а желающих выслушать все меньше и меньше вокруг.

Вот и сейчас — перебивают, машут руками, — хватит, всего не перекажешь, пей-ка, друг Микола, свою стопочку, да будем собираться, пора, а что ведь пока доедем...

И вдруг среди шума веселой встречи — минута молчания, будто сговорились. Молчит тетка Ивга в темном своем платке, что окаймил постаревшее коричневое лицо. Молчит, хмурится Наталка, вертя в огрубелых пальцах пустую стопку. Молчит ее пятнадцатилетняя дочь. Молчу и я, глядя на девичьи пальцы, перебирающие бахрому косынки...

## 6

Часам к четырем дня наконец собрались. Наталка и Лена с мужем Петром залезли в кузов. Там настлали соломы, прикрыли одеялами, приготовили на случай брезентовые дождевики. Пятнадцатилетняя Галя забралась в кабину. Погрузили гостинцы, подарки для молодых — и поехали. А мы с Василем отправились побродить.

Мы пошли огородами «в берег» — к болотистой безымянной речушке, где, бывало, Василь ловил бреднем вьюнков и где я ранней зимой сорок первого года неумело косил камыш на топливо тетке Ивге.

Теперь тут не оказалось ни камыша, ни самой речушки, ни корявых ветел, что росли там и сям вдоль ее берегов. По спрямленной линии старого русла текла вода в аккуратно прорытом нешироком канале. Это был первый этап большой затеи — устроить там, на заречной стороне, где прежде расстилались заливные луга, цепь соединенных с каналом проточных прудов гектаров по сто каждый — для разведения рыбы, зеркального карпа.

Затея была частью новшеств, пришедших в эти края вместе с водами Кременчугского моря и энергией Кременчугской ГЭС. Отсюда, с берега, отчетливо виделись в сумеречном небе столбы, от которых тянулись провода к каждой хате. Кое-где в окнах уже светилось. Позднее зажглись уличные фонари (а вернее, попросту электролампы) на столбах в новой части Броварок, которую здесь называют «поселком».

Сюда, рассказал Василь, отселили жителей недалевого села Шушва-ливка — оно попало в зону затопления и больше не существует, а люди построились тут, в Броварках, с помощью государства.

— Видите, — сказал Василь, — не то что старое наше село. Улицы, как по шнурочку.

И верно, дома в «поселке» новые, одинаковые, чисто побеленные, крытые шифером. стояли ровнехоньким строем в две шеренги вдоль прямой, как стрелка, улицы, и это вовсе не похоже было на старые Броварки, как не похожи были аккуратно голые берега канала на прежний берег с камышом и плакучими ветлами.

Признаться, мне грудно было примирить разноречивые чувства; с одной стороны, я понимал необходимость и положительный смысл перемен, а сердцу было милее привычное, и я потихоньку поругивал себя за это.

Справа от нового поселка виднелось новое же кирпичное здание правления колхоза, рядом с ним — недостроенный Дом культуры, двухэтажный, с квадратными колоннами по фасаду, обнесенный строительными лесами. Вот ведь куда передвинулся центр Броварок! На моей памяти тут было поле, а чуть дальше на восток — полевой стан колхоза, та самая хата, где мы простились навсегда с Никифором.

— Никак не достроят, черти, — озабоченно сказал Василь, поглядев на Дом культуры. — И механизации не видать.

И правда, по всему заметно было, что строится дом неспешно, потихоньку, но все же строится.

За Домом культуры разбит был парк — торчали голые деревца, среди них нетрудно было угадать будущую центральную аллею, в конце которой стоял памятник — свежепосеребрянная фигура бойца в плащпалатке и с автоматом.

## 7

Перед отъездом Лена успела показать новый дом, где они с Петром собирались через неделю-другую праздновать новоселье, или — как здесь принято говорить — «входины».

Дом был добротный, на кирпичном фундаменте, стены литые из дешевой смеси глины с нарубленной соломой и небольшим количеством цемента, оштукатуренные и побеленные. Крыша высокая, крыта серым шифером, большие окна в голубых веселых рамках — словом, все тут было по-хозяйски, сделано толково и на долгий срок.

Комнат в доме было четыре, и все нарядные, светлые, особенно четырехоконная «зала», вся в тканых дорожках, кружевных занавесках и сказочно ярких, вышитых полтавской гладью рушниках.

Я не удержался — сосчитал. Рушников было в зале шестнадцать, они висели по стенам как бы в виде украшающих дополнений к другим, заведенным в рамки вышивкам крестом по темному фону, изображавшим то букет, то котенка с бантиком, то какую-нибудь небывалой нарядности птицу. А в центре напротив двери висел в простенке портрет Ленина, тоже украшенный рушником, на котором вышиты были уже не цветы или ягоды, а два симметрично расположенных герба Советского Союза и две одинаковые надписи: «Мир и дружба — счастье народов». Чуть пониже этих слов виднелись дважды повторенные буквы «М. Е. П.».

По недогадливости я спросил у Лены, что должно означать это сочетание букв, и она ответила терпеливо и внятно, как отвечают несмышленишу: «Малько Елена Петровна».

Ах, Лена, Леночка... Ничего другого не оставалось, кроме как обнять ее, что было, наверное, отнесено на счет лишней стопки.

— Вот тут, значит, и живите, — сказала она, — будьте как дома.

И показала мне спальню, тоже увешанную рушниками, где стояли шкаф-гардероб и высоко застланная кровать.

## 8

На деревне ложатся рано. Улеглись и мы с Василем (ему была отведена в новом доме другая комната), и я уснул, едва коснувшись щекой подушки, — сказала дорога, впечатления, деревенский воздух.

Проснулся я среди ночи. Часы показывали четверть пятого, сна не было ни в одном глазу. Должно быть, я с лихвой отоспал свое, перевыполнил норму, и теперь оставалось глядеть в тускло сереющее окно, курить и думать.

Стояла глубочайшая тишина, почему-то не слышно было собачьего лая, и я вспомнил, как неумолчно, с подвывом перекликались деревен-

ские собаки, когда я просыпался так вот ночью на полатах у тетки Ивги и подолгу лежал, борясь с желанием отломить потихоньку хлеба и съесть.

У памяти свои права. Вчерашнее забудется наглухо, давнее — помнишь, да не сплошь, а какими-то врезанными навечно кусками.

Выкурив папиросу-другую, я стал вспоминать: как же все началось?

Рано утром плакала в коридоре молочница (бог ты мой, тогда еще существовали молочницы?) — говорила: «Война, война». Ее успокаивали: «Да что вы, учебная тревога»... Ну а дальше? Радио, суровый марш Александра, помрачневшие люди на улицах, противогазы через плечо — все смазано, все мелькает неясно до позднего вечера, когда в дверь позвонили настойчиво — и все прояснилось вдруг до резкости, все встало на место.

Не помню лица, но почему-то помню отчетливо руку с обручком большого пальца и как этот обручок — одна фаланга без ногтя — прижимает к дверному косяку повестку, пока я расписываюсь огрызком карандаша.

Дальше помню прощальный обед, молчание и соседку с четвертого этажа, как она постучалась и вошла, близоруко шурясь и держа в руке запечатанный конверт.

— Кажется, вы собираетесь на фронт? — спросила она, пожелав приятного аппетита и отыскав меня взором. — К вам небольшая просьба. Говорят, наши к Варшаве подходят, а у меня там тетя, не виделись двадцать пять лет... Вы не откажетесь?.. Письмецо, буду весьма признательна...

Насчет Варшавы я сомнений не выразил, взял письмо, а вот куда оно делось — не помню.

Моей дочери было тогда пять с половиной лет. Вечером ее уложили, она подозвала меня: «Дай руку». Взяв мою ладонь в свои, поглядела в глаза, сказала тихо: «Тревога пришла». И уснула, а я осторожно высвободился, потому что пора была уходить.

В трамвае тускло светили синие лечебные лампы. У кондукторши сумки висели через оба плеча — одна с билетами, другая с противогазом. Пассажиры молчали. Тихо было и в теплушке, куда я забрался на ощупь.

Всю ночь мы простояли на станции. В темноте то и дело вспыхивали прикрытые ладонями спички, слышались вздохи, покашливания, беззвучно разгорались и угасали папиросные огоньки.

Наутро мы перезнакомились — сорок разного возраста приписников с чемоданами, мешками-«сидорами» и туристскими рюкзаками. Когда эшелон тронулся, к нам вскочил на ходу еще один — востроухий, в хорошо сшитом черном костюме и без вещей.

Через полчаса мы уже знали, что это столичный журналист (он назвал свою фамилию), что в нашем городе он оказался проездом и вот — отправил чемодан домой с оказией, а сам прыгнул в первый попавшийся эшелон, чтобы поскорее добраться до фронта.

— Стал бы я еще раздумывать, — говорил он, возбужденно улыбаясь и ероша седоватые волосы, — а потом догоняй! Нет уж, извините, плохой бы я был газетчик...

Он все время находился в движении — потирал руки, ходил, ударяясь об нары, а на первой же остановке высунулся наружу и крикнул:

— На Берлин! Ура!

Потом он присаживался то к одному, то к другому, расспрашивал, ерошил волосы, сетовал на медленный ход эшелона.

— Черт забодай,— огорченно бормотал он, потирая руки,— ведь пока доберемся...

Вечером он примостился на полу, сунув под голову чей-то мешок, и уснул как младенец, подложив ладонь под щеку. Наутро он с полной серьезностью уверял, что если будем и дальше так ползти, то поспеем как раз к шапочному разбору. Он рисовал неоспоримо ясный план, согласно которому все должно закончиться в ближайшие дни. В общем, он вселял в нас бодрость, и мы охотно кормили его домашними котлетами и пирогами с вишней и орала вместе с ним «на Берлин!», высовываясь наружу на станциях.

А во Львове черный дым стлался по железнодорожным путям, и я не помню, как добрался до Щереца, где старшина выдал мне обмундирование. Я переодевался в пустом дворе казармы, когда высоко в небе показался наш «ТБ», тяжелый бомбардировщик, а за ним гнался немец, «мессер», и догнал без труда, и легко, будто играючи, нырнул, опрокинулся павзничь и проперол нашему брюхо.

«ТБ» задымил и стал падать, оттуда вывалилось три комочка, но лишь над одним вспыхнул парашют; старшина помчался туда в полуторке, я успел вскочить на подножку.

Парашют белел среди поля. Летчик-майор сидел на земле, раскачиваясь и сжав ладонями бритую голову, его лицо было мокро, говорить он не мог, все повторял: «Листовки... будь они прокляты...» Оказалось, он летал к немцам с листовками, и ему было нестерпимо обидно, что так и за грош сбили его на первом же вылете.

Штурмана прошило в кабине, а у стрелка-радиста и бортмеханика парашюты не раскрылись. Может быть, их настигла на выходе пулеметная очередь. Мы похоронили их и выехали на передовую, в полк.

Что же еще? Назавтра стою у дороги, ведущей из Львова в Тернополь. Бог знает, что катится по этой узкой асфальтовой полосе — танки, грузовики, велосипеды, пехота, извозчичы фиакры с хрустальными фонарями... Пыль, жара, рев моторов, крики «воздух!», удары бомб...

Пшеница в поле по сторонам дороги начисто вытоптана, но люди все еще ныряют в гущу полеглих колосьев, прячась от самолетов.

— Что будем делать? — спрашиваю у Сьянова в перерыве между налетами.

Вопрос дался мне с трудом: Сьянов был младший сержант, а на моих еще не запыленных петлицах краснели кубики. Позади нас, в лесу, сидело под соснами пятьдесят человек, ожидая моего решения.

На шоссе издыхала лошадь. Бойцы сталкивали в кювет разбитую полуторку. Рычащие танки застревали среди повозок. Задыхающиеся люди в гражданском бежали обочинами.

— Уходить без приказа никак нельзя,— убеждающе тихо сказал Сьянов.— А вооружиться надо бы.

Я поглядел на свою винтовку. У остальных были только лопаты. И еще десяток саперных топориков. Полсотни саперов с лопатами и топориками — вот что я получил вместе с приказанием построить в лесу командный пункт для штадива.

На рассвете, когда мы пришли сюда, было тихо. В лесу перекликались птицы. Некий майор должен был встретить нас, мне надлежало задать ему нелепый вопрос: «Где тут дача Румянцева?» Впрочем, это был всего лишь пароль, фамилия начинжа дивизии была Румянцев. Майор обязан был указать место для командного пункта.



О том, как строятся командные пункты, я имел тогда лишь отдаленное представление. Для этого существовал Сьянов, младший сержант в застиранной гимнастерке. Ему было все известно, в том числе и высший закон войны, велящий нам оставаться здесь, несмотря на то, что никакого майора в лесу не оказалось. Несмотря ни на что...

Вот мы стоим с ним у обочины, глядя на изнеможенных людей в пиджаках. Иные бегут с винтовками, Сьянов цепко выуживает их, а я задаю один и тот же ненужный вопрос:

— Где взял?

— Там... военкомат... раздают...

— Клади. Патроны получал?

Вскоре гряда винтовок выросла у наших ног. И холмик картонных пачек с патронами. Я подсчитывал, хватит ли, когда Сьянов выудил очередного.

Бодрый, неунывающий спутник! Не сразу узнал я его под слоем пыли, покрывшей седоватые волосы, и лицо, и черный в полоску костюм. Да и он, видимо, не признал меня. Стоял, мучительно-тяжко дыша, отирая свободной рукой смешанный с грязью пот, стекавший струйками по щекам. В другой руке у него была винтовка.

— Что, на Берлин? — спросил я.

Он поглядел ошалело — и вспомнил.

— А-а... — произнес он и улыбнулся жалкой, виноватой улыбкой. — Да-да... Не узнал, извините... Вот оно как получается... — И вдруг затрясся, уронив винтовку, прикрыв ладонями лицо, беззвучно — под рев и рычание моторов и крики людей на шоссе.

## 9

Утром Василь повесил в «зале» люстру, которую привез Лене из Харькова к новоселью. Люстра была с круглым плафоном и четырьмя затейливыми рожками, куда Василь ввинтил разноцветные лампы — синюю, зеленую, красную и желтую. Получилось что-то наподобие иллюминации, и Василь сказал, что к новоселью вполне подойдет. А для будничных надобностей можно включать только одну белую, в плафоне.

После вчерашней встречи и нескольких стопок Василь выглядел неплохо, побледнел, щеки запали глубже, под глазами темнело.

Видно было, что чувствует он себя некрепко, но признаваться не хочет, чтобы не портить праздника.

У него была язва двенадцатиперстной кишки, он заработал ее в Донбассе, куда ездил на два года из Харькова строить комсомольские шахты.

Впрочем, как он говорил, тут сказала еще и военная голодуха, когда немцы подгрести все дочиста и люди в Броварках ели вязкий тяжелый хлеб, гнилую картошку и даже крапиву.

В сорок восьмом году Василь уехал из Броварок в Харьков, поступил в ремесленное училище. Дальше была морская служба на Балтике, снова Харьков, Донбасс — короче, биография, обычная для нашего времени. И все же казалось необычным и было странно думать, что это и есть прежний круглолицый Василь-василек.

Насколько я мог заметить, характер у него сложился нелегкий. Из обрывочных рассказов я понял, что он принадлежит к разряду болельщиков за справедливость, не дает никому спуска, на собраниях режет правду невзирая на лица и все желает довести до решающей точки.

Был он членом райкома, и в заводской партком избирали не раз — короче, в нагрузках недостатка не испытывал, а теперь вот пришлось отпроситься на время — «трудно, здоровье не позволяет».

Как-то не верилось, что надолго отпросился он от общественных дел — нет, не та была натура. Чем-то напоминал он теперь Никифора — хоть и не похож был на него внешне, — может быть, каким-то прикусом невысказанной горечи.

Все это проглядывало в нем не вдруг, не сразу, а так, временами, во взгляде, в ненароком сказанном слове. На обстоятельства жизни он не сетовал, напротив, старался обрисовать все в лучшем свете и говорил, что вообще-то все хорошо, грех жаловаться.

С матерью и сестрами он обходился сдержанно, даже сурово, а из писем его я понимал, что любит он их беззаветно. Нет, не прост был мой Василь, ох как не прост!

Позавтракав у тетки Ивги и пропустив по утренней стопке, мы отправились с ним погулять.

Было не по-ноябрьски тепло, земля чуть курилась. Коричнево-серая мглистая осень стояла вокруг. Не видно было праздничных городских украшений, но праздник безотчетно чувствовался во всем — в осенней умиротворенности, в особенной тишине, среди которой где-то вдали чуть слышно звучала радиомузыка.

На старом колхозном дворе бесшумно вращалось колесо ветродвигателя на высокой мачте. Круторогие волю, как и двадцать два года назад, неторопливо хрумтели у желоба кукурузными стеблями. С тех пор и не случалось мне видеть волов. «Цоб-цабе», — усмехнулся Василь. — Перезиток, а польза кое-какая есть».

Здесь колхоз, как я слышал, в машинах недостатка не испытывает, но и волам находится дело. Вообще, видно, хозяйство тут ведется осмотрительно, без крайностей, без громких рекордов, но и без провалов.

Даже в нынешнем на редкость немилостивом году здесь выдали на трудодень по восемьсот граммов зерна, и еще ожидался сахар — за сданную на завод свеклу. О председателе все говорили хорошо, он был из местных, долго служил в армии, вышел в отставку по нездоровью и вот уже десять лет как вернулся и руководит колхозом.

В среде руководителей разного рода существуют, я бы сказал, два различных понятия власти. Для одних власть — это прежде всего право запрещать, и, только пользуясь в той или иной степени этим правом, они сознают себя на должном уровне, на высоте ответственности. Другим, напротив, понятие власти рисуется как непростая обязанность облегчать жизнь, устранять излишние препятствия.

Броварский председатель, видно, принадлежал ко второй категории. Мы встретили его на улице у школы, где собралось десятка три мужчин, празднично одетых — в начищенных сапогах, суконных пальто, новых фуражках или же ровно надетых несмятых фетровых шляпах.

Это был, так сказать, верхний слой, командный состав колхоза: члены правления, бригадиры, помощники бригадиров, работники учета — люди как на подбор плечистые, краснощекие, с высоко подстриженными крепкими затылками.

После войны сложилось так, что мужская часть деревенского населения оказалась либо на таких вот командных постах, либо села за руль автомашины, на трактор, комбайн или еще какую-нибудь технику. А вся немеханизированная доля колхозного труда, вместе с трудом домашним, осталась на плечах баб и девчат. Худо ли, хорошо ли — так оно есть и будет, наверно, куда машина не возьмет на себя побольше.

А пока что Леонид Никифорович Малько, колхозный бригадир, говорит о своем «женском батальоне» с чувством некоторой неловкости. Мы встретили и его у школы, где начальство собралось покурить, потолковать (праздник ведь!), и он повел нас на свое хозяйство в обширный, с городской площадью, двор бригады, уставленный многочисленными строениями, большая часть которых поднялась недавно.

Среди новостроений главенствовал кирпичный коровник, поставленный буквой «П»,— сооружение добротное, чистое и внушительное размером. Да и вообще все выглядело здесь хозяйственно, крепко и не шло в сравнение со старым колхозным двором, какой я помнил.

Я задал колкий вопрос насчет студентов. Леня усмехнулся — «пока обходимся»... Затопление Шушваливки подбавило Броваркам работников, да и с техникой стало вольготнее. А если бы еще доверили самим решать, как вести дело, где что сеять, то и вовсе неплохо было бы. «Сами ведь на своих ногах стоим, а вроде несамостоятельные...»

Праздник ли, нет ли — животноводство требует своего. В коровниках и свинарниках дежурили девчата, а по двору слонялся давний знакомый, сельский дурак Грицько, ничуть не изменившийся, все такой же гугнявый, жилистый и добродушный. Увидев нас, он поздоровался со всеми за руку, показал жестами, что все, мол, в порядке, работа идет, будьте спокойны. Затем он расхохотался, почесал под шапкой, добыл оттуда соломинку и отправился помогать девчатам управляться у кормокухни.

## 10

Кажется, нет ничего печальнее запущенного деревенского кладбища с покосившимися крестами и травянистыми бугорками забытых могил. Где-то среди таких безымянных бугорков была и могила Захара.

Об Андрее я узнал, что еще той зимой он исчез из Броварок, а позднее кто-то видел его однажды в Градижске чуть ли не в немецкой владовской форме.

Наверное, такое было вполне возможно. Насилие, даже зрелище насилия ни для кого не проходит бесследно. В одних оно вселяет отвращение и пожизненную ненависть к насилию, другим калечит душу страхом. Фашизм — это ведь не что иное, как разъеденные страхом души. Наверное, если бы не существовало чувство страха, не мог бы существовать и фашизм.

Катрю Андрей бросил, она умерла в сорок третьем году.

Об этом и о многом другом была речь за столом у Леонида Никифоровича и тетки Насти, где сменилось немало мисок со всякой снедью и немало заткнутых самодельными затычками бутылок.

К неиссякаемому столу то и дело подсаживались новые гости; многие в Броварках узнали о нашем приезде и заходили, пусть ненадолго,— поглядывать, поговорить, повспоминать.

И почти все вспоминали о Никифоре, какой это был человек.

Однорукий Терешко, когдатощний бригадир, стал рассказывать, как однажды, еще до войны, председатель колхоза подал в правление просьбу — отпустить ему смушки на шапку. Человек был хороший, а к тому еще председатель, — как тут не отпустить? Решили было на заседании — удовлетворить просьбу, а тут как раз подошел Никифор, он был тогда предсельсовета. Вошел, послушал и говорит: «Я, братцы, против. И не потому, что мне смушек жалко, с одной этой шкурки не обедняем. А потому я против, что надо сперва всем людям смушковые шапки надеть, а потом уж и председателю».

— Вот какой был человек,— заключил Терешко, задумчиво улыбаясь.— Действительный коммунист.

— Поискать таких...— сказал кто-то из старших.

Тетка Настя молча сменила опустевшие миски.

— Нет, не жить ему было, не жить...— проговорил другой гость с таким выражением, с каким говорят иногда о не по возрасту разумном, чересчур хорошем, рано умершем ребенке.

Помолчали. И тут тетка Настя стала рассказывать, как года три назад приходил к ним в хату, еще в ту, еще в старую,— кто бы вы думали? — Яшка Гусачёк.

Да, представьте, приходил как ни в чем не бывало, еще и конфет детям принес и поллитровку в кармане.

После войны его судили как полиция, и отсидел он лет десять, если не больше,— и вот ведь живой-здоровый. Где-то там в Сибири поселился, а сюда приехал погостевать, чего ему,— и вот, зашел...

— Ну и что же?

— Да ничего...

— Нет, позвольте, как же это... как все обошлось?

— Да так и обошлось. Я заплакала— знаете, дело бабье. А Леня...

— Что ж Леня?

— Отвернулся, и все.

— Ладно, хватит, давайте-ка выпьем,— сказал тут Леня, наполняя пустые стопки.

Однако пить на этот раз никто не торопился. И долго еще не возобновлялся застольный шумок — пока не прибыл один из племянников тетки Ивги, молодой учитель Мишко.

Видно, не только что начал он праздничный обход и не к первому столу приближался. Войдя в дом, он подхватил стоявший у двери стул и пошел кружиться, будто с девушкой, а его молодая жена, вполне и даже слишком трезвая, смотрела на него с тем выражением, с каким повсюду смотрят слишком трезвые молодые жены на веселых не в меру мужей.

Покружившись под собственный аккомпанемент, Мишко поставил с пристуком стул у стола, уселся, снял шапку, выпил стопку, закусил помидором и, непонятным образом отрезвев, стал говорить, что учителям в школе приходится туго, им не до новшества, по уши в свои огороды зарылись.

— Ладно, хватит,— вмешалась жена.— Хорошо тебе, что в огороде батько с матерью копаются да еще я впридачу, а то разжились бы на твои шестьдесят карбованцев. Помолчи, дай человеку спеть.

Другой племянник, сын овдовевшей в конце войны тетки Мотри, давно порывался спеть. Это был рослый, широкоплечий и широкоскулый парень, с румянцем до ушей, темно-русой чуприной и вполне городскими, аккуратно подстриженными баками. Одет он был тоже по-городскому, при галстукe. Он работал экскаваторщиком на строительстве системы прудов и утверждал, что рыбы тут вскоре будет тьма.

— И на что нам та рыба,— вздохнула молчаливая тетка Ивга,— когда под эти пруды все луга позабирали, а где скотину выпасать будем — никто и думать не думает.

Не думал об этом и племянник. По всему видно было, что недолго ему оставаться тут, вот только дайте закончить пруды, и подастся он куда-нибудь, благо у нас экскаваторщику есть куда податься.

Пение, верно, было его страстью. Пел он сильным, чуть сбивающимся с тона голосом, и Василь, помрачневший было, вдруг стал подтягивать своим тенорком; спелись они без труда и пели совсем не то, что испокон веку звучало в Броварках,— не про вдову, не про явор над водою, не про казака, что уехал на войну, а все больше про дальние поезда, синеглазых девушек и про парус на морской волне.

## И

В углу под иконой у тетки Ивги я увидел аккуратно прикрепленные к стене тетрадные странички, где не очень похоже, но все же так, что и угадать нетрудно, нарисованы были карандашом Лермонтов, Гоголь, Шевченко, Юрий Гагарин и васнецовские богатыри. Рисунки были украшены акварельными рамочками из зеленых веточек с красными ягодами и оказались делом рук девятилетнего Валерки, единственного представителя мужского пола среди многочисленных внучат тетки Ивги.

Он и держал себя соответственно — зря не суетился, слов на ветер не бросал, зубы не скалил.

Я спросил у него:

— Рисовать любишь?

Он молча пожал плечами.

— Стало быть, не любишь?

Он снова шевельнул плечами, на этот раз как-то по-иному.

— Любит, любит! — затараторили младшие.

— А ну цить! — неторопливо сказал он. — Сороки...

Я подарил ему цанговый карандаш с запасными грифелями. Он тотчас развинтил его, разглядел что к чему, свинтил и попробовал, хорошо ли тушует. Кажется, карандаш ему понравился.

— Значит, художником будешь, — утвердительно сказал я.

Он в третий раз повел плечами и усмехнулся. По усмешке можно было со всей определенностью заключить, что будет не будет, а уж во всяком случае постарается.

Глядя на младшее броварское поколение, я все раскидывал, старался по каким-то смутным признакам разгадать, кто по какой дорожке пойдет. И хоть понимал, что такое гадание — занятие зряшное и даже странное до смешного, а все же казалось, что кое-что угадываю. И выходило так, что мало кто из внуков тетки Ивги останется здесь, при дедовской земле.

Что ж, думал я, это вполне естественно. Количественное соотношение городского и деревенского населения меняется и будет меняться неизбежно — таков путь современного развития, так должно быть. И при всем том — кто же, какая часть, лучшая или худшая, должна уйти отсюда? И кто должен остаться — неужели же только те, у кого недостатка природной подвижности, любознательного беспокойства, настойчивости, способностей? А может быть, все тут — загадка судьбы, цепь случайностей, игра обстоятельств, у одного сложится так, у других этак?

Раздумья не приносили ясности. Мне трудно было представить себе Броварки лет через двадцать пять и грустно было сознавать, что навряд ли увижу, как именно все тут изменится.

Наступил день отъезда. Как и в первый день, я проснулся затемно и долго глядел в медленно сереющее окно.

Хорошо, что наконец-то побывал тут и повидался со всеми, думал я. Хорошо, что люди здесь сыты, что есть электричество, что построили баню и строят Дом культуры, что празднуют новоселья, что колхоз креп-

кий, что запаслись кормами и не станут бить молочных коров, что председатель — человек добрый, не пьяница, не самодур. В общем, с поездкой мне повезло. А все же на душе как-то смутно, и это, наверно, оттого, что не нашел могилу Захара и что нет Никифора. С ним было бы тверже, надежнее...

Я оделся, вышел наружу. Утро было туманное, все вокруг потонуло в белой мари, только оголенные вершины деревьев кое-где пробивались да непогашенные еще фонари на поселке желтели смутными пятнами. Где-то во дворах кричали утки, кто-то звал «тась-тась-тась!..» Из тумана бесшумно возникла молодуха на мужском велосипеде и снова потонула, нажимая сапогами на педали. Издалека донеслись звуки боя часов на Спасской башне, затем государственный гимн. Радиоузел начал работу, и я вернулся в дом, чтобы послушать известия и собраться в дорогу.

Мы рассчитывали уехать рейсовым автобусом в половине девятого, да не вышло. Автобус промчался из Бугаевки битком набитый, и Василь было приуныл: ему необходимо было поспеть в Кременчуг к харьковскому поезду, к часу дня. Пришлось Лёне Малько сходить к председателю, и тот, как водится, не отказал, дал машину до Градижска.

Простились. Произнесли обычные в таких случаях, ничего не выражающие слова. Василь молчал. Тетка Ивга стояла, окруженная внуками, — маленькая, будто ссохшаяся, в черном платке, молчаливая, терпеливая тетка Ивга.

Туман развеяло. За бугристым кладбищем промелькнула вросшая в землю хата; слева через дорогу виднелся недостроенный дом на четыре комнаты, точь-в-точь такой, как у Лени Малько, покрытый шиферной серой крышей, но еще неоштукатуренный, без окон. Это была стройка Наталки с Николаем-Миколой, и если бы мне случилось приехать в Броварки не теперь, а через год, то не нашел бы на прежнем месте никого.

Что же станется с ней, с гостеприимной столетней хатой? Так и будет стоять пустая? Или снесут?

Я обернулся. Уже не видны были ни тетка Ивга с внуками, ни кладбище, ни хата. Шофер вел машину «с ветерком» и рассказывал, как в сорок втором году прятался в Шушваливке, чтоб не угнали, и как полинаи нашли в подполе и отлупили, и какво пришлось потом в Германии, в Бельгии, в Голландии... От Броварок до Градижска езды полтора часа, он так и не успел досказать до точки.

\* \* \*

Что-то неясное томило, пока мы с Василем ждали автобус в Градижске. Было так, будто надо проснуться, а не можешь стряхнуть сон или встретил человека очень знакомого и мучительно вспоминаешь — кто?

Мы ожидали на стоянке у обнесенного штакетником сквера. Собственно, это был даже не сквер, а скорее обширный пустырь, заросший травой квадрат, который только начали превращать в сквер или парк. Оголенные по-осеннему деревца росли там на побурелой траве вдоль нешироких земляных дорожек.

— Не скажете ли,— спросил я у немолодого прохожего,— что было тут до войны?

— Школа,— ответил тот.— А при немцах тюрьма.

Все вдруг проявилось, обрело жесткую ясность. Глубокий снег прикрыв белизной траву. Двухэтажное длинное здание с заколоченными окнами встало на белом, а на месте штакетника выросли столбы с короткими перекладинами наверху, поднятыми, как у открытого семафора.

Я вошел внутрь ограды. Теперь я мог бы найти здесь все даже с завязанными глазами. Вот тут я упал в снег, он показался мне теплым. А дальше...

Парень с девушкой шли по дорожке навстречу, я перехватил удивленный взгляд. Ну и пусть, теперь мне надо было просчитать, шаг за шагом. Девяносто. Не так уж много по сравнению с долгой дорогой на Берлин. Девяносто шагов — что и говорить, отрезок невеликий, но и его надо было пройти...

Парень с девушкой удивленно смотрели на меня — им ведь не видна была колючая проволока, — а я почувствовал, как цепляюсь спиной, рванулся и пробежал туда, где условлено было с Захаром.

Все там осталось как было — деревянный забор и одноэтажный дом на возвышении, за которым улица круто спускалась вниз.

Постоял на условленном месте, просчитал ударами сердца весь путь Захара. «Только не бежать!»... Ладно, Захар, пойдем спокойно.

Я пошел вниз по булыжной улице. И там, где в ту ночь промоинами в снегу чернели плавни, теперь открылось море.

Да, это было Кременчугское море, безбрежное и спокойное, с каким-то дымящим пароходом на горизонте и лениво набегающей к ногам голубоватой волной.



---

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

★

## ТАЙНА ОСЕННЕЙ ЛИСТВЫ

*С украинского*

Ботаники утверждают: яркие весенние цветы привлекают пчел и других насекомых, содействующих опылению... Ну, а золотые осины, багряные клены, светло-желтые березы, бронзовые дубы, все роскошные краски осеннего леса,—кого и для чего они манят? Или это искусство для искусства?

Пусть разбираются ботаники в вопросе  
О том, зачем листву раскрашивает осень,  
Зачем творит она ту пышную красу,—  
Я в сердце до конца, до смерти пронесу  
Трепещущий огонь на блекло-синем фоне,  
Немеркнущий багрец на раскаленном клене,  
Червленую резьбу на бронзовых дубах  
И золото осин, низверженное в прах,  
Студеный жар лесов и царственную алость,  
Величественную, прекрасную усталость,  
Когда еще седа лишь по утрам трава,  
Ту смерть, в которой жизнь полна и так жива!

### *Кленовые листья*

Кленовые листья — это скорбные думы Стефаника,  
Это дождь, грустный дождь в прикарпатских полях,  
Это солнце холодное в тучах,  
Это матери горькой улыбка,  
Обращенная к бедному сыну,  
Это голос разлуки и муки  
В час последний любви,  
Это тихая песня без слов,  
Одинокая песня...



Кленовые листья —  
 Это утро румяно-морозное,  
 Это посвист синиц, посвист поползней  
 В дышащем бодростью воздухе,  
 Это девушки на тропинке в лесу,  
 Гуси в небе высоком,  
 Это шорох, и шелест, и звон  
 Пурпурной осени,  
 Это Пушкин в гостях у меня  
 И Пушкин в сердце моем,  
 Это дым над родною обителью  
 И дымок папиросы друга,  
 Это чувство — вот скоро зима,  
 Это вера — будет весна вслед за нею,  
 И подснежники синие расцветут  
 Там, где листья лежат золотые,  
 Кленовые листья...

## Дождик

Il pleut doucement sur la ville...

Arthur Rimbaud<sup>1</sup>

Дощик, дощик,  
 Капае дрібненько...

Песня

Тихий и сладкий дождик  
 Сеется щедро на улице,  
 Сеется щедро, светло,  
 И плещет по листьям.  
 И веет в окно,  
 Как надежда.

Дождик-дружок!  
 Спасибо тебе  
 За милую музыку эту,  
 За то, что напомнил мне дни,  
 Когда босоногим мальчонкой  
 Я шлепал по лужам  
 И представлял себя в образах разных:  
 То загорелым морским капитаном,  
 То ловцом неведомой рыбы,  
 То охотником на причудливых птиц,  
 То благородным пиратом,  
 То творцом хитрых водных построек,  
 Гидросооружений,  
 Как мы бы сказали теперь...

<sup>1</sup> Над городом тихий дождь. Артур Рембо (франц.).

Дождик-дружок,  
В лепетанье твоём  
Слышу тысячи голосов:  
Детских, девичьих, старческих, юных,  
Слитых в песню одну,  
Точно море, бездонную.  
В серебристом мерцанье твоём  
Вижу лица прекрасные,  
Те, что снятся лишь раз —  
Только ранней весной —  
И обливают горячею кровью  
Жадное сердце.

Боль моя, дождик родной,  
Несказанная радость,  
В малой лужице  
Мир отраженный!

Неугомонное сердце мое!

### *Неугомонное сердце*

Ты когда ж успокоишься, сердце?  
Ровно биться когда ты начнешь,  
Как часы,  
Механизм,  
Как расчетливый разум?

Впрочем, нужно ли это?

### *Последние розы*

Последние розы,  
Белые розы,  
Сентябрьские розы.  
Они облачились  
В ризы невинности,  
В одеяния девичьей чистоты,  
Они сквозь осенний туман  
Смутно припоминают лето,  
Солнце и грозы,  
Капли дождя и веселые радуги,  
Душные ночи, прохладу рассвета,  
Они как во сне  
Видят весны зеленое море,  
Слышат бессмертную речь соловьиную,  
Прикосновения ветра счастливого ловят...

А все это, все в них живет:  
 Весна душистая,  
 Страстное лето,  
 И ветер, и грозы, и радуги —  
 Все это, все в них живет,  
 Покуда бичом смертоносным  
 Их мороз не ударит,  
 Пока не уронят на землю  
 Последних своих лепестков  
 Белые розы,  
 Сентябрьские розы,  
 Последние розы.

### *Огни моего города*

Гаснут огни в городе,  
 Точно падают в бездну морскую  
 Звезды янтарные.  
 Лишь под звездами настоящими,  
 Как сестра их тревожная,  
 Словно мыслящий метеор,  
 Мчится ночной самолет.  
 Лишь бессонных заводов  
 Пылают глаза горячие,  
 Лишь ученые и поэты  
 Не спят за высокими окнами,  
 Только мысль человека  
 Зажигает огни над мирами.

Гаснут огни в городе,  
 Задыхавшемся в тяжких мученьях  
 Так недавно как будто  
 И так бесконечно давно.  
 Тьма спускалась тогда каждый вечер  
 На город мой,  
 Тьма неволи.  
 Черная вражья рука  
 Гасила огни и сердца —  
 Нет! Сердец погасить не могла!

— Сердец погасить не могла.

Киев мой!  
 Киев наш новый,  
 На пожарище выросший!  
 Киев мой милый!  
 Никому уж теперь погасить не под силу  
 Величавых твоих,  
 Песни светлей,  
 Дружбой омытых,  
 В завтра открытых  
 Творческих  
 Неугасимых огней!

## Что я ненавижу и что я люблю

Эмиль Золя написал когда-то пламенную статью «Что я ненавижу», заканчивающуюся так: «А теперь вы знаете, что я люблю, к чему питаю страстную любовь еще с юных лет»

В наше время Юлиан Тувим в «Цветях Польши» посвятил большой отрывок — весьма причудливый и кое в чем парадоксальный — тому, что он ненавидит и что он любит. Впрочем, на эту тему в той или иной форме высказываются все писатели мира, все люди на свете.

Я ненавижу ложь  
 В любом одеянии,  
 А больше всего — в роскошном и пышном,  
 Самодовольную тупость,  
 Даже если носит она  
 В золотой оправе очки,  
 Суматошливость, вздорность, крикливость,  
 Себялюбие, зависть,  
 Прикрытые громкою фразой,  
 Щелки-глаза,  
 Отвратительным жиром заплывшие,  
 Где таится презренье,  
 Уши с пробками ваты  
 От ветра и мук человеческих,  
 Предательство, подлость  
 С глазами блудливыми,  
 Фарисейство и лицемерье  
 В обличье моральности строгой —  
 Я ненавижу!

Вещи люблю я простые и чистые:  
 Сердце, открытое дружбе,  
 Ум, уважительный к людям,  
 Труд, радость миру несущий,  
 Пожатые мозолистых рук,  
 Синий рассвет над зеркальными водами,  
 Шум дубравы зеленый и шум золотой,  
 Соловьиные песни и песни людей,  
 Скромный шиповник и гордую розу,  
 Мужество, верность,  
 Народ и народы —  
 Я люблю!

Сентябрь — октябрь  
 1963 года.

Авторизованный перевод Дмитрия Седых.



---

И. ШМЕЛЕВ

★

## ИЗ ПРОШЛОГО

*Публикуемые ниже рассказы известного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева написаны им в разное время, в эмиграции. Вместе с другими рассказами подобного рода они входят в книгу «Лето господне» (1948), над которой писатель работал около двадцати лет. Книга носит автобиографический характер и рисует детство писателя, прошедшее в Замоскворечье в купеческой семье.*

*Обращение к ушедшей в прошлое жизни характерно для эмигрантской литературы. Книгу И. Шмелева в этом отношении можно поставить рядом с «Жизнью Арсеньева» И. Бунина, «Юнкерами» А. Куприна и т. п. Оторванная от своего народа, родины, литературная эмиграция, естественно, не могла не впасть в оскудение. Только в минувшем, изжитом нашим народом, могли находить себя писатели-эмигранты.*

*Обращаясь к прошлому в своих автобиографических произведениях, эти писатели рисуют его, как правило, идиллически, об ином умалчивая, другое изображая односторонне. Это относится и к названным рассказам Шмелева. Но вместе с тем в них сказываются и традиции русского реализма, которые в свое время так сильно проявились в «Человеке из ресторана», «Гражданине Уклейкине» и некоторых других предреволюционных произведениях И. Шмелева. Сквозь умирительно патриархальное освещение нравов купеческой Москвы проступают в рассказах Шмелева подлинные черты старого быта, праздничного и сладкого для одних и горького, нищего для других — в том числе и для тех замечательных умельцев, руками которых были построены дворцы не только ледяные и не только одни дворцы.*

*Что наиболее ценно в рассказах И. Шмелева — это сочность языка и выразительность нарисованных им образов.*

*Публикация рассказов И. Шмелева подготовлена В. Баумовым.*

### Обед «для разных»

**В**торой день рождества, и у нас делают обед — «для разных». Приказчик Василь Василич еще в сочельник справляется, как приказжут насчет «разного обеда»:

— Летось они маленько пошумели, Подбитый Барин подрался с Полугарихой про Ерусалим... да и Пискуна пришлось снегом оттирать. Вы рассерчали и не велели больше их собирать. Только они все равно придут-с, от них не отделаешься.

— Дурак-приказчик виноват, первый надрызгался! — говорит отец. — Я на второй день всегда у городского головы на обеде, ты с ними за хозяина. Нет уж, как отцом положено. Помру, воля божия... помни: для праздника кормить. Из них и знаменитые есть.

— Вам — да помирять-с! — восклицает Василь Василич, стреляя козым глазом под потолок. — Кому ж уж тогда и жить-с? Да после вас и знаменитых никого не будет-с!..

— Славные помирают, а нам и бог велел. Пушкин вон какой знаменитый был, памятник ему ставят, подряд вот взяли, места для публики...

— Один убыток-с.

— Для чести. Какой знаменитый был, а совсем, говорят, молодой помер. А мы... Так вот, сам сообразишь как-что. У меня дел по горло. «Ледяной дом» в Зоологическом не ладится, оттепель все была... на первый день открытие объявили, публика скандал устроит...

— В новинку дело-то. Все уж балясины отлили, и кота Ондрюшка отлил, самовар слепили и шары на крышу. Горшки цветочные только на уголки и топку в лежанке приладить, чтобы светилось, а не таяло. Подмораживает крепко, под двадцать будет, к третьему дню поспеет. В «Листке» про вас пропечатают.

Все у нас говорят про какой-то «ледяной дом», куда повезут нас на третий день. Скорняк Василь Василич, по прозванию Выхухоль, у которого много книжек Морозова-Шарапова, принес отцу книжку и сказал:

— Вот, Сергей Иванович, про замечательную историю, как человека заморозили и Ледяной дом построили. В Санкт-Петербурге было, доподлинно.

С этого и пошло.

Отец отдаёт распоряжения, что к обеду и кого допускать. Василь Василич загибает пальцы. Пискун, Полугариха, солдат Махоров, Выхухоль, певчий-обжора Ломшаков, который протодьякону не удаст и едва пролезает в дверь; знаменитый Солодовкин, который ставит нам скворцов и соловьев — таких насви-стывает! — звонарь от Казанской, Пашенька-блажененькая, знаменитый гармонист Петька, моя кормилка Настя, у которой сын мошенник, хромой старичок — цирюльник Костя, вылечивший когда-то дедушку от водянки, — тараканьими порошками поднял, а доктора не могли! — Трифоныч Юрцов, сорок лет у нас лавку держит, — разные, «потерявшие себя» люди, а были когда-то настоящие.

— Этот опять добиваться будет, Барин-то... особого почета требует. Прикажете допустить? — спрашивает Василь Василич.

— Господин Энтальцев? Допусти. Сам когда-то обеды задавал, стихи сочиняет. Для Горкина икемчику, и Барину поднесешь, вот и почет ему.

— Да он этого все требует, горлышко-то с перехватцем, горькой! Прикажете купить?

— Знаю, кому с перехватцем. Довольно с вас и икемчику. Всем по трешнику, как всегда. Ну, Барину дашь пятерку. Солодовкину ни-ни, обидится. За скворца не взял да еще в конверте вернул. Гордый.

Накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются официанты. Постилают голубую, рождественскую, скатерть и посуду ставят тоже парадную, с голубыми каемочками. На лежанке устраивают закуску. Ни икры, ни сардинок, ни семги, ни золотого сига копченого, а просто: толстая колбаса с языком, толстая, копченая, селедки с луком, соленые снеточки, кильки и пироги длинные, с капустой и яйцами. Пузатые графины рябиновки и водки и бутылка шато-д-икема для знаменитого нашего плотника-«филенщика» — Михаил Панкратыча Горкина, который только в праздники «принимает», как и отец, и для женского пола.

Кой-кто из «разных» приходит на первый день рождества и заночевывает: солдат Махоров, из дальней богадельни, на деревянной ноге, Пашенька-преблаженная и Полугариха. Махорова угощают водкой у себя плотники, и он рассказывает им про войну. Полугариху вызывают к гостям наверх, и она допоздна расписывает про старый Ерусалим и каких она страхов навидалась.

Идут через черный ход; только скорняк, Трифоныч и Солодовкин — через парадное. Барин требует, чтобы и его пустили через парадное. Я вожу снег на саночках и слышу, как он спорит с Васильем Василичем:

— Я Валерьян Дмитриевич Эн-та-льцев! Вот карточка...

И все попрыгивает на снежку. Страшный мороз, а он в курточке со шнурками и в прюнелевых полсапожках, дамских. На нем красная фуражка, под мышкой трость. Лицо сине-багровое, под глазами серые пузыри. Он передергивает плечами и говорит на крышу:

— О-чень странно! Меня сам Островский, Александр Николаич, в кабинете встречает, с сигарами!.. Черт знает... в таком случае я не...

Василь Василич одет тепло, в куртке на барашке, в валенках; лицо у него красное, веселое. Подмигивает-смеется.

— Знаменитый Махоров, со всякими крестами, и то через кухню ходит. А чего вы стесняетесь? Кто в хорошей шубе — так через парадное. А вы идите тихо-благородно, усажу, где желаете... только не скандальте для праздника.

— На-ро-ды!.. — говорит Барин подрагивающими губами. — Впрочем, не место красит человека... много званых, да мало избранных! Пройдем и через кухню... Передай карточку, скажи: Эн-та-льцев!

— Да вас и без карточки все знают, при себе держите, — говорит дружелюбно Василь Василич и что-то шепчет Барину на ушко.

Тот шлепает его по спине и, попрыгивая, проходит кухней.

По стене длинной комнаты, очень светлой от солнца и снега на дворе, сидят чинно на сундуках «разные» и дожидаются угощения. Вот Пискун. У него такой тонкий голос, что мне все кажется — вот-вот перервется он. На Пискуне бархатная кофта с разными рукавами и плюсовые сапожки с мехом. Уши повязаны платочком: они отморожены, и вместо них — «только дырки». Должно быть, он и голос отморозил. Рыжая борода суется из платочка, словно она сломалась. Когда-то он пел в Большом театре, где мы недавно смотрели «Роберт и Бертрам, или Два вора», но сорвал голос и теперь только по трактирам — «уж как веет ветерок, из трактира в погребок». Все его жалеют и говорят: «Пискун ты Пискун, пропащая твоя головушка!» Глаза у Пискуна всегда плачут, руки ходят, будто нащупывают, и за обедом ему наводят вилку на кусочек.

Под образом с голубенькой лампадкой сидит знаменитый человек Махоров, выставив ногу-деревяшку, похожую на толстую бутылку или кеглю. На нем зеленоватый мундир с золотыми галунами и по всей груди золотые и серебряные крестики и медали. Высоким седым хохлом он мне напоминает нашего царя-освободителя. Он недавно был на войне добровольцем и принес нам саблю, фески и тувельки, которые пахнут туркой. Сидит он строгий и все покручивает усы. На щеке у него беловатый шрам — «поцеловала пулька под Севастополем». Все его очень уважают, и я тоже, словно икона он. Отец говорит, что у него на груди «иконостас, только бы свечки ставить». С ним Полугариха, банщица, знаменитая: ходила пешком в старый Ерусалим. Она очень уж некрасивая, в бородавках, и пахнет от нее пробками, и еще кривая: «выхлестнули за веру турки». «Вот когда страху-то навидалась! — рассказывает она. — Мы-то плачем у гроба-то господня, а они с мечами да с бичами... — хлест-хлест! И выстегнули. И батюшка-патриарх с нами, в голос кричит, а они — хлест-хлест! Ждут, демоны, — не сойдет огонь с неба — всем нам голову долой! Как пал огонь с небес, так все лампадки-свечечки и загорелись. Как мы вскричим: «Правильная наша вера!» — а они так зубами и заскрипели. А ничего не могут, такой закон».

Рядом с ней простоволосая Пашенька-преблаженная, вся в черном, худенькая и юркая. Была богатая, да сгорели у ней малютки-детки,

и стала она блаженненькой. Сидит и шепчет. А то и вскрикнет: «Соли посолоней, в гробу будешь веселей!!» Так все и испугаются. У нас бояться, как бы она чего не насаждала. Сказала на именинах у Кашиных, на Александра Невского, 23 ноября: «Долги ночи — коротки дни», а Вася ихний и помер через неделю в Крыму чахоткой! Очень высокого роста был — «долгий». Вот и вышли «коротки дни».

Еще — курчавый и желтозубый Цыган, в поддевке и с длинной серебряной цепочкой с полтинничками и с бубенцами. Пашенька дует на него и все говорит — цыц! Он показывает ей серебряный крест на шее и все кланяется — боится и он, должно быть. Трифоныч, скорняк Василь Василич, который говорит так, словно читает книжку. Потом, во весь сундук, певчий Ломшаков. Он тяжело сонит и дремлет, лицо у него огромное и желтое — от водянки. Еще разные. Но после солдата интересней всего — Подбитый Барин. Он стоит у окна, глядит на сугробы и все насвистывает. Кажется, будто он один в комнате. А то поглядит на нас и сделает так губами, словно у него болит зуб. Горкин сегодня — как будто гость: на нем серенький пиджачок отца, брюки навывпуск, а на шее голубенький платочек. А то всегда в поддевке.

Входит отец, нарядный, пахнет от него духами. На пальце бриллиантовое кольцо. Совсем молодой, веселый. Все поднимаются.

— С праздником рождества Христова, милые гости,— говорит он приветливо,— прошу откушать, будьте, как дома.

Все гудят:

— С праздничком! Дай вам господь здоровьица!

Отец подходит к лежанке, на которой стоят закуски, и наливает рюмку икемчика. Василь Василич наливает из графинов. Барин быстро трет руки, словно трещит лучиной, вертит меня за плечи и спрашивает, сколько мне лет.

— Ну, а семью семь? Врешь, не тридцать семь, а... сорок семь! Гм...

Отец чокается со всеми, отпивает и извиняется, что едет на обед к городскому голове, а за себя оставляет Горкина и Василь Василича. Барин выхватывает откуда-то из-под воротничка конвертик и просит принять «торжественный стих на рождество»:

С рождеством вас поздравляю  
И счастливым быть желаю,  
Не придумаю, не знаю —  
Чем вас подарить?..  
Нет подарка дорогого,  
Нет алмаза золотого,  
Подарю я вам.. два слова:  
Ни-когда!  
На-всегда!

— Тут шарада и каламбур! --- вскрикивает он радостно.--- Печаль — ни-когда, а радость — на-всегда!

Всем очень нравится — как он ловко! Отец благодарит, жмет руку Барину и уходит. Василь Василич сдерживает:

— Господин Энтальцев, не спешите... еще велик день!

Энтальцев с селедкой в усах подкидывает меня под потолок и шепчет мокрыми усами в ухо:

— Мальчик милый, будь счастливый... за твое здоровье, а там хоть... в стойло коровье!

Дает мне попробовать из рюмки, и все смеются, как я начинаю кашлять и морщиться.



Его сажают рядом с солдатом и Полугарихой, на почетном месте. Горкин садится возле Пискуна и водит его рукой. Едят горячую солонину с огурцами, свинину со сметанным хреном, лапшу с гусиными потрохами и рассольник, жареного гуся с мочеными яблоками, поросенка с кашей, драчену на черных сковородах и блинчики с клюквенным вареньем. Все наелись, только певчий грызет пороссячью голову и просит, нет ли еще пирогов с капустой. Ему дают, и Василь Василич просит:

— Сеня, прогремь «дому сему», утешь!

Левчий проглатывает пирог, сопит тяжело и велит открыть форточку — «а то не вместит». И так гремит и рычит, что делается страшно. Потом валится на сундук, и ему мочат голову. Все согласны, что, если бы не болезнь, перешиб бы и самого Примагентова! Барин целует его в «сахарные уста» и обнимает. Двое молодых вносят громадный самовар и ставят на лежанку. Пискун неожиданно выходит на середину комнаты и раскланивается, прижимая руку к груди. Закидывает безухую голову свою и поет в потолок так тонко-нежно: «Близко города Славянска... на верху крутой горы...» Все в восторге и удивляются: «Откуда и голос взялся! Водочка-то что делает!»... Потом они с Бариним поют удивительную песню:

Вот барка с хлебом пребольшая,  
Кули и голуби на ней,  
И рыба-ков... бо...льшая ста-ая...  
Уныло удит пескарей.

Горкин поднимает руки и кричит:

— Самое наше, волжское!

И Цыган пустился: стал гейкать и так высвистывать, что Пашенька убежала, крестя нас всех. Тут уж и гармонист проснулся. Это красивый паренек в малиновой рубаше с позументом. Горкин мне шепчет:

— Помрет скоро, последний градус в чахотке... слушай, как играет!

Все затихают. И уж играл Петька-гармонист! Играл «Лучинушку»... Я вижу, как и сам он плачет, и Горкин плачет, теребя меня и все уговаривая:

— Ты слушай, слушай... ро-стовское наше!..

И Барин плачет, и Пискун, и солдат. Скорняк, когда кончилось, говорит, что нет ни у кого такой песни, у нас только. Он берет меня на колени, гладит по голове и старается выучить, как петь: «Лу-учи-и-и-нушка...» — и я вижу, как из его голубоватых старческих уже глаз выкатываются круглые светлые слезинки. И солдат меня гладит, притягивает к себе, и его кресты натирают мне щеку. Мне так хорошо с ними, необыкновенно. Но почему они плачут, о чем плачут? Хочется и мне плакать. Праздник, а они плачут! Потом Барин начинает махать рукой и затягивает «Вниз по матушке по Волге». Поют хором, все, и Василь Василич, и Горкин. А окна уже синеют, и виден месяц. Кормилка Настя приходит после обеда, измёрзшая, и Горкин дает ей всего на одной тарелке. Она целует меня, прижимает к холодной груди и тоже почему-то плачет. Оттого, что у ней сын мошенник? Она сует мне мерзлый апельсинчик, шоколадку в бумажке — высокая на ней башенка с орлом. И все вздыхает:

— Выкормышек мой, растешь...

От ее слов у меня перехватывает дыханье, и по привычке я прячу голову в ее колени, в холодную ее кофту в стекляруссе.

Глубокий вечер. Я сижу в мастерской, пустой и гулкой. Железная печка полыхает, пыхаст по стенам. Поблескивают на них пилы. Топят

щепой и стружкой. Мы — скорняк, Горкин, Василь Василич и я — сидим на чурбачках кружочком перед печкой. Солдат храпит в уголке на стружках. С ним и Пискун улегся: не пустили его, а то замерзнет. Барин не захотел остаться, увязался с Цыганом — куда-то покатили. А мороз за двадцать градусов: долго ли ему замерзнуть!

Скорняк рассказывает про Глафиру, про воротник. Я знаю. Он рассказывал еще летом, когда мы бегали смотреть пожар на Житной. Там он жил когда-то, совсем молодым еще. Он любит рассказывать про это, как три года воровал хозяйские обрезки и сшивал лисий воротник украдкой, на чердаке, чтобы подарить Глафире, а она вышла замуж за другого. Вот теперь он старый, похож на вылезшую половую щетку, а все помнит. Так Горкин и говорит ему:

— Волосы повылазили, а ты все про свой воротник! Ну-ну, рассказывай. Хорошо умеешь рассказывать.

Просит и Василь Василич, посовелый. Покачивается и все икает.

— ...и вот, вошла она, Глафира... розовая, как купидом. И я к ней пал! К ногам красавицы. И подал ей лисий воротник! Так вся и покраснела, а потом стала белая как мел. И говорит: «Ах, зачем вы... так израсходовались!» И пал я к ее ногам, как к божеству. И вот, она облила меня слезьмы... и говорит, как из-за могилы: «Ах, возьмите немедленно вашу прекрасную лисичку, ибо я, к великому моему сожалению, обретаюсь с другим человеком, увы!» А жила она с буфетчиком. «Но неужто, говорит, вы и самделе могли вообразить, будто я из вашего драгоценного подарка могу преступить?! Как, говорит, вам не совестно! Как, говорит, вам не стыдно при благородной душе вашей!..»

И скорняк сильно покачивается. Василь Василич говорит:

— Значит, опоздал. Судьба. Ну, прожил уж со своей старухой, чего теперь жалеть! Так и не взяла воротника-то?

— Взяла. И приходит тут буфетчик, и они стали меня поить сельтерской, а то я очень страдал.

— Сельтерской... на что лучше! — говорит Василь Василич.

— ...и вот, выхожу я из покоев на снег... а костры в саду горели, потому что был большой съезд у господ Кошкиных по случаю именин дочери их, красавицы Варвары. И вот, молодой лакей подходит ко мне и кладет мне на плечо руку. «Вы страдаете от любви к прекрасной, но гордой красавице Глафире. Это мне доподлинно известно. Я, говорит, сам не сплю все ночи и уж иссох». А он, правда, в злой чахотке был. «Оставьте душе покой, а мне скоро лежать на Ваганькове. Идите домой и не возвращайтесь к красавице, которая... неволью губит своей красотой всякого приближающегося даже при благородном своем характере!..»

Он долго рассказывает. Горкин предлагает: пошвырять, что ли, на царя Соломона, чего из притчи премудрости скажется?.. Но никто не отзывается. От печки пышет, глаза слипаются.

— Снесу-ка я тебя, пора, намаялся... — говорит Горкин, кутает меня в тулупчик и несет снями.

Через дверь сеней я вижу мигающие звезды, колет морозом ноздри.

Я в постельке. Все лица, лица... тянутся ко мне. одни, другие... смеются, плачут. И засыпаю с ними. Со мной как будто — слышу я шелест сарафана, стук бусинок! — моя кормилка Настя, шепчет: «Выкормышек мой, растешь...» Почему же она все плачет?..

Где они все? Нет уже никого на свете.

А тогда — о, как давно-давно! — в той комнатке с лежанкой, думал ли я, что все они ко мне вернутся через много лет, из далей... совсем живые, до голосов, до вздохов, до слезинок — и я приникну к ним и погрузу!..

## Ледоколье

Отец посылает Горкина на Москва-реку, на ледокольню, чтобы навел порядок. Взялись две тысячи возков льду Горшанову доставить — пивоваренный завод на Шаболовке, от нас неподалеку, — другую неделю возим, а и половины не довели. А уж март месяц, ростепель пойдет, лед затрухляевает, таскать неспособно будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опаско, — и оставим Горшанова безо льду. Крестополонная на дворе, а Василь Василич, Косой, с подлецом-портомойщиком Дениской масленицу все справляет...

— Пьяного захватишь — палкой его оттуда, какой это приказчик! По шеям его, пускай убирается в деревню, скажи ему от меня! До Алексей — божья человека... Сегодня у нас что, десятое?.. Все чтобы у меня свезти, какая уж тогда возка!

— Какая возка... — говорит Горкин озабоченно, — подойдут Дарьи — за... сори-пролуби, вежливо сказать... ледок замолочнится, водой пойдет, крепости в нем не будет... Горшанову обидно будет. Попужаю Косого — поспеем, господь даст.

Отец сам бы поехал, да спины разогнуть не может, прострел: оступился на ледокольне, к вечеру дело было, ледком ледовину затянуло, снежком позапорошило, он в нее и попал по шейку.

— Ледоколов добавь, воробьевских с простянками поряди... неустойка у меня, по полтиннику с возка... да не в неустойке дело: никогда не было такого, осрамит меня, с... с...!

Горкин обнадеживает: «Поспеем, господь даст», — берет с собой шустрого паренька Ондрейку, который летось священного голубка на шатерчик сделал, как царицу небесную принимали, — и одевается потеплей: поверх казакинчика на зайце натягивает хороший полушубок, романовский, черненный, с зеленой выстрочкой, теплые варежки под рукавицы и подшитые кожей валенки. На реке знобко, потеплей надо одеваться.

Я не был еще на ледокольне, а там такая-то ярмонка — жара прямо! До сорока лошадок с саночками-простянками ледок вываживают с реки и всякого-то сбродного народу, с Хитрого рынка порядили, выламывают ледок, баграми из ледовины тянут, как сахар колют, — Горкин рассказывает. Я прошусь с ним, а он отмахивается:

— Некому за тобой смотреть, и лошади зашибут, и под лед осклизнуться можешь, и мужики ругаются... нечего тебе там делать.

Он сердится и грозит даже, когда я кричу ему, что сам на Москва-реку убегу, дорогу знаю.

— Только прибеги у меня... я те, самовольник, обязательно в пролуби искупаю, узнаешь у меня!..

Говорит он так строго, что я боюсь — ну-ка и взаправду искупает? Я прошусь у отца, говорю ему:

— Басню я про Лисицу выучил...

А я так хорошо выучил, что Сонечка, старшая сестрица, похвалила, а она очень строгая. А тут сказала:

— Ишь ты какой, как настоящая лисица поешь... ну-ка, еще скажи...

И отец слышал про Лисицу. И говорит:

— Возьми его, Панкратыч, на ледокольню, он тебе про Лисицу скажет. Пора ему к делу приучаться, все-таки глаз хозяйский... — смеется так.

А Горкин даже и доволен словно — сразу повеселел:

— Раз уж папашенька позволяет — поедем, обряжайся.

Я надеваю меховые сапожки и армячок с красным кушаком, заматывают меня натуго башлыком, и вот я прыгаю на снежку у каретного

сарая, где Антипушка запрягает в лубяные саночки Кривую — другие лошадки все в разгоне. Попрыгиваю и напеваю Горкину:

Зимой, ране-хонько, близ жи-ла,  
Лиса у проруби пила в большо-ой мороз..

Слушает Горкин и Ондрейка, и даже будто Кривая слушает, распустила губы. Антипушка засупонивает, подняв ногу, и подбадривает меня: «А ну, ну!» Скорей бы ехать, а он все-то копается, мажет Кривой копытца. Не на парад нам, чего тут копытца мазать! Нельзя не мазать: копытца старые, а дорога теперь какая, во-лглая... — надо беречь старуху. И правда, снег начинает маслиться, вот-вот потекут сосульки: пока пристыли, крепко висят с сараев, а дымок вон понизу стелется — ростепели начнутся. Видно, конец зиме: галочки «свадьбы» кружат, воздух затяжелел, стал гуще, будто и он замаслился, — попахивает двором, сенцом, еловыми досками-штабелями, и петуху уж в голову ударяет, — «гребешок-то какой махровый... к весне дело!»

Садимся в лубяные саночки на сено, вытрухиваем на улицу — туп-туп на зарубах о передок. На Калужском рынке ползут и ползут простянки, везут ледок на Шаболовку, к Горшанову.

— Наши, — говорит Горкин, — ледок-то как замучаться стал, прозраку-крепости той нету, как об крещенье, вон под «ердань» ломали. Как у вас тама-то?.. — окликает он мужика, а Кривая уж знает, что остановиться надо. — Котора нонче возка?..

— Четвертая... — говорит мужик, придерживая возок. — Верно, что мало, да энти вон, ледоломы-дуроломы, шабашут все... ка-призные!.. Пива, вишь, им подай, с Горшанова выжимают. Нам-то там ковшами подносят, сусла... управляющий велит, для раззадору, а энти... — «Погожай леду не наломали!» — выжимают. Василь-то Василич?.. Да ничего, веселый, пир у них нонче, портомойщик аменины празднует, от Горшанова ящик им пива привезли.

— Гони, Ондрюшка. — торопит Горкин, — вот те два! Денис-то и вправду именованник нонче, теперь чего уж с ними... Ледоломы шабашут... а Косой-то чего смотрит?! Погоняй, Ондрюша, погоняй... дадим ему разгон...

Но Кривая, как ее ни гони, потрухивает себе, бегу не прибавляет, такая уж у ней манера с прабабушки Устиньи: в церковь ее всегда возила, а в церковь — не на пир спешишь, а чинно, не торопясь; ехать домой, к овсу, — весело побежит.

Вот уж и Крымский мост. Наша ледоколья влево от него: темная полынья на снежной великой глади тянется далеко, чуть видно. С реки ползут на подъеме возки со льдом; сверху мчатся порожняки: черные мужики, стойком, крутят над головой вожжами, спешат забирать погрузку. Вдоль полыньи, сколько хватает глаза, чернеют ледоломы, как вороны, — тукают в лед носами; тянут баграми льдины, раскалывают в куски, как сахар. У черного края ледовины — горки наколотого льду, мутно-зеленоватого, будто постный сахар. Бурые мужики уж в полушубках, скинув ушастые азамы, швыряют в санки: видно, как падает, только не слышно стука.

Мы съезжаем по каткой, наезженной дороге к вмерзшим во льду плотам: это и есть наша портомойка. На ней в прорубах плещется черная вода: бабы белье полощут, красные руки плещутся в бело-белом. Кривая знает, как надо на раскатцах — едва ступает. Сзади мчат на нас мужики в простянках, крутят подмерзшими вожжами, гикают... — подшибут! Горкин страшно кричит:

— Легче!.. придерживай... рабенка убьешь!..

Я задираю голову в башлыке и вижу: храпят надо мной оскаленные морды, дымятся ноздри, вздымаются скрипучие оглобли... мчится с горы на нас рыжий мужик в азяме — уши, как у слона, — трещат-ударяются простянки, сшибают лубянки наши, прямо под снеговую гривку... а мне даже весело, не страшно.

— Да сле-рживай... лешья голова!.. — с криком выпрыгивает из санок Горкин и подымает руки на мчащихся с гиканьем за нами. — Сворачь!.. сворачь, те говорю!.. Го-споди, греха с ими, чумовыми... пьяные, одурели!..

И все несутся, несутся порожняком за льдом...

— Пронесло... — вздыхает Горкин и крестится, — слава те, господи. Долго ли голову пробить оглоблей... вот как брать-то тебя!.. Я-то знаю, чего бывает... спешка, дело горячее. Спасибо, Кривая сама свернула под бугорок... старинная лошадка, зна-ет... А на Чаленьком бы поехали... он бы сейчас за ними увязался, тут бы и костей не собрать... ишь, раскат-то какой наездили!

Навстречу, хрупая по хрустящим льдышкам, вытягивают в горку возки с ледком. Спокойные мужики в размашистых азямах хрустко ступают в валенках, покуривая трубки и свернутые из газетки «ножки». Зеленый дымок махорки тянет по ветерку; будто и ледком пахнет, зимней еще Москва-рекой.

— Ну, как, Степа?... — окликает Горкин знакомого воробьевского мужика. — Оборачиваете без задержки? Ледоломы-то поспевают ледок давать?..

— Здравствуй, Михал Панкратыч! — говорит мужик. — Теперь пошло, обломал их Василь Василич, а то хоть бросай работу. Так взялись — откуда что берется... гляди, сколько наворотили!..

— Один одно плетет, другой — другое, вот и пойми их! — дивится Горкин. — Ишь, по ледовине-то... валы льду! А тот говорил — нечего возить. Сейчас разберем дело.

Привязываем Кривую к столбику, к сторонке от дороги, и бредем по колено в снегу к сторожке. Нас не видно: окошко сторожки на реку. Из железной трубы сыплются в дыме искры — здорово растопил Денис. Горкин смотрит из-под руки на чернеющую народом ледокольную: выглядывает, пожалуй, Василь Василича.

— Нет, не видать... — говорит Ондрейка, — в сторожке греется.

— Гре-ется... — в сердцах говорит Горкин, голос его дрожит, — хо-рош приказчик! Народишка без досмотру... покажем ему сейчас гулянки. Знает, что нездоров хозяин, вот и... и поста не боится, что хошь ему! И Дениска за бабами не смотрит, корзин не считает... мой себе! Хороши, нечего сказать!..

Входим в сторожку. Железная печка полыхает с гулом, от жара дышать нечем. За столиком, из досок на козлах, сидит пламенно-красный Василь Василич, в розовой рубахе, в расстегнутой жилетке; жирные его волосы нависли, закрыли лоб, а мутный, некосой глаз смотрит на нас в упор. Перед печкой, на куче шепок и чурбаков, впривалку сидит Денис, тоже в одной рубахе, и пробует гармонию. На столике — закопченный чайник. — «ишь, бахатный у меня чайничек!» — бывало, хвалил Денис, — пупырчатые зеленые стаканчики, куски пирога с морковью, обглоданная селедка, печеная горелая картошка и грязная горка соли. А под столиком, в корзинке-колыбельке, — четвертная бутылка зелена вина.

— Молодцы-ы... — говорит Горкин, тряся бородкой, — хорошо празднуете... а хозяйско дело само делается?... а?... Сколько нонче возков прошло, ну?!

Денис вскидывается со щепы, схватывает чурбан, шлепает по нем черной лапой, словно счищает грязь, и кричит во всю глотку:

— Гость дорогой!.. Михал Панкратыч!.. во подгадали ка-ак!.. Аменник нонче я... с ан-делом проздравляюсь... п-жалуйте пирожка!..

Василь Василич поднимается грузно, не торопясь, икает, распяливает на нас мутные глаза — не понимает будто. Сипит, едва ворочает языком: «Сколк-а-а?..» — лезет под полушубок, на котором сидел, роется в нем, нашаривает... — и вытаскивает из шерсти знакомую мне истрепанную «книжечку-хитрадку», где «прописано все, до малости». Там, я знаю, выписаны какие-то кривые штучки, хвостики, кружочки, палочки, куколки, цепочки, кочережки, молоточки... — но что это такое, никто, кроме него, не знает. И Горкин даже не знает, говорит: «У него своя грамота-рихметика». Мы молчим, и Денис молчит, смахивает с чурбашка и все прищлепывает. Василь Василич слюнит палец и водит что-то по книжечке...

— Ско-лька-а?.. А вот, Панкратыч... — говорит он с запинкой, поекивает, — та-ак кипит... хороший народ попался... не нахваляюсь... самоходом шпарют... не на... нарадуюсь!.. Сушусь маненько, со-хну... у огонька... ввалился утресь по саму шейку... со-хну!.. До обеда за два ста возков свезли, без заpinу... так и доложи хозяину... во как! Был, мол, запор... пошабашили, с-сукины коты, прижимали... завиствовали, скажи... ледовозам сусла, нам по усам!.. В точку привел, Панкратыч... А... для аменин Денис меня угостил, а я дела не забываю... я хозяйское добро... в воде не горит, в огню не тонет! Во, гляди, Панкратыч... — тычет он в кривые штучки обмороженным сизым пальцем, — в-вот, я-ственно... двести се-мой возок... за нонче, до обеда!.. А все-навсе... тыща... и три ста сорок возков. Два-три дни — и шабаш!.. навсягды оправдаюсь, Михал Панкратыч... потому я... от со-вести!..

Горкин ни слова не говорит, велит мне идти с собой на ледакольную, а Ондрейке забрать ломок и тоже идти за нами.

— Осе... рчал!.. — вскрикивает Василь Василич и всплескивает руками. — Ну, за что? за что?!

Он так жалостно вскрикивает, что мне жалко. Слышу на выходе, Денис ему отвечает и тоже жалостно:

— Ни за что!..

Горкин и на меня сердит: ведет за руку по выбитой на снегу кривой тропинке и чего-то все дергает. Чего он дергает?.. И ворчит:

— Да иди ты, не дергайся!.. Чисто крот накопал, куда ни ступи... позадь меня, сказываю, иди, не тормошись... в прорубку ввалишься, дурачок!.. Ишь, накопал-понапробивал, на самой-то на тропке, и вешки-то не воткнул, дурак!..

Теперь я вижу: пробиты лунки во льду, чуть ледком затянуло только. Спрашиваю, что это.

— Ры-бку Дениска на «кобылку» ловит, вет у него делов! Да не оступись ты, за мной иди!..

— На какую кобылку?..

Мы выходим на ледакольную.

Гянется темная полынья, плещется на ней «сало», хрустяшки-льдинки. Вдоль нее, по блестящей, будто намащенной дороге туго ползут возки с сизыми ледяными глыбами. По встречной дороге, рядом, легко несутся порожняки-простянки с веселыми мужиками. Кричат нам: «Йей, подшибу, сворачь!..» Пьяные мужики? Лица у них все красные, как огонь, иные на санках пляшут. Горкин трясет бородкой, повеселел:

— Горшановское-то играет!.. А ничего, дружно работают молодчики.

Подходим к самому ледаколю. Совсюду слышно, как тукакт в лед ломами, словно вперегонки; и сверканье отбрызгивают льдышки; хрупают под ногой хрусталики. Горкин и тут все не отпускает: склизко, хоть до черной воды шажка четыре. Полынья ходит всплесками, густая от мелких льдинок, поплескивает о край — дышит. Горкин так говорит.

— Махал Панкратычу почет... с пра-здничком!..— кричат знакомые мужики с простянок и все-то гонят.

По краю полыньи потукивают ломами парни, и бородатые. Все одеты во что попало: в ватные кофты в клочьях, в мешки, в истрепанные пальтишки, в истертые полушубки — заплатата на заплате, в живую рвань; ноги у них кувалдами, замотаны в рогожку, в тряпки, в паголенки от валенок, в мешочину — с Хитрого рынка все, «случайный народ», пропащие, по д е н н ы е. Я спрашиваю Горкина:

— Нищие это, да?

— Всякие есть... и нищие, и «плохо не клади», и... близко не подходи. Хитрованцы, только поглядывай. Тут, милоч, и «господа» есть!.. Да так... опустилса человек, от с л а б о с т и... А вострый народ, смышленный!..

Он спрашивает степенного мужика в простянках, много ли нонче вывезли. Мужик говорит, закуривая из пригоршни:

— Да считал давеча... артельный наш... за три ста пошло. А кругом — за тышу за три ста перевалило, кончим в два дни... ишь, как бешеные нонче все! Гляди, хитрованцы-то чего наворотили... как Василь-то Василич их накалил... уме-ет с ими!..

Я теперь вижу, как это делают. У края ледовины становятся человек пять с ломами и начинают потукивать раз за разом. Слышится треск и плеск, длинная льдина начинает ды ш а т ь — еле приметно колыхаться; прихватывают ее острыми баграми, кричат протяжно: «Бери-ись!.. навали-ись!..» — и вытягивают на снег, для «боя». Разбивают ломками в «сахар», нашвыривают горкой. Порожняки отвозят. И так — по всей полынье, чуть видно.

Высокий бородатый мужик в тулупе стоит поодаль, дает ярлыки возчикам. Это — артельный староста. Здоровается с Горкиным за руку, говорит:

— За два дни покончим. Ну, и молодец Василь Василич! Совсем было пропадать стали, хоть бросай. Все утро нонче лодырей этих дожидались, пока почешутся... в полруки кололи. На пивном сусле подносят возчикам — и им подавай, лодырям! Василь Василич им уж по пятаку набавил — нет, сусли нам подавай! А он... что жа!.. «Не сусли, вам, братцы, а в мою голову... по бутылке пи-ва, бархатного, золотой ярлык!.. И на всяк день по бутылке, с почину... а как пошабашим — по две бутылки, красный ярлык!» Гляди, вон чего маломали, с обеда только... диву дался! Народишка-то сбродный да малосильный, пропи-той... а вот обласкал их Василь Василич, проникся в них... опосле обеда всем по бутылке бархатного поставил. Ну, взял народ... теперь что хошь из него исделает, сумел так.

— Что, молодой хозяин...— Горкин мне говорит,— Вася-то наш каков! И поденных не надо лишних, и ни возков... чего ж его нам пужать-то, а? Пойдем, Дениса с ангелом поздравим. Небось и в церкву не пошел, и просвирки не вынул заздравной, а... намок, как... лыка не вяжет. Да господь с ним, не нам судить. Вася-то вон в полынью ввалился, показывал, как работать надо, ломком бил, багром волочил... по-йдем.

Он ведет меня за руку, не отпускает. Тук-тук за нами — и слышно тягучий треск, будто распарывают что крепкое. Мчатся встречу порожняки, задирая лошадям морды, раздирая вожжами пасти, орут-пугают: «Эй, подшибу!..»

Уже темнеет, когда возвращаемся в сторожку. Опять вскакивает Денис и шлепает по чурбашку, приглашает Горкина отдохнуть. Василь Василич совсем размяк, крутит вихрастой головой, пучит на меня косой глаз, еле языком возит:

— Я себя держу строго, ни-ни. Панкратыч... меня знает! У меня... все в порядке. Ласке учил папашенька... и соблюдаю, пальцем не зацеплю!.. Я им ка-ак?.. Я им ящик «бархатного» ублагоотворил... от себя, старайся у меня только! Пьяницы даже понимают, а уж тверезыи... всю Москва-реку расколю, миллион возков, хошь на всю Москву к завтраму, возьмись только... и больше ничего.

— Ну, Василич, господь с тобой...— говорит Горкин ласково,— ночуй уж тут, только не угорите. Ондрейку оставлю вам. А ты, Денис... именинник нонче ты... ну, с ангелом тебя, отведаю пирожка... не очень с морковью уважаю.

— Я те, Михал Панкратыч... я вам с этим... с изюмцем у меня! Кума, сторожиха банная, спекла, из уважения... рыбки ей для поста иной раз... собираемся только починать. Да ершиков на «кобылку» с полсотни понатаскал... несите папашеньке, ушка будет. Ввалился он намедни, настудился... ах, как же работать они умеют, для показу! Горяченькой ушицы, ершиков поглотать...— рукой сымет! Откушайте с нами, Михал Панкратыч... уважаю вас, как вы самый крестный есть Марье Даниловне... поклончик от меня им... да пивка бархатного, хочь пригубьте только... аменинник нонче я... Дениса нонче!..

И мне дают сладкого пирожка с изюмцем на газетинке. Я ем в охотку, отпиваю и «бархатного» глоточек, дозволил Горкин. Пирую с ними и разглядываю сторожку.

На стенке у окошка прилеплен мякишем портрет Скобелева из газетки, а с другого боку — портрет нашего царя с хохлом и строгими глазами. А под ним — розовая дама с голой шей, с конфетной коробки крышечка: очень похожа на Машу нашу, крестницу Горкина, такая же вся румяная. А в уголочке — бумажный образок Иверской. Тускло горит-чадит лампочка-коптелка, потрескивает-стрекает печка.

Входит, пригибая голову, артельный староста, всю сторожку закрыл своим тулупом. Говорит:

— Пошабашили. Записывай, Василь Василич: всего за день — четыре ста пятьдесят возков, послезавтра в обед покончим.

— Налей ему... хороший мужик...— говорит Косой и начинает нашаривать в полушубке, под собою.

Денис бережно достает с полу, из «колыбельки», четвертуху и наливает стакан артельному. Артельный крестится на Скобелева, неспешно выпивает, крикает и закусывает пирогом с морковью.

— Благодарим покорно... с анделом, значит, вас...— сипло говорит он и утирается бородой.— Намаялся — заснул, сердечный...— мотает он на Василь Василича, сложившего голову на столик.— Золотой человек, а то бы как намаялись с энтими, с пропойными... За свой карман, говорит, пивка им приказал... «Мне, говорит, хозяин ты-щи доверяет... как же малости этой не поверить!..» Прямо золотой человек.

Василь Василич всхрапывает. Я знаю — любит его отец. И я его люблю. Я пропел бы ему басенку про Лису, да спит он. Артельный спрашивает — расчет-то будет, ждут мужики. Василь Василич встряхивается, потирает глаза, находит свою книжечку и будто шепчет — вычитывает что-то.

— Сорок подвод... по ряду, по восемь гривен... получай. По пятаку от меня, на...баву. Сергей Ваныч мне поверит... за удовольствие...

Он достает из-за голенища валенка пакет из сахарной бумаги синей и слюнит липкие желтенькие рублевки.

Потом приходит старший от поденных, в ватной кофте и солдатском картузе с надорванным козырьком, с замотанными в мешок ногами, стеклянными. Под набухшими мутными глазами его висят мешочки. И ему подносят. Пьет он передыхая, морщась и не до доньшка, как



артельный, а сплескивает остаток. Кусок пирога завертывает в газетку и прячет в пазуху — закусывает только луковой головкой. Бумажки считает долго, дрожащими руками, и... просит еще «стакашку». Денис наливал радостно. Старший не крикает, а издает протяжно: «А-ты, жи-ись!» — крестится на нас и повертывается солдатски-лихо.

— Проздравил бы амениничка-то, Пан-кратыч... а?—говорит Василь Василич.— Знато бы, хереску бы те припас, а то... икемчику... По-ост, вона что. Ну, мы с Деней поздравимся, теперь можно, а?..

Они выпивают молча. У Василь Василича пушистая золотая борода. Я вспоминаю басенку:

А хвост такой пушистый, раскидистый и золотистый!  
Нет, лучше подождать... ведь спит еще народ,  
А может быть, авось, и оттепель придет,  
Так хвост от проруби отгадет...

Вижу длинную полынью и льдины — и там Лиса. Пропеть им басенку? Но никто не просит.

— Зеваешь, милоч... домой пора...— вспугивает дремоту Горкин.— Кривая наша, небось, замерзла.

Василь Василич спит на столике. Денис провожает нас, тычется на снегу. Горкин велит ему спать ложиться, наказывает Ондрейке смотреть за печкой:

— И угореть могут, и, упаси бог, сгорят... стружки-то отгреби от печки!

Едем по темной улице, постукивают лубянки на зарубах, будто это с реки: ту-тук... ту-тук... Видится льдина, длинная... дышит, в черной воде колыхнется, льдисто края сияют, и там — Лиса.

Вот ждет-пождет,  
А хвост все боле примерзает.  
Глядит — и день светает...

— Приехали, голубок. Снежком-ледком надышался... ишь, разморило как...

Снимают меня, несут...— длинное-длинное дышит, в черной воде колыхнется — хрустальная, диковинная рыба... ту-тук... ту-тук... «Бе-ри-ись... нава-ли-ись...»

## Ледяной дом

В. Ф. Зеллер!

По Горкину и вышло: и на введение не было ростепели, а еще пуще мороз. Все окошки обледенели, а воробьи на брюшко припадали. Лапки не отморозить бы. Говорится. «Введение ломает леденье». а не всегда: тайну премудрости не прозришь. И Брюс-колдун в «Крестном календаре» грозился, что реки будто вскрываться станут — и по его не вышло. А в старину бывало. Горкин сказывал: раз до самого до введения такая теплынь стояла, что черемуха зацвела. У бога всего много, не дознаться. А Панкратыч наш дознавался, сподобился. Всего-то тоже не угадаешь. Думали вот де казанской Машину свадьбу справить — она с Денисом все-таки матушку упросила не откладывать за святки, до слез просила, — а пришлось отложить за святки: такой нарыв у ней на губе нарвал, все даже лицо перекосило, куда такую уродину к венцу везти. Гришка смеялся все. «А не целуйся до сроку, он тебе усом и наколол!»

Отец оттепели боится: начнем «ледяной дом» смораживать — все и пропадет, выйдет большой скандал. И Горкин все беспокоится: вязза-

лись не в свое дело, а все скорняк заварил. А скорняк обижается, резонит:

— Я только им книжку показал, как в Питере «ледяной дом» царица велела выстроить, и живого хохла там залили, он и обледенел, как столб. Сергей Иваныч и загорячились: «Построю «ледяной дом», публику удивим!»

Василь Василич — как угорелый, и Денис с ним мудрует, а толком никто не знает, как «ледяной дом» строить. Горкин чего-чего не знает только, и то не может, дело-то непривычное. Спрашиваю его:

— А как же зайчик-то... ледяную избушку мог?

А он на меня сердает:

— Раззвонили на всю Москву, и в «Ведомостях» пропечатали, а ничего не ладится, с чего браться.

— А зайчик-то... мог?

А он:

— Зайчик-зайчик... — и плюнул в снег.

Никто и за портомойнями не глядит, подручные выручку воруют. Горкину пришлось ездить — досматривать. И только и разговору, что про «ледяной дом». Василь Василичу праздник, по трактирам все дознает, у самых дошлых. И дошлые ничего не могут.

Повезли лед с Москва-реки, а он бьется, силы-то не набрал. Стали в Зоологическом саду прудовой пилить, а он под пилой крошится, не дерево. Даже сам архитектор отказался: «Ни за какие тыщи, тут с вами опозоришься!» Уж Василь Сергеич взялся, с одной рукой, который в банях расписывал. План-то нарисовал, а как выводить — не знает. Все мы и приуныли, один Василь Василич куражится. Прибежит к ночи весь обмерзлый, борода в сосульках и лохмы совсем стеклянные, и все-то ухаёт, манеру такую взял:

— Ух-ты-ы!.. Такого навертим — ахнут!..

Скорняк и посмеялся:

— Поставить тебя вместо того хохла — вот и ахнут!..

В кабинете — «сбор всех частей», как про большие пожары говорится: отец советует, как быть. Горкин — «первая голова», Василь Василич, старичок Василь Сергеич, один рукав у него болтается, и еще старый штукатур Пармен, мудреющий. Василь Василич чуть на ногах стоит, от его полушубка кисло пахнет, под валенками мокро от сосулек. Отец сидит скучный, подперев голову, глядит в план.

— Ну, чего ты мне ерунду с загогулинами пустил?.. — говорит он безрукому. — Вазы на стенах, какие-то шары в окнах... столбы винтами?.. Это тебе не штукатурка, а лед!.. Обрадовался... за архитектора его взяли!..

— Я так прикидываю-с... ежели в формы вылить-с? — опасно говорит безрукий, а Василь Василич перебивает криком:

— Будь п-койны-с, уж понатужимся!.. Литейщиков от Брамля подрядим, вроде как из чугуна выльем-с!.. А-хнут-с!..

Отец кажет ему кулак.

— Это тебе не гиря, не болванка... вы-льем! Чего ты мне ерунды с маслом навертел?! — кричит он на робеющего безрукого. — Сдержат твои винты крыльцо?.. Ледяной вес прикинь! Не дерево тебе, лед хрупкой!.. Навалит народу... да, упаси бог, рухнет... сколько народу передадим!.. Генерал-губернатор, говорят, на открытие обещал прибыть... как раззвонили, черти!..

— Оно и без звону раззвонилось, дозвольте досказать-с... — пробует говорить Василь Василич, а язык и не слушается с морозу. — Как показали все планты обер-пальциместеру... утвердите чудеса, все из леду!..

Говорит... «Обязательно утвержду... не видано никогда... самому князю Долгорукову доложу про ваши чу... чудеса!.. Всю Москву удивите, а-хнут!..»

— По башке трахнут. Ты, Пармен, что скажешь? Как такую загогулину изо льду точить?!

Пармен — важный, седая борода до пояса, весь лысый. Первый по Москве штукатур, во дворцах потолки лепил.

— Не лить, не точить, а по-нашему надоть, лепить-выглаживать. Слепили карнизы, чуть мокренько — тяни правилками, по хворме... лекальчиками пройтись. Ну, чего, может, и отлить придется, с умом вообразить. Несвычайное дело, а ежели с умом — можно.

— Будь п-койны-с,— кричит Василь Василич,— уж понатужимся, все облепоруем! С нашими-то робятами... вся Москва ахнет-с!.. Все ночи надумываю-тужусь... у-ухх-ты-ы!..

— Пошел, тужься там, на версту от тебя несет. Как какое дело сурьезное, так он... черт его разберет!.. — шлепает отец пятерней по плану.

Горкин все головой покачивает, бородку тянет: не любит он черных слов, даже в лице болезное у него.

— И за что-с?! — вскрикивает, как в ужасе, Василь Василич.— Дни ночи мечусь, весь смерзлый, чистая калмыжка!.. по всем трактирам с самыми дошлыми добиваюсь!..

— Допиваюсь!.. — кричит отец.

— С ими нельзя без э н т о в а... через э н т о в о и дознаюсь... нигде таких мастеров, кроме как запойные, злющие до э н т о в о... уж судьба-планида так... выводит из себе... ух-ты, какие мастера!.. Доверьтесь только, выведем так, что... уххх-ты-ы!..

Отец думает над планом, свешивается его хохол.

— А ты, Горка... как, по-твоему? Не ндравится тебе, вижу?

— Понятно, дело оно несвычайное, а глядится, Пармен верно сказывает, лепить надо. Стены в щитах лепить, опосле чуток пролить, окошечки прорежем, а там и загогулины, в отделку. Балаган из тесу над «домом» взвошим, морозу не допускать... чтобы те ни морозу, ни тепла. как карнизы-то тянуть станут... а то не даст мороз, закалит.

— Так... — говорит отец веселей,— и не по душе тебе, а дело говоришь. Значит, сперва снег маслить, потом подмораживать... так.

— Осени-ли!.. Го-споди... эсенили!.. — вскрикивает Василь Василич.— Ну, теперича а-хнем!..

— Денис просится доложиться... — просовывается в дверь Маша.

— Ты тут еще с Дениской... пошла! — машет на нее Горкин.

— Да по ледяному делу, говорит. Очень требует, с Ондрюшкой они чего-то знают!..

— Зови... — велит отец.

Входит Денис в белом полушубке и белых валенках, серьга в ухе, усы закручены, глаз веселый — совсем жених. За ним шустрый, отрепанный Ондрюшка, крестник Горкина, — святого голубка на сень для царицы небесной из лучинок сделал, на радость всем. Горкин зовет его «золотые руки», а то Ондрейка, а если поласковой — «мошенник». За виски иной раз поучит: «Не учишь пьянствовать».

Денис докладывает, что дознались они с Ондрюшкой в три недели «ледяной дом» спворять, какой угодно, и загогулины, и даже решетки могут, чисто из хрустала. Отец смотрит, не пьяны ли. Нет, Денис стоит твердо на ногах. у Ондрюшки блестят глаза.

— Ври дальше...

— Зачем врать, можете поглядеть. Докладывай, Ондрюшка, ты первый-то...

Язык у Ондрюшки «язва» — Горкин говорит, на том свете его обязательно горячую сковороду лизать заставят. Но тут он много не говорит.

— Плевое дело, балясины эти, столбы-винты. Можете глядеть, как Бушуя обработали, водой полили... стал ледяной Бушуй!

— Ка-ак, Бушуя обработали?! — вскрикивают и отец и Горкин. — Живого Бушуя залили!.. Язва ты, озорник!..

А я вспоминаю про залитого в Питере хохла.

— Да что вы-с!.. — ухмыляется Денис. — Из снега слепил Ондрюшка, на глаз прикидывали с ним, а потом водичкой подмаслили.

— Держкий чтоб снег был, как в ростепель, — говорит Ондрюшка. — Что похитрей надо — мы с Денисом, а карнизы тянуть — штукатуров поставите. Я в деревне и петухов лепил, перушки видать было!.. — сплевывает Ондрюшка на паркет. — А это пустяки, загогулины. Только с печкой надо, под балаганом...

— В одно слово с Михал Пан...! — встречается Василь Василич.

— ...мороза не впускать. Где терпугом, где правилкой, водичкой подмасливать... а к ночи мороз впускать. Да вы извольте Бушуя поглядеть...

Идем с фонарем на двор. В холодной прачечной сидит на полу... Бушуй?..

— Ж-живой!.. Ах, су-кины коты... ж-живой!.. Чуть не лает!.. — вскрикивает Василь Василич.

Ну, совсем Бушуйка! И лохматый, и на глазах мохры, и будто смотрят глаза, блестят.

Впервые тогда явилось передо мною чудо. Потом я познал его.

— Ты?!.. — удивленный, спрашивает отец Ондрюшку, указывая на ледяного Бушуя.

Ондрюшка молчит, ходит вокруг Бушуя. Отец дает ему «зелененькую», три рубля, «за мастерство». Ондрюшка, мотнув головой, пинает в друг сапогом Бушуя, и тот разваливается на комья. Мы ахаем. Горкин кричит:

— Ах ты, язва... голова вертячая, озорник-мошенник!..

Ондрюшка ему смеется:

— Тебя, погоди, сваялю, крестный, тогда не пхну. В трактир, что ль, пойти погреться.

В Зоологическом саду, на Пресне, где наши ледяные горы, кипит работа. Меня не берут туда. Горкин говорит, что не на что там глядеть покуда, а как будет готово — поедем вместе.

На Александра Невского, 23 числа ноября, меня посылают поздравить крестного с ангелом, а вечером старшие поедут в гости. Я туда не люблю ходить: там гордецы-богачи, и крестный грубый, глаза у него, «как у людоеда», огромный, черный, идет — пол от него дрожит. Скажешь ему стишки, а он и не взглянет даже, только буркнет: «Ага... ладно, ступай, там тебе пирога дадут» — и сунет рваный рублик. И рублика я боюсь: «грешный» он. Так и говорят все: «Кашинские деньги сиротскими слезами политы... Кашины — «тискотеры», дерут с живого и с мертвого, от слез на пороге мокро».

Я иду с Горкиным. Дорога веселая, через замерзшую Москва-реку. Идем по тропинке в снегу, а под нами река, не слышно только. Вольно кругом, как в поле, и кажется почему-то, что я совсем-совсем маленький и Горкин маленький. В черных полыньях чего-то вороны делают. Ну, будто в деревне мы. Я иду и шепчу стишки, дома велели выучить:

Подарю я вам два слова:

Печаль никогда,

А радость навсегда,

Горкин говорит:

— Ничего не поделаешь — крестный, уважить надо. И папашенька ему должен под вексельки... как крымские бани строил, одолжал у него деньжонок, под какую же лихву!.. разорить нас может. Не люблю и я к ним ходить... И богатый дом, а сидеть холодно.

— Как «ледяной», да?

Он смеется:

— Уж и затейник ты... «ледяной»! В «ледяном»-то, пожалуй, потепле будет.

Вот и большой белый дом в тупичке, как раз против Зачатиевского монастыря. Дом во дворе, в глубине. Сквозные железные ворота. У ворот и на большом дворе много саней богатых, с толстыми кучерами, важными. Лошади строгие, огромные и будто на нас косятся. И кучера косятся, будто мы милостыньку пришли просить. Важный дворник водит во дворе маленькую лошадку — «пони»: купили ее недавно Дане, младшему сынку. Идем с черного хода: в прошедшем году в парадное не пустили нас. На пороге мокро — от слез, пожалуй. В огромной кухне белые повара с ножами, пахнет осетриной и раками, так вкусно.

— Иди, голубок, не бойся... — поталкивает меня Горкин на лестницу.

Нарядная горничная велит нам обождать в передней. Пробегает Данька — дерг меня за башлык, за маковку, и свалил.

— Ишь, озорник... такой же живоглот вырастет... — шепчет Горкин, и кажется мне, будто и он боится.

Видно, как в богатой столовой накрывают на стол официанты. На всех окнах наставлены богатые пироги в картонках и куличи. Проходит огромный крестный, говорит Горкину:

— Жив еще, старый хрыч? А твой у м н ы й в балушки все?.. Ледяную избушку выдумал?..

Горкин смиренно кланяется: «Воля хозяйская», — говорит вздыхая и поздравляет с ангелом. Крестный смеется страшными желтыми зубами. И кажется мне, что этими зубами он и сдирает «с живого — с мертвого».

— Покормят тебя на кухне, — велит он Горкину, а мне все то же: — Ага... ладно, ступай, там тебе пирога дадут... — и тычет мне грязный бумажный рублик, которого я боюсь.

— Стишок-то кресенькому скажи... — поталкивает меня Горкин, но крестный уже ушел.

Опять пробегает Данька и тащит меня за курточку в классную.

В большой классной стоит на столе голубой глобус, у выкрашенной голубой стены — черная доска на ножках и большие счеты на станочке. Я стискиваю губы, чтобы не заплакать: Данька оборвал кренделек-шнурочек на моей новой курточке. Я смотрю на глобус, читаю на нем: «Африка» — и в тоске думаю: «Скорей бы уж пирога давали, тогда — домой». Данька толкает меня и кричит:

— Я сильнее тебя!.. на левую выходи!..

— Он маленький, ты на целую голову его выше... нельзя обижать малыша... — говорит вошедшая гувернантка, строгая, в пенсне. Она говорит еще что-то, должно быть, по-немецки, и велит нам обоим сесть на скамейку перед черным столом, косым, как горка. — А вот кто из вас лучше просклоняет, погляжу я?.. ну, кто отличится?..

— Я!.. — кричит Данька, задирает ноги и толкает меня в бок локтем.

Он очень похож на крестного, такой же черный и зубастый, — я и его боюсь. Гувернантка дает нам по листу бумаги и велит просклонять, что она написала на доске: «гнилое болото». Больше полувека прошло, а я все помню «гнилое болото» это. Пишем вперегонки. Данька показывает свой лист — «готово!» Гувернантка подчеркивает у него ошибки красными чернилками, весь-то лист у него искрasila! А у меня — ни

одной-то ошибочки, слава богу! Она ласково гладит меня по головке, говорит: «Молодец». Данька схватывает мой лист и рвет. Потом начинает хвастать, что у него есть «пони», выскочки сапоги и плетка. Входит крестный и жует страшными зубами:

— Ну, рассказывай стишки.

Я говорю и гляжу ему на ноги, огромные, как у людоеда. Он крикает:

— Ага... «радость завсегда»? Ладно. А ты... про «спинки», ну-ка!.. — велит он Даньке.

Данька говорит знакомое мне «Где гнутся над омутом лозы...» Коверкает нарочно «ро-зы», ломается... — «нам так хорошо и тепло, у нас березовые спинки, а крылышки точно стекло».

— Ха-ха-ха!.. бе-ре-зовые!.. — страшно хохочет крестный и уходит.

— Да «би-рю-зовые» же!.. — кричит покрасневшая гувернантка. — Сколько обьясняла!.. Из би-рю-зы!..

А Данька дразнится языком — «зы-зы-зы!» Горничная приносит мне кусок пирога с рисом-рыбой, семги и лимонного желе, все на одной тарелке. Потом мне дают в платочек парочку американских орехов, мармеладцу и крымское яблоко и проводят от собачонки в кухню.

Горкин торопливо говорит, шепотком:

— Свалили с души, пойдем.

Нагоняет Данька и кричит дворнику: «Васька, выведи Маштачка!» — похвастаться.

Горкин меня торопит:

— Ну, чего не видал, идем... не завистьуй, у нас с тобой Кавказка, за свои куплена... а тут и кусок в глотку нейдет.

Идем — не оглядываемся даже.

Отец веселый, с «ледяным домом» ладится. Хоть бы глазком взглянуть. Горкин говорит, «на рождество раскроют, а теперь все под балаганом, нечего и смотреть — снег да доски». А отец говорил — «не дом, а дворец хрустальный!»

Дня за два до рождества Горкин манит меня и шепчет:

— Иди скорей, в столярной орла собрали, а то увезет Ондрейка.

В пустой столярной только папашенька с Ондрюшкой. У стенки стоит орел — самый-то форменный, как вот на пятаке на медном! И крылья и главки, только в лапах ни скипетра, ни шара-державы нет, нет и на главках коронок: изо льда отольют потом. Больше меня орел, крылья у него пушистые, сквозные, из лучинок, будто из воска вылиты. А там ледяной весь будет. Ондрюшка никому не показывает орла, только отцу да нам с Горкиным. Горкин хвалит Ондрюшку:

— Ну и мошенник-затейник ты...

Положили орла на щит в сани и повезли в Зоологический сад.

Вот уж и второй день рождества, а меня не везут и не везут. Вот уже и вечер, скоро, душа изныла, и отца дома нет. Ничего и не будет? Горкин утешает, что папашенька так распорядились: вечером, при огнях смотреть. Прибежал, высуня язык, Ондрюшка, крикнул Горкину на дворе:

— Ехать велено скорей!.. уж и навертели! На-роду ломится!..

И покатил на извозчике без шапки — совсем сбесился. Горкин ему: «Постой-погоди!..» — ку-да тут. И повезли нас в Зоологический. Горкин со мной на беговых саночках поехал. Но что я помню?..

Синие сумерки, сугробы, толпится народ у входа. Горкин ведет меня за руку на пруд, и я уж не засматриваюсь на клетки с зайчиками и белками. Катаются на коньках, под флагами на высоких шестах, весело трубят медные трубы музыки. По берегам черно от народа. А где же «ледяной дом»? Кричат на народ парадно одетые квартальные, будто

новенькие они: «Не ломись!» Ждут «самого» — генерал-губернатора, князя Долгорукова. У теплушки катка Василь Василич, коньки почему-то подвязал. «Ух-ты-ы!..» — кричит он нам, ведет по льду и тянет по лесенке на помост. Я вижу отца, матушку, сестер, Колю, крестного в тяжелой шубе. Да где же «ледяной дом»?!

На темно-синем небе, где уже видны звездочки, — темные-темные деревья: «ледяной дом» там, говорят, под ними. Совсем ничего не видно, тускло что-то отблескивает только. В народе кричат: «Приехал!.. Сам приехал!.. Квартальные побежали... сейчас запускать будут!..» Что запускать? Кричат: «К ракетам побежали молодчики!..»

Вижу — отец бежит без шапки, кричит: «Стой, я первую!..» Сердце во мне стучит и замирает... — вижу: дрожит в темных деревьях огонек, мигает... шипучая ракета взвивается в черное небо золотой веревкой, высоко-высоко... остановилась, пришелкнула... — и потекли с высоты на нас золотым дождем потухающие золотые струи. Музыка загремела «Боже царя храни». Вспыхнули новые ракеты, заюлили... — и вот в бенгальском огне, зеленом и голубом, холодном, выблескивая льдисто из черноты, стал объявляться снизу, загораться в глущи огнями прозрачный, легкий, невиданный... ледяной дом-дворец. В небо взвились ракеты, озарили бенгальские огни, и загремело раскатами «ура-а-а!». Да разве расскажешь это!..

Помню — струящиеся столбы, витые, сверкающие, как бриллианты... ледяного хрустального орла над «домом», блистательного, до ослепления... слепящие льдистые шары, будто на воздухе, льдисто-пылающие вазы, хрустальные решетки по карнизам... окна во льду фестонами, вольный раскат подъезда... — матово-млечно-льдистое, в хладно-струящемся блеске из хрусталей... Стены дворца прозрачные, светят хрустальным блеском, зеленым, и голубым, и розовым... — от где-то сокрытых лампионов... — разве расскажешь это!

Нахожу слабые слова, смутно ловлю из далей ускользящий свет... — хрустальный, льдистый... А тогда... — это был свет живой, кристально-чистый — свет радостного детства. Помню, Горкин говаривал:

— Ну, будто вот как в сказке... Василиса Премудрая за одну ночь хрустальный дворец построила. Так и мы... папашенька душу порадовал напоследок.

Носил меня Горкин на руках, потом передал Антону Кудрявому. Видел я сон хрустальный и ледяной. Помню — что-то во льду пунцовое... — это пылала печка ледяная, будто это лежанка наша, и на ней кот дремал, ледяной, прозрачный. Столик помню с залитыми в нем картами... стол с закусками из льда... Ледяную постель, прозрачную, ледяные на ней подушки... и все светилось — сияли шипящим светом голубые огни бенгальские. Раскатывалось «ура-а-а», гремели трубы.

Отец повез нас ужинать в «Большой Московский», пили шампанское, «ура» кричали...

Рассказывал мне Горкин:

— Уж бы-ло торжество!.. Всех папашенька награбил, так уж награбил!.. От «ледяного-то дома» ни копейки ему прибытка не вышло, живой убыток. Душеньку зато потешил. И в «Ведомостях» печатали, славил. Генерал-губернатор уж так был доволен, руку все пожимал папашеньке, так-то благодарил!.. А еще чего вышло-то, начудил как Василь Василич наш!.. Значит, поразошлись, огни потушили, собрал он в мешочки вырчку, медь-серебро, а бумажки в сумку к себе. Повез я мешочки на извозчике с Денисом. Ондрейка-то? Сплоховал Ондрейка, Глухой на просянках его повез домой, в доску купцы споили. Ну, хорошо... Антона к Василь Василичу я приставил, оберегать. А он все на коньках крутился,

душу разгуливал, с торжества. Хвать... про-пал наш Василь Василич! Искали-искали — пропал. Пропал и пропал. И ко зверям ходили глядеть... видали-сказывали — он к медведям добивался все, чего уж ему в голову вошло?.. Любил он их, правда... медведей-то, шибко уважал... все, бывало, ситничка купит им, порадовать. Земляками звал... с лесной мы стороны с ним, костромские. И там его нет, и медведи-то спать полегли. И у слона нет. Да уж не в «доме» ли, в ледяном?.. Пошли с фонариком, а он там! Там. На лежанке на ледяной лежит, спит-храпит! Продавил лежанку — и спит-храпит. И коньки на ногах, примерзли. Ну, растолкали его... и сумка в головах у него с деньгами натуго, тыщ пять. «Домой пора, Василь Василич... замерзнешь!..» — зовут его. А он не подается. «Только, говорит, угрелся, а вы меня... не жалаю!..» — обиделся. Насилу его выволокли, тяжелый он. Уж и смеху было! Ему: «Замерзнешь, Вася...» — а он: «Тепло мне... уж так-то, говорит, те-пло-о!..» Душа, значит, разомлела. Горячий человек, душевный.





---

ДЖОН МОРРИСОН

★

## АВСТРАЛИЙСКИЕ РАССКАЗЫ

*Джон Моррисон (родился в 1904 году) — один из самых популярных в Австралии современных новеллистов, автор двух романов «Страшный герод» и «Порт назначения» и трех сборников рассказов: «Морякам место на кораблях», «Черный груз» и «23 рассказа».*

### *Мы мужчины...*

**Р**овно в половине пятого с поздравлениями пришла еще одна соседка. Это продолжалось весь день, с двенадцати часов, когда новость стала облетать соседние дома. Большие деньги нечасто сваливаются на обитателей Тэннер-стрит, и миссис Маклин начала уже уставать от настойчивого стука в парадную дверь и по-соседски, со двора: «Эй, Лиз! Можно к тебе?» — от взволнованных лиц и от бесконечного повторения одного и того же рассказа: о том, как она восприняла новость сама и что теперь собирается делать.

Ей хотелось, чтобы муж был уже дома и они бы тихо посидели за торжественным обедом, который она сейчас готовила. А больше всего хотелось, чтобы он подтвердил ту невероятную телеграмму, которую она получила сегодня в полдень.

И все же миссис Хоув была ей ближе других, и, услышав знакомый голос у кухонной двери, миссис Маклин охотно смирилась с тем, что ей придется опять рассказывать все сначала. Ну, и к тому же хоть еще одна соседка не будет рваться к ним, когда придет Фрэнк.

Молодая и веселая миссис Хоув влетела в кухню, жестко шурша новым платьем и распространяя вокруг отнюдь не «легкий аромат» духов. Видно, она нарядилась для какого-то визита.

— Неужели это правда, Лиз? Я только что вернулась...

Счастливая улыбка, которая вот уже четыре часа не сходила с лица миссис Маклин, засияла еще ярче.

— Надеюсь, что правда, Рут.

Раскрасневшаяся от радости и от горячей плиты, она стояла, нервно теребя скатерть. Двое ребятишек, один еще ползунок, тихо играли на полу с новыми яркими кубиками.

— То есть как это — надеешься? Разве ты не получила известия?

— Я получила телеграмму от Фрэнка. Думаю, что все в порядке.

— Телеграмму от Фрэнка! Вот чудачка! И ты не веришь, милая? Господи, дай я поцелую тебя — может, и мне тогда повезет. Сколько лет я покупаю эти билеты!

Они обнялись, а затем миссис Хоув села с уверенным видом человека, который не сомневается, что ему всегда рады.

--- Вот это новость! А сколько человек на этот билет?

— Шестеро. Фрэнк получит тысячу шестьсот фунтов.

— Тысячу шестьсот!

Миссис Хоув перевела дыхание и провела ладонью по лбу.

— Вот это да! Повтори еще раз, Лиз! Нет, чаю не надо, я бегу.

Миссис Маклин подняла чайник.

— Ну, чашечку!

— Нет, нет, я обещала Биллу...

— А где он?

— Пошел выпить кружку пива. Мы были в гостях у нашего старика. Лучше садись, поговорим, дорогая.

Миссис Маклин села за стол напротив, и обе снова заулыбались.

— Я так радуюсь, как будто это Билл выиграл,— сердечно сказала миссис Хоув.— Ну расскажи мне: что ты почувствовала?

— Я долго не могла поверить. Мне все казалось, что кто-то сыграл с нами злую шутку. А потом села и заплакала. Честное слово, заплакала. Не могла удержаться. Подумать только, после всех мучений — и вдруг...

Миссис Хоув с нежностью улыбнулась.

— Боже мой, ты все еще дрожишь. Уж теперь-то тебе нечего горевать, милочка. Теперь можно не беспокоиться.

Миссис Маклин кивнула и проговорила мечтательно:

— Весь день сижу и покупаю домá. Смешно, но с тех пор, как нам принесли ордер на выселение, мы с Фрэнком все говорили, что единственное спасение — это выиграть в лотерею.

— Когда вам надо было выезжать?

— В эту пятницу. Фрэнк совсем извелся. Ему по ночам кошмары снились.

— Безобразие! Хорошо им там решать в магистратуре.

— А что им делать? У человека, который купил этот дом, четверо детей.

— Жилье должно быть у всех. Но теперь-то все в порядке. Агентов налетит сейчас — туча, дай им только прослышать про деньги! Внесете задаток за любой дом, да еще половина денег останется. Ну, а как детишки? Они, верно, и не понимают, почему такой шум. А, Дейви?

И она взъерошила волосы старшему сынишке, Дейви. Тот поднял голову, но его голубые глаза лишь на мгновение остановились на гостье, а потом он нахмурился, словно вдруг вспомнив какую-то обиду, и повернулся к матери.

— Вы ему про утку напомнили,— сказала миссис Маклин.— Мне захотелось отметить это событие. Я пошла и купила утку. И теперь он больше ни о чем не может думать.

— Да благослови его бог! — Миссис Хоув снова приласкала ребенка.— Соловья баснями не кормят, да, миленький? Ничего, сейчас папа придет... Ба! — Она взглянула на часы и вскопчила.— Убегаю, Лиз...

— Фрэнк вот-вот придет.

— И мой Билл тоже. Хотя за Фрэнка я бы на твоём месте не поручилась. Знаю я этих докеров! Уж они наверняка захотят это отметить после работы.

— В телеграмме он пишет, что придет прямо домой. «Бригаде выпал первый выигрыш сразу домой». Кажется, так. Я без конца перечитываю.

— Да нет, просто я говорю, чтобы ты не придавала значения, даже если он немного запоздает. Ну, утром увидимся...

Едва за миссис Хоув захлопнулась дверь, как Дейви бросил свои кубики, поднялся с пола и стал тянуть мать за юбку.

— Еще не готово, мам?

— Подождем папу, Дейви. Он уже едет. Ну, еще минутку. Дейви, и сядем за стол. Поиграй с Джо, смотри, какой он хороший мальчик.

Довольная, что с обедом все в порядке, она вышла из кухни. Дейви опять подошел к братишке и остановился, хмуро глядя, как тот сваливает в груды деревянные кубики.

Несколько минут спустя, когда она вернулась, мальчик стоял все на том же месте. Его зоркие глазенки приметили все: она надела яркую юбку, причесалась, напудрилась и подкрасила губы.

— Ты уходишь, мам?

— Нет, Дейви.— Осторожно ступая среди кубиков, она пощупала штанишки Джо.— Просто хочу хорошо выглядеть. Для папы. Сегодня как день рождения.

— Чей день рождения, мам?

— Ничей, сынок. Я сказала: как день рождения.

— Почему, мам?

— Потому что мы получили уйму денег. Теперь мы купим красивый большой дом.

— Где, мам?

— Я еще не знаю. Где-нибудь в красивом месте. Ты будешь ходить в новую школу.

— Это ты мне уже говорила.

— Ну да, только теперь ты будешь ходить в другую школу.

— Где, мам?

— Там, где мы будем жить.

— А где это?

Она терпеливо отвечала. Стол был накрыт, она сидела у плиты, а Дейви стоял возле нее. Джо все еще был поглощен незнакомыми новыми игрушками. С улицы за окнами доносились разные звуки, вдали слышался непрерывный в этот час-пик шум городского транспорта по Пант-роуд. А в маленькой комнатке только мирно журчали два голоса да нет-нет со стуком падал кубик у Джо.

Он пришел в четверть шестого.

Домишко их был из тех, что выходят прямо на улицу, с калиткой сбоку, и когда она хлопала, то стук раздавался на весь дом. Сейчас, услышав его шаги по узкой дорожке вдоль стены дома, Лиз заулыбалась взволнованной детской улыбкой. Затем она услышала знакомый приглушенный стук — это Фрэнк прислонил к крыльцу велосипед. Джо бросил кубики и кинулся к двери.

— Осторожно, Фрэнк! — крикнула она.— Джо..

Он приоткрыл дверь так, чтобы только просунуть голову и посмотреть, где малыш, а минуту спустя на пороге уже началась веселая неразбериха: он подхватил обоих ребят на руки, а жена, прижавшись к нему, старалась отцепить уродливый крюк для переноски тюков, торчавший у него из-за пояса.

Она отцепила крюк и отошла на минутку, чтобы положить его в безопасное место на каминную полку.

— Когда-нибудь этот крюк... Ах, Фрэнк, это правда, да? Я все никак не могу поверить!..

Он нагнулся, чтобы поцеловать ее, хотя она и привстала на цыпочки — такой он был высокий.

— Господи боже, чего же ты плачешь?

— Не могу удержаться. Мне кажется, с тех пор, как я получила телеграмму, прошла целая неделя. Подожди, Дейви, сейчас будем есть.

— Дейви прав.— Фрэнк попытался освободиться из ее крепких объятий.

Она перехватила его взгляд на часы у нее над головой и вдруг почувствовала что-то такое, что мешало полному ощущению счастья.

— Ты не похож на человека, который только что выиграл в лотерею,— все еще смеясь, сказала она.

— День был тяжелый, Лиз. Работы-то от этого не уменьшилось.

Он посадил на пол Джо и шутливо оттолкнул Дейви.

— Дай мне снять ботинки, сынок.

С чуть озадаченной улыбкой она смотрела, как он снял пиджак, повесил его за дверь и сел расшнуровывать ботинок.

— А я пошла и купила утку,— сказала она.— Деньги за электричество были еще дома...

— Вот молодец. А как чудно пахнет!..— Подняв голову, он с удовольствием принюхался, но тут же снова опустил глаза на ботинки.

— У тебя такой измученный вид, Фрэнк. Может, сначала выпьешь чашечку чая?

— Это мысль.

— Фрэнк...

— Налей мне чаю, Лиз.

Он сказал это с такой твердой настойчивостью, что она испугалась. Голова его все еще была опущена, одной рукой он снова натягивал ботинок, другой придерживал Джо.

— Я должен тебе кое-что сказать, прежде чем мы примемся за эту утку.

— Почему ты не надеваешь шлепанцы? — спросила она.— Ты куда-то пойдешь?

— Может, придется. Налей же мне чаю, будь умницей.

— Мам...

— Помолчи хоть минутку, Дейви!

Настроение в комнате резко переменилось. Никто больше не улыбался. Она заварила чай, подхватила Джо на руки и присела к столу.

— Пойди принеси печенье, Дейви...

Пока муж скручивал сигаретку, Лиз молчала. Потом:

— Ты пугаешь меня, Фрэнк. Что случилось? Выиграл ты или нет?

Впервые со времени прихода он посмотрел ей прямо в глаза и улыбнулся страдальческой, жалобной улыбкой.

— Я не уверен, Лиз.

— Но телеграмма?

— Да, я послал ее. Но потом кое-что произошло.

— Это была ошибка?!

— В некотором смысле да.

Говорил он с неохотой, тихо, словно старался смягчить удар. Он увидел, как она стиснула зубы, сдерживая дрожь.

— Расскажи мне все прямо, Фрэнк.

Он поднял Дейви к себе на колени, и мальчик, почувствовав неладное, затих с нетронутым печеньем в руке.

— Помнишь, на той неделе я пропустил смену на норвежском корабле?

— Когда ты ходил насчет жилья? Помню.

— Я тогда договорился с Артуром Гленом, что он отработает за меня. По моему билету.

— И под твоим именем. Да.

— Помнишь, я тебе потом рассказывал, что в тот день чуть не произошел несчастный случай?

— Помню, ты что-то рассказывал...

— Второй помощник замешкался в трюме, как раз когда тащили большой ящик.

— Да, ты говорил мне.

— Они успели остановиться, а то он сильно пострадал бы... И первый крикнул Артур Глен...

— Да...

— Не торопи меня — это очень важно. Помнишь, я рассказывал тебе, что потом один из наших сказал помощнику?

— Нет, вроде не помню.

— Он сказал: «Ты должен купить лотерейный билет, приятель!»

— Этого ты мне не говорил.

— Да, так он сказал. Я узнал все это от Дэлли Спенсера на другой день, когда пришел на работу. Так он сказал, понимаешь. И помощник купил билет.

— Фрэнк... так это он выиграл?

— Нет. Это был билет всей нашей бригады. Он дал его Дэлли для всей бригады.

Фрэнк уже целую минуту мешал ложечкой чай, не сводя глаз с жены.

— Ну да! Ты же написал в телеграмме: «Бригаде выпал выигрыш...»

— Лиз, детка, неужели ты не понимаешь! Меня там не было. В тот день был Артур Глен.

Он глухо выругался и, увидев, как побелело ее лицо, схватился за чашку.

— О, Фрэнк!

— Эта смена может обойтись мне в несколько сотен фунтов!

Наступила тишина. Дети забеспокоились. Получив суровое внушение, Дейви отодвинулся на противоположный край стола и, вытянув испуганную мордашку над белой скатертью, бросал озадаченные взгляды то на отца, то на мать. Джо надо было бы побаюкать. Поверх его пушистых тонких волос Лиз с ужасом смотрела на мужа.

— Может обойтись в несколько сотен фунтов! — повторила она с застывшим лицом. — Что это значит? Выиграл ты или не выиграл?

— Выиграла бригада...

— Да, но ты же в ней! Разве нет? Ты всегда аккуратно вносил взносы за билеты; два раза в неделю...

— Но этот не бригада купила. Этот был подарен бригаде, когда меня в ней не было.

— Кто тебе все это сказал?

— Дэлли Спенсер. Дэлли всегда у нас занимался этими билетами. На следующий день за завтраком он сказал нам, что теперь у нас одним билетом больше. Помощник как раз вручил ему, когда он спускался по трапу.

— Уж не хочет ли Дэлли тебя надуть?

— Нет, об этом ты и не думай.

Это был странный разговор. Она пытливо, со страхом вглядывалась в него, ища спасения, готовая уцепиться за малейший предлог. А он, стараясь не глядеть на нее, отвечал с унылым упрямством человека, который уже столько обо всем думал, что теперь ему противно и говорить об этом.

— Значит, ты считаешь, мы должны отдать все деньги Артуру Глену? — неприязненно спросила она.

— Насколько я знаю Артура Глена, все он не возьмет. Он и меня не обделит. Но я должен ему сказать.

— Да билет ведь был подарен бригаде! — выкрикнула она.

— Билет был подарен шестерым докерам, которые работали внизу в эту смену.

— Но это же бригадный билет, как и все остальные. Ты же сам сказал.

Она начала беззвучно плакать, прижав маленького к плечу, чтобы он не видел ее лица, и похлопывая его по попке, как это делают все матери.

— Фрэнк, ты не должен отказываться! Это невозможно!

— Что же, по-твоему, я должен сделать? — спросил он.

— Ничего. Тебе ничего не надо делать. Артур Глен ни на что не может претендовать. В расписании стоит твое имя. Он не должен был там быть.

— Но я же попросил его отработать за меня.

— И ты заплатил за это. Что ему еще надо? Знает кто-нибудь об этом, кроме Дэлли?

— Нет, никто. Никто и не подозревает, что это тот, случайный билет. Там такое волнение. Столько лет покупали эти билеты...

— А что Дэлли говорит? Неужели он думает... — Она остановилась, прикусив губу.

— Ну что? Договаривай! — жестко сказал Фрэнк. — Неужели он думает, что мы должны сказать Артуру? А ты считаешь, что не сказать будет справедливо? Черт побери, и когда только это кончится!

Он встал, прошелся из угла в угол по комнате и снова сел, а за это время Дейви уже перебрался на его стул.

— Лиз, — сказал он, глядя мальчика по голове, — мы должны решить все сами. Дэлли от этого никакого проку. Ему и самому сначала в голову не пришло, но за обедом он случайно еще раз взглянул на этот билет. И тогда выложил все мне. Смешной он парень, Дэлли. Сказал мне, что сначала решил было об этом помалкивать, потому что знает, в каком мы положении. Но он знает, что Артуру тоже несладко. Дэлли прямо истерзался. Сказал, что не может ничего решить, пусть я сам решу. Он знает, что Артур живет тут рядом, на Коппин-стрит.

— Ах, вот почему ты не снял ботинки!

— Да.

— Значит, когда ты пришел, ты уже все решил?

— Почти что. За Артура я ручаюсь: он сделает все как нужно и поделит деньги. Но когда я открыл дверь и увидел твое лицо...

— И все-таки ты хочешь идти. Все-таки.

— Лиз...

— Я не позволю тебе!

Теперь она не плакала. Она в ярости наклонилась к нему, все еще прижимая к плечу маленького и размахивая свободной рукой. Дейви с плачем бросился к матери и, прижавшись к ней, смотрел на отца испуганными глазами.

— Тихо, Лиз! Ты пугаешь детей. Мы ведь все обсудили...

— Обсудили! Но ты хочешь отдать! Ты сам сказал.

— Половина наша. Артура Глена я знаю.

— Когда дело доходит до денег, ни за кого нельзя поручиться.

Он с жадностью ухватился за эти ее слова.

— Боже мой, вот ты сама сказала! Как ты думаешь, каково мне было сегодня весь день? Я в жизни чужого цента не взял, а теперь, когда речь идет и впрямь о больших деньгах...

— Ты говоришь так, будто мы их должны украсть.

— Можешь называть это как угодно. Да нет, я несколько не осуждаю тебя. Сначала, когда Дэлли сказал мне, для меня тоже все было просто. Ведь, если постараться, можно убедить себя в чем угодно. Только потом нет-нет да и защежит душу...

— В нашей жизни нельзя так деликатничать. Нам надо жить. Надо думать о детях. Кто-то ведь должен заботиться о них. Мы под угрозой выселения.

— Думаешь, я не помню об этом?

— А что, если Артур Глен возьмет себе все? Он может — стоит тебе все ему рассказать.

— Тогда в порту ему не место. Как только об этом прослышат, ему крышка.

— А Дэлли Спенсер — разве он кому-нибудь расскажет?

— Нет, но меня он будет презирать до глубины души. И каково будет мне, когда я встречу с Артуром Гленом?

— Ты думаешь обо всем, только не обо мне и не о детях. Боже мой, да ради этого даже стоило бы...— Она вдруг остановилась, испуганно взглянув на него.

— Что стоило бы? — тихо спросил он.

Опустив голову, она виновато гладила полные ножки малыша.

— Стоило бы уйти из порта? — все так же мягко продолжал он. — Это ты хотела сказать? Видишь, до чего мы договорились...

Он долго молча смотрел на ее опущенную голову, потом протянул большую руку и успокаивающе положил ей на колени.

— Я не упрекаю тебя, Лиз. Вообще-то это хорошо, когда женщина борется за свой дом и плевать ей на все остальное. Но мы мужчины, а не женщины. Мне жить с моими товарищами. Завтра утром мне идти в порт. И Дэлли будет ждать меня. Что я скажу ему? Он порядочный парень. И думает, что я тоже порядочный. Что же сказать ему, как ты посоветуешь?

Он ждал, но она молчала и не поднимала глаз.

— Ты понимаешь, Лиз, или нет? Ну, положим, я убегу — но от совести-то я не убегу. Нет ведь. И ты тоже.

Он тряхнул ее за плечи.

— Упаси бог, родная, но это грызло бы меня до конца жизни.

Наконец она подняла голову и устало улыбнулась.

— Делай как знаешь, Фрэнк.

— Но ты, ты все поняла?

— Да. Иди и скажи ему. Иди скорее. И не задерживайся. Мне ребят кормить надо...

## *Бунт Рори О'Мэхони*

Триста шестьдесят четыре дня в году — Рори О'Мэхони, а на триста шестьдесят пятый — Майкл Юджин О'Мэхони. И он давал вам это почувствовать. В этот день он был именно в том настроении, чтобы дать вам это почувствовать. Не хвастайтесь, что знаете какого-то ирландца — пусть даже рожденного на чужбине, — пока не увидите его в день святого Патрика. О'Мэхони не был голубоглазым сыном Ирландии. Он сам сказал мне, что родился в горах Бау-Бау в Виктории, где «ребятишки такие дикие, что вечером их надо хватать и вязать, а то и в постель не уложишь». Я не сомневался, что так оно и было.

Да, акцента у него не было ни малейшего, и с местом рождения ему не повезло, и все-таки он был самым что ни на есть настоящим ирландцем. Он со всей горячностью подчеркнул этот факт, когда в первый после нашего знакомства день святого Патрика я оказался настолько неосторожным, что спросил его об этом. Он сердито сверкнул глазами и выставил вперед два крепких костлявых кулака. Это так напоминало боевую позицию, что я было отпрянул назад, но тут же успокоился: Рори начал один за другим разгибать пальцы, перечисляя представителей семейства О'Мэхони из Виктории.

— Отец мой был Даниэл Майкл О'Мэхони, а мать — урожденная Кетлин Мэри Макгинти. Братьев моих звали Тимоти, Десмонд, Шатрин и Дулан, а сестер — Кейт, Морин и Шейла. — Минутное затишье после этого града ударов, и я получаю нокаут: — А если вам этого мало, позвольте доложить, что моя бабка по материнской линии звалась Бриджит О'Доннел до того, как она разглядела, какого цвета усы у Джимми Макгинти.

Пожалуй, тот день, семнадцатое марта, я не забуду никогда в жизни...

— Ради всего святого, не назовите его случайно Рори, когда он придет, — сказала миссис О'Мэхони.

Было около шести вечера, и мы с ней да еще Боб, их пятнадцатилетний сын, сидели на кухне в ожидании главы семейства. Рори Майкл Юджин отсутствовал с самого утра.

Я вопросительно посмотрел на хозяйку.

— Сегодня вечером он — Майкл Юджин, — пояснила она. — Смотрите, не забудьте.

— Майкл Юджин О'Мэхони, — с удовольствием выговорил я. — Звучит как музыка.

Она хмуро кивнула.

— Он тут такую музыку вечером устроит. Если вы не собираетесь уходить, то получите полное удовольствие.

— А вы уходите, миссис О'Мэхони?

— В этот вечер я всегда ухожу. Беру Нору и Боба, и мы идем в кино.

Она сказала это таким решительным и многозначительным тоном, что я стал раздумывать, не уйти ли мне тоже подобру-поздорову.

Видно, она угадала мои мысли, потому что поспешно добавила:

— Нет, нет, он ничего вам не сделает, мистер Смит. Он только поговорит, ну, может, еще споет разок-другой. — Она горько усмехнулась. — Он ведь не самый примерный супруг и в день святого Патрика оповещает об этом весь мир.

Юный Боб отложил книгу и поглядывал на меня с лукавой усмешкой.

— Он вам расскажет, что он мечтает проделать с мистером Невилем, когда выведет на самостоятельную дорогу своих младших, то есть меня и Нору.

Мистер Невиль был хозяином О'Мэхони. Это звучит забавно, а может, и есть в этом свой особый смысл, но необузданный сын гор занимался самым мирным делом из всех возможных — садоводством.

Миссис О'Мэхони вязала. Она нахмурилась и быстрее защелкала спицами.

— Он хочет дать мистеру Невилю под челюсть и до конца жизни бродить где-то по дорогам, когда Нора и Боб начнут сами зарабатывать. Вот уже пятнадцать лет, как он твердит мне это в каждый праздник.

Я недоверчиво улыбнулся.

— Какое радужное будущее, миссис О'Мэхони!

И с облегчением увидел, что она тоже улыбнулась. Ужасно не люблю, когда меня посвящают в семейные распри. К тому же я жил в этой семье уже несколько месяцев, и они так мне все нравились, что малейший намек на какие-то семейные нелады был мне неприятен.

Боб пошел в свою комнату переодеться. Бросив взгляд на часы, миссис О'Мэхони спросила, не подать ли мне обедать. Я ответил, что предпочел бы подождать, пока вся семья будет в сборе.

— Я теперь не обращаю на него внимания, — снисходительно заключила она. — Человек он хороший, только придумал себе бог весть что. Ну да все мы что-нибудь придумываем. Когда-то я очень беспокоилась — до женитьбы он вел бродячую жизнь и потом все никак не мог



привыкнуть к одному месту. Стоило нам немного повздорить, как он уже грозился опять уйти в лес или стать матросом. Но так это ничем и кончилось. А теперь он буйнит всего раз в год, и я уже сколько лет ничего не говорю. Он-то знает, где ему лучше.

Услышав последнее, я кивнул не только из вежливости — дом у миссис О'Мэхони был в образцовом порядке. Но в то же время я заподозрил, что пониманию миссис О'Мэхони доступны далеко не все порывы человеческой души.

— Так он и на море был? — спросил я, чтобы продолжить разговор.

— Да, Рори проще рассказать вам, где он не был, чем где был. Хотите сегодня поскорее лечь спать — попросите его рассказать, где он не был. Нет, вы только подумайте, когда-нибудь он взбунтуется, — она возмущенно всплеснула руками, — и заживет, как в добрые старые времена! Как будто он не понимает, что лет-то ему прибавляется. Представляете, в его-то годы, да после того, как он привык совсем к другой жизни, бродить бог знает где, по пустынным дорогам!..

— Строптивный ирландец! — усмехнулся я.

Спицы миссис О'Мэхони шелкали, часы тикали; на плитке закипал чайник, в спальне насвистывал песенку юный Боб. Все было очень прозаично и мирно. Однако в моем воображении отсутствующий Рори постепенно приобретал совсем другие краски и черты. Я забавлялся тем, что пытался сопоставить буяна, которого описала мне миссис О'Мэхони, с тем заурядным, скучным человечком, который каждый день в пять тридцать возвращался домой, умывался, переодевался, совал ноги в шлепанцы и, заткнув салфетку под подбородок, склонял голову, пока Нора произносила молитву, а потом, сидя у камина, тихо читал газету до тех пор, пока не надо было идти спать. Вот это и был О'Мэхони — каким я его знал. Теперь же мне представилось, как коренастый и кривоногий Рори бредет неверными шагами по темнеющим улицам. Я почувствовал, что хоть сегодня в его приходе будет нечто драматическое.

Миссис О'Мэхони тоже все еще думала о нем.

— Иной раз мне кажется, он был бы счастливее, если бы мы могли переехать за город, — в раздумье сказала она. — Мне и самой бы хотелось, но, когда есть дети, приходится оставаться там, где тебе обеспечен кусок хлеба. Вот когда Боб и Нора станут на ноги, может, мы и переедем.

Я знал, что трое сыновей и одна дочь уже покинули родительский очаг: Тед и Джим в погоне за большими заработками отправились в Квинсленд на плантации сахарного тростника. Джо женился и хозяйничал на ферме где-то в Мэлли, а Руби вышла замуж и жила в Нанагуне.

Не успела миссис О'Мэхони досказать, как появился наш гуляка. Теперь я вспоминаю, что это было одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Из дому О'Мэхони ушел карликом; он возвратился гигантом. Не в физическом смысле — выше своих пяти футов и восьми дюймов он не стал. Все дело было в том, как он вошел: гордо вскинув голову, расправив плечи, воинственно поблескивая черными глазами. На пороге он приостановился, держась за косяк, и обвел комнату орлиным взором.

Да, я был потрясен. Я не верил, что несколько стаканчиков виски да святой Патрик могли так преобразить человека. Даже усы у него стали другие. Обычно они у него уныло висели книзу — последний искусный мазок на одном из самых кислых лиц, какие я когда-либо видел; на лице, все черты которого были уныло вытянуты. Однако в тот вечер усы Рори находились в благородной гармонии с его преобразившимися чертами. Он сам или кто-то другой с хорошо развитым чувством пропорции лихо подкрутил кончики кверху. Он был похож на мексиканского бандита.

— Как дела, Рори? — спросил я, совершенно забыв о предупреждении миссис О'Мэхони.

— Меня зовут Юджин! Майкл Юджин О'Мэхони! — заорал он, вваливаясь в комнату.

Миссис О'Мэхони встала накрыть на стол и, проходя мимо меня, не могла сдержать усмешки. Ей, конечно, было приятно получить столь быстрое и полное подтверждение своим рассказам.

— Ну, где же ты набрался? — беззлобно спросила она, возвратясь к столу с большой миской тушеного мяса.

— Где я набрался? — Его обычно унылый, невнятный голос теперь звенел, как колокол, сотрясая стены, и он так порывисто откинул голову, что слетела шляпа. — Да выпил с этим чудесным стариком Пэтси Уиланом!

Мы пообедали. Миссис О'Мэхони, Нора, Боб и я. Затем мать, дочь и сын отправились в кино, и я остался с Майклом Юджином наедине. У него были две бутылки виски и полный карман сигар, которые выглядели так, словно пропитались патокой. Как только захлопнулась дверь за его семейством, Рори выложил все это на стол.

— Слава богу, выкатились, — проворчал он, подбрасывая несколько поленьев в камин, который и так пылал жаром. — Подвигай сюда свой стул, Джим. Есть что выпить.

Да, выпить было что. Я всегда гордился тем, сколько я могу влить в себя виски, но рядом с Майклом Юджином О'Мэхони я был просто новичком. Одному богу известно, сколько он уже проглотил в этот день. И что самое удивительное, он вовсе не был пьян — так, навеселе. Он был навеселе, когда мы принялись за эти две бутылки, и оставался на той же стадии, когда перед моим затуманенным взором поплыло то в одну, то в другую сторону его перекошенное лицо. Выпитые стаканчики отмечали последовательность его обвинений. За стаканчиками он сходил быстро, и первый гост сопровождался довольно категорическим примечанием:

— Шотландия дала только одну стоящую вещь — «Джонни Уокера». Виски высший сорт!

— Твое здоровье, Рори, — сказал я.

— Твое здоровье.

Утершись рукавом, он брякнулся в кресло и откусил кончик сигары так, как будто ел бутерброд.

— Прямо диво, как эти олухи делают такое хорошее виски! — шумел он. — Хочешь сигару?

Я раскурил сигару. Она оказалась вовсе не такой уж страшной, как с виду.

О'Мэхони излил свое недовольство в три захода: от виски он перешел к Шотландии, от Шотландии — к своей жене, от жены — к семейной жизни вообще.

— Жена у меня наполовину шотландка, — сказал он с бесконечным презрением. — Стоит на нее взглянуть — сразу скажешь. Она из Гилмора: зашнурована до затылка и застегнута до подбородка. Словно оконечела, как мертвая. Знаю я их!

— Она труженица, Рори.

— К черту тружеников! Кто сказал, что мы должны трудиться? Я родился свободным человеком. Мой старик не мог меня приручить — и плетка не помогла. Я ирландец, она шотландка. Она любит трудиться, а я нет. Она... Слушай, я хочу тебе кое-что рассказать. Погоди-ка...

Я погодил, пока он налил по второму стаканчику.

— Твое здоровье, Рори.

— Твое здоровье. Так слушай же: я — тихий, мирный домосед... Так ведь?

- Ты, брат, лучше бы завтра меня об этом спросил...  
 Он свирепо сверкнул на меня глазами.  
 — Нет, честно! Я тебе правду говорю. Ты видел, чтобы я болел?  
 — До сегодняшнего дня нет.  
 — На скачках я играю?  
 — Нет.  
 — По бабам шляюсь?  
 — Насколько мне известно, нет...  
 — Дрова для хозяйки колю?  
 — Колешь.  
 — Газон стригу в воскресенье утром?  
 — Стрижешь.  
 — Дверные петли смазываю, чтоб не скрипели?  
 — Смазываешь.  
 — Кошку каждый вечер выгоняю перед тем, как лечь спать?  
 — Выгоняешь.  
 На лице его появилось сатанинское выражение.  
 — Значит, я, что называется, хороший семьянин. Скажешь, нет?  
 — Судя по всему, да, Рори, хороший.  
 — И у меня примерная жена, так ведь?  
 — Жена хорошая.

— Да-а-а...— Он потратил весь выдох на одно это слово.— Примерная. Стелет мне постель, штопает носки, варит обед, дает с собой завтрак, стирает рубашки, тратит мою зарплату. Да-а, героическая маленькая женщина. Мне бы знать это. Столько мне об этом твердили! Мне бы быть счастливым. Все у меня есть, чего ни пожелаю. Ты только посмотри!— Он протянул руки, словно обнимая все, что находилось в комнате.— Вот это кресло у камина, такое уютное, шлепанцы к моему приходу согреты, тепленькие, обед готов — только садись да ешь. Каждый вечер одно и то же, пропади все пропадом, двадцать шесть лет, прах их побери.— Он застал и откинулся в кресле.— Двадцать шесть лет! И все эти годы я из Мельбурна ни ногой.

Я, конечно, понимал, в чем дело, но вида не показывал.

— Что же тебя беспокоит, Рори?

— Беспокоит? Ничего меня не беспокоит. Я же тебе только что сказал: у меня есть все, что нужно.

Я терпеливо кивнул и стал ждать, что будет дальше.

— Дуры они набитые,— уныло сказал он.

— Кто?

— Да бабы, конечно. Кто еще? Никаких у них порывов, ни воображения — ничего...— Он развел руками, помотал головой и в отвращении смолк.— Не знаю, но есть в них что-то такое — пришибает тебя, и все. Точно в болото затягивает. Ничего они не хотят ни видеть, ни слышать. Черт побери, это здорово придумано — привязать мужчину к одной женщине. Эти парни, которые составляли законы, знали, что делают. Пристроили нас прочно и надежно. Хотел бы я знать, что бы случилось с капитализмом, если бы не эти брачные законы? Не удивительно, что они все толкуют нам: семья, мол, святыня. Привяжут тебя крепче к жене и детям, а потом начинают обрабатывать. Тогда уж не пошлешь хозяина куда следует. И не пошлешь к черту эту растреклятую работу, и не пойдешь куда глаза глядят с котелком да скаткой за плечами — свободный и независимый. Как ты думаешь, где бы я был все эти двадцать шесть лет, если бы не жена и дети?

— Где бы ты только не побывал!

Он нацелил на меня мозолистый палец.

— Будь я один, я бы дал Нсвилю в зубы в первое же утро, когда стал работать у него.

— Я слышал, он не так уж плох, Рори.

— Он не плох? Да он негодяй! Я работал на него двадцать лет. Двадцать лет он топтал меня своими грязными ножищами. А все почему? Из-за жены и детей. Я и двух дней еще не проработал, как он меня спросил, сколько у меня детей. Я ему ответил: вот-вот ожидаю третьего. И знаешь, что мне этот индюк сказал? «Гм...— сказал он,— вам надо заботиться о том, чтобы не потерять место». Прямо так и сказал. Понял мысль? Я был с грузом. Он брал меня за уздечку. Я должен быть хорошим парнем, и вкалывать почем зря, и никаких дерзостей — иначе мне не прокормить своих детей. Я тоже намотал это на ус. Наверно, он понял, что у меня есть чувство долга.

О'Мэхони поднялся и так выругался, что я содрогнулся. Потом он вскинул вверх руки и взревел:

— Но когда-нибудь я взбунтуюсь! Я ему стукну, так стукну! У меня вот как накипело! Дай только моим ребятам встать на ноги — тогда он у меня попляшет. Он узнает, кого дразнил все эти годы. Расквитаясь я с этой работой, клянусь господом богом!

Он налил по третьей стопке.

— Твое здоровье, Рори.

— Твое здоровье. А Невиль чтобы сдох! — Рори сел. — Двадцать шесть лет в одном доме и двадцать лет на одной работе! А раньше я хвастался, что не могу вытерпеть на одной работе больше шести месяцев.

Лениво протянув ноги к огню, я потягивал виски. Пьяных я на своем веку повидал немало и свое дело знал хорошо: пить, курить и во всем соглашаться. В последующие час или два перед моим затуманенным воображением в великолепной панораме прокатился полмира. Слушать О'Мэхони было легко, хотя он и был навеселе.

Начав свое несколько сумбурное повествование о Виктории с диких отрогов Бау-Бау, он увлек меня серией захватывающих рассказов на север, в Риверину, в Сидней и к заливу Карпентера в Квинсленд. На пятой стопке мы еле-еле выбрались из Клонкари, затем перегнали гурт скота в Аделаиду, оттуда, с поезда на поезд, добрались до Порты Августы и через Нуллабор в Калгурли. Шесть месяцев на золотых рудниках, потом безумная затея — ловля жемчуга в тропиках, на северо-западном берегу. Затем по морю в кочегарке грузового судна в Южную Америку. Я важно расхаживал по палубе в Вальпарайсо, наблюдая за разгрузкой корабля, продавал контрабандное оружие обеим сторонам во время боливийской революции, рыскал в поисках каучука в верховьях Амазонки, стрелял в представителя властей в Манаосе, удрал на корабле из Пернамбуко в Европу, и полиция двух стран гналась за мной по пятам. Ливерпуль — Южная Африка — алмазы — кафры. Сам я путешествовал мало, но О'Мэхони, хоть он и здорово накачался виски, рассказывал так, что я все увидел, почувствовал и услышал. Он сидел за столом, магическим жестом вскинув руку над линиялой зеленой скатертью, и обрушивал на меня такие чудеса, красоты и ужасы, какие мне и не снились.

Время от времени, в менее захватывающие моменты, я начинал размышлять о нем самом, о миссис О'Мэхони и о том, как зло сострили боги, соединив эту пару. Но больше всего меня поражала теперь его невероятная дисциплинированность, великолепная выдержка и чувство долга — все эти двадцать долгих лет он сохранял верность домашнему очагу. И в то же время я жалел его. «Милый ты мой Рори, — думал я. — ты опоздал, слишком опоздал! Все это — твоя молодость, а она мно-

вала, навеки миновала! Тебе уже под шестьдесят, и ты можешь сколько угодно брыкаться, и плевать, и злиться, но все, что осталось тебе до конца твоих дней — это Мельбурн, Невиль и миссис О'Мэхони».

Мыслей этих я, конечно, вслух не высказывал. Что толку? О'Мэхони стал жертвой идеи фикс; в тот вечер он так ясно все объяснил, что у меня запульсировало в висках.

— Слушай, друг,— кричал он,— знаешь ты дорогу на Данденонг?

— Знаю, Рори.

— Это где шоссе Принцессы, недалеко отсюда. Знаешь, куда она идет?

— Я доезжал до Бернсдейла.

— Бернсдейл! — Он присвистнул с бесконечным презрением. — Да это только самое ее начало. По этой дороге ты можешь пройти до самого восточного побережья Австралии. Начни с Колфилда. Там есть знак: «До Кейрнса две тысячи шестьсот четырнадцать миль». Две тысячи шестьсот четырнадцать миль — ты это обмозгуй! Я стоял и смотрел на этот знак, Джим, пока у меня чуть глаза из орбит не выскочили, черт побери. И за все двадцать лет я дальше Муррамбина по этой дороге не прошел. — Он сделал паузу и зловеще заключил: — В один прекрасный день я выйду на эту дорогу и буду плестись, пока не свалюсь. Выпьем!

Он раскупорил вторую бутылку.

— Твое здоровье, Рори.

— Твое здоровье, Джим.

Так мы скоротали вечер. Я накачался порядком, и последнее, что помню, это как Рори вдруг наклонился ко мне и заорал: «Поп-поп-поп!» На следующее утро я добился от него, в чем дело: оказывается, он пытался рассказать мне что-то про Попокатепетль — гору в Мексике. Но уж если я в трезвом виде не могу выговорить это название, можно ли было ожидать, что с ним справится пьяный О'Мэхони.

Я прожил в их доме еще два года. Два тихих года, и за все это время два ярких пятна — дни святого Патрика. В один из них я вышел вместе с Рори посмотреть шествие, а кончилось это буйной выпивкой на всю ночь в доме «старины» Пэтси Уилана. В другой раз мне пришлось пойти и внести залог за Рори в городской полицейский участок, куда его посадили за то, что он был пьян и буянил. Последнее происшествие поразило меня: как могло случиться такое с человеком, который триста шестьдесят четыре дня в году был абсолютно трезв. Но миссис О'Мэхони ничто не волновало. Этот ежегодный кутеж давно уже стал частью их быта.

— Теперь он будет в порядке до следующего праздника,— благодушно уверила она меня на следующее утро.

Казалось, она охотно прошала мужу этот единственный в году загул: «Ведь это у него не каждую пятницу, не то что у некоторых». Он был хорошим мужем, она — хорошей женой. Но даже в своем воображении она не шла дальше элементарных забот: «Не знаю уж, за кем еще так ухаживают, как за ним. Ни разу не ходил он в дырявых носках, с тех пор как женился. Обед ему подается минута в минуту. И никогда еще не опускали ему в почтовый ящик счет, о котором бы он не знал».

Я ей симпатизировал, потому что она действительно была хорошей хозяйкой. Просто она, прожив с человеком двадцать шесть лет, все еще не понимала, что не за того вышла замуж. Я же после первого дня святого Патрика все больше и больше ощущал его недовольство. «Милая ты моя,— размышляя я, слушая миссис О'Мэхони,— а ведь ты сидишь на бомбе. И придет день, она взорвется — б-бах!»

Если не считать этих святых дней, было просто удивительно, как человек может так хорошо скрывать свои тайные стремления. В доме

властвовала миссис О'Мэхони, а она превыше всего ставила порядок. Но за все время, что я жил у них, я не помню, чтобы она сделала Рори замечание. Впрочем, с годами он тоже стал жертвой установившихся привычек. Каждый вечер он прибывал домой ровно в пять тридцать. Каждый вечер он клал свою сумку для завтрака на футляр швейной машины, вешал шляпу и пиджак на кухонную дверь и шел в ванную переодеваться и мыться. Каждые понедельник, вторник и среду он читал газеты, сидя в одном и том же кресле, где потихоньку засыпал, и в девять тридцать миссис О'Мэхони будила его выпить чашечку кофе. Каждый четверг он водил семейство в кино. Каждую пятницу шел с женой за покупками. Каждую субботу днем он отправлялся на крикетный или футбольный матч, а вечером в клуб поиграть на бильярде. Каждое воскресное утро он работал в палисаднике, колол дрова и чинил обувь. В воскресенье после обеда он спал, а вечером либо к ним приходили гости, либо они шли к кому-нибудь. У самой миссис О'Мэхони не было никаких интересов вне дома, кроме воскресного посещения церкви и собраний в клубе матерей вечером по вторникам. Многие мужчины, наверное, позавидовали бы О'Мэхони, но вечная хмурая усмешка на его лице, раздраженные взгляды, которые он украдкой бросал на жену, — я часто их перехватывал — и весь его подавленный, скучающий вид достаточно хорошо показывали мне, как тяготит его этот маленький затхлый мирок.

Я помню случай, когда его тайные желания вдруг прорвались наружу, причем очень трогательно. Это было на третий год моего пребывания, вскоре после отъезда его последних двоих детей: Нора стала работать прислугой в Тураке, Боб стриг где-то овец. Однажды мягким весенним вечером мы сидели на веранде — миссис О'Мэхони, Рори и я. Первая вязала с довольным видом, а мы с Рори смотрели на четкий черный силуэт Данденонгского хребта в двадцати пяти милях от нас. Мы поговорили немножко о футболе в прошлую субботу и замолчали. Думал я совсем не о горах — просто смотрел на них, потому что они были как раз предо мной. А Рори смотрел на горы совсем иначе. Взглянув на него, я поймал в его глазах тоскливое, напряженное выражение, словно голодный человек наблюдал пир, на котором ему не суждено побывать.

— Скоро надо ждать дождя, Рори, — заметил я.

Он вздрогнул.

— Что?

— Я сказал, скоро будет дождь.

— Потому что кажется — горы близко? — Он уныло кивнул. — Да, это хороший знак. Раньше мы тоже так определяли. В Вестернпорте, перед тем как перемениться погоде, можно было разглядеть каждое дерево, каждый дом.

— А ты там жил?

— Я везде жил, — ответил он резко и сплюнул.

— И что делал?

— Валил лес. И стрелял опоссумов. Тогда за это хорошо платили. Там, на этих горах, прошли лучшие годы моей жизни.

Миссис О'Мэхони начала скатывать свое вязанье.

— Не грусти, дорогой. Теперь мы остались вдвоем, может быть, и сможем выбраться из Мельбурна.

— Может быть! — пробормотал Рори. Он знал, что она только говорит так.

Она ушла в дом, кажется, даже не заметив горечи, скрытой в его последних словах. Мы с Рори молча смотрели, как далекие горы терялись в темнеющем небе. Только все время шлепали себя по лицу и лодыжкам — кусались москиты. Но один раз мне показалось, что мой

сосед не шлепнул, а провел по лицу ладонью, да к тому же хлюпнул носом. Я понял, что дикий сын горных хребтов утер слезу.

А несколько недель спустя с тех самых гор и пришло ему избавление. В тот день он вернулся домой с небольшим опозданием, и, столкнувшись с ним в дверях, я сразу же понял, что он выпил. От него пахло виски, а глаза горели, как в день святого Патрика. Миссис О'Мэхони ничего этого не заметила, только сказала, что он немного запоздал.

— Разговаривал с хозяином,— сообщил он ей спокойно и неторопливо.— У меня новости, вот умоюсь — расскажу.

Она выжидательно посмотрела на него, но он не сказал больше ни слова. Положил сумку, повесил шляпу и пиджак, куда он их вешал каждый вечер, и прошел через кухню в ванную. Пока мы не сели обедать, он больше к этому не возвращался. Но еще до того, как он заговорил, я знал, что новости хорошие — никогда я не видел его таким спокойным и веселым.

— Я получил новую работу,— неожиданно объявил он.

— Что? — воскликнула миссис О'Мэхони.

— Получил новую работу. Ты же хотела жить в лесу?

— Где, Рори? Что случилось?

Он раздраженно помахал вилкой.

— Где? Почему? Зачем?.. А можешь ты прямо ответить: да или нет? Мы же только и говорили, как уедем из Мельбурна. Разве нет?

Я подумал, что он к ней несправедлив, но понял, что сегодня мы имеем дело с Майклом Юджином.

— Получил работу в лесу, Рори? — миролюбиво вмешался я.

— Невиль купил домик в Данденонге, чтобы проводить там конец недели, и предложил мне смотреть за ним. Я за это ухватился.— Он бросил угрожающий взгляд на жену.— Через две недели переезжаем.

Надо было посмотреть на миссис О'Мэхони: такое у нее было потерянное лицо. Сомневаюсь, чтобы она всерьез ожидала чего-либо подобного, несмотря на все разговоры. Почти вся ее замужняя жизнь прошла в одном доме, и муж работал на одном месте. Ей, очевидно, должно было казаться, что надвигается мировая катастрофа.

— Через две недели? — пробормотала она.

— Через две недели! — Он подтолкнул к ней тарелку, чтобы она положила ему еще; у него даже аппетит стал лучше.— Сначала я поеду один, хоть немного наведу порядок. Он говорит, там сплошные колючки, как в преисподней.

— Когда же ты уезжаешь?

— В понедельник утром. Он хочет подвезти меня на машине, чтобы все показать. Побуду там с неделю, потом на неделю вернусь сюда, а потом уже мы двинемся со всем барахлом.

— Но...

— Ты, кажется, не очень-то рада?

— Не язви, Рори. Ты мне ничего еще не объяснил толком. Где это? Сколько ты будешь получать? Какой у нас будет дом? Наверно, там ни газа, ни электричества?..

Он неторопливо отложил нож и вилку и проглотил кусок. Бог знает что бы он наговорил, если бы я не бросился на выручку. Миссис О'Мэхони все еще не осознала, что сегодня состоялся экстренный выпуск дня святого Патрика.

— В каком это месте, Рори? — спросил я.

— На горе Одинокого Дерева, неподалеку от Ферни-Крик.

— Тогда там должно быть электричество. Линия теперь доходит до Олинды. А зарплата?

— Такая же, как здесь, только десять шиллингов он будет вычитать

за жилье. Но зато молоко, овощи, яйца и топливо — все бесплатно. Что, плохо?

— Да нет, не плохо. Если только дом хороший.

— Дома я пока не видел, но, по рассказам Невилля, там десять лет никто не жил. Четыре комнаты и что-то вроде прачечной, там же и ванная. Видит бог, нам двоим больше ничего и не надо.

Эти подробности произвели на миссис О'Мэхони некоторое впечатление. Без сомнения, ей уже представлялась какая-то хижина в глухом лесу. Она спросила меня, что за городок Ферни-Крик, и я ей рассказал: хороший большой магазин, зеленая и мясник. Она вздохнула.

— Ну что ж, это главное, — философски заключила она.

— Чего ты еще хочешь? — напал Рори. — Хоть на целый день уезжай в город за покупками. А возвращаться можно на машине, это недорого.

Она начала улыбаться — скорее чтобы доставить удовольствие Рори. Я заметил, каким тревожным взглядом она украдкой окинула комнату, и не мог не пожалеть ее. Наверно, ей казалось, что ее режут по живому. Она уже видела, как вытаскивают мебель, сдирают линолеум, снимают старинные семейные портреты, выкапывают заботливо укрытые луковицы и травы в садике. Конечно, это была довольно тревожная перспектива для женщины ее характера и возраста, и, хоть она старалась принять бодрый вид, мне было ясно, что она просто в ужасе.

— Надеюсь, теперь ты доволен, — со слабой улыбкой обратилась она к Рори.

— Доволен? — Он расплылся до ушей. — Да мне хотелось расцеловать этого паршивого индюка, когда он сообщил мне об этом! — Он повернулся ко мне: — У меня тут кое-что есть, Джим. Надо бы нам благополучить это дело. Вот только уйдет хозяйка...

Был вторник, и, когда миссис О'Мэхони отправилась в свой клуб, мы с Рори пошли в садик и разлеглись на газоне. У нас была всего лишь небольшая бутылочка виски — для настроения. Стемнело, но я заметил, что Рори устроился так, чтобы смотреть в сторону далеких, невидимых гор.

— Ну, теперь можно и не бунтовать, дружище! — не удержался я.

— Можно, — хмыкнул он, — теперь все в порядке, Джим. Нам будет там хорошо, и жене и мне. Невиль будет наезжать только на уик-энд и на праздники. Жене ничего делать не придется. У него там большой дом, но он сказал, что будет привозить с собой прислугу. И мне хлопот будет меньше. Он говорит, что хочет, чтобы вокруг была естественная природа — кустарники, дикие цветы... — Опять смешок. — Клянусь всеми святыми, это я ему устрою!

Мы выпили и, лежа на травке, мирно рассуждали и курили. Мало-помалу он вернулся к своей излюбленной теме: начал рассказывать, как было в горах тридцать лет назад, когда он там жил.

— Ни пансионов, ни закусовых тогда не было. Только кое-где по несколько акров обработанной земли под ягодными садами. Да еще лесоразработки. Глушь. Тишина. Но в Сассафрасе у нас был покер — первый класс. Я таких игроков в жизни не встречал. И гуляли тоже лихо. Понимаешь, кабачок был внизу, в Галли, но зато там можно было в любое время получить все, что душе угодно. Как сейчас помню, прикончим мы все запасы — и вниз, в Галли, а уже светает...

Горестно вздохнув, он стал гадать, остался ли там кто-нибудь из его прежних дружков. Я же понадеялся в душе, что господь бог спасет миссис О'Мэхони от этой напасти.

В понедельник утром миссис О'Мэхони ходила с убитым видом. Они разлучались впервые за всю их совместную жизнь. А Рори был бездумно



весел, как школьник в предвкушении каникул. Если бы ему позволили, он бы с удовольствием отбыл в своей обычной рабочей одежде да с запасной рубашкой и брюками в свертке под мышкой. Но все было иначе: к завтраку он вышел в своем лучшем костюме и с саквояжем, уже сложенным в дорогу. В последующие дни я не раз задумывался, стоил ли он этих забот. Я понимал и даже принимал его тайные мечты, но и жена его тоже заслужила доброе слово. Она была так сдержанна и деловита и так трогательно предана ему.

Видимо, до Рори тоже постепенно дошло, в каком она состоянии, — во время завтрака он был гораздо мягче, чем обычно. Он даже разок шлепнул ее по задку, когда она проходила мимо.

— Не унывай, старушка! Я же всего на неделю, пролетит — не заметишь.

Я впервые слышал, чтобы он к ней так обращался. А она нежно улыбнулась ему в ответ.

— Но ты прямо ликуешь. Так тебе хочется туда?

— Очень. Вот погоди, увезу тебя, тогда ты поймешь, что это за вонючая дыра — Мельбурн.

И до конца завтрака он уже не переставая говорил о том, как прекрасно будет проснуться утром и услышать пение птиц, сойдешь с крыльца и сразу работай. Как чудесно снова ощутить запах горящих эвкалиптовых листьев, услышать перезвон колокольчиков там, где пасутся коровы, и пронзительные крики черных какаду в лесу.

— Заведем свою корову и кур. И тебе будет работа — кормить кур. Я из тебя настоящую фермершу сделаю, вот увидишь.

С некоторой тревогой я ожидал утра понедельника, но все сошло гладко. Рори был настроен очень серьезно, и это обрадовало и успокоило меня — я опасался, как бы этот уход не вылился в давно обещанный бунт. Но он, видно, и впрямь верил, что начинается новая жизнь, и за те полчаса, что мы завтракали, умудрился даже заразить своим энтузиазмом жену. Я попрощался с ним на кухне и пожелал удачи, а потом смотрел, как они, обнявшись, пошли по дорожке. Все было очень трогательно, и в глубине души я надеялся, что Невиль и боги будут к ним благосклонны. Помню, миссис О'Мэхони зашла в спальню, прежде чем вернуться на кухню. Щеки у нее горели — я понял, что она плакала.

Всю последующую неделю я занимался тем, что старался поддержать ее перед лицом надвигающихся перемен. Я расхваливал отсутствующего Рори и расписывал прелести сельской жизни. Она никогда нигде не жила, кроме Мельбурна, и имела самые смутные представления о жизни в глуши. Ей рисовалось примерно такое: вода стоит в чанах под открытым небом и кишмя кишит всякой дрянью, женщины стряпают на открытых очагах, повсюду ползают скорпионы, муравьи, тарантулы, и еще каждый день лесные пожары.

Прожив много лет в Каллисте, я мог довольно точно описать, что ее ожидает. Единственно, чего ей будет недоставать, говорил я ей, это отравленного воздуха, мостовых и грохота машин за окном.

Она с сомнением качала головой.

— Нет, я лишусь гораздо большего, мистер Смит.

— Вы заведете себе новых друзей, миссис О'Мэхони. Тамошние жители — народ общительный.

Именно в последнем — это я отлично понимал — и был камень преткновения. Она теряла всех своих давних знакомых, порывались привычные связи. Девочкой она ходила в школу в Малверне, став женщиной, тратила зарплату Рори на Гленфери-роуд — сколько пятниц она там провела! Перекинуться словечком с мясником, зеленщиком и булочником, посетовать на цены и налоги встречным знакомым, которые тебя

отлично понимают, — так проходили дни. Каждый четверг — выход в кино, в воскресенье утром — церковь. Все это составляло ее жизнь, ее счастье. Я не мог этого недооценивать. Тогда я пустился на хитрую лесть: стал говорить, что Рори всегда был недоволен жизнью в городе, однако терпел ради своей семьи. Этот переезд волеет в него новые силы, говорит я, может быть, продлит его жизнь, и, уж конечно, с ним станет легче ладить. (В последнем я явно лицемерил.)

— Придется чем-то жертвовать, миссис О'Мэхони, — заключил я. — Но вы постепенно привыкнете, в конце концов и вам там будет лучше. Иногда тут с ним приходилось трудновато, не правда ли?

Она состроила недовольную гримасу.

— Еще как. Уж если я туда поеду, придется ему распрощаться со святыми Патриками. Во всяком случае, я надеюсь, в тамошних местах не так легко купить это зелье...

Я понял, что умнее будет не разочаровывать ее.

— Да, нелегко. В Ферни-Крик даже нет трактира. Жизнь там пойдет куда спокойнее и тише.

Она усмехнулась.

— Ну что ж, он этого хотел!

Тем не менее к концу недели я считал, что проделал немалую работу. Хотя она по-прежнему не выказывала особого энтузиазма по поводу переезда, но по крайней мере примирилась с этой мыслью. К тому же она все время беспокоилась о Рори и ждала его. Тысячу раз за эту неделю она говорила мне, как ей одиноко без него и как странно, что не надо готовить с вечера завтрак, что кухонная дверь выглядит какой-то пустой без его старой шляпы и пиджака и что каждый вечер она прислушивается — не идет ли он по дорожке мимо окон. Однажды я спросил ее, написал ли он. Она засмеялась.

— Он напишет? Да он не написал ни одного письма за всю свою жизнь. Пока он не войдет вот в эту дверь — мы ничего не узнаем.

Это она верно сказала.

Он вернулся в субботу, на день раньше, чем предполагалось.

Я отсутствовал с раннего утра и пришел домой очень поздно. На кухне в одиночестве сидел Рори. Вернее, лежал на диванчике, но тут же спустил ноги и сел.

— Привет, Рори!

— Здравствуй, Джим. — Он с любопытством вглядывался в меня, словно ему хотелось прочитать на моем лице удивление. — Я вернулся.

— Я думал, ты не приедешь до завтра.

— И я тоже.

Я почувствовал что-то неладное — голос у него дрожал от скрытого волнения, а в глазах поблескивали озорные огоньки.

— Ну как там в горах?

На секунду он заколебался, робко взглянул на меня, но вдруг не удержался и расплылся в торжествующей усмешке.

— Прекрасно... Я хорошо поработал.

— Что, хорошо?

— Поработал, говорю. И еще — чуть не убил Невилля.

Я опустился на стул напротив него.

— Не дури, Рори.

— Я тебе правду говорю. Он сам напросился и на сей раз получил все, что положено. Поломал ему пару ребер и такие фонари наставил, что неделю света белого не увидит!

Я молча глядел на него — такого я не ожидал. И что озадачивало меня больше всего — он был доволен. Хоть сейчас он уже, очевидно, отдавал себе отчет во всех последствиях, он был чертовски доволен.

— А миссис О'Мэхони знает? — спросил я.

Он уныло кивнул.

— Да, знает. Скандал был ужасный. Пошла в спальню, лежит, наверно.

— Но чего ради ты это сделал?

— Он сам на меня налетел, можешь мне поверить. А я на него. Видите ли, ему не понравилось, что я устроил в саду...

— И вы подрались?

— Да, если ты это так называешь. Он же хлюпик, корки с пудинга не сшибет. А я вот, погляди, расшиб об его подбородок...— Рори протянул распухший кулак.— Давно не дрался, понимаешь. Не рассчитал.

— Кто-нибудь еще там был?

— Только его жена и зять.

— Что же они?

— Кричали, звали на помощь, потом втащили этого индюка в дом. Эх, посмотрел бы ты, как он выплевывал свои зубы, пока его тащили, такой красивый газон заплелал!

Мы замолчали. Казалось, О'Мэхони настолько не интересовали последствия, что я стал подозревать, не задумал ли он все это раньше.

— Когда же это случилось? — спросил я.

— Сегодня в шесть. Я уехал на первой машине.

— Невиль приехал только сегодня?

— Да, его там не было с понедельника.

— Ты дурак, Рори,— сказал я напрямик.

И только тут он перестал улыбаться. Он встал, подтянул штаны.

— Да. Это мне уже объяснили, не успел я вернуться. Но что толку говорить? Дело сделано.

— Ты сумасшедший! Дикарь! Не мог ты, что ли, потерпеть раз в неделю? Ведь двадцать лет ты терпел его каждый день!

— Нет, тут другое.— Он снова сел, положил руку мне на колено.— Ты, Джим, не бродил по свету, как я. Ты еще многого не понимаешь. И этого тоже. Вот я все думаю, с тех пор как вернулся,— и все понял. Теперь я знаю, что со мной случилось. Это было все равно что выпустить льва из клетки обратно в джунгли. Целую неделю я был сам себе хозяин. Никто надо мной не стоял и никто меня не пилил. Я прослышал, что Боб Брус все еще живет возле Перрин-Крик, и почти каждый вечер ходил туда поговорить с ним. Я могу сидеть сейчас тут и говорить до хрипоты, Джим, и все равно ты не поймешь, что я там почувствовал. Мы с Бобом были большими дружками. Познакомились на одном футбольном матче в Галли. Ездили, бывало, рыбачить в Парадайз — выпьем по пути, а потом никак не можем насадить на крючок наживку. Всю эту неделю сидели мы с ним да вспоминали обо всем. У него там домишко и садик, как раз у Монбалк-роуд. Ни жены, ни детей, ни хозяина. И все это время он был там, все двадцать лет, что я гнул спину на Невиле! Да не только это. Понимаешь, там почти все по-прежнему. Лес такой густой, ночью я лежал и слушал, как шумит в деревьях ветер. Не такой уж я чувствительный — ты это знаешь,— но тут что-то нашло на меня. Утром я выходил на крыльцо, а вокруг горы в голубой дымке, в точности как тридцать лет назад. Мне кажется, я стал другим человеком, и Невиль первый это почувствовал.

Рори смолк и стал яростно выбивать трубку о камин. Бедняга Рори обидел меня, сказав, что я ничего не понимаю. Я так все понимал, что мне хотелось расцеловать его.

— Что, Рори, на волю потянуло? — спросил я.

Он посмотрел на меня подозрительно, но, поняв, что я ему вполне сочувствую, заговорил снова. Ему безумно хотелось оправдаться:

— Я держался, Джим, вот клянусь тебе. Всю неделю только и думал, как мне повезло и как хорошо нам будет с моей старушкой, когда я привезу ее сюда. Да, да, чего я только тебе про нее не наговаривал, но я сразу все забыл. Как увидел все это, думал только про хорошее, и работа у меня спорилась. Тут, у Невилля, я никогда так не работал. Слово свой собственный дом устраивал, старался изо всех сил. Чего я только не придумывал, чтобы было покрасивее и получше! Даже истратил своих собственных семь шиллингов — купил кое-что. И в нашем домике прибрался, выскреб и вычистил две комнаты, чтобы миссис было полегче, когда она придет. Ты же знаешь ее — любит, чтобы все блестело. И тут на тебе — является этот паршивый индюк Невиль и начинает приставать ко мне, что я не туда посадил какие-то кусты.

— Тебе бы стерпеть, Рори, — грустно пробормотал я.

— Ну конечно, но теперь уже нечего говорить. Я держался, видит бог, крепился, как мог. Но что-то вдруг вскипело во мне — первый раз за двадцать лет, — и я ему ответил. У него прямо глаза на лоб полезли. «Я не желаю выслушивать от вас дерзости, О'Мэхони», — сказал он. А я развернулся да так влепил ему по зубам — будь здоров! «Тогда, говорю, вот тебе, получай!»

Рори замолчал, мрачно уставясь в пол. Я смотрел на его непокорные, рыжие с сединой вихры со смешанным чувством жалости и восхищения. Конечно, он поступил глупо, но нельзя было не уважать его. Просто ужасно глупо — но отчего-то у меня быстрее забилося сердце... Одно было плохо — он был уже пожилой человек, вряд ли он сможет найти себе другую работу. Если бы не это, можно было бы только восхищаться им. У меня просто дух захватывало. Представьте только, в один прекрасный день Невиль оставляет в горах покорного Рори, а неделю спустя его встречает гордый и смелый Майкл Юджин. Да, именно так. Только на сей раз к этому не имели отношения ни день святого Патрика, ни виски. Это сделали далекие горизонты и ожившие воспоминания, слабый запах эвкалиптовых листьев и пенье птиц поутру...

Упреки были бесполезны, так же как и утешения, поэтому я собрался идти спать.

— Значит, ты все-таки взбунтовался, Рори?

Он поднял голову, и я с радостью увидел знакомую озорную усмешку. Несмотря ни на что, он все еще наслаждался местью. Я хлопнул его по плечу.

— Послушайся моего совета и больше не думай об этом сегодня. Пойди утешь жену. Помиришься с ней, а завтра утром все обсудите. Не померете же вы без Невилля.

Он приглушенно выругался, и я оставил его сидящим в кухне.

А глубокой ночью меня с трудом добудилась миссис О'Мэхони и сказала, что он ушел. Она лежала без сна и ждала его, потом не могла уже больше сдерживать беспокойство и пошла в кухню. Она показала мне записку, которую он оставил на столе. Вот она:

«Я ухожу, Мэг. Ты хороший человек, но больше мне не вытерпеть. Поезжай жить к Руби».

Она была в ужасном состоянии, просила меня догнать его. Но я ее уверил, что даже не знаю, куда он направился. Тут уж ничего нельзя было поделывать. Майкл Юджин О'Мэхони поставил точку и ушел по дальней дороге навстречу ветрам.

*Перевела с английского И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.*



---

УМБЕРТО САБА

★

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

*Умберто Саба (1883—1957) — известный итальянский поэт автор «Прелюдий и фуг», «Слов», «Последних вещей» и других сборников стихов, составляющих единую «Книгу песен» («Canzoniere»), в которую вошли стихотворения, написанные поэтом между 1900 и 1954 годами.*

### *Старая труба*

Труба, венчающая гребни крыш  
перед моим окном (больное небо  
в разрывах туч бледнеет над тобою),  
еще в эпоху Герцогов Великих  
дымила ты, потом в эпоху флагов  
и разочарований. Помнишь ты,  
как сын домой с войны вернулся, как  
его встречали. Ну, а он, чудак,  
сжимал в ладонях голову, надолго  
в немые мысли погружаясь. «Мама»,—  
он то и дело повторял. И голько.  
Другие говорили: «Дело плохо.  
Терпение. Все утрясется...» Но...

Труба, которую давным-давно  
сложили руки человека, много  
и лет и зим промчалось над тобою  
в чередованье вечном туч и солнца.  
Но, может, никогда ты не видала  
времен страшней. В один из дней, который  
другие, радостные, предвещал,  
взошли на крыши юные танцоры  
и завели счастливый патефон.  
То были партизаны. В них стреляли.  
Но каждый знал, на что решился он.  
Они погибли. Это стало ясно,  
когда кровавый дождь закапал с крыш.

Все реже вижу я, как ты дымишь.  
к тебе сурова новая пора  
изобретений.

Если я вчера

был разговорчивее, то сегодня  
охотно лишь с тобою говорю,  
и ты молчишь, охотно мне внимая.

Ты, как и я, зажившийся, стара.

\* \* \*

Со мной моя подруга говорит  
подолгу о вещах печальных: камнем  
они лежат на сердце — прочный узел  
бед безысходных. Никакой руке,  
и в том числе моей, не развязать  
его, как ни стараться.

Воробей  
секунду отдыхает на карнизе  
строения, блестит на солнце, снова  
стремится в голубое небо.

Вот он,  
счастливый из счастливых! Он, крылатый,  
не знает мук моих, страданий человека,  
достигшего предела — пониманья  
того, что он любимой не поможет.

## *Безработный*

Куда чуть свет торопится вон тот  
прохожий, чем-то на меня похожий?  
Усталое лицо, глаза в себя  
обращены.

Быть может, пел он песни той войны,  
что нашею была войной. На палку  
и на свою судьбу он опирается.  
Вокруг народ  
устало препирается  
в очередях перед пустыми лавками.  
И в сером воздухе рожок метельщика  
не устает.

*Перевел с итальянского Евгений Солонович.*



---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

## ЦЕЛИННАЯ ДОРОГА

**М**ежду старыми кулундинскими селами Благовещенкой и Родином полсотни километров. В первые целинные годы я работал корреспондентом «Алтайской правды» по этой округе, жил в Благовещенке и дорогой на Родино проезжал бесчисленное число раз. Ездить приходилось всяко — и на бревнах лесовозов, доставлявших лес из Волчихинского бора, и на бензовозах, и в кошеве, и в тряском ящике «летучки». Пятьдесят километров — это для бухгалтерии, для проездных, а сам большак был непостоянен: летом, в сушь, он словно сокращался и отнимал не больше полутора часов, а талые снега, или осенняя слякоть, или январские сугробы так его удлиняли, что подчас весь день уходил, а то и ночевать приходилось на полпути, в Новотроицке.

С распашкой целины Родинский район стал засеивать четверть миллиона гектаров, в хороший год хлебосдача переваливала за десять миллионов пудов. Бездорожье не переживали, в любую погоду тут можно было «голосовать», и мне это было на руку. Шоферы на целине были героические, о них еще толком не написано, а надо бы, потому что труд водителя был подвигом. Буксовал, копал снег и грязь, выручал из беды, бранился, обливался потом, случалось — и песни пел хозяин этого большака, и тем, что сделал в те великие годы безвестный шофер, с лихвой оплачен сегодняшний лощеный асфальт, соединяющий Благовещенку с Родином.

Шофера Ивана из крепкого в Благовещенке рода Шаповаловых я прошу об одном — «помедленней». Потому что теперь до Родино «волга» домчит тебя в полчаса, а увидеть мне нужно много. Нужно хотя бы поздороваться с тем молодым, новым, что обступило степную дорогу.

У железнодорожной станции поднялся высоченный элеватор. Справа, на холме у Кучукского озера, вырос химический комбинат с жилым городком. Проклятье Кулунды — горькая соль ее озер оборачивается благодатью: из озерного мирабилита уже готовят уйму полезных веществ, и снежные горы сырья издали блещут поярче эльбрусской шапки.

Дальше — новые порядки сельца Нижний Кучук. Старого ветряка уже нет, выручает электроток, от плотины вода в Кучуке поднялась, над речкой разрослись ивы.

Бетонный мост у Новостройца, двухэтажные дома совхоза «Родинский», а вон уже белеет шифер сушильной башни, вон мастерские новые, Дом культуры, универмаг — здорово, милое Родино!

Человек может привыкнуть к громадности цифр, и перестанут поражать его масштабы содеянного. Больше сорока миллионов гектаров распашано целины, в результате чего было получено восемь миллиардов пудов хлеба с этой земли, поселки и дороги, вокзалы, элеваторы, магистрали водопроводов, детские сады и сады обыкновенные, яблоневые, возникли на недавнем ковыле. Это деяние — освоение целины — занесено в учебники, занимало печать всего мира, и вольно каркать

воронью — подвиг целинников от того не потускнеет, ему жить в веках. Громадные вложения техникой и деньгами, стройматериалами и людским потом уже вернулись в виде хлеба, самого дешевого в стране хлеба, и все сущее на новых землях стало чистой прибылью государства, а сверх того три миллиарда полновесных рублей дохода влились в народную казну.

Только проехался по гладкой дороге, на которой некогда мерз и мок, увидел малую толику большого преобразования — и растроган, взволнован, и лекций не надо, и бог с ними, с цифрами: эти полсотни степных километров будто вместили нелегкий целинный путь длиной в десять лет. И если есть кто сомневающийся, что пришли мы сюда всерьез и навеки, пусть проедет этой же дорогой!

Мы пришли сюда в пору, когда хлебная проблема объявлялась решенной, но с реальным зерном было ох как туго. Мы спешили: нужно было быстрее дать хлеб. «Став на путь расширения посевных площадей, мы смогли буквально через год-два после начала освоения целины серьезно изменить положение с обеспечением страны хлебом, улучшить продовольственное снабжение, что в конечном счете сыграло исключительную роль в развитии всей советской экономики» (Н. С. Хрущев).

Время диктовало стратегию: идти вширь, резко увеличить площадь под зерном. Дорога была правильная, она привела нас к большому хлебу. Хлебу в агротехническом смысле легкому, хотя целинникам в необжитой степи пришлось нелегко. Но не считанными урожаями с перевернутого ковыльного пласта привлекла нас громадная равнина: восточные районы с их яровыми пшеницами должны работать на коммунизм. Теперь время велит идти вглубь, ценить каждый гектар земли по его возможностям, раскрыть глубинные залежи плодородия. Интенсификацию земледелия партия провозгласила главнейшим вопросом сельского хозяйства. Приход в полеводство большой химии равнозначен перевороту, совершенному тридцать лет назад трактором и комбайном. Как никогда вырастает и роль агротехнической культуры, ибо она-то и раскроет главные, не наверху лежащие клады поля.

Сейчас канун нового этапа целинного освоения. Трудности засушливого нынешнего года подтверждают необходимость резкого подъема агрикультуры. Десятая осень не дала целинникам хлеба. Засуха сама по себе была жестока, но ей помогли два «союзника» — ветровая эрозия и засорение полей. Явления эти чужды целинной эпопее, они должны стать недолгими эпизодами, но сейчас они уносят много хлеба. В борьбе с этими «союзниками» суховея и должна вырастать культура целинного поля. О серьезных, но преодолимых препятствиях, что лежат на пути интенсификации целинного земледелия, и хочется рассказать в этих путевых заметках.

### АГРОНОМ — ЗАКОНОДАТЕЛЬ ПОЛЯ

Уже не одну сотню верст оставили мы позади, а проехали едва ли четверть полей, вверенных Ивану Митрофановичу. Главный агроном Кулинского производственного управления Иван Митрофанович Короленко — сам себе шофер, и шофер хороший. Агроному нужно на месте прояснить положение с семенами: хватит ли своих? Но есть и другая цель: проиллюстрировать разговор, состоявшийся в управлении, и убедить, что в такой год хлеба от Кулунды и ждать было нечего.

Ясно, сухо, березки редких колков будто светятся изнутри: золотой мелкий лист еще крепок. Лучшей погоды для уборки и ждать нечего. Но хлеб сгорел, и дороги сейчас свободны, тихи тока и элеваторы, почти безлюдны поля.

И лица кулундинцев необычны для осени. В такую пору комбайнер бывал пропылен до предела, в недельной бороде пряталась мякина, и битый час тратил фотокорреспондент, пока удавалось придать герою парадный вид. Сейчас лица чисты, на рубашках — ни пылинки, но людям не до съемок.



— Стихия, черт бы ее побрал, — вздыхает Иван Митрофанович. — Уж кто-кто, а мы-то, купинцы, не можем ждать милостей от природы: скупа, среди зимы снегу не выпросишь.

Агроном не наговаривает: даже в Кулундинской степи окрестности Купина считаются засушливыми, среднегодовое количество осадков тут чуть больше двухсот семидесяти миллиметров, из пятидесяти последних лет тридцать были сухими. И все же эта часть степи заселена относительно давно, еще с поры столыпинского переселения, и освоение целины не прибавило тут поселков, а только пополнило и перестроило старые. За полвека были найдены свои, особые приемы земледелия, кулундинец подобрал ключи к неласковской степи, и именно здесь, близ Купина, в колхозе «Политотдел» был поставлен в 1937 году мировой рекорд урожайности пшеницы: колхозница А. С. Сергеева получила 101,1 центнера зерна с гектара. В последние годы посевы резко возросли, и если уже к 1956 году в Сибири было занято пшеницей в полтора раза больше площади, чем в Канаде, то тут есть доля и Северной Кулунды.

Правда, уже несколько лет подряд многие поля выгорают. Иван Митрофанович, добродушный, рано погрубевший, охотно показывает и злодеяния стихии, и следы шаблона в агротехнике. Конечно, при каждой встрече — разговоры, разговоры... В них отводят душу, проверяют себя, ищут твердости.

— Нет, таких, как нынче, таких бурь не бывало. — Тимофей Бурда, основатель сельца Павлоградки, мотает головой. — Бывали и раньше ветры, но пустые, а нынче — густые. Глянешь на небо — солнца не видать. Колодцы приходилось закрывать, шофера в полдень включали фары. А все песчаные гривы! Их сроду не пахали. Не пускать бы там плуг — не было б напасти.

Иван Митрофанович машет рукой: что там гривы! Мы только что были на низинных полях, так и там уже слой песка в хорошую четверть толщиной. Местами лесополосы до листвы занесены, проселки перекрыты барханами. А на участках легких почв, давших только один-два урожая, мы находили ямищи глубиной в человеческий рост, будто не ветер, а мощный экскаватор все лето работал на взгорках.

Здесь, в совхозе «Советская Сибирь», на грани новосибирской Кулунды с Казахстаном, десятилетиями растили тонкое руно, и слово «плевмвцесовхоз» еще красуется на конторской вывеске. Но отары поредели. Зачем-то решили превратить бедные почвы, но доходное овцеводческое хозяйство в зерносовхоз. Планы распашки уже не покрывались площадями пригодной земли, и пришлось плугами содрать травяной щит с длинных песчаных грив. Возникли очаги эрозии, и пашня совхоза, в отчетах возрастая, фактически стала таять. Уже тысячи гектаров здесь настолько эродированы, что и сорняк перестали питать. Который год сюда завозят семена, и это даже выгодней, чем сеять своими: себестоимость хлеба в совхозе фантастически высока — девятнадцать рублей центнер! Совхоз приносит что ни год триста — четыреста тысяч рублей убытку, «проедает» себя — и все же здесь пашут и пашут пески.

— А я не возьму в толк, Иван Митрофанович, на кой ляд эта волюнка? — добивается ответа Бурда. — Ну, дождемся, пока все поля засыплет, тогда ведь и к овцеводству не вернешься. Что вы про нашу землю думаете?

— А то думаю, что мне придется выполнять план посевной! Его спускает область, и своевольничать нам никто не дал права. Если в прошлом году было спущено сто, то и нынче сто придет, а то и накинута. Им же не видать, что тут, в Павлоградке. Может, ты, Тимофей Федорович, хочешь ковыль возродить, кто тебя знает? — пошутил Иван Митрофанович, но тут же вернулся к серьезному тону: — Делаем, что в силах. Нынче запланировали нам пары, так мы за этот счет развеем участки исключили из пахоты.

— И паровать нужно полям! — возразил Бурда. — А то такие сорняки поднялись — колос от колоса не слышно голоса. Нет, тут не ловчить надо, а ставить вопрос ребром: поехать в область, обсказать все, если не поверят — повезти мешок земли, что ли.

— Вот спасибо — подсказал, просветил. А то в управлении народ темный, не знают, как поступить... Ну, ладно, не мрачней. Объяснят, кому положено, и наведут порядок. А давление себе не повышай. Скажи лучше, как с очисткой семян?

И, успокоив Бурду, Иван Митрофанович трогает дальше.

Иван Митрофанович не то чтоб равнодушен к происшедшему. Нет, он досадует, что хлеба нет, ему приятно было б сейчас походить меж ворохов зерна на токах, приятно было б бросить в «москвич» сноп отборных колосьев. Но «со стихии взятки гладки», и агроном, не чувствуя за душой никакой вины, не позволяет суховеям «повышать давление».

У людей, преданных делу, даже отлично владеющих собой, неудача, авария, беда всегда проступают на лице выражением тревоги и тоски. Будто жжет человека изнутри, он мучится, и не лезь тогда к нему с досужими расспросами, если не хочешь нарваться на грубость! Ничего похожего на тоску и мучение нет у Ивана Митрофановича, рядом с ним, простецким, незлобивым, и осень кажется не такой уж скверной, и эрозия не так тревожит. Рассуждения о «профессиональной чести» и «долге перед потомками» чужды деловой натуре Ивана Митрофановича. Конечно же, он не хотел эрозии, верой и правдой выполнял «спущенное», а почему это все вышло — установить не просто, да и не всякому по силам.

Мужчина он в самой поре (еще нет сорока) и работник растущий: за десять целинных лет прошел здесь всю лестницу от дипломника до хозяина части Кулунды размером с иное государство. Он был главным агрономом в опорно-показательном Чаянском совхозе, на материалах которого защищались диссертации по травополью. Теперь он — энергичный противник трав, убрал их даже с ветродарных склонов, где они защищали почву. Он отнюдь не летун, с Кулундой связан прочно: крестовый дом в Купино, корова, огород, жизнь его устроена, будущность ясна.

Семен Калистратович Хоменко, умерший два года назад секретарь Кулундинского райкома, сибиряк могучим телом и прямою душой, признался как-то, что делит своих агрономов на три категории. Первая — упрямы, они и слукавить в отчете способны, но хитрость их — во спасение. Портят кровь себе и людям, но хлеб дают. Вторая — натуры послабее, увлечены не всем делом, а какой-то частью его, всей ноши на плечи не взвалят. Третьи — специалисты «будет исполнено». Из усердия могут таких дров наломать, что не обрадуешься. Хоменко сравнивал последних с овсюгом: и внешностью и физиологией этот сорняк очень схож с хлебом, только осенью наверняка узнаешь, где что.

Как ни условна и юмористична эта «классификация», я запомнил ее: она говорит о разных дорогах, какими идут целинные агрономы, и кое-что объясняет в здешнем полеводстве. И уже невольно сам разделял своих знакомых по хоменковским категориям.

Один из самых стойких упрямов Сибири — Кирилл Александрович Хорошун из совхоза «Нижеиртышский». Теперь он Герой Социалистического Труда, признанный мастер, но сколько раз его «поправляли», «призывали к порядку», «вразумляли» по самым разным агроповодам — от сроков сева до чистых паров включительно! Меры воздействия были тоже разнообразными — вплоть до исключения из партии (временного, решение вскоре отменили). Когда однажды секретарь обкома отметил в «Нижеиртышском» ранние, дружные всходы, им самим обнаруженные, Кирилл Александрович скромно принял похвалу. Через неделю, возвращаясь в город, секретарь решил снова взглянуть на всходы и нашел... черное поле. «А где же та пшеница?» — «То, извините, не пшеница была — овсюг. Его спровоцировали, теперь вот сеем хлеб». — «А как же с ранними сроками? Надул ты меня...» Хорошун развел руками. Тем и дело кончилось. К «Нижеиртышскому» недавно присоединили два запущенных хозяйства — колхоз села Верблюжье и совхоз «Тамбовский». За два года намолоты сравнялись, и здесь стал обычным стопудовый урожай.

Скромнейший из скромных агрономов Прииртышья — Николай Михайлович Климанов, главный специалист совхоза «Боевой». Двадцать лет он здесь работает, и за эти годы ни одного дерева не пропало в колках и лесополосах, ни один случай брака не остался безнаказанным и ни разу засухе не удалось серьезно повредить урожаю. В трудных условиях он сохранял пары, и благодаря его стойкости мы теперь знаем, что хороший пар мог дать омичам в 1961 году 25,6 центнера, в 1962 — 23,5 центнера, а в минувший год — 14,3 центнера зерна с гектара.

Омич Василий Лебедев, алтаец Константин Беляев, новосибирец Виталий Сергеев... Длиннен ряд настоящих законодателей сибирского поля, его заступников; целинные годы — время расцвета их таланта, ими жива классическая школа русского поля, и если теперь, после тяжелейшего из целинных лет, мы знаем, что поправлять, как дальше держать, то тут заслуга их, агрономов «первой категории».

Не ошибался Семен Калистратович, выделяя вторую, промежуточную, так сказать, категорию. Одних знаний и привязанности к земле, видно, мало, чтоб стать подлинным агрономом: нужен нескгибаемый дух, готовность рисковать и при нужде подставить себя под удар. У этой же категории есть творческая жилка, знания есть, но недостает хорошего упорства. Агроном целинного совхоза «Ново-Санжаровский» Г. Томилов так и не сумел защитить новые поля от засорения — земли год за годом засеивались пшеницей, и урожаи упали. Агроном увлеклся выращиванием кукурузы на зерно. Опыты отнюдь не бесплодны, хотя увлечение не восполнило, конечно, совхозу и пятой части зерна, недобранного из-за низкой культуры полеводства.

А подчас дело не так просто. Мой старый товарищ Алексей Михайлович Еремин не посетует, если я напишу сейчас то, о чем говорилось наедине. Он по специальности агроном и полеводство знает. Но, став секретарем райкома в Благовещенке, он постепенно охладил к главному, чем жил район, — к хлеборобству. Дипломированный агроном с головой ушел в строительство! Вот ход его рассуждений. Без постоянного притока рабочей силы алтайская Кулунда прочно не встанет на ноги. А чем привлечешь и удержишь новосела? Прибавки к зарплате — штука ненадежная, они лишь укрепят приезжего в мечте скопить тут на дом и уехать в теплые края. Надо вознаградить кубанца или воронежца за долготу зимы, за безлесье, за то, что яблоко в Кулунде редкость, но так, чтоб пользовался он этим вознаграждением только здесь — и нигде больше. Нужны удобства жизни, тот культурно-бытовой комплекс, какого нет даже в кубанской станции! Энергия Еремина нашла выход. Он воевал из-за каждой тысячи рублей, добивался включения в титул все новых объектов. начальники стройуправлений уже признавали в нем своего. Строили в Благовещенке быстрее, чем в других районах, и не так, не по-сельски. За три года саманная Благовещенка с гнилой лужей посредине превратилась в светлый, глазастый городок с широкоэкранным кинотеатром, отличным Домом культуры, с четырехэтажной больницей, с музыкальной школой и ателье мод, с водопроводом и асфальтом на улицах, а лужа преобразилась в ясное озеро, окаймленное вербой. Агроном Еремин сделал много. Но он же, теперь начальник Благовещенского производственного управления на Алтае, допустил, что на семидесяти тысячах гектарах развилась сильнейшая эрозия. Для кого ж хорошенький тот городок, если не остановить пески?

И наконец категория третья. Это люди спокойные, безмятежные, их забота о земле не поднимается выше платонических советов на шаблон. Нужно повидать специалистов такой формации, чтоб понять истинную причину их безмятежности. Они глубоко, свято, тверже некуда убеждены: «Отвечать не придется!»

За что конкретно, кроме плана посевных площадей, отвечает сейчас агроном? За урожай? Никак нет. В любом случае можно взвалить вину на погоду, ибо «наш цех — под открытым небом», «мы еще не освободились от своевластия природы» и т. д. и т. п. Уличить мудрено, да и не делают этого. За землю? И того меньше. Поле он не принимает и не сдает при уходе. В акте напишут лишь

«столько-то тысяч гектаров» — и дело с концом. Любой начальник цеха всякой фабрички в сотни раз больше его ответствен за средства производства. Поломка станка — ЧП. А за насыщение пахоты тоннами зерновок овсюга, за развевание почвы агроному начет не грозит. Действует взгляд на почву как на нечто мертвое, не меняющееся, и гектар тучного чистого чернозема уравнивается в ценности с гектаром волнистых барханов, окружающих теперь сельцо Тимофея Бурды. Засей, агроном, сколько план велит, а там (в прямом смысле) хоть трава не расти.

Правда, ответственность предполагает права. А вот даже Иван Митрофанович заявляет, что прав этих нет, что он исполнитель, все решают в области, что пропововал когда-то по-своему, да одернули, махнул рукой. И тут-то не отговорка. Роль и значение агронома впрямь принижены.

Да, новые земли получили наказ Двадцать второго съезда партии «...добиться, чтобы комплекс агротехнических мероприятий был таким же обязательным, как технологический процесс производства на заводе, а роль агронома в колхозах и совхозах поднята на такую высоту, как роль инженера в промышленности...» Тем самым агроному выдан всенародный мандат доверия.

Но вместе с тем не прекращаются попытки решать агротехнические задачи абстрактно, в отрыве от местных условий. Издается, скажем, брошюра с изложением приемов борьбы с овсюгом. В своей сути это то же, что получает, к примеру, бюро технической информации Омского шинного завода от научных институтов своего профиля. Но там, у шинников, — это лишь рекомендация, сообщение о том, как поступают при таком-то стечении условий. В целинное же хозяйство брошюра приходит уже с грифом «одобрено тем-то и тем-то», и совет превратился в директиву. Иногда такие рекомендации нужны (когда речь идет о новых культурах), чаще бесполезны, ибо скороспелые наставления все же остаются суррогатом агротехники, а еще чаще вредны. Вот пестрая серия брошюр, изданная в Барнауле для всего многообразного, такого разноликого Алтая, вместившего в свои концы и дождливое предгорье, и поля лесостепи, и засушливость Кулунды. Все попытались объять их создатели: в повелительном наклонении здесь излагается, как овсюг выживать и как семена улучшать, как бобы растить, что, где, когда сеять. Прямо скажем: энциклопедии не получилось. Но вот использовать пестрые брошюры как кипу индугенций, отпускаящих грехи, «исправный» агроном сможет: работает авторитетное «одобрено...».

На Алтае налажено производство брошюр. В Новосибирске привычно иное: по весне собирают агрономов, и Иван Митрофанович «получает установки». Формы разные, суть одна. Где звонком «из области», где циркуляром или разгромной статьей газеты проникает в хозяйство шаблон — сорняк позлее овсюга. Агроном Будет Исполнено знает, что за поиск, не принесший удачи, за «вольноедумство» могут наказать, а за невежество и леность мысли взыскания не будет.

Сибирь Ленин относил к районам, где «шаблонизировать, подчинять известному шаблону будет величайшей глупостью»<sup>1</sup>. На сентябрьском Пленуме ЦК партии Никита Сергеевич напомнил и другое предупреждение Ильича: «Было бы ошибкой, если бы мы просто по шаблону списывали декреты для всех мест России...»<sup>2</sup>. Во время своих поездок по целине Н. С. Хрущев советовал сибирякам строить хозяйство с обязательным учетом условий данного района.

И все же рассудку вопреки, наперекор сибирским стихиям предпринимаются потуги сделать профессию агронома на диво немудрящей. Уже не требование «облечь отвлеченные истины в плоть и кровь» (В. В. Докучаев) становится его обязанностью, но аккуратно следовать этим отвлеченным, оторванным от земли истинам.

Агроному в юности внушали, что ни в какой другой деятельности «не требуется таких многосторонних сведений, нигде увлечение односторонней точкой зрения

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 32, стр. 108.

<sup>2</sup> Там же, т. 29, стр. 138.

не может привести к такой крупной неудаче, как в земледелии» (К. А. Тимирязев), предупреждали: с полем он будет один на один, он и кормилец его, и заступник. Ему первому надлежит знать недуги почвы, другим она откроет их слишком поздно. Это работа за совесть, не за страх.

Урожай — как бы вещественный ответ агронома: «Я сделал все, что мог». А если нет урожая? Вот ездим мы с Иваном Митрофановичем и вопрошаем: «Так как — наберете на семена?» Делать ли из этого вывод, что агроном Короленко упустил урожай? Ни в коем разе. И если он делал не то, что мог, а лишь что было велено, — и это не основание причислять его к хоменковской «третьей категории». Рекомендации сверху могли быть на сто процентов правильны, но вдруг Кулунда поставила агронома в такие условия, что сам Энгельгардт ничего бы не сумел получить? И тогда Иван Митрофанович окажется прав в том разговоре, что имел место в управлении: просто сила одолела силу.

Чтоб судить об агрономе, нужно обязательно знать возможный урожай в данном месте в данный год. К сожалению, многие районы степи нынче не имеют этого критерия: агротехника была столь однообразной, что оказались не испытаны другие, не стандартные пути к урожаю, и сравнивать не с чем.

Здесь же, под Купином, есть надежда встретиться с таким редкостным ОТК, что мог засесть и превратить в хлеб возможности, оставленные сложным летом. Если и ОТК скажет «нет ничего» — что ж, можно будет вместе с Иваном Митрофановичем еще раз проклясть суховей и покойно следовать дальше.

А потому под вечер, когда уже мало бензина:

— Не съездить ли к Анне Николаевне?

— Можно, день-то субботний, — агроном охотно соглашается. — Только застанем ли Ивана Спиридоновича? Он ведь в чины вышел, директор новой опытной станции в Багане! Решил солонцы преобразать. Это на седьмом-то десятке! Скоро совсем туда переберутся. Неумный народ, ей-право!

И мы берем курс к опорному пункту Новосибирской опытной станции, к селу Зятьковка, где живут едва ли не самые пожилые из добровольцев-целинников всей Сибири — Анна Николаевна Скалозубова и Иван Спиридонович Шелухин. У меня есть и повод для посещения: нужно, хоть и с опозданием, поздравить Анну Николаевну — нового заслуженного агронома республики. А и не было бы повода — домик на зятьковской околице умеет приветить любого.

У ограды зябнут на ветру багряные яблоньки. Вот и еще один сад оставит людям седая чета, как оставила сначала в Тулуне, потом близ Шадринска, на станции Терентия Мальцева. Иван Спиридонович Шелухин создавал и был первым директором станции колхозного академика. Вместе с ним была, конечно, и Анна Николаевна, наследовавшая дело отца, известного сибирского селекционера Николая Лукича Скалозубова. (Созданный ею в соавторстве с иркутянами отличный сорт пшеницы носит название «скала» — в память об отце.) Но дело под Шадринском пошло, а тут подоспела целина, понадобились научные работники для новых земель — и Шелухин прибыл в Зятьковку. Не часто встретишь ученого-опытника, который начал бы работать прямо в колхозе, да еще в хлопотной, бессонной должности заместителя председателя по полеводству. Иван Спиридонович взял эту ношу. Вместе с председателем Дмитрием Платоновичем Сысоевым они принялись наводить культуру на полях, а потом предложили переименовать колхоз, так и назвать его — «Культура». Название обязывающее. В среднем за восемь лет Зятьковка получила на четыре с половиной центнера с гектара больше, чем весь район, — и подтрунивать над наименованием колхоза не стало охотников. Анна Николаевна одновременно с работами по семеноводству довела в эти годы новый пшеничный сорт — «мильтурум-400», пополнив семью отцовских сортов. Дмитрия Сысоева перевели в соседний колхоз, покрупнее, в Багане была открыта новая станция. Ивану Спиридоновичу предложили возглавить ее — и опять предстоит новоселье.

В домике пахнет крестьянской осенью: связками лука, зелеными помидорами, укропом. И рука веселой Анны Николаевны черства и мозолиста, как у пожилой

крестьянки. И в таком контрасте с прокаленным лицом, со всем крестьянским обликом по-ленинградски правильная, несмешливая речь!

— А я жду нашего новоиспеченного директора, должен быть с минуты на минуту. Представляете, библиотеку давно перевез, а жену бросил. Что ж, говорю, пусть Гесиод да Костычев чай тебе греют и гладят рубахи... Собирались сегодня глянуть поля Сысоева, давно зовет, не составите ль компанию? Хоть и ушел к соседям, а не забывает, часто приезжал, советовался.

Уговаривать не пришлось: поездка сулила интересное. Приехал Иван Спиридонович, усталый, взъерошенный, полный новостей, и через полчаса мы были уже на полях Дмитрия Платоновича Сысоева. Председатель ждал у своего «газика» на условленном месте. С учеными он поздоровался тепло и весело, будто с родней, с нами — сухоовато, настороженно: нас он не ждал.

Тут-то и увидели мы хлеб! Что был он редковат и не вполне ровен и колосу надо б быть потяжелей, но это стало понятно позже, а первое впечатление было удивительно светлое и радостное. Поле красноватой пшеницы явилось среди поблекшей, унылой степи сказочным островом. Мы вошли в хлеб и не хотели выходить — так в июльскую сушь неохота выходить из прохладного пруда. Даже Иван Митрофанович был изумлен:

— Гляди, как обернулось! Я, честно говоря, не ждал. Ведь засели мы с севом, было даже намеренье заслушать на бюро...

— Тут наберем восемь центнеров, — Сысоев спокойно размял в руках колос, отвеял половку и бросил щепотку зерна в рот. И уже главному агроному: — Но в среднем меньше будет. Сколько-то тысяч центнеров сдадим, а остальное — семена да трудодни, о фураже и не думай. Если б недельки на две раньше пошли дожди, а то ведь только десятого июля...

— У всех они десятого, — перебил Иван Митрофанович. — Ну, не томи, на чем, считаешь, взял хлеб?

Сысоев усмехнулся:

— Вам ведь и открыться боязно. Сегодня по хлебу идете, завтра меня же — в консерваторы. Вот Анне Николаевне и Ивану Спиридоновичу все скажешь, с ними легко, они научили с хлебом быть, а вы — агроном Буква.

Председатель сказал именно так: «Буква» — сказал, видно, без всякого желания оскорбить или задеть самолюбие. Об Анне Николаевне он, должно быть, мог так же спокойно сказать — «селекционер». И главный агроном, надо думать, понял это и нисколько не обиделся, а лишь усмехнулся, точно перед ним был балованный мальчик, а не сорокалетний мужик, хозяин пятнадцати тысяч гектаров.

Потом Сысоев показал и заовсюженные поля, и отличный массив пара, и но-востройки свои, но о нынешнем хлебе разговора больше не было.

Вновь заговорили об этом уже вечером, когда в домике ученых разлилось тепло от батарей, а на столе возникло царское угощение: розовые, недоспевшие помидоры, и наспех приготовленная кабачковая икра, и наливка, и собственные дыньки-дубовки. Остались мы вчетвером, и главный агроном, которого, видно, задел сысоевский хлеб, сам завел о нем речь:

— Конечно, повезло бы всем хотя б так, как Сысоеву, — совсем бы иная картина сложилась. И семена были б, и скот бы сохранился, и молодежь не востри-ла б лыжи...

— Да вовсе не повезло Сысоеву, вам отлично известны секреты такого везения! — атаковал агронома Иван Спиридонович. — Вы все торопили, сеяли, раз-гребая дисками залежи овсяга. А Дмитрий Платонович нервы имеет крепче, дождался всходов сорняка и, как смог, защитил хлеб. У него к дождям пшеница подошла молодой, у вас же колос успела выкинуть, сдалась на милость засухи. А вам, специалисту, лучше известно, что главные осадки Кулунды — в июле, их-то и нужно ловить.

— Положим, за сроки сева мы не взыскивали, — возражал агроном. — Просто кадры уже привыкли, сами поторапливаются.

— А кому Сысоев обязан, что «не взыскивали»? Не Anne ли Николаевне и другим прочим, что не побоялись поднять голос против дурацкой спешки?

— Да, то выступление недешево мне обошлось, — улыбнулась хозяйка. — Думала уж: снимут с опорного пункта, пошлют на низовку. Да, видно, не успели найти места уютней Зятювки.

Говорилось о хорошо известном в Северной Кулунде случае. Несколько лет назад в Новосибирске на областном совещании проводилась идея о пользе максимально ранних сроков сева. Скалозубовой дали слово, с тем чтоб она подкрепила идею научными данными. Авна Николаевна на трибуну вышла, но сказала совсем не то, чего ждали: «Ранний сев обеспечивает две вещи: бравую сводку и урожай сорняков. Так зачем же оставлять колхозы без хлеба?» Последствия своего выступления Скалозубова чувствовала долго. Лишь после того, как Никита Сергеевич в одной из речей высоко оценил труд автора новых пшениц, отношение к ней изменилось. Видно, смелость в характере Анны Николаевны — наследственная черта. Из биографии Николая Лукича Скалозубова известен замечательный случай. После первой революции военно-полевой суд приговорил к смертной казни юношу из Шуи. Депутат Государственной думы Скалозубов, истинный демократ по убеждениям, открыл почти безнадежную и небезопасную кампанию за спасение революционера. Поднял на ноги печать, обивал пороги у сановников. С ученым приходилось считаться. Казнь заменили тюрьмой. Юношу ждало великое будущее: звали его Михаилом Васильевичем Фрунзе.

Спор становится все острее.

— Ну, вам-то выступать проще, — отвечал Иван Митрофанович, выбирая дыню. — У вас авторитет, годы. Да и неофициально все это. Наш же брат — человек служилый, ему не спустят...

— А по-моему, хуже того, как есть, вам быть не может, — без обиняков сказала хозяйка. — Вы ведь грамотны и идете против совести. Единой моды ради повышаете норму высева, густые хлеба в засуху быстрее гибнут. Вам разрешили иметь два процента пара, доза убогая, но вы и тут отличились: оставили один процент. И знаете, что прошлым летом было списано сорок тысяч гектаров посева, нынче — уже пятьдесят пять. Да эти пятьдесят пять тысяч, год пропаровав, дали бы наверняка пять миллионов пудов. Уже не пришлось бы семена завозить.

— Явись я с такой структурой в область — быть бы мне областным козлом отпущения. На каждом совещании поминали бы. Что, неправда, скажете? Зачем же башку подставлять?

— А я, представьте, подставил собственную башку! — вскипел Иван Спиридонович. — Что Баган — мед, по-вашему? Это солонцы, сушь плюс овсюг, будь он проклят, а я вот пошел на него и возьму хлеб назло вам, осторожным!

Агроном недоверчиво усмехнулся, качнул головой.

— Не верите? Ну, тогда спорим! Давайте спорить, черт побери! Через два года вы увидите хлеб, настоящий хлеб, какого на тех землях не бывало! — И хозяин протянул главному агроному сухую руку.

Обозлен ли был Иван Митрофанович, счел ли жест возбужденного Шелухина хвастовством, только вызов принял, спрятал его руку в широкой своей деснице:

— Разбейте, Анна Николаевна! На литр коньяку.

— Не спорьте, Иван Митрофанович, — тихо и серьезно сказала хозяйка. — Нехорошо это. Я вот думаю о вас. Простите старухе откровенность: силы у вас есть, а живете плохо, работаете трусливо, состаритесь — и вспомнить нечего будет. Вот вы знаете совхоз «Советская Сибирь», там и ваших грехов много. Специалисты оттуда бегут. Махнуть бы вам рукой на всё да перебраться в совхоз агрономом. Ей-богу, очень порядочно будет, хоть и хлебнете горячего до слез. Право слово, поезжайте. И тогда уж спорьте хоть на ящик водки.

Главный агроном помрачнел и выпустил руку Ивана Спиридоновича.

— Нет, уважаемая Анна Николаевна, туда я не поеду. Там пекло, сгорюшь, как швед. А я и поработать и пожить, извините, хочу. Не я ту структуру придумывал, не мне и расхлебывать, так-то.

Если и до этих слов агронома не было за столом душевного согласия, то после них обстановка вовсе накалилась. В ответ на какое-то замечание Иван Митрофанович, чувствующий себя здесь все хуже, обиженно отодвинул тарелку:

— Приехал я к вам, как к коллегам...

— Нет уж, избавьте! — оборвала его хозяйка. — Думайте обо мне, что хотите, но вы мне сосед, земляк, кто угодно, только не коллега! Разница меж вами и этим вот директором, — она указала на мужа, — в том, что он может глядеть в глаза мальчугану-целиннику, а вы...

— ...а вы все же отведаете доморощенной дыни, ибо продукт этот сладостный и полезный, — погасил страсти Иван Спиридонович.

Прощание было вежливым. Короленко даже руки поднял в знак признания критики и осведомился насчет новоселья в Багане.

На обратном пути он прервал молчание:

— А забавные старики, верно? Энергичные и вообще...

Не хотел, видно, чтоб я счел его обиженным.

Что ж, ОТК сделал свое дело, я мог пополнить число своих знакомых еще одним агрономом третьей категории. Короленко был виновен перед этой землей.

### КОГДА ГРОМ ГРЯНУЛ

— Задайся враг рода человеческого целью распространить эрозию на легкие почвы Целинного края и вашей Кулунды, он бы не стал ломать голову над новыми орудиями. Отвальный плуг, простая спичка, сжигающая стерню, тяжелый гладкий каток — средства в этом отношении испытанные. Как, впрочем, и распашка трав в полезащитных севооборотах, вырубка леса... Нечистый только подбавил бы ветерку, постарался бы уменьшить дозу осадков — и дело было бы обеспечено.

Так мрачно шутит, выводя «волгу» на проселок вдоль лесопосадки, Александр Иванович Бараев. Тот самый «Бараев из Шортанды», человек с казахской по звучанию фамилией, но природный русак-волжанин, к чьему слову так внимательны теперь и на Алтае, и в омских степях. Его научно-исследовательский зерновой институт лежит в часе езды от Целинограда. Как и положено крепости агронауки, поселок опоясан кольцами зеленых стен и в голой степи выгибает отградным оазисом: клены, тополя, березы создали уже микроклимат.

Но и сами поля обширного опытного хозяйства — тоже своего рода оазис в сожженной и серой степи: здесь хлеб, здесь глаза комбайнеров красны от усталости, здесь страда, будто и не было страшного лета.

Член-корреспондент ВАСХНИЛ Бараев сам показывает и поля, и орудия обработки, и хлеб отнюдь не потому, что этот страданный день у него свободен. Нет, встает он по-крестьянски — с петухами, ложится, как ученый — за полночь. Но дело слишком серьезно, чтоб не втолковать еще одному журналисту свои агропринципы: и это может дать пользу. Будем же внимательны к трудно добытым цифрам, выводам, данным.

Да, комбайнерам есть работа: посевы пшеницы по чистому пару дают до 17 центнеров с гектара, массивы поверхностной безотвальной вспашки — 9,1 центнера. Правда, с обычной отвальной зяби не получают и шести центнеров, но здесь этот способ обработки контрольный. Стерня при безотвальной вспашке помогла накопить слой снега в 35 сантиметров, на гектаре была запасена тысяча кубометров воды, причем промерзла почва только на глубину 70 сантиметров, влага впиталась. Толщина снежного покрова на отвальной зяби составила только 15 сантиметров, на гектаре поля было скоплено 432 кубометра воды.

Примечательно: о вредности отвальной зяби на легких почвах писалось и раньше. Но известная группа ученых, особенно сотрудники Алтайского научно-исследовательского института, опровергала эту очевидную истину.



«В споре о необходимости зяби нашими противниками оказались руководители колхоза «Красный май», на полях которого размещается сортоиспытательный участок.

— Что ты мне о зяби толкуешь, — не раз говорил бригадир первой бригады Константин Минеевич Тищенко. — Зябь в Кулунде только вред приносит, иссушает она почву, зимой на зяби ни грамма снега не остается».

Так писал в «Алтайской правде» осенью 1962 года заведующий Михайловским сортоиспытательным участком Р. Марчук. Он отстаивал измельчение почвы, уничтожение стерни. Минувший год показал, насколько прав был его оппонент-бригадир: в Михайловке хлеба сгорели, развилась эрозия.

Ох, и неказисты поля у Бараева! Человек из мест влажных, безветренных заявит решительно: «Заведомый брак!» Ибо торчит стерня щетиной на только что влаханном жнивье, сами колосья созрели над прошлогодней стернею, и на пару даже — корка пожухлой соломы. Тимирязев сравнивал ворсинки листа с лесополосами. Функция у тех и других одна: предохранять от высыхания. Единственно доступный, зато надежный материал, стерня — тоже полезащита. Вот прошел трактор с глубокорыхлителем, нога тонет, но вид почвы почти не изменился: торчит упрямая соломка!

Безотвальная обработка, таким образом, позволяет скопить зимнюю влагу. Задача в том, как умело ею распорядиться. Запасов должно хватить на обычную засуху раннего лета, до обязательных на целине июльских дождей, когда выпадает солиднейшая доза среднегодовых осадков. Тут и встает вопрос о сроках сева — вопрос, вокруг которого уже столько лет звенят агротехнические мечи, ломаются колья.

Бараев считается сторонником позднего сева, хотя никто еще не нашел того ноля, от которого можно бы отсчитывать ранние или поздние сроки. Несколько недель спустя после нашей поездки Александр Иванович опубликовал в «Известиях» статью, где ясно выразил свой взгляд.

«Наибольшее количество осадков в этой зоне, повторяю, выпадает летом, — пишет он. — Поэтому, чтобы ослабить вредное влияние весенних и ранних летних засух на растения и эффективнее использовать летние дожди, важно подвести под них растения в фазе с максимальной потребностью во влаге. Стало быть, не надо проявлять торопливости с посевом, лучше использовать ранневесенний период для тщательной обработки полей, для уничтожения всходов сорняков».

Данные нынешнего, очень трудного года — весомое подтверждение этой мысли. Пшеница, посеянная в самом начале мая, дала по четыре-пять центнеров на круг, а с посева 20—30 мая намолачивали от одиннадцати до семнадцати центнеров. Ячменные поля, засеянные до пятого мая, сгорели (семь центнеров в среднем), а посеянные 30 мая уродили хорошо (19,6 центнера с каждого гектара). Бараев тверд в убеждении, что лучшими сроками сева для позднеспелых пшениц Алтая, Сибири, целинного Казахстана является вторая декада мая, для среднеспелых сортов — период с 15 по 25 мая. А ячмень и овес надо высевать в конце мая — начале июня. Конечно, год на год не приходится, у каждой весны свое лицо, но опыт десятилетий убеждает, что эти сроки — наиболее выигрышные.

И все же суть не в одном, пусть крайне важном, элементе агротехники, а именно в их единстве, связанности, в комплексе. В Шортандах я в который раз вспоминал одно место из работы К. А. Тимирязева «Наука и земледелец» — образное, яркое, мудрое место. Климентий Аркадьевич сравнивает поле с обычной кадкой для воды. Вообразим, говорит ученый, кадку, деревянные звенья которой спилены на разном уровне от земли. Каждое звено означает одно из условий урожая: первое показывает запас азота, второе — фосфора, третье — влаги и т. д. Запасы эти не равны между собой, как это и бывает на деле, потому что и неровен борт кадки. Станем наливать в кадку воду. Уровень воды установится, понятно, не по высшим, а по самому низшему звену. Наполнив кадку до низшего среза, вода станет выливаться. Так и урожай с поля: он будет соответствовать тому составному элементу, которого меньше всего. И можно бесконечно

увеличивать запас азота — урожай не изменится, если в почве недостает, скажем, фосфора. Следовательно, надо обязательно знать и учитывать все факторы, с умом помогать полю.

Тимирязев не пишет о днице: в его сравнении дно кадки разумеется прочным, без щелей. Но здесь, в степях целины, приходится думать и о «днице», о самом фундаменте земледелия, без которого улучшение прочих факторов — суета сует и томление духа. Речь об охране почвы!

У степи один враг — ветер. Лишь ему под силу вздымать тысячи тонн песчинок и этими ядрами бить о комочки почвы, унося в вихрях те микроны плодородия, что должны питать хлеб. Земля, как и непритязательные предки наши, лечилась от хвори попросту — травами. Вековая дернина была ее броней. С распашкой целины защитный пласт был местами снят и оттуда, где ему надлежало б остаться. «Эрозия» по-латыни значит «разъедание». Степные ветры стали разъедать доступные им поля.

Фонды Ленинской библиотеки свидетельствуют, что опасность эрозионного пожара была замечена вовремя: на титулах работ А. И. Бараева по борьбе с развеванием видим даты «1954», «1956»... И в массовой печати стали появляться тревожные статьи. В шестидесятом году «Новый мир» напечатал очерк Л. Ласкавой «Земля и ветер», где выразительно была обрисована опасность черных бурь. Осенью того же года в газете «Сельская жизнь» пишет о возможности эрозионного пожара побывавший на целине Валентин Овечкин. Газета «Советская Россия» в августе 1959 года опубликовала очерк автора этих строк, он назывался «Лес и хлеб» и был посвящен той же проблеме. Но, как это еще бывает, положение не менялось, и только в институте у станции Шортанды шла серьезная, целенаправленная работа по защите почв.

С пользой для дела казахстанский ученый съездил в страну некогда классической, жуткой по размерам эрозии — Канаду, изучал, работал на агрегатах, спорил, сравнивал. Были определены методы охраны почв, главные из которых — сохранение стерни, полосное земледелие, наложение травяного «пластыря» на очаги эрозии. Институт в содружестве с конструкторами ВИМа и инженерами одесского завода «Октябрьская революция» создал систему орудий, способных обезвреживать ветровой таран. И теперь, переходя от поля к полю, воочию убеждаешься: уроки даром не прошли.

Не забыта трагедия канадской провинции Саскачеван, где тридцать лет назад крохотная песчинка разбила в прах надежды и труды сотен фермеров.

Не забыт урок американской «Пыльной чаши»: хищничество пустило на ветер двадцать миллионов гектаров в штатах Канзас, Колорадо, Оклахома, Техас, Аризона, Юта.

Не забыты подчас гневные, порой умоляющие слова заступника российской степи Василия Докучаева, обращенные и к нам, соотечественникам и соратникам его.

Не первыми мы вводим хлебопашество в безлесную, ветру открытую степь. Но если нет нам равных в размахе свершаемого, в машинном уровне целинного натиска, то не должно быть таковых и в осмотрительности, заботливости, тщани.

— Знаете, один канадский фермер сказал мне: «Кто ж голым выбегает на мороз?» Это было ответом на мой вопрос: не следует ли иногда запахивать стерню. Ветер для него — зимняя стужа, стерня — одежда почвы. Правда, наш сибиряк достаточно здоров, чтоб из бани да в снег, но с полем такие забавы опасны. Тем более что это редкий случай, когда одежда дешевле наготы.

Александр Иванович посоветовал мне записать цифры о затратах труда. В 1962 году гектар отвальной обработки обошелся в 21 рубль, дал урожай в 9,6 центнера, себестоимость зерна — 2 рубля 85 копеек центнер. При безотвальной обработке данные намного лучше: соответственно 20 рублей, 12,7 центнера, 1 рубль 58 копеек.

Итак, стерня, накопляющая влагу, служит в Шортандах целям охраны самой основы земледелия: она бережет почву. Правда, считая отвальную зябь катего-

рически недопустимой на старопахотных легких почвах, А. И. Бараев признает такую пахоту при обработке целины и пласта многолетних трав. Пусть «шортандинская система» еще в процессе доработки, но генеральная стратегия засушливой зоны определена: охрана почвы — накопление влаги — хлеб. «У Бараева нет эрозии», — говорят десятки алтайских и сибирских агрономов, побывавших здесь этим летом. «У Бараева есть хлеб», — авторитетно говорит Шортандинский элеватор.

Не возьму греха на душу: и в Казахстане опыт института распространяется намного медленней, чем надо. Павлодарская область ежегодно теряет сотни тысяч гектаров, здесь многие хозяйства, по мнению А. И. Бараева, уже не имеют другого выхода, кроме перехода на почвозащитные севообороты с пятьюдесятью процентами трав. В конце эродированные почвы надо залужать. Пусть они дают меньше или вовсе не дают продукции, зато прекратится эрозия. Правда, дорого и то, что теперь ясны здесь принципы и способы обороны. Алтайская Кулунда не имеет пока и этого слабого утешения.

Подчеркну: я веду сейчас речь именно о степи с легкими почвами и частой засухой, а отнюдь не о «Прибалтике», как подчас называют в Барнауле Вийскую округу за дожди и особые почвы, не о лесистых районах Приобья и Прииртышья. Там среднерусский комплекс обработки, перенесенный на целину, больше отвечает условиям, отвал и сожжение стерни не вызовут ветровой эрозии. В степи же...

Уже половину площадей уступил пескам директор-основатель совхоза «Кулундинский» Емельян Емельяненко. Следы сапог остаются на заносах у старых степных сел Лондона и Орлеана, что за Кулундинским озером, дыханье черной бури слышать уже за Рубцовском, под городком Демидовых — Павловском, у старого Камня-на-Оби. Комиссии сочли урон — поболее шестисот тысяч гектаров обеднено и потревожено, авторитетно определены причины: беспрестанные отвальные обработки, прикатывание сухой почвы гладкими катками, сплошная распашка массивов, даже тех участков, что трогать нельзя. Дно тимиразевской кадки тут в щелях и трещинах. Под диагнозами прочтешь и подписи людей, осуществлявших научный надзор над степным земледелием.

В целинные годы тракторные армии Кулунды направлялись местными агрономами, природными кулундинцами, капитально образованными, наделенными полной мерой прав и ответственности. Уж им-то не из книг было ведомо, что два миллиона гектаров легких почв степи требуют постоянной оглядки на ветер, что лесов тут кот наплакал, и то это ленточные боры, тянущиеся вдоль основного ветра. Им сызмальства знаком запах «кулундинского дождичка» — черной бури. А в лета зрелые ими усвоено правило строителей: ни один объект не сдашь без согласия дотошного, придиричивого пожарника. Как же случилось, что и с учеными защитниками в Кулунду проник ветровой пожар?

Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства разместился под самым Барнаулом, в благодатной сердцевине края, где среднегодовое количество осадков в полтора раза выше, чем в Шортандах и Кулунде. На инстинтутских полях тихо: хлеба нет. Мертвый запас влаги и кукурузе не позволил развиваться...

— Хотите личное мнение? Наш институт серьезно отстал от Шортанды в изучении безотвального способа обработки, в создании таких орудий, — говорит Федор Прокопьевич Шевченко, заместитель директора института. — И сама проблема эрозии всерьез не изучалась.

Положим, тут не все точно. Безотвальный опыт был, с пятьдесят пятого по пятьдесят восьмой год двести хозяйств края сеяли по вспашке со стерней (так называемой «мальцевской»). Прибавка урожая при всех грехах все же составила 2,1 центнера в среднем на гектар. Но полный отказ от паров, высев пшеницы по пшенице семь-восемь лет подряд до того расплодили сорняки, что в помощь был призван лазутчик эрозии — отвал. Поглощенный нужным и важным делом — поиском идеальной структуры посевов, институт закрыл глаза на щели в днище,

не захотел увидеть, что над самой основой земледелия нависла эрозия, этот, по слову Никиты Сергеевича, «бич для сельского хозяйства».

Нужно помнить, что значит на Алтае слово института. «Генеральным штабом» называют научное учреждение, это недалеко от истины: слово института — закон. И вот степняки читали 15 августа 1962 года в «Алтайской правде» такой наказ директора «генштаба» Г. Наливайко: «Поле (речь идет о засоренном поле, а чистых почти нет в степи. — Ю. Ч.) следует вспахать плугом с предплужником на возможно большую глубину, лучше на 25—27 сантиметров... В степных районах, где ощущается недостаток влаги, огромное значение имеют прикатывание и боронование зяби... В результате сокращается поверхность поля, а значит, и сокращается испарение влаги. В значительной мере предотвращается зимняя ветровая эрозия почвы». К чести автора надо сказать, что он вскользь признает и безотвальную вспашку. Но главное его требование — максимально глубокая отвальная зябь с измельченной поверхностью.

Это в шестьдесят втором. А год спустя та же «Алтайская правда» дала диаметрально противоположный научный совет. «Думается, ежегодно пахать в Кулундинской степи на глубину 20—22 сантиметра не нужно. Это подтверждается многими примерами успешного посева зерновых по взлущенной стерне без пахоты», — пишет старший научный сотрудник М. Калугин.

Крутой поворот — не диво. Бури этого лета нанесли такой удар, что и в самих научных учреждениях недосчитались сотен гектаров пашни.

Привожу это отнюдь не для подрыва авторитета. В прошлом у института немало заслуг. И как раз для сохранения авторитета надо сказать об ошибках, чтоб дальше работать с доверием. Если уж справедлива поговорка насчет грянувшего грома и принявшего контрмеры мужика, то дело теперь за контрмерами.

Александр Васильевич Георгиев родом из «ревущих широт» Алтая — из Ключей под бором. Целинную страду он начинал заведующим сельхозотделом крайкома, сейчас он первый секретарь Алтайского сельского крайкома партии. И если искать человека, который знает всю степь со всеми ее бедами, то надо стучаться к первому секретарю.

— Придется кое-что серьезно поправлять и в системе земледелия, и в структуре посевов. Полностью эродированные участки надо залужать или создавать на них лесные массивы. Местным лесам нанесен урон, на вырубках теперь очаги эрозии... Где мы, несомненно, ошиблись? Нельзя было нам со своей сухью и ветрами тянуться за нечерноземной полосой в распах трав. Площади они занимали у нас относительно пустынные, а полезащитную службу несли... Посев пшеницы по пшенице столько лет подряд тоже нельзя было допускать. И с отвалом в Углах, Ключах, Михайловке, Кулунде, да и в Благовещенке надо было обращаться осторожнее. Был недавно в Казахстане, знакомился с их опытом, добыл два десятка плоскорезов. На развод, так сказать; надо бы самим наладить производство безотвальных орудий...

Первый секретарь делится соображениями об изменениях в структуре с учетом тяжелого шестьдесят третьего, да и нелегких предыдущих лет. Весенние обязательства и осеннее молчание Алтая стали уже притчей во языцех. Надо отвоевать поля у сорняков, иметь площади гарантийного урожая. Под зерном и зернобобовыми надо держать процентов шестьдесят пашни (сорок — под пшеницей, двадцать — под горохом и другими бобовыми), остальную площадь отдать под кукурузу, свеклу, пар. Не обойтись без чистого и черного кулисного пара, кроме того, в выводном клину придется сеять травы — эрозия их не одолевает...

Среди почвоведов говорят, что охрана почв — это нечто большее, чем техническая наука. Это способ мышления. И если защита полей стала входить в агростратегию Алтая — значит, изменяется сам взгляд на целину: вместо былого «взять один-два хлеба, а там видно будет» начинает действовать долговременный принцип «целина и детям нужна».

Иначе и быть не может. Пора, когда рост производства хлеба достигался простым расширением площадей, уже в прошлом. «Интенсификация — коренной вопрос развития сельского хозяйства», — подчеркнул в докладе на декабрьском Пленуме ЦК партии Никита Сергеевич Хрущев. Перед новыми землями встают проблемы резкого повышения агротехнической культуры, выработки и распространения пригодных для конкретных условий систем земледелия. Словом, время требует осваивать целину «вглубь». И первой задачей дня, без решения которой нечего и говорить о временах грядущих, стала ликвидация опаснейших явлений: эрозии, сорнякового пожара. «...особое значение приобретают борьба с эрозией, внедрение широких почвозащитных мероприятий», — говорится в «Правде» от 12 ноября 1963 года. — Речь идет о том, чтобы сохранить для народа миллионы гектаров плодородных земель, уберечь от гибели самый дорогой, ничем не заменимый капитал. Производственные управления, партийные комитеты, все труженики колхозов и совхозов призваны добиться, чтобы в каждом хозяйстве своевременно осуществлялись противоэрозионные мероприятия. Надо высоко поднять чувство ответственности сельских тружеников за состояние земли.

...пора поставить плодородие земли под защиту закона!»

Именно так: под защиту закона! Хотя бы уравнивать землю юридически с такими ценностями, как техника и строения, как сады и скот, если не отдать предпочтение основному средству производства перед прочими.

Но меры по охране почвы не могут быть отдельно алтайскими или казахстанскими, тут разнородной губителен, административные границы никак не должны разделять хлеборобов. Если даже от канадского фермера закон требует исполнения ряда почвозащитных правил, то для наших директоров совхозов меры охраны земли давно должны быть универсальны и обязательны.

Закона, объединяющего усилия агрономов и почвоведов, пока нет, а вот разнородной и «чересполосица» налицо. Целинный край не только подсчитал потери от черных бурь — он привлек к созданию новых типов орудий конструкторские и агрономические силы и уже начал получать от машиностроительных заводов новую технику. Центральный Комитет компартии Казахстана поставил перед Советом Народного Хозяйства и Госпланом СССР вопрос о скорейшем переводе целинных хозяйств на новые почвообрабатывающие орудия и посевную технику, считая это делом государственной важности. По опубликованным подсчетам Бюро ЦК партии Казахстана по руководству сельским хозяйством, республике необходимо получить уже в нынешнем и 1965 году 36 тысяч культиваторов-плоскорезов и столько же сеялок-луцильников с комплектом пресовых борон, 18 тысяч плугов-глубокорыхлителей, 36 тысяч пресовых сеялок, 56 тысяч кольчатых катков. Это нешутливая программа, зато с получением техники казахская целина практически всюду перейдет от чуждых здешним условиям среднерусских приемов обработки к испытанному в Шортандах комплексу.

А хозяйства Алтай и Прииртышья имеют безотвальную технику в таких количествах, что ее едва хватает лишь для демонстрации на семинарах. Сибирская целина как бы медлит в раздумье: идти ли на замену орудий или — обойдется? Во всяком случае сибирская индустрия сельскохозяйственного машиностроения работает пока на Казахстан. Госплан РСФСР, излагая в «Правде» (2 декабря 1963 года) сельские проблемы Федерации на 1964—1970 годы, даже не включил техническое перевооружение целинных хозяйств в число заслуживающих внимания задач. А ведь речь идет о десяти с лишним миллионах гектаров пшеничного посева! Эрозия не дремлет. Если при нынешнем положении дать ей в полную силу «поработать» еще год, только год. — Алтай не досчитается сотен тысяч гектаров. На восстановление же разбитых ветром почв нужен не один год. Вот почему так необходим сомкнутый строй всецелинной защиты полей.

Охрана почв, однако, не только оборона, это и наступление на ветер. Степи нужен лес, нужны мощные линии зеленого заслона. Вновь поднимается на целине не новый вопрос о полезащитном лесоразведении. К числу крупнейших промахов

агротехники на новых землях надо отнести и этот: для лесоводства миновавшие десять лет прошли впустую. Мало того, что посадка новых полос фактически прекратилась, — старые, тридцатилетние лесопосадки на три четверти погублены. Какой урон этим нанесен, поможет понять пример, приведенный «Алтайской правдой»: «В Чистюньском свеклосовхозе в 1948—52 годах посажены лесополосы на площади около 90 га. Через 6—8 лет они начали приносить ощутимую пользу. За три последних года урожай зерновых здесь составил в среднем по 18,2 центнера с гектара, а на незащищенных полях — 12,3 центнера». Ни шатко ни валко идут работы по созданию двух государственных полос: Рубцовск — Славгород и Алейск — Веселовка. Намерение крайкома всерьез позаботиться о «зеленом друге» уже натолкнулось на трудности: мало машин и посадочного материала, растеряны нужные кадры. Лес на целине — это здоровье почвы, лес — это хлеб. Давно отжил миф о безмерных лесных богатствах Западной Сибири — при активнейшем вмешательстве человека она стала степью с зеленой опушкой на севере, лесной «подушный надел» в ней вдвое меньше, чем в среднем по стране. Повторю слова крупнейшего сибирского почвовед, лауреата Ленинской премии Константина Павловича Горшенина — года четыре назад я писал в «Советской России» о тревоге старого ученого:

— Подчас слышишь — «освоенная целина». Поспешный титул, очень поспешный... Пока мы здесь не создадим лесозащитного комплекса, об агротехническом освоении целины можно говорить только условно. Степной ураган всерьез боится только леса. Он начинает стихать на расстоянии пятнадцати высот лесополосы перед ее прохождением и обретает прежнюю скорость лишь через сорок высот. Даже десятиметровая полоса гасит бурю на полтора метра метров перед своей грудью и почти на полкилометра за своей спиной. Да здравствует целинный лес.

Вырастить лес в хлебобродной сибирской степи — дело великое. У него есть история, есть свои герои. Хочу сказать о полузабытом подвиге русского человека, жизнью заплатившего за лес в ковыльной степи.

На самом берегу Иртыша, километрах в сорока вверх от Омска, лежит зеленое чудо. Зовется оно Комиссаровским садом.

В конце прошлого века пришел сюда русский крестьянин Павел Саввич Комиссаров. Арендовал у казачества двадцать четыре десятины земли для дела странного, хлопотного и неприбыльного: стал создавать сибирский дендрарий. Он пытался выращивать у Иртыша южные древесные культуры — от дуба до белой шелковицы, сажал и сибирскую сосну, ель, лиственницу, создал отменный плодовый сад. Сколько раз вымерзали у него дубки, можжевельник, лох, как удалось ему вырастить превосходный лесопарк — узнать с каждым годом все труднее. Наследие его изучено плохо, немногие работы — в рукописях. Любимое дело поглощало все его доходы, до старости не удалось ему растянуть петлю нищеты, и, будучи уже почетным членом императорского общества садоводства, сибирский Мичурин летом ходил босым: сапоги были роскошью.

Он знал цену своему труду. Вряд ли ведомо было ему, что Менделеев, считая лесоразведение равнозначным защите государства, требовал освободить лесоводов от воинской повинности. Не страшась гнева властей, Комиссаров требовал от царского правительства отпустить с германского фронта сына, чтоб не дать погибнуть первому сибирскому дендрарию.

Отступающие колчаковцы оставляли большевикам пустыню. В свежий, юный сад Комиссарова, плод рук его и сердца, загнали полторы тысячи голов отощавшего скота. В считанные часы был истоптан, изгажен труд десятилетий. Человек, умевший воевать лишь с суховеями, упал в саду...

Семья подлечила сад. Новой весной представитель укома, пересчитывая деревья, как трофейные пушки, журил, что сосновый крест, а не рябинно-алую звезду поставили у изголовья лесного мастера. Через годы то было исправлено. Под сенью могучего дуба стоит теперь беломраморный обелиск с именем борца и такими понятными тут словами:

«Воля и труд человека  
Дивные дивы творят».

Воля и труд, твердый курс и работа способны облагородить степь, вернуть ей с лихвой все долги.

### «...БЫЛ ВЕЛИКИЙ СПОР»

Едешь ли в полях южной Новосибирска или плоская равнина алтайской Кулунды за стеклом «газика», держишь ли путь от Иртыша к Русской Поляне — всюду степь с виду совершенно однообразна. Осимей почти нет, паров в последние годы тоже не стало, и по полям невозможно узнать, в каком углу великой равнины ты находишься: стерня да зябь, зябь да стерня...

Природой эти места разнятся сильно, и в климатическом отношении единой «целины» не существует — есть сильно разнящиеся зоны. Среднее многолетнее количество осадков в Новосибирске — 495 миллиметров, а в Купино — 270, в Барнауле — 452, а в Целинограде — менее 300. Но предпринимаются попытки уравнять эти разные края в структуре площадей и в агротехнике.

В пути, на вынужденном досуге, листаешь блокноты и диву даешься, как уживаются на одной странице полярно противоположные мнения, аргументы яростного спора.

Сибиряк родом и наш однополчанин в борьбе за агрохимию, Дмитрий Николаевич Прянишников писал: «...Не может существовать одной системы, одинаково пригодной всюду, как для малонаселенных, так и для густонаселенных районов... Следует говорить о географическом размещении разных систем и связанных с ними севооборотов, в соответствии с общегосударственными интересами и учетом местных естественноисторических и хозяйственных условий и оставить мечту о каком-то «философском камне» универсального значения, о каких-то путях реформирования сельского хозяйства вне времени и пространства».

Эти слова привел, обращаясь к сибирякам, Никита Сергеевич Хрущев как образец спокойной мудрости агронома и ученого.

«Философский камень» шаблона и единообразия — плохое удобрение. Вот почему не гаснут агрономические споры. Одни расходятся в мнениях о борьбе с сорняками, другие толкуют о предшественниках, третьи — о мелиорации, запасании влаги в бедной дождями степи. Но суть спора сейчас всюду одна: в отношении к пару. Итак, пар чистый и черный. «Вредная роскошь», — утверждают одни. «Чистый пар — страхового амбара», — отвечают присловьем другие.

«...Если сейчас кто хочет иметь чистые пары, как переходное звено, не будем возражать». Эти слова Н. С. Хрущева, тоже адресованные сибирякам, должны бы, казалось, устранить сам предмет спора. Подтверждая, насколько выгоден хороший пар, в докладе на ноябрьском Пленуме ЦК Никита Сергеевич привел данные о совхозе «Красносельский» Целиноградской области. С паровых полей площадью в 5025 гектаров здесь получили по 16,7 центнера зерна на круг, тогда как массивы, занятые пшеницей восемь лет подряд, дали с гектара по четыре — шесть центнеров.

Книга агронома А. С. Шевченко «На целинных землях Сибири и Казахстана», основанная на точных фактах и объективном изучении дел, тоже выступает за выгоду паров. Анализ многих урожаев автор заключает выводом: «...пар в засушливой зоне является надежным средством получения высоких и устойчивых урожаев».

А спор все идет, нынешние суховеи сильнее раздули его пламя. И в моих руках сейчас своеобразный протокол этой заочной дискуссии. Его стоит предать гласности: в доводах есть новое.

Почему нет и не должно быть паров в Кулунде, убежденней всех говорил Федор Прокопьевич Шевченко, заместитель директора института под Барнаулом, ему и представлять сторонников беспарья. Возражают ему люди разные.

— Пар чужд нашей степи, он привезен сюда столыпинским переселенцем вместе с прочим скарбом на старой подводе, — говорит Ф. П. Шевченко. — Смысл в нем здесь меньше, чем в других зонах. После влажного года в сухой — пар выгоден, но после сухого года в сухой и во влажный он ничто, пустошь.

— Мы тоже уходили в зиму с мертвым запасом влаги, а хлеб, как видите, берем, — возражает А. И. Бараев. — Пар влияет на урожай отнюдь не один год, как это хотят представить. Прибавка урожая ощущается три-четыре года, и за этот срок полностью перекрывается недобор зерна за год, когда поле «гуляет». Сумма прибавок от пара за три последующих года на полях института составила: к тысяча девятьсот шестьдесят первому году — тринадцать и одна десятая центнера, к шестьдесят второму году — тринадцать и девять десятых центнера, к минушей осени — семнадцать и одна десятая центнера с гектара. Наш институт твердо заявляет: без чистых паров земледелие в Целинном крае, как и во многих районах Сибири и Алтая, вести нельзя! В ближайшие годы здесь надо отводить под пары до пятой части площадей, иначе не справишься со злостным сорняком, не повысишь сборы зерна.

Ф. П. Шевченко:

— Пропашной севооборот с достаточным насыщением кукурузой очистит поля от сорняка и даст добавочные корма.

— Вот мы приняли так называемый пропашной севооборот, — пишет в «Алтайской правде» И. Шумаков, председатель колхоза «Россия». — После кукурузы два-три года подряд следует пшеница, потом опять кукуруза. Но у нас поля засорены овсюгом. Как его вывести? В пропажном поле за один год он не уничтожается. Приходится сеять кукурузу два, а то и три года подряд на одном месте. Схема оказывается нарушенной, пшеница много лет высевается по пшенице.

Ф. П. Шевченко:

— Треть пропашных в севообороте — это, возможно, мало. Надо идти дальше, иметь кое-где половину кукурузы... Поймите, пар — это даже не агротехнический, а скорей организационный прием: с ним удобнее, можно лавировать, в засуху скот пасти. Борьба за пар — борьба за удобство.

— Вот паровое поле, самое хлопотное для нас, — показывает Н. М. Климаков, агроном омского совхоза «Боевой». — Найдете сорняк — выкуплю по рублю стебель. Считать сорняки на парах слабостью парпропадной системы — странность. Так и сорняки на кукурузе можно счесть недостатком пропашной. Нет, мы ведем послонную обработку, влагу копим, выбираем время для каждой работы. Но все это летом, когда свободны и люди и трактора. Пара у нас мало: нынче было восемь процентов, под будущий год — меньше двух. Но если средний урожай за десятилетие у нас четырнадцать и семь десятых центнера на круг, то тут и пар сказался. Нынче «саратовская-29» дает по пару пятнадцать центнеров, а лето было нелегкое.

А. М. Бараев:

— Кукуруза — ценная агротехническая находка. Но кукурузный массив привязан к ферме, в полевой севооборот его не удалишь. Там должен работать пар!

Ф. П. Шевченко:

— Канада считает выгодным иметь треть паров, это верно. Однако там максимум осадков выпадает зимой, парующее поле получает две зарядки. У нас же главные дожди летом, пар получает лишь одну зарядку.

А. Н. Каштанов, начальник Омского областного производственного управления:

— Не так давно обычной для Омска была сдача стране девяноста миллионов пудов зерна в год. Тогда, в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом — пятьдесят шестом годах, мы имели под парами около семисот тысяч гектаров. Теперь паров нет, но списываем за гибелью от сорняков и засухи сотни тысяч гектаров посева. Не хочу делать выводов, но списание гревожит...

Наконец слово Кургану, оплоту его агротехнической культуры — Шадринску. Родина и место творчества Терентия Семеновича Мальцева, Шадринск в наши



дни — символ устойчивого, тучного сибирского хлеба. Мальцевская система позволяет области, сеющей пшеницы втрое меньше Алтая, продавать государству уже два года подряд больше зерна, чем поставляет громадный край. Рассказывает секретарь парткома Шадринского производственного управления Алексей Ефимович Моисеев:

— У Терентия Семеновича под этот год было шесть процентов паров. Дожди прошли только семнадцатого июля. Урожай на паровых полях достигает двадцати пяти центнеров с гектара. В среднем с каждого из трех с половиной тысяч гектаров пшеницы артель «Заветы Ленина» получила по пятнадцать и шесть десятых центнера. Средний урожай пшеницы по управлению (мы сеем полтораста тысяч гектаров) — двенадцать центнеров. Присоединенные к управлению хозяйства Шатровского и Ольховского районов тоже ввели мальцевскую систему, намолачивают ныне по тринадцать центнеров на круг.

Краеугольным камнем позиции противников чистого пара является предположение: приход в восточные районы пропашных культур позволяет очищать поля от сорняков культивацией, кукуруза — отличный предшественник, следовательно, незачем терять ежегодно на целине несколько миллионов гектаров посева.

Это только предположение, ибо ликвидация паров и передача части этих площадей под пропашные не уменьшили засоренности земель, в пахотном слое накапливаются все новые мириады зерновок овсюга. Тут уместно привести мнение убежденного противника паров, но реалиста в земледелии Николая Максимовича Тулайкова: «...мы рассматриваем пар как средство борьбы с сорняками для создания лучшей обстановки для пшеницы. И если явится возможность провести радикальное уничтожение сорняков другими приемами, как, например, химическими препаратами, то от применения паровой обработки в таких случаях мы охотно откажемся».

Итак, сначала — гербициды, а затем уже ликвидация паров. И думается, правы руководители Целинного края, когда предлагают основное количество химических средств борьбы с сорняками направлять на новые земли<sup>1</sup>.

Но в засушливой степи — южноукраинской ли, западносибирской ли, все едино — чистый и черный пар был также мелноративной мерой, парующее поле становилось резервуаром влаги. «Гуляющий» массив накоплял и питательные вещества для будущего посева. Мероприятия по орошению, намеченные в последнее время, серьезно не отразятся на земледелии Казахстана и Западной Сибири. Химизация сельского хозяйства Российской Федерации развернется прежде всего в районах достаточного увлажнения, где от применения удобрений можно получить наибольший эффект. Госплан РСФСР предполагает к 1970 году выделить удобрения лишь на четвертую часть площади посева зерновых в Западной Сибири<sup>2</sup>.

Центральный Комитет партии предупредил также, что громадные массивы зерновых в Целинном крае не могут быть быстро и сполна обеспечены удобрениями. По мере роста производства удобрений будут все больше учитываться и нужды целины, указывает Н. С. Хрущев, ибо даже повышение урожая на два центнера при семнадцати миллионах гектаров зерновых дало бы по Целинному краю прибавку в двести миллионов пудов. Но в ближайшее время не Казахстан, а юг и черноземный центр России, Украина, Прибалтика будут получать основную массу туков.

Так что спешить с отказом от испытанного, вполне надежного способа получать хлеб в засушливой степи нет никаких оснований. «Там, где это необходимо, надо иметь чистые пары», — вновь подчеркнул Н. С. Хрущев в докладе на декабрьском Пленуме. И если зерно, пшеница, хлеб — самые веские аргументы в ученом споре, то ныне могут приводить доводы лишь сторонники паров: их оппонентам просто нечем крыть.

<sup>1</sup> Статья Г. Мельника в «Правде» от 4 декабря 1963 года.

<sup>2</sup> Статья В. Домрачева в «Советской России» от 3 декабря 1963 года.

Под светлым крылом лайнера — беспредельная, вогнутая от высоты степь. Агроном скажет: «старопахотная земля», а те, что прошли с нею десять хороших лет, и те, что со студенческой песней едут сюда впервые, зовут ее «целина», и правы они, а не агроном, потому что не одну землю имеют в виду. Преображение ковылей стало подвигом середины века, свершением страны в расцвете ее сил. Хлебный цех на востоке страны создан, ему отведено достойное место в программе могучего подъема сельского хозяйства, намеченного партией.

«Целина, товарищи,— это детище нашей партии, гордость нашего народа! — разнеслось с трибуны Двадцать второго съезда. — Мы должны добиваться, чтобы целинное земледелие стало символом культуры социалистического сельского хозяйства».

И добьемся! Целина выверила курс, она учится беречь и ценить каждый гектар, каждую пядь добытой земли. Не за горами время, когда уровень восточного земледелия, культуру его будут ставить в образец. И когда настанет срок, первое целинное поколение исполнит первейший завет земледельца: передать сыновьям землю лучшей, чем была она принята от отцов.



# ЛЮБИЛИСТИКА

Я. ТАВРОВ

★

## ГОД МИНУВШИЙ И ГОД НАСТУПАЮЩИЙ

### ЗАМЕТКИ О НОВОМ В ЭКОНОМИКЕ

**К**акие бы события, потрясающие порой все пять континентов, ни происходили в нашей стране, они не заслоняют, а лишь оттеняют в сознании советских людей основу основ социалистического бытия — наше хозяйственное строительство. В нем и ключ к великим духовным переменам, в нем и предугаданные Лениным истоки нашего главного революционного воздействия на ход мирового развития.

Вся история после октября 1917 года стала живым доказательством этой истины. Ее с впечатляющей убедительностью утверждает доклад Н. С. Хрущева на декабрьском Пленуме ЦК партии. Столь же смелый, сколь реальный план ускоренного развития химической промышленности и строгий, деловой анализ некоторых итогов нашего хозяйственного строительства, прозвучавшие 9 декабря с трибуны Дворца съездов, вызвал благоприятнейший резонанс во всем мире.

Минувший год был своего рода «юбилейным». Он завершил десятилетие, прожитое нами при новом руководстве партией и страной. Речь идет не о таком уж большом сроке в жизни народа. Но это оказалось достаточно, чтобы Советский Союз, уже в 1953 году занимавший второе место в мире по уровню промышленного развития, почти утроил свою индустриальную мощь, повысил без малого в два раза производительность труда, более чем вдвое умножил национальный доход. Когда же рассматриваешь ведущие отрасли, то коэффициент увеличения — два — оказывается самым скромным. Для газа он равен одиннадцати, для цемента — пяти (здесь по абсолютному объему производства мы уже опередили США), для пластмасс и синтетических смол — больше пяти, для нефти — почти четырем, для электроэнергии — три с лишним.

В минувшем десятилетии не соорудались претенциозные небоскребы, не облицовывались щедро мрамором станции метро, зато сто восемь миллионов человек, или половина населения страны, переехали в новые квартиры или улучшили свои жилищные условия, и по объему жилищного строительства мы вдвое превзошли США.

Если цифры могут петь, то они в данном случае поют гимн созидания.

Таково десятилетие. Что же можно сказать о самом 1963 году?

Два важнейших показателя характеризуют нашу индустриальную мощь — темп развития и абсолютный масштаб производства. На восемь с половиной процентов по сравнению с 1962 годом возрос в минувшем году выпуск нашей промышленной продукции. Отличный шаг. Оценивая его, надо помнить о емкости советских процентов. Она возрастает из года в год. Совсем недавно — в 1958 году — за увеличением добычи нефти на один процент стояла абсолютная цифра — один миллион сто тысяч тонн. Теперь этот процент «весит» два миллиона тонн! Если вести речь о всей промышленно-сти, то один процент весит в полтора раза больше.

Уверенный темп, возросший масштаб роднят минувший год с его предшественниками. Что же его от них отличает? Девизом к нему смело могут быть поставлены слова: «Дайте экономическое обоснование, тогда будем решать», сказанные Н. С. Хру-

шевым в Астрахани. Они заставили нас по-новому взглянуть на многие свои решения. И не потому, что раньше вовсе игнорировалась экономическая сторона дела или вовсе не велся счет. Пришло время считать гораздо строже, научнее, используя новые, недавно еще немислимые возможности (рассказ о них пойдет дальше).

Как образно выразился автор одной экономической статьи: «Даже богу высшей техники нельзя молиться без экономического анализа!» Мысль абсолютно верная. Иное дело, что на практике такой анализ всегда ведет нас — и это одна из черт современности — в авангардные отрасли технического прогресса, в промышленные зоны, охваченные цепной реакцией непрерывных открытий.

Просто неисчерпаемые источники сбережения общественного труда таит в себе современная химия. Она вносит революцию в самый консервативный элемент — материалы. Вместе с принципиально новым и сказочно дешевым сырьем возникает принципиально новая, необычайно экономичная технология. Идет ли речь о тканях, о защите растений, об ускоренном откорме скота или замене тормозных стальных колодок в поездах пластмассовыми — чудодейственная сила химии позволяет достигать наилучших результатов с наименьшими затратами. А это и есть наш главный экономический критерий. Вот почему в самом своем существовании «следует» за Лениным новая формула коммунизма, получившая путевку в жизнь на декабрьском Пленуме, — «коммунизм — есть Советская власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства».

Кончается привычное, вековое промышленное первенство металла. В сообщениях ЦСУ об итогах выполнения народнохозяйственного плана на первом месте отныне стоит химия, и не только по тому значению, которое она приобретает в техническом прогрессе, но и по темпу развития. На семнадцать процентов больше по сравнению с соответствующим периодом 1962 года изготовлено в нашей стране за девять месяцев химических продуктов, в том числе минеральных удобрений на четырнадцать процентов, а синтетических смол на двадцать пять. Кажалось бы, отличный темп. И все же по нынешней мерке он еще мал!

Удивительные настали времена! Уже за первую половину прошлого года было произведено важнейших видов продукции больше, чем за весь 1953 год. За три квартала тот же год был превзойден вдвое по выпуску минеральных удобрений, почти вчетверо по искусственному синтетическому волокну и в три раза по цементу.

— Мало, — твердим мы, — мало!

Но не одни только количественные характеристики любопытны. Вспомним, что говорится в Программе партии:

«Коммунизм представляет собой высшую форму организации общественной жизни. Все производственные ячейки, все самоуправляющиеся ассоциации будут гармонически объединены в общем планомерно организованном хозяйстве, в едином ритме общественного труда».

Гармоничность. Ритм. Эти понятия вводят нас в атмосферу хозяйства, столь глубоко слитого во всех своих клетках с потребностями общества, с его коллективной волей, его коллективным разумом, что экономика приобретает необычайную органическую целостность, превращается в своего рода идеальную самонастраивающуюся систему. Говоря языком проектировщиков, мы «отрабатываем» эту систему уже сегодня. И тут в минувшем году сделан несомненный шаг вперед. То был год, когда сама жизнь проверяла эффективность новой системы специализированного партийного руководства, принятой ноябрьским Пленумом (1962 год) ЦК КПСС.

Революционная перестройка привычных методов партийной работы привела к более глубокому проникновению в экономические процессы. Никогда прежде «общие» обкомы партии не смогли бы так дотошно изучать титульные списки новостроек, как это делали теперь промышленные обкомы. Не было прежде и того, чтобы партийные комитеты рассматривали балансы предприятий. Перечень нового в этой области завел бы нас очень далеко.

Что же все это принесло? А вот что.

В минувшем году каждый второй-третий рабочий и служащий был участником движения за коммунистический труд.

Производительность труда в промышленности возросла на шесть процентов. Такой рост равнозначен высвобождению для новых дел одного миллиона двухсот тысяч рабочих, а дел таких, к счастью, так много, что только подавай светлые головы, работающие руки.

Семьсот миллионов рублей сверхплановых накоплений — таков итог работы всей промышленности в области снижения себестоимости.

И всего этого удалось достигнуть, несмотря на множество частых разного рода неурядиц и тормозящее влияние местнических тенденций, несмотря на отдельные просчеты и не преодоленную до конца рутину в деятельности плановых органов. А если бы этих помех не было?!

В нашей жизни нередко самые неблагоприятные события в силу правильной реакции на них общества становятся своего рода рубежом, откуда будущий историк поведет отсчет важных перемен. Так случилось и с трудным, недородным минувшим годом. Зима и лето словно сговорились нанести наибольший ущерб урожаю. Малоснежье и долгие суровые морозы погубили озимые, небывалый зной выжег яровые. Зона метеорологического сдвига охватила громадное пространство двух материков. Семьдесят пять лет Западная Сибирь не знала такой жары. Когда-то после такой беды целые деревни переселялись на погост и надолго зарастали бурьяном непаханные земли. Засевать их было нечем. А мы до последнего гектара засеяли озимый клин. И с яровым будет так же. Хотя нанесенный «стихией» удар нарушил многие расчеты и создал серьезные трудности, он в очень большой степени амортизирован благодаря устойчивости и организованности нашей экономики.

В суровом испытании прошлого года многие районы, области, края и даже республики делом доказали могучую силу общего труда на совхозно-колхозных полях и засыпали в государственные закрома сотни миллионов пудов зерна. История не забудет, что в недородный год сдано на восемьсот тридцать шесть миллионов пудов зерна больше, чем в 1953 году. И все же то, что случилось, показало, сколь велика еще в земледельческих делах наша зависимость от природы. Не пришла ли пора ее ослабить?

«Пришла», — сказала партия и выдвинула научно обоснованный план ограждения земледелия от стихийных бедствий.

Основа этого плана — химизация сельского хозяйства и развитие орошаемого земледелия — отражена в генеральной двадцатилетней перспективе. Метеорологический урок дал лишь толчок делу. Сам по себе урок был бы ни к чему, если бы мы экономически и технически не созрели для того, чтобы в весьма короткий срок мобилизовать для сельского хозяйства весь арсенал средств, созданных химией, начиная от классического трехчленного ряда удобрений — азот — фосфор — калий — и кончая новооткрытой магической силой микроэлементов — стимуляторов роста и «хитроумностью» гербицидов, избирательно уничтожающих сорняки в посевах (пятьсот граммов карбина спасают от четырех до семи центнеров зерна на одном гектаре).

Химизация почвы повысит общую урожайность, причем затраты на нее окупятся необычайно быстро: ведь один рубль вложений в производство минеральных удобрений вернется приростом урожая на десять рублей.

И это не все. Помимо опоры на химию, предполагается создать прочный страховой урожайный фонд на орошаемых землях.

— Прекрасно, — раздаются голоса некоторых скептиков, — но почему же этим не занялись раньше?

Не раз уж и при иных труднейших обстоятельствах мы слышали подобные вопросы. Но в самом ответе — прямом и честном — обычно выявляется практическое банкротство скептицизма. Производить через год тридцать пять миллионов тонн удобрений еще несколько лет назад было бы просто маниловщиной. Насколько же такая задача реальна теперь, можно судить по простому факту: лишь в минувшем году мощность наших заводов минеральных удобрений возросла примерно на шесть миллионов тонн. И программе орошения тоже положено неплохое начало — воды Днепра пришли в Крым. И это далеко не первый оросительный канал в стране.

Выходит, что и раньше занимались и химизацией и орошением. Но сейчас будет иной темп. И высокая культура земледелия будет внедряться также по-иному. По под-

счетам ученых, применение безотвальной вспашки, правильный подбор сортов, посев зерновых в наилучшие сроки и химическая подкормка дадут возможность собирать только в Целинном крае устойчивый урожай зерна в миллиард пудов.

В 1922 году, когда Советская Россия только выбиралась из пропасти небывалой хозяйственной разрухи, Владимир Ильич Ленин писал:

«В фантастическую быстроту каких бы то ни было перемен у нас никто не поверит, но зато в быстроту действительную, в быстроту, по сравнению с любым периодом исторического развития, взятым, как он был,— в такую быстроту, если движение руководится действительно революционной партией, в такую быстроту мы верим и такой быстроты мы во что бы то ни стало добьемся».

Держать темп значило для нас выжить, выстоять, победить. Мы добились быстроты, о которой говорил Ильич. Скорость нашего движения не раз удивляла мир. Но если бы совсем недавно, даже в 1957 году, кто-нибудь высказал предположение, что мы вскоре сможем построить за пять лет половину того, что было возведено ценой величайшего напряжения за все предшествующие годы советской власти, то такого человека, пожалуй бы, назвали прожектером, фантазером. Но случилось именно так. За 1959—1963 годы основные фонды нашей промышленности увеличились более чем наполовину. Лишь один минувший год вместил по объему произведенных капитальных вложений всю четвертую пятилетку. Если бы мы попытались привести перечень важнейших завершенных строек года, он занял бы немало страниц. В одном только октябре газопровод Бухара—Урал дошел до Челябинска, сдана в эксплуатацию первая очередь крупнейшего Качканарского горнообогатительного комбината и, как уже говорилось, перерезана алая лента первой очереди Северокрымского канала. А мы все-таки недовольны. Декабрь еще богаче отрадными событиями. Лишь в канун Пленума ЦК партии вошли в строй крупный азотнотуковый завод в Гродно, первая очередь Омского завода синтетического каучука, на миллион тонн возросла мощность первенца первой пятилетки Березниковского калийного комбината. Да разве все перечтешь! И все же мы хотим большего.

Мы сооружаем крупнейшие домны менее чем за год, за десять месяцев возведена и введена в строй большая обогатительная фабрика в Криворожье, а Топкинский цементный завод в Кузбассе строится десять лет и до его окончания еще очень далеко. Таких строек «с бородой» немало. Винай тому неоправданное рассредоточение ресурсов. Ни к чему строить одновременно без малого двести тысяч объектов. Вот и получается, что в незавершенном строительстве сегодня заморожено семнадцать процентов годового дохода страны. Конечно, без незавершенных работ полностью не обойтись, но не столько же!

Есть и другие серьезные огрехи. Например, незачем строить промышленные сооружения по трем тысячам типовых проектов, по сути очень близких к индивидуальным. Да и в типовых проектах нет должной унификации отдельных конструкций. Вот и получается, что в стране, занимающей первое место в мире по производству сборного железобетона, большинство промышленных зданий в отличие от жилых по-прежнему строится — в старом понимании этого слова, — а не монтируется из готовых элементов. В результате доля полносборных объектов в промышленном строительстве равна всего тринадцати процентам.

Таковы плоды еще сохранившегося кустарничества в проектировании. В минувшем году этой практике нанесен жестокий удар. Отныне проектирование нового строительства могут вести лишь проектные институты Госстроя СССР, проводящие единую прогрессивную техническую политику в строительстве.

В нынешней обстановке коренным образом меняются объем и значение строительства на селе. Чтобы те же миллионы тонн удобрений принесли ощутимую пользу, нужны склады для них, гаражи для машин, которые их будут перевозить. Так, за что ни возьми — от животноводства до орошения — всюду нужны строители.

В 1963 году в обиход села вошло новое понятие — механизированная подвижная колонна. О таких колоннах есть специальное решение правительства. Уже в новом году

счет их пойдет на сотни. В колонне все, решительно все — от механизмов до мастерских и даже жилья — на автоходу. Надо — и разбила колонна лагерь в одном совхозе, а через неделю она уже строит за сто километров от него, и на такой путь ей и дня не надобно. Я сказал: строит — и выразился неточно. Колонна не призвана строить, она должна собирать здания из стандартных конструкций.

В село пришел индустриальный метод строительства. До 1953 года по гораздо меньшим поводам тотчас же поднимался трезвон о стирании граней между городом и деревней. Ныне же такое действительно крупное событие не нашло публицистического отклика в нашей печати. Но это не беда. Было бы дело.

\* \* \*

Раньше всех новый год встречают экономисты. Это верно вообще. Но еще недавно было так: только набирает силу год текущий, а в первых расчетах и прикидках плановиков уже подготавливается приход его сменщика. Он еще не родился, но уже заявляет о себе в контрольных цифрах. В них Госплан предварительно расставляет основные вехи будущего плана.

Так велось многие годы. А минувшим летом контрольных цифр вовсе не было. Скажи кто-нибудь прежде, что подобное возможно, он попал бы в чудачки. Представим себе человека, никогда не передвигавшегося без палки, она стала для него как бы третьей конечностью. И вдруг ее отняли — ходи, мил человек, сам.

— Как же быть? — слышались растерянные возгласы.

Недоумевали хозяйственники с весьма солидным опытом. Они привыкли к сложившемуся порядку. Заводу сверху устанавливали основные показатели будущего плана, своего рода обруч; в него оставалось только вписаться. Конечно, очередной шаг вперед надлежало экономически и инженерно обосновать. Но так как новый рубеж намечался, исходя из испытанного критерия — достигнутого уровня, — то на практике такое обоснование не всегда отличалось необходимой глубиной.

Никто не полагался на пресловутую «кривую», которая авось вывезет. Все понимали — подниматься в гору из года в год нелегко, есть над чем поразмыслить. И все же в планировании часто шли проторенной тропой.

Понятно, никому не запрещалось перешагнуть за черту контрольных цифр, но для этого требовалось особое рвение, а его всегда ослабляла невольная мысль: наверху же знают, чего хотят, оттуда, сверху, видней.

— Вникайте сами, берите на себя ответственность за план от начала до конца, выкладываете на государственный стол все резервы, все возможности — и вот тогда-то наверху по-настоящему будет видно, что можно взять от народного хозяйства в целом, — таков самый общий смысл письма ЦК КПСС и Совета Министров СССР об основных принципах и направлениях разработки народнохозяйственных планов.

Письмо адресовано всем, всем, всем — от низовых партийных, общественных организаций, предприятий, строек до коллективов центральных государственных органов, ответственных за развитие народного хозяйства. Оно требует нового подхода к формированию плана. Надо смело ломать сложившиеся в народном хозяйстве пропорции, расчищать дорогу перспективным, подчас вчера еще не существовавшим видам производства. Но приоритет наиболее революционных отраслей промышленности ни в коей мере не означает ни забвения сопутствующих отраслей, ни нарушения гармоничности народного хозяйства. Они воссоздаются на высшей основе.

«Успех дела коммунистического строительства в значительной степени зависит от того, насколько правильно будут составлены планы развития экономики. Поэтому вопросы планирования партия должна взять в свои руки», — говорил Н. С. Хрущев на июньском Пленуме ЦК КПСС.

Партия так и сделала, она внесла большие перемены в привычные формы планирования. Это вовсе не дает повода хулить хотя бы те же контрольные цифры — они славно послужили социализму. Контрольные цифры помогли выработать чувство плановой дисциплины. В них был воплощен достаточный для своего времени класс точно-

сти. А теперь он уже не может удовлетворить нас. Все стареет, все отживает, но достойно уважения то, что с честью отслужило свой срок.

Общественно-экономические процессы не совершаются «молниеносно» даже при социализме, хотя они и убыстряются. Мы часто вынуждены вести счет на годы там, где нам очень хотелось бы обойтись месяцами. Искусство руководства народным хозяйством в том и состоит, чтобы сделать решающий поворот к осуществлению новых задач именно в тот момент, когда в результате исподволь подготовленных предпосылок задачи эти становятся достижимыми.

Так именно обстоит дело с планированием. Новые задачи диктуются самой жизнью, они органично входят в стройную, последовательно осуществляемую программу совершенствования руководства народным хозяйством. Партия может по-новому воздействовать на планирование, потому что созданы специализированные по производственному принципу партийные органы. А государство — потому что перестроены высшие плановые органы и укрупнены экономические районы. Помимо того в хозяйстве, на наше счастье, действует еще один замечательный помощник — дух последнего десятилетия. Его нельзя понять, оставаясь только в сфере экономики. Сколь ни огромен скачок, совершенный нами на главном поле борьбы за коммунизм — развитии производительных сил, — еще значительней психологические перемены. Мы просто не можем представить себя в климате прежних лет.

Проекты планов на 1964—1965 годы, составленные на местах без контрольных цифр, вызывают разные чувства. По одним видишь: «обруч» сняли, а построение все такое же, как если бы он остался. В других — и их, к счастью, больше — отмечаешь иное: люди думали, искали и многое нашли.

В Нижне-Волжском совнархозе плановый счет снизу выявил реальные возможности уже в следующем году увеличить выпуск химической продукции почти на пятьдесят процентов. На Московском электромеханическом заводе имени Владимира Ильича коллективно разработан план, который выведет завод в 1965 году далеко за рубежи, намеченные для предприятия семилеткой.

На Данковском химзаводе в результате нового планового счета объем производства крайне нужных хозяйству кремнеорганических соединений, жидкостей, смазок возрастет в 1964 году вместо двадцати восьми процентов почти на две трети. Такие планы и делают сейчас погоду в экономике.

В чем же их сила? Прежде всего в коллективном, обоснованном и нераздельном счете технических и хозяйственных возможностей.

Всенародный плановый подсчет ресурсов всесторонне сбалансирован, обобщен и развит Госпланом Союза в народнохозяйственном плане, утвержденном правительством на 1964—1965 годы.

Новое в нашем хозяйстве всегда влечет за собой и новое в нашем сознании. В минувшем году более зрелым стало присущее советскому человеку чувство хозяина. Оно ведет людей на бескорыстную работу в творческие комплексные бригады, в общественные бюро нормирования и экономического анализа. Давно ли зародились первые такие бюро? А сейчас в стране действует девятнадцать тысяч общественных бюро экономического анализа: десять миллионов человек изучают экономику лишь в сети политического просвещения. И повсюду за приобретением знаний следует практическая подсказка. Пусть иногда она сулит копейку, подсказок-то миллионы!

Вездесущность идеологии ясна каждому советскому человеку. Июньский Пленум ЦК КПСС был повернут прежде всего к фронту культуры. Но тем, кто будет писать историю строительства материально-технической базы коммунизма, это событие обойти так же невозможно, как невозможно обойти в ней другие пленумы, целиком посвященные экономическому строительству. И до июня 1963 года все отдавали себе отчет: самый неисчерпаемый из наших резервов таится в человеке, в его качествах. Совершенствовать их — значит совершенствовать и все остальное. Уже сегодня мы могли бы быть несравненно богаче, если бы каждый человек в любом деле отдавал все то, что он может дать.



Чем совершеннее техника, сложнее хозяйство — тем большие этические требования предъявляют они к человеку.

Мы упорно боремся с идущим на убыль, но все еще реально существующим разношерстным племенем хапуг, лодырей, себялюбцев. Но очень часто ущерб делу наносят люди совершенно другого склада. Один мой друг-сибиряк — строгого, аналитического ума человек, планирующий дела немалой важности, — рассказывая мне о своем директоре, назвал его стратегическим человеком. Такое определение делало бы честь, если бы дано оно было за продуманность смелых замыслов, умение видеть в хозяйстве, как говорится, «на много ходов вперед». Однако произнес его мой друг с иронией. Оказывается, видит-то «стратегический» директор далеко, да только вовсе не стремится к тому, чтобы в заводские дела так же далеко заглядывали, например, в совнархозе и вообще вне завода. Знать «про себя» все, знать больше другой, «командующей» стороны, сохранять с ней отличнейшие отношения и деликатно водить ее за нос при защите заявок, плана, используя дружественное расположение, — в этом суть «стратегии» сего директора. Он выбьет сырьевых ресурсов больше, чем иные, и станков отвоюет больше, чем ему надо. А вот самые трудные позиции в программе он охотно переступит другим директорам. Оно спокойнее, ежели трудный план у других. И успех всегда в кармане.

Так, очевидно, рассуждали и руководители бывшего Тульского совнархоза. Они вначале доказали нереальность установленного задания по росту производительности труда в размере 8,9 процента. Задание уменьшили, и тогда оно оказалось невыполненным почти на треть. Для чего же были обоснования, протесты?

Охотников гарантированного успеха немало. И это отнюдь не пропащие руководители. Они, как правило, обладают многими достоинствами, их нельзя сбрасывать со счетов — они просто нуждаются в серьезной «нравственной доводке».

Еще острее ощущаешь значение морального фактора, когда бываешь на отстающем заводе и пытаешься уяснить себе, почему же он плетется в хвосте. Оправдывающих и объясняющих причин набирается ворох. Ни одна из них не вымыслена: и того у них нет, и другого, и третьего. Неповинны люди в прорыве — и все!

Однако, если отправиться на передовые заводы родственной отрасли, то обнаружится презанятная вещь — у них точно те же помехи, заминки, препятствия, но почему-то здесь на них не ссылаются. Их предпочитают преодолевать. Мал, к примеру, станочный парк — организуют вторую, третью смены (кстати, всего в промышленности даже в первой смене практически используется около сорока процентов металлорежущих станков), подводит завод-поставщик — и коллектив обращается с призывом к коллективу. Иногда это не помогает и тогда находится совершенно неожиданное решение — новая технология.

То, что любая объективная причина ведет к людям — азбучная истина. Суть дела в другом. Почему по-разному работают люди? В стране, где в народном хозяйстве заняты десять миллионов специалистов, трудно сетовать на дефицит знаний. И если на землях Орловщины, в двух расположенных в одинаковых природных условиях колхозах, в одном («Революция») урожай составил 13,6 центнера зерна, а в другом («Знамя Ленина») — 5,5 центнера зерна, а по производству мяса разрыв в четыре раза, то этого не объяснить сегодня большей или меньшей насыщенностью специалистами. И почему от четверти до одной трети предприятий Красноярского, Донецкого и других совнархозов не справились с планом по выпуску продукции — это тоже отсутствием специалистов не объяснишь.

Решает разная, я бы сказал, «моральная тяга». Это понятие следовало бы учитывать при экономическом анализе. Чаще всего там, где что-то заедает, не ладится, мы обнаруживаем руководителя, которому работа и по силам, и по знаниям, но не по душевным качествам. Сколько их еще — энергичных, знающих, но пораженных язвой местничества, «запасливых» руководителей, охотников «слукавить» в плане. Этим людям нужно совершить необходимый шаг в своем нравственном развитии, иначе жизнь сметет их со своего пути.

В минувшем году много дельного говорилось о материальных стимулах совершенствования производства. Задача не новая. Но ставится она по-другому, ибо к ней теперь ведет более глубокое понимание важнейших экономических показателей — производительности труда, качества, себестоимости. Теперь суть не в том, чтобы просто поощрять хорошую работу, — надо заинтересовать в хорошей работе при высоких плановых заданиях.

Ныне при премировании выигрывает пока еще завод, где иногда командует «стратегический» директор — мастер уклоняться от напряженных заданий. Надо сделать так, чтобы любые поощрения и награды — материальные и моральные — давались по заслугам тем коллективам, которые работают с чистой совестью, не утаивают ни малейшего своего резерва.

Есть еще одна немаловажная задача. До сих пор в ряде случаев мы в планировании находимся как бы во власти арифметических представлений и оперируем лишь элементарными заводскими показателями там, где следует видеть и учитывать сложные функциональные зависимости (например, между производительностью труда и качеством продукции), которые сказываются на громадном расстоянии от заводских стен — на месте потребления или применения продукции. Выпустило предприятие больше изделий, да еще стоят они чуть дешевле, чем утверждено в плане, — значит, все хорошо. Но какой, к примеру, смысл поощрять за увеличение выпуска тракторов, если почти треть тракторного парка страны простаивает главным образом из-за того, что наиболее ходовые части трактора наименее долговечны? На заводе с производительностью все в порядке, а в целом по стране эффект работы всех тракторных заводов снижен едва не на треть. Стало быть, следует поощрять не просто за выпуск, а за выпуск более надежных машин. Тогда повышение качества будет равнозначно увеличению производства.

Однако при нынешней системе планирования, далеко не всегда учитывающей народнохозяйственный выигрыш от повышения качества продукции, завод, который производит меньше тракторов, но более долговечных, будет по сводкам работать хуже, и, если он выпускает такое же количество, его показатели тоже снизятся, потому что качество стоит труда и денег. Следовательно, надо стимулировать борьбу за качество, ввести в план либо поправочный коэффициент качества, либо вести учет условных эффективных единиц. Это значит, что если предприятие выпускает трактор с увеличенным в полтора раза против обычного сроком безаварийной службы, то один такой трактор должен засчитываться за единицу плюс энная величина. Тем самым будет создана материальная заинтересованность в создании долговечных машин.

Но и самый совершенный материальный стимул может работать «на себя», если для него не подготовлена нравственная почва и человеку неясен высший, так сказать, стимул стимулов — стремление создать совершенное общество для совершенного человека. Это стремление побуждает брать на себя добровольную ответственность за ход производства.

...Из года в год промышленность Еревана успешно выполняет план. И точно так же из года в год энное число предприятий остается в долгу перед государством. Средняя цифра прикрывала провалы отдельных предприятий. С этим не мирись в горьком партии. В 1962 году число заводов-должников снизилось вдвое, а дальше дело застопорилось. Разобраться в этом до конца было нелегко. Тогда возникла мысль создать при горьком партии действующий на общественных началах орган постоянного технико-экономического анализа. И, стало быть, постоянного экономического воздействия. То была одна из тех идей, которые носились в воздухе. Додумать до этого не трудно. Труднее найти людей, которые по внутренней потребности взялись бы за этот постоянный и сложный труд, посильный к тому же лишь очень квалифицированным специалистам.

Подбирали людей по принципу: человек должен уметь и человек должен хотеть. Никаких нажимов и уговоров. Такие нашлись. У одних был опыт партийной работы, у других — хозяйственный, знания ученых дополняла практическая осведомленность рабочих-новаторов.

Затем потребовалось очертить круг деятельности совета, выработать для него «основной закон». Он сформулирован был весьма лаконично — всего две функции: регулярно анализировать деятельность предприятий; давать рекомендации, как устранить помехи и вывести отстающих в передовые.

Весть о создании совета была встречена весьма прохладно на некоторых заводах: и так, мол, не передохнешь от разных контролеров-советчиков, а тут выискались еще любители. Иногда стон по поводу всяческих «торможений» кажется убедительным, но почему-то после такого рода операции (если она проводится с толком, не ради пресловутой «галочки», не ради проформы) всегда обнаруживается — у одних стонущих текли, как сквозь решето, государственные денежки, у других — ржавело «выколоченное» впрок оборудование.

Получается, тормозили не зря. А как часто протест против «торможения» прикрывает желание уйти от контроля. Когда в Ереване кое-где наметились подобные настроения, горком партии провел расширенное заседание совета с участием секретарей райкомов и директоров заводов.

— В тот вечер мы окончательно определились, — рассказывал председатель технико-экономического совета, кандидат экономических наук Левон Варданян.

«Мы» — это двенадцать членов совета. Им не возбраняется привлекать дополнительные силы. Поэтому уже проверено шестнадцать предприятий. Установилось незыблемое правило: кто обнаруживает неполадки, тот их и устраняет. И их уже немало устранено. Но смысл деятельности совета отнюдь не исчерпывается единичными обследованиями. Обследования эти проводятся для того, чтобы определить типичные для данной отрасли промышленности явления и найти способ покончить с существованием отстающих предприятий.

Кое-что уже удалось сделать. Совет готовит научно-техническую конференцию на тему «Состояние организации производственных процессов и оперативного планирования на предприятиях машиностроения». На нее приглашены ученые из Москвы, Ленинграда, Киева. Так орган общественного контроля становится как бы научно-исследовательским центром. Излишне говорить, что он действует на началах подлинно коммунистического бескорыстия.

\* \* \*

Немало размышлений вызывает чтение экономических журналов, вышедших в минувшем году. Невольно сопоставляешь их нынешнее содержание с тем, что печаталось еще не так давно. Тогда ядро каждого номера составляли монументальные цитатно-описательные статьи. Упоение успехами вместо глубокого анализа. О критическом изучении зарубежного опыта не было и речи. Все отвергалось целиком. Эконометрика — сплошной вздор! Дизайнерство — то же самое! Факты говорят другое? Тем хуже для них! Не было методики определения эффективности капитальных затрат, совершенно не производились экономические эксперименты, не совершенствовалась система плановых показателей.

В последних экономических работах, появившихся в журналах, радует актуальность проблематики, дух научного исследования. В таких журналах, как «Вопросы экономики» и «Плановое хозяйство», ныне основное место занимают статьи, представляющие собой инструмент хозяйственного воздействия. Они служат генеральной задаче — достигать наибольших результатов с наименьшими затратами. И стремительное развитие химии, и курс на автоматизацию, и специализация, и борьба за удлинение срока службы изделий — все для этого. Однако экономисты-ученые еще в долгу перед страной. Они находятся лишь на подступах к системе совершенных плановых показателей, которую обязал их разработать ноябрьский Пленум ЦК партии.

Самое правильное в принципе решение должно проверяться, подтверждаться обоснованными расчетами. Уж на что, казалось, неоспорима предпочтительность реконструкций действующих предприятий в сравнении с постройкой новых. Как правило, так оно и есть. А вот при расширении литейного цеха Климовского машиностроительного

завода удельные капитальные вложения на тонну литья в полтора раза выше, чем на новых предприятиях...

Каждый день из наших рук ускользает огромное невидимое богатство. Удержать его может лишь строгий, научный учет. Отрадно, что появились подкрепленные расчетами, формулами экономические статьи. Они невелики. Язык математики — язык емкий. И там, где прежде исписывались десятки страниц, теперь — глядишь — обходятся тремя-четырьмя!

Нова не только возросшая способность научно считать (тут еще впереди немалый путь совершенствования) — гораздо более емким и широким стало понимание экономических явлений.

Появились работы, посвященные общественной психологии как фактору производства, технической эстетике. Природа прекрасного в технике стала живо интересоваться хозяйственников. «Всякая машина почти всегда — красавица», — писал в свое время А. В. Луначарский. То была пора, когда нас радовала любая степень власти над техникой. Теперь отлично работающие механизмы не до конца устраивают нас, если внешне они несовершенны. И нас, и мировой рынок. Эстетика превратилась в фактор экономики, и в промышленность вошла новая фигура — художник-конструктор.

Десять миллионов человек заняты сегодня в сфере управления, планирования и учета. Заняты и не всегда вполне справляются со своим делом. И это неудивительно. Тридцать—сорок тысяч показателей насчитывает в среднем техпромфинплан машиностроительного предприятия. Около двух-трех месяцев должно уйти на то, чтобы строго увязать его во всех разделах. Таким сроком редко располагают. Тогда план «увязывается» примерно. Более того, в него вносятся непрерывные поправки, и первоначальные разрывы все более возрастают. Это относится подчас и к планам объединенных совнархозов.

Планирование неотделимо от отчета. С предприятий «наверх» движется лавина информации. В ней есть лишнее, повторяющееся и зачастую нет необходимого. По разнообразным поводам летят на места сотни запросов. И это не блажь. Нельзя руководить без информации. Так к десяти миллионам добавляются еще сотни тысяч людей, занятых прояснением производственной обстановки.

Унаследованный от прошлого кустарный, ручной способ обработки информации вступил в глубокое противоречие с гигантскими масштабами нашего хозяйства и с уровнем техники. Но неужели принципы обратной связи, саморегулирования, составляющие суть кибернетики — одного из главных направлений научно-технической революции, — не могут быть широко использованы для управления социалистическим производством? Конечно, могут.

Со временем будет так: первичной единой клеткой народнохозяйственного плана и учета явится математическая модель конкретного экономического процесса, то есть деятельности данного предприятия. Модель будет представлять собой единую синтетическую сбалансированную таблицу, где со строгостью, доступной лишь математике, будут сведены воедино, надежно увязаны между собой совмещенные показатели. Они дадут как бы зеркальное отражение построенных наилучшим, экономичнейшим образом процессов, зависимостей, из которых складывается нормально развивающаяся производственная жизнь, включенная в определенный отрезок времени.

Эта чудо-таблица, именуемая матрицей и снабженная кодом (для обработки на быстродействующих электронно-счетных машинах), заменит целые тома плановых расчетов. В соответствии с матричным техпромфинпланом будет построен матричный отчет. Строжайшая унификация, отказ от справочных и производных показателей позволят сократить объем отчетности в двадцать—тридцать раз и гарантировать одновременно его полную достоверность.

От заводских машинно-счетных станций (организованных уже на большинстве предприятий) через механизированные диспетчерские узлы экономических районов к вычислительным центрам республик и далее в Москву протянется единая информа-

ционная система Советского Союза. На этом большом пути будет постепенно отсекается все то, что имеет значение лишь для мест, и, напротив, подчеркиваться важное для всей страны. Переход на новую скорость информации повлечет за собой иной, более быстрый темп реакции на любой производственный перебой, который будет тотчас же заснят на «электрокардиограмме» производства, именуемой матричным отчетом.

Это не фантазия. В Московском совнархозе уже создан диспетчерский центр, а схема единой плано-экономической информации разработана в Экономико-математическом институте Академии наук СССР.

Прошло время, когда стоило нам из многих возможных решений найти приемлемое — и мы были довольны: мы не сделали ошибки. Но было ли наше решение наилучшим, оптимальным? Мы этого не знали. И если бы стали высчитывать, то самое наилучшее решение оказалось бы наилучшим, потому что на один счет ушли бы целые годы. Теперь такое решение можно найти за день.

Итак, эпоха правильных решений уступает место эпохе решений оптимальных. Для развития производительных сил коммунизма это будет иметь не меньшее последствие, чем любое великое техническое открытие наших дней.

\* \* \*

Главный экономист. Еще недавно такой должности вовсе не существовало. Ее даже представляли очень смутно: чем он должен заниматься, кем руководить? Ответы поначалу давались разные. Скептики говорили: пустая затея. Другие считали, что появится еще один главный специалист вроде главного техника или главного механика и будет надзирать за работой экономистов, изучать ключевые проблемы предприятия. Но что это дает? Где нет полноты прав, там нет и полноты ответственности.

Тогда было решено: главный экономист должен управлять всеми экономическими службами и держать в руках всю экономику предприятия. Поэтому быть ему заместителем директора предприятия по экономическим вопросам. Он должен направлять плановую, бухгалтерскую, финансовую и нормировочную службы предприятия. Чтобы охватить чисто экономическую сторону всего этого комплекса, надо обладать большими разносторонними знаниями. Но в практической жизни никакой чисто экономической стороны не существует, а есть ее теснейшее переплетение с техникой. И за что ни возьмись — надо добираться до самых недр производства.

Александр Петрович Борзунов, заместитель директора по экономическим вопросам на Московском электростроительном заводе имени Куйбышева, пошел на новую должность одним из первых.

Ему досталось очень сложное хозяйство.

Два, в сущности, разных производства — выпуск автотракторных деталей и трансформаторов. Пятьсот пятьдесят наименований и свыше двух тысяч пятисот типов исполнения. Типичное универсальное хозяйство (сколько раз его осуждали!), свои вспомогательные службы, своя ремонтная база и т. д. Размещенные почти в двадцати пунктах склады. Не расшифрованный до конца в номенклатуре план с графой «прочие заказы»... К этим специфическим трудностям надо добавить множество других, встречающихся повсюду. Сотни неотложных хозяйственных частных требований требовали каждый день решения. Любая из них могла вызвать заминку в ходе производства. А как терроризировали, как затягивали в болото текучки эти частности!

Борзунов знал: важно сосредоточиться на главном — на ближнем и дальнем поиске резервов, на постоянном совершенствовании экономических рычагов. Для текущей работы существуют отделы. В разведке ресурсов Александр Петрович мог опираться лишь на одну маленькую ячейку — лабораторию экономики, в ней было всего пять сотрудников.

Однако ими лишь только открывался счет. В двадцати шести общественных нормировочных бюро завода работают двести пятьдесят добровольных нормировщиков.

И еще сто пятьдесят семь добровольных экономистов постоянно занимаются экономическим анализом. Как рассказал Борзунов, у него теперь более четырехсот помощников. И среди них такие, как токарь Маликин. Рядовой рабочий управляет всей экономической работой в цехе, да как! Талантливо, с блеском. Раньше о таких людях говорили: самородок. Теперь не звучит это слово. Тот же Маликин — сколько он шлифовок прошел! Склонность к хозяйствованию, понимание экономики формирует теперь сама действительность.

Борзунов просто не представляет себе своей деятельности без опоры на экономическое творчество коллектива.

Посмотрим же, какие плоды принесло это творчество на электрозаводе. Общественно-нормировочное бюро пересмотрело двадцать пять тысяч норм. Это позволило снизить без малого на триста тысяч нормо-часов трудоемкость изделий.

Мне довелось познакомиться с любопытным анализом сравнительной трудоемкости одних и тех же изделий на электрозаводе имени Куйбышева и на других предприятиях. Электрозаводцы явно идут впереди.

Трудно сказать, в какой мере сказалась во всем этом новая должность. Но в том, что она сказалась, нет никаких сомнений. Ныне должность главного экономиста введена уже на шестистах заводах.

\* \* \*

«Эта самая для нас интересная политика», — говорил Ленин о хозяйственных делах. Пришло время, когда именно такая политика все больше занимает умы, становится основным содержанием нашей общественной жизни.

Напомню такую историю. Писатель Сергей Залыгин, основываясь на мнении ряда ученых, выступил в «Литературной газете» против схематического проекта Нижне-Обской ГЭС, разработанного Гидропроектом. Писатель вовсе не ставил под сомнение техническое решение проблемы. Да, Нижне-Обская ГЭС, несомненно, даст стране ежегодно свыше тридцати одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии. И энергия эта будет очень дешевой.

Проектировщики досконально обосновали затраты на сооружение ГЭС, ее эксплуатацию. Ну, а безвозвратный ущерб, наносимый государству затоплением территории, гораздо большей, чем Чехословакия? Эта территория не только велика, но и богата пашенными, луговыми землями, она покрыта богатейшими лесами, а открытия советских геологов в последние годы делают ее одной из самых перспективных нефтегазоносных провинций страны (не говоря уже о том, что здесь сосредоточено почти две трети всесоюзных запасов торфа).

Конечно, забыть обо всем этом авторы проекта не могли. У них на все даны свои ответы.

Сельскохозяйственные и луговые угодья? — Они не имеют особой цены в этом малообжитом краю.

Нефть? — Добывают же ее со дна Каспийского моря с помощью вышек, размещенных на искусственных островах.

Леса? — Их будут сводить плавучие лесные комбайны. На долю других плавучих агрегатов предназначена добыча торфа со дна будущего моря.

А во сколько все это обойдется?

Здесь-то начинались предположения и догадки. Эта попытка вести счет без счета привела к тому, что Гидропроект определил потери от затопления в сто тридцать миллионов рублей, в то время когда, по данным авторитетной комиссии Академии наук СССР, они составляют около восьми миллиардов рублей.

За настоящий комплексный счет взялись сотни ученых, геологов, лесоводов, агрономов, людей, тесно связанных с краем научными и практическими интересами. Эти люди знали настоящее края, видели его будущее, и пашни, луга, леса, воды, нефть, газ, энергетика были для них одним целым — природой, которую следовало изменять так, чтобы она лучше, полней служила человеку всеми своими дарами. Этот подлинно научный взгляд, выражаемый в хозяйстве понятием экономической эффективности,

столкнулся с точкой зрения, ограниченной одной лишь энергетической задачей и по тому ведомственной в самом своем существе.

Круг организаций, подключившихся к обсуждению проблемы Нижне-Обской ГЭС, все расширялся и расширялся. Она рассматривалась в научных институтах Сибири, Урала, в Совете по изучению производительных сил Госплана СССР, в Новосибирском отделении Академии наук СССР, о ней сказали свое слово местные партийные и советские органы.

Спор был перенесен на страницы теоретического органа партии журнала «Коммунист». Здесь свои взгляды на этот предмет изложили первый секретарь Тюменского промышленного обкома партии А. Протазанов, академик М. Лаврентьев, начальник Гидропроекта Д. Юринов. Еще с двумя статьями в «Литературной газете» выступил Сергей Залыгин.

Недостаточная экономическая обоснованность основных положений схематического проекта стала неоспоримой.

Нельзя не радоваться тому, что мы учимся изменять природу с максимальной экономической пользой, вглядываясь в самые отдаленные последствия задуманных перемен. Но еще, пожалуй, знаменательнее в случившемся роль отдельных личностей и целых коллективов в решении государственной проблемы. Казалось бы, чисто гидроэнергетическая задача пробудила большие общественные страсти, превратилась в политическое событие. Перед нами поистине демократия в действии!

Но сказав только это, мы не обозначили еще одной важной черты споров о проекте Нижне-Обской ГЭС. В них наряду с комплексностью в экономическом понимании этого слова находишь и учет факторов, выходящих за пределы экономики. Так, например, ученые настойчиво подчеркивают то отрицательное влияние, какое может оказать изменение климата, вызванное образованием громадного водного зеркала, на привычный быт, здоровье малых народностей Севера.

Хозяйство, культура, гуманизм работают, звучат в Советской стране в унисон. История эта — лишь одно из тех многочисленных доказательств единства материального и духовного развития при социализме, которые дал в избытке 1963 год.

Гёте говорил: «Цифры не управляют миром, но они показывают, как управляется мир». Наши экономические цифры и объясняют «мир», и помогают управлять им. Когда с ними часто сталкиваешься, в них начинаешь различать как бы разные голоса, даже разные характеры.

Есть цифры-строители, они моделируют, формируют будущее. Они должны опираться на экономические законы. Таковы показатели наших перспективных планов.

Существуют цифры-фиксаторы. Казалось бы, простая и пассивная роль. Подсчитано, например, что сегодня по объему производимой продукции предреволюционный царский год вмещается, если вести речь о всей тяжелой промышленности, примерно в четыре советских дня, в химии — в два дня, в машиностроении и металлообработке — в один. Констатирован факт. Он также выражает закон — закон ускорения общественного развития при социализме. Закон известен любому старшекласснику, но поразительная емкость цифры, ее выразительность вызывает в нас живое, непосредственное ощущение стремительности нашего движения. Это ощущение вызывает законную гордость. Гордость делает нас сильнее. Надо уметь фиксировать.

Мне особенно по душе цифры-сигнальщики; они бьют тревогу, всегда зовут к большому. Такова их функция. Без них наше знание хозяйственной обстановки одно-сторонне.

В нашей стране быстро растет станочный парк. Как известно, технический прогресс в металлообработке сводится в значительной мере к замене резания штамповкой и другими методами пластической деформации. Следовательно, непрерывно должна расти доля кузнечно-прессового оборудования в общем станочном парке. Сколько об этом писалось, а она как была равна одной пятой в 1955 году, так и осталась на этом уровне. Эта цифра настораживает, зовет к действию. Очень важно, хотя и не совсем приятно, знать, что удельный вес химии, электроэнергетики и машиностроения составил

в 1960 году в США около половины всей промышленной продукции, а у нас около трети. Если, по словам Н. С. Хрущева, в области совершенствования структуры общественного производства «госплановская телега пошла не туда, куда бы мы хотели», то так случилось в незначительной степени оттого, что наши экономисты не прислушались вовремя к важным сигналам. Цифра отбивала тревожную дробь, но ее не услышали.

Дело поправила партия.

\* \* \*

Наконец еще одно важное событие нынешнего года: началась разработка новой пятилетки, выводящей страну на рубеж 1970 года. На этом рубеже заканчивается первое десятилетие генеральной перспективы, принятой в Программе партии.

Естественно и хорошо, что мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся «громადье» наших новых перспективных планов. Людям не свойственно удивляться укоренившемуся, постоянно сбывающемуся. А между тем удивление — необходимейшее чувство. Оно как бы сталкивает нас с событием, и в этот миг при внутренней вспышке нам дано увидеть истинный масштаб явлений.

В этом вступлении не было бы нужды, если бы среди нас не находились люди, которых ничем не поразишь. У одних это проистекает от чрезмерной приземленности, примитивной деловитости, у других — от недостатка воображения и недоверчивости. Они живут по ветхозаветной мудрости: цыплят по осени считают. Уцепятся такие горескептики за какое-либо существенное, но частное обстоятельство или каверзу, подстроенную природой, и для них уже не существует очевиднейших достижений и той бесспорной истины, что уже обеспечен успех самого масштабного, самого смелого из советских далекоприцельных планов. А между тем за пять лет (1959—1963) народное хозяйство Советского Союза дало сверхплановой продукции примерно на тридцать семь миллиардов рублей.

Трудно представить себе лучшую подготовку новой пятилетки. И в промышленно-сти, и в сельском хозяйстве ее размах определяют два обстоятельства: исходный уровень и научность нового плана. Он, несомненно, будет воплощать новый, высший класс точности планирования. Когда-то в составлении плана ГОЭЛРО участвовало около двухсот ученых. Сейчас на начальном этапе лишь разработкой межотраслевых балансов новой пятилетки занято двести научных институтов. Впереди еще два года работы. Круг ее участников будет поистине неисчислимым. В этой деятельности и у академика, и у рабочего-новатора будет один общий вожатый — наука. Она, и только она, в соединении с опытом всего народа позволит предвидеть, казалось бы, непредвиденное — все те повороты, требования, которые выдвинет «главное действующее лицо» в экономике наших дней — бурно развивающийся научно-технический переворот.

«...Экономист всегда должен смотреть вперед, в сторону прогресса техники, иначе он немедленно окажется отставшим...», — говорил Ленин.

Планировать сегодня — значит видеть завтрашний день в технике. Характерно, что за последние полвека из каждых трех крупных корпораций США две потерпели крах из-за недооценки исследовательской работы. Промахнуться здесь — значит промахнуть в самом важном.

Грядет пятилетие, когда уже созданные нами большие и малые острова высшей техники сольются почти что в сплошной массив. Он найдет свое продолжение в странах — участницах СЭВ, потому что новая пятилетка будет всесторонне скоординирована с планами наших друзей. Вопреки отдающей мрачной подозрительностью и экономическим провинциализмом теории «об опоре на собственные силы» само время проверило, укрепило заложенный в существе современного производства принцип международного разделения труда внутри социалистического лагеря. Так случилось не само собой. То был сознательный курс и нашей и братских партий стран — участниц СЭВ на объединение, кооперирование экономических ресурсов не путем их механического сложения, а путем кооперации, развития в каждой стране наиболее экономичных в ее условиях отраслей производства. Через соглашения о совместном строительстве нефтепровода «Дружба», энергосистемы «Мир», через координированные планы специализа-



ции машиностроения и сотрудничества в производстве алюминия и другие аналогичные решения проходит одна из главных трасс истории.

Пройдет всего семь лет — и Советский Союз станет государством самой высокой в мире производительности труда. Совершится двойной обгон могущественнейшей страны капитализма, потому что одновременно мы выйдем на первое место в мире по промышленной мощи. Это предопределяет и все остальное.

Перед финишем есть момент, когда будущий победитель бега, еще не выйдя вперед, чувствует, как сдает темп, теряет ровность дыхания его главный соперник. Недалек час, когда мы услышим тяжелое дыхание США на последнем перегоне. Впрочем, оно уже и сейчас не безупречно. По этому поводу стоит дать слово американскому ученому Р. Хейльбронеру, автору книги «Будущее как история». Хейльбронер пишет: «Не больше тридцати лет тому назад США представляли собой такое экономическое и политическое общество, перспективы и прочность которого были бесспорны... Мы ныне идем не вместе с мировыми течениями экономического развития, а против них». Вот случай, когда пессимизм вполне законен.

И не случайно крупнейший американский журнал «Лук» почти дословно вторит Хейльбронеру и с тревогой вопрошает: «Не развертывается ли ход истории против нас? Не похожи ли мы на выдохшегося бегуна, который вот-вот уступит первое место?»

Провожая старый год и глядя в будущее, всегда испытываешь одно из новых чувств, ведущих родословную от Октября, — чувство нашей власти над временем.

Мы живем в стране управляемого будущего. Это не означает возможности осуществлять в любой срок любые цели. Речь идет о нашей способности коллективно, «всем миром», решать все большие и большие задачи.

Действительность не гипсовый слепок советских планов. Если бы жизнь легко и послушно укладывалась в них, если бы старое в хозяйстве и в сознании не пыталось миллионами уловок задержать ход нового, если бы самый размах наших предначертаний не предполагал огромного напряжения сил, то тогда бы наше движение к коммунизму было бы увеселительной прогулкой. Но все знают, что это подвиг, длящийся почти полвека.

Будущее не запрограммируешь, как программируют электронно-счетные устройства. Но оно уже настолько подвластно нашему знанию и воле, что мы всегда знаем наисущественнейшее, что обязательно сбудется, конечно, не само по себе, а усилиями нас самих.

Новый год делает только первый шаг, а мы уже можем рассказать о нем многое и совершенно достоверное. О первом уникальном блоке Славянской ГРЭС, оставившем позади по мощности ДнепрогЭС, о кибернетике на службе полимеров, о новой массовой профессии агрохимика, о том, как вслед за промышленностью наука становится непосредственной производительной силой в сельском хозяйстве.

Идет год сквозного технического прогресса, борьбы за скорость реализации любого открытия.

Техническая революция невероятно укоротила век машины. Пассажирский самолет довоенного выпуска Дуглас ДС-3 служил пятнадцать—восемнадцать лет. Английский турбо-реактивный самолет Комета-IV, выпущенный в свет в 1959, был снят с линии через четыре года. Последняя модель фирмы «Дуглас эйркрафт» — Дуглас ДС-9 — устарела еще в чертежах. Можно предполагать, что моральному износу подвергся созданный на Уралмашзаводе прокатный стан «650», который пролежал шесть лет на Ново-Тагильском металлургическом комбинате, прежде чем вошел в строй. Та же судьба постигла на Северском металлургическом заводе планетарный прокатный стан, изготовленный машиностроителями Ново-Краматорска. Поэтому важно сократить «утробный период» создания и освоения новых машин и предприятий. И надо надеяться, анахронизмом покажется нам тот факт, что неоднократные изменения схемы производства нитрилакриловой кислоты на Саратовском заводе синтетического спирта задержали выпуск этого продукта на два года.

И в промышленности, и в сельском хозяйстве, чтобы двигаться вперед, надо строить, строить и строить. И здесь многое будет круто повернуто в новом году. Героем дня в строительстве будет химия. Такого рывка не делали никогда даже мы. В оставшиеся два года семилетки и в следующем пятилетии в химическую промышленность намечено вложить двадцать пять миллиардов. Всего, включая сопутствующие отрасли — энергетические базы, химическое машиностроение и так далее, — на химию будет затрачено сорок два миллиарда рублей, что почти втрое превышает общий объем всех капиталовложений за вторую пятилетку.

Эта цифра поражает самое смелое воображение. Для такого великого усилия поистине требуется великая мощь.

Но суть не только в масштабе. Речь идет о громадном сдвиге в характере строительства. Впервые, пожиная плоды долгих трудов и самоограничений, мы можем направить средства в таком большом объеме в отрасли производства, которые непосредственно связаны с удовлетворением потребностей народа.

Не так давно — весной 1958 года — партия обсуждала вопросы развития химии. Тогда мы могли выделить на эти цели на ближайшее пятилетие всего шесть миллиардов рублей (в новых ценах). До чего же мы выросли! Насколько стали богаче!

Нам предстоит пройти вместе с химией большой путь. Она проникает во все поры нашего хозяйства. Она — универсальный ключ к техническому прогрессу, она и великий эконо́м. По подсчетам ученых, лишь за счет минеральных удобрений в 1970 году будет получена прибавка урожая — семь миллиардов пудов. Вот она — главная «золотоносная жила» изобилия!

Быть может, одна из существеннейших черт наступающего года — это то, что он получает в наследство множество разведанных «золотоносных жил», и ему останется заняться их разработкой. Нет слов, так бывало и раньше. 1964 год будет в этом, как и во всем другом, продолжателем. Но кто продолжает, тот всегда открывает.



---

Е. ГНЕДИН

★

## СУДЬБА ЕВРОПЕЙСКОГО НАСЛЕДСТВА

### ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА ИЛИ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ГРЕХ?

**С**пор из-за наследства и высокомерный, а порой легкомысленный отказ от наследства — столь же древнее явление, как и само человеческое общество. Этот спор, естественно, возникает при смене поколений и общественных формаций.

Когда наследство вручается наследнику в виде материальных ценностей, то, какая бы борьба вокруг него ни велась, ее исход в принципе предрешен: овеществленное прошлое обязательно перейдет в распоряжение нового поколения. Так происходит не только в частной жизни. Преемственность в жизни всего человечества обеспечивается тем, что одно поколение передает другому плоды своих трудов.

Сложнее решить вопрос о преемственности, когда спор идет вокруг идей, не осуществленных в прошлом, но указующих путь в будущее. Освоение такого наследства в общественной жизни обычно связано с «неисчислимыми, особенно острыми бедствиями, свойственными эпохам «ломки»<sup>1</sup>, как говорил Ленин.

История русской общественной мысли сохранила множество свидетельств того, как именно в эпоху «ломки» возникала необходимость определить свое отношение не только к «собственному» наследству, но и к наследству европейскому. Этой проблеме были посвящены споры между славянофилами и западниками, между народниками и марксистами.

С горечью отвергая «истину и правду старой Европы» во имя истины и правды «Европы рождающейся», Герцен предсказывал русскому народу великое будущее и утверждал вместе с тем, что «будущее России зависит не от нее одной. Оно связано с будущим Европы».

Передовые мыслители девятнадцатого столетия стремились предугадать пути развития Европы. В двадцатом веке уже надо мыслить в масштабе пяти континентов. Эта мысль стала общим местом в международно-политической литературе.

Успехи рабочего движения на «старом континенте», в Европе, победа нового общественного строя в России, простирающейся на огромных пространствах Европы и Азии, способствовали тому, что вихрь перемен пронесся по всей планете. Народы Азии и Африки разорвали узы зависимости от европейских властителей; и страны, бывшие некогда очагами древней культуры, и новые государства, еще не имеющие письменной истории, вышли ныне на мировую арену. Поэтому проблема наследства встает теперь уже не только в рамках одной страны, но в масштабе всей планеты.

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 31.

Разумеется, страны Азии и Африки, завоевав политическую и государственную самостоятельность, должны прежде всего решить проблемы, связанные с их собственным национальным наследством, его критическим изучением и использованием. В Китае марксисты спорят относительно современного понимания Конфуция или Мо Ди; в Индии государственные деятели ищут в древних учениях, например в идеале Веданты, стимулы для мирного строительства новой Индии; в арабских странах непризнание кораном частного владения на землю, отмеченное еще Марксом, пытаются использовать как обоснование социализма.

Однако, твердо веря в свое будущее как самостоятельного государства, страны Азии и Африки не могут не понимать, что оно зависит не от них одних и что оно связано с будущим Европы».

Так возникает проблема европейского наследства. О судьбе и месте этого наследства в тех странах, которые освободились или освобождаются от порабощения европейским империализмом и вынуждены сейчас бороться против американского империализма — ныне главной опоры всех сил колониальной и полуколониальной эксплуатации в современном мире, — и пойдет дальше речь.

Незачем говорить о том, что судьба империалистического наследства не может быть предметом дискуссии — эта проблема снята историей. Уничтожение отвратительного, кровавого, насквозь прогнившего наследства, оставленного империалистами, — этот перкулесов подвиг уже совершается ныне народами Азии и Африки.

Но после очистки авгиевых конюшен колониализма неизбежно возникает необходимость создать фундамент новой жизни. Разрушив тюрьму, народ должен решить, какое здание построить на ее месте. «Как, с чего я начну постройку дома свободы моей?.. Танганьика — словно человек, вышедший вчера из тюрьмы», — писал Назым Хикмет из Африки. После взятия Бастилии парижане водрузили на площади столб с надписью: «Здесь танцуют!» — а рядом построили помост с гильотиной; и того и другого желал восставший народ. Однако лишь после этого наступила длившаяся десятилетия эпоха «ломки» и в результате сложных политических перемен образовался новый общественный строй, который теперь вынужден уступить свое место другому, более прогрессивному строю.

В Африке и Азии смена общественных формаций происходит не по европейскому графику. Это уже ясно не только для марксистов. Но как раз это и свидетельствует о том, сколь злободневна проблема европейского наследства. Не в далеком будущем, а в нынешних конкретных условиях народы Азии и Африки должны решать, какое наследство они принимают и от какого отказываются. Великий диалектик Ленин свою статью, озаглавленную «От какого наследства мы отказываемся?», посвятил именно доказательству того, что сторонники прогрессивной идеологии являются, как он выражался, последовательными, верными хранителями наследства, но «хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством, и к защите общих идеалов европеизма» марксисты «присоединяют анализ тех противоречий»<sup>1</sup>, которые заключает в себе развитие.

Такой анализ дает возможность войти в права наследства, освобождаясь от «наследственного греха», не повторяя ошибок прошлого.

«Наследственный грех» мы обнаруживаем в самых крайних ультрареволюционных призывах в Азии и Африке к безоглядному разрыву с прошлым, в выступлениях против европейского наследства, в основе которых лежит извращенное толкование идей, унаследованных от Европы. Можно даже говорить о неких элементах атавизма. Гегель как-то сказал, что первоначальное и непосредственное отношение к действительности присуще животным: они убеждаются в бытии и небытии объекта, пытаясь его съесть. Не таково ли отношение иных догматиков к наследию человеческой культуры?

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 494.

В идеологии реакционных группировок, хотя бы в Индии, можно обнаружить всю знакомую из европейской истории гамму оттенков — от идеологии крепостничества и апологетики капиталистического предпринимательства до прудоновского утопизма и анархизма. Не всегда эти идеи заимствуются из арсенала европейской идеологии, порой они зарождались на сходной социологической базе. Но разве это не довод в пользу того, что и в новой Азии нельзя игнорировать европейское наследство, что от него попросту нельзя уйти? Надо только суметь не повторить ошибок, допущенных в Европе.

Молодые африканские публицисты и политические деятели с огромным воодушевлением, с глубоким негодованием и справедливым гневом отвергают европейское наследство. Европейцы навязали Африке вместе со зверским режимом беспощадной эксплуатации уродливые формы экономической жизни, искусственные границы, злонамеренно насаждаемые противоречия и раздоры, удобную для целей колониализма идеологию. Африканцы либо вынуждены начинать на пустом месте, так как развитие культуры было насильственно задержано, либо сами хотят начать заново, искоренив «европейскую заразу». Однако и в этих исторических условиях простое отречение от наследства может обезоружить молодую Африку, ибо именно из европейского наследства она может взять оружие в своей борьбе за новую жизнь.

Юность — это возмездие. Эти слова Александр Блок предпослал строкам поэмы, опубликованной во втором году Октябрьской революции. Вдохновенная поэтическая формула снято выражает диалектическую сущность проблемы наследия. Юность — это возмездие отцам за их ошибки и пороки, но юность сама несет на себе бремя ошибок и преступлений, совершенных в прошлом. «Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетет целый ряд унаследованных бедствий... Мы страдаем не только от живых, но и от мертвых», — писал Маркс в предисловии к первому тому «Капитала». Народы Азии и Африки все еще тяжело страдают от бремени унаследованных и современных бедствий, от того, что «мертвый хватает живого» и в практической деятельности, и в идеологии. Однако историческое возмездие не есть просто кара и гибель. Замыслив нарисовать картину возрождающегося рода, великий русский поэт в предисловии к поэме высказывал надежду, что «отпрыск рода... может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю». В этом задача наследника.

Идеология, родившаяся в Европе, идеология, выстрадавшая Россией, видит в историческом возмездии не страшный суд, а воскрешение, не гибель, а обновление. «Не отчаяние, а бодрость надо почерпать из факта вовлечения восьмисот-миллионной Азии в борьбу за те же европейские идеалы»<sup>1</sup>, — писал Ленин в 1913 году. За европейские идеалы!

Ныне борьба за европейские идеалы, о которой писал Ленин, разворачивается не только за пределами Европы, но и в самой Европе. Это факт решающего значения. Говоря о судьбе европейского наследства, надо на всех стадиях неизменно иметь в виду, о какой Европе идет речь. «Европа является передовой в наши дни не благодаря буржуазии, а вопреки ей», — указывал Ленин и далее говорил: «Зато вся молодая Азия, то есть сотни миллионов трудящихся в Азии имеют надежного союзника в лице пролетариата всех цивилизованных стран. Никакая сила в мире не сможет удержать его победы, которая освободит и народы Европы и народы Азии»<sup>2</sup>.

В свете перспективы, обрисованной Лениным, с которой ничего общего не имеют догматические тезисы, небезынтересно рассмотреть спор «за» и «против» европейского наследства, в различных формах, скрыто и явно ведущийся в Азии и Африке. Тогда становится ясно, кто наследник, а кто «блудный сын» человечества и кто его враг.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 546.

<sup>2</sup> Там же, т. 19, стр. 77, 78.

## БОРЬБА ЗА НАСЛЕДСТВО И БОРЬБА ЗА НАСЛЕДНИКОВ

Попытка проследить судьбы европейского наследства «в масштабе континентов» не есть просто умозрительный прием, более или менее законный. Марксистское понимание эволюции человеческого общества в целом приводит к выводу, что освоение наследства перестало быть только национальной задачей, а стало общечеловеческой проблемой. Так что в таком рассуждении не следует видеть какую-то злостную разновидность «абстрактного гуманизма».

Исходным положением служит то, что человечество вступило в эпоху мирового хозяйства, охватывающего все континенты. Это положение, многократно и неопровержимо обоснованное Лениным, стало ходячей истиной. Но не потому ли часто остаются в забвении выводы из этого положения: ни одна страна не изъята из общего процесса развития и все они находятся между собой во взаимодействии. «Мысленно, но только мысленно, можно воздвигнуть стену... между тем, что происходит на Западе, и тем, как складываются дела на Востоке. В реальной же действительности такой стены нет» (Заявление Советского правительства от 21 августа 1963 года).

Во времена Маркса процесс образования мирового хозяйства еще не принял такой конкретный, многосторонний и всеобъемлющий характер, как в наше время. Однако Маркс не только усмотрел «действительную задачу буржуазного общества» в создании мирового рынка, но и констатировал, что, «так как земля круглая... процесс этот закончен». Говоря об этом в письме Энгельсу от 8 октября 1858 года, Маркс сформулировал, как он сам выразился, «трудный вопрос»: не будет ли победоносная социалистическая революция на европейском континенте неизбежно подавлена, «так как на неизмеримо большем пространстве буржуазное общество проделывает еще восходящее движение?»

История позаботилась о том, чтобы упростить трудный вопрос, тревоживший Маркса. Хотя Маркс и Энгельс ясно видели революционные перспективы в развитии России, все же они предполагали, что первоначально социализм, победивший в Европе, то есть на небольшом полуострове евразийского материка, окажется лицом к лицу с буржуазным обществом, прогрессирующим на американском и азиатском континентах. Между тем социалистическая революция победила и на части европейского континента, и на необозримых пространствах Азии. Европа уже передала свое наследство части Азии, причем связующим звеном стали народы, населявшие Россию, ныне объединившиеся в Советском Союзе.

Попытки подавить социалистическую революцию потерпели крушение в годы интервенции и в годы второй мировой войны. Новая попытка привела бы к мировому катаклизму. Предотвращение мировой войны становится задачей всего человечества. Причина заключается не только в существовании ядерного оружия. Уже опровергнуты утверждения, будто защита политики мирного сосуществования как генеральной линии во внешней политике порождена главным образом «страхом перед бомбой». Ведь принципы мирного сосуществования двух систем сформулированы задолго до появления ядерного оружия и вытекают из анализа «объективных условий перехода от одной эпохи к другой», как этого требовал Ленин.

Этот анализ и дает материал для окончательного разрешения «трудного вопроса» о взаимоотношении социалистического и капиталистического уклада, существующих рядом в пределах мирового хозяйства. Ответ заключается в самом факте образования социалистической системы, в том, что она пришла на смену капитализму. Ответ заключается в том, что капитализм, достигнув стадии империализма, вступил в период своего заката. А «так как земля круглая», то в смену социально-экономических формаций втянуты все материки.

Капиталистическая экономика может в отдельных странах находиться даже в стадии зарождения, например, в Центральной Африке, она может в отдельных крупных государствах проделывать «восходящее движение», однако капиталистическая система в целом «проделывает нисходящее движение». Правда, это

не прямолинейное движение; пользуясь языком математической символики, можно сказать, что параллелограмм сил в этом случае построить нельзя и, чтобы охарактеризовать взаимодействие множества сил, участвующих в этом процессе, нужно матричное исчисление. (Энгельс не раз писал о том, что в историческом процессе взаимодействует множество воли, бесконечное количество перекрещивающихся сил; в письме И. Блоху 21 — 22 сентября 1890 года он, конечно, не будучи знаком с понятием матриц, говорил о «бесконечной группе параллелограммов сил».)

Сложная динамическая система взаимодействия различных сил, охватывающая весь земной мир, испытывает наибольшие колебания там, где особенно болезненно ощущается эпоха «ломки» — в молодых государствах Азии и Африки. Мучительное возрождение (так говорил о Европе Герцен) в этих странах связано с ликвидацией тягостного наследия колониализма, с борьбой за «причитающееся» этим странам европейское наследство, со спором между наследниками. А «так как земля кругла», то этот спор перерастает в борьбу за наследников в рамках мирового хозяйства.

Нет народа, который не облек бы в свою собственную национальную форму вечный сюжет о достойных и недостойных наследниках, о трудностях и испытаниях, ждущих именно того, кто умеет разумно и справедливо распорядиться наследством. Теперь этот древний сюжет находит воплощение в общественной и политической жизни стран, завоевавших самостоятельность в середине XX века.

Колонии Европы в Азии и Африке были капиталистическими предприятиями. Поэтому в роли «старшего брата», претендующего на то, чтобы занять место главы дома, выступают частнокапиталистические элементы в бывших колониальных странах. Но права этого претендента в значительной мере устарели, он уже далеко не всюду в состоянии «возделывать поле отца своего». Над этим задумываются и передовые представители национальной буржуазии слаборазвитых стран.

Действительно, бывшие колонии, нынешние так называемые слаборазвитые страны, не могут пойти по пути классического капитализма. Народное хозяйство и социальные условия в современных слаборазвитых странах Азии и Африки, а также в Латинской Америке коренным образом отличаются от экономики и условий развития европейских стран два века назад, в эпоху первоначального накопления и образования национальных государств. Развитие молодого капитализма в Европе двести лет назад имело своим источником расширение внутреннего рынка, рост национального дохода на душу населения, все более прибыльную внешнюю торговлю. В молодых государствах Азии и Африки развитие сковано узостью внутреннего рынка, катастрофическим падением национального дохода, ростом нищеты, все большей убыточностью навязанных империалистами невыгодных форм внешней торговли.

Молодая капиталистическая промышленность в Европе выросла на собственной технической базе, в результате происшедшего там же технического переворота. А страны современной Азии и Африки должны осваивать плоды небывалого технического прогресса, который уже достиг высокого уровня за их рубежом.

В XVIII веке Европа была ведущей силой в жизни человечества, ей некого было догонять, не нужно было опасаться, что ее вытеснят с мирового рынка, она его создавала и завоевывала. Совершенно иначе обстоит дело с нынешними слаборазвитыми странами. Им надо торопиться, им нужно освободиться от опеки в экономике, догнать ушедших вперед, пробиться на мировой рынок. Им надо изыскать мощные стимулы для поднятия жизненного уровня народов, разоренных господством колониализма.

Несчетные высказывания руководителей и общественных деятелей различных стран свидетельствуют об огромном объеме и сложности задач, стоящих перед Азией и Африкой. Одной из иллюстраций может служить хотя бы заявление премьер-министра Непала — страны, еще не сбросившей феодальные узы, — который в октябре 1963 года говорил в Москве о том, что Непалу нужно произ-

вести за несколько лет такую гигантскую работу по развитию страны, на которую у других стран ушли десятилетия или даже столетия.

Каким образом бывшие колониальные народы разрешат гигантские задачи, поставленные перед ними историей?

Освободятся ли они от иностранной опеки и получат ли извне реальную помощь?

Какие стимулы и силы помогут им создать процветающее общество?

Эти вопросы составляют содержание спора из-за европейского наследства в области экономики и политики; это и есть сущность тяжбы между наследниками и той борьбой за наследников, в которую втянут весь мир.

Все это, как известно, крайне занимает и западных политиков, и западных экономистов. Многие из них отдают себе отчет в том, что слаборазвитые страны не пойдут по пути частнопредпринимательского традиционного капитализма. На этом основании буржуазные экономисты долгое время утверждали, что эти страны оказались «в порочном кругу». Но теперь они озабочены тем, как бы молодые государства, вырвавшись из заколдованного круга, не пошли по совершенно новой дороге.

Директор планово-экономического отдела французского министерства по делам заморских территорий Пьер Мусса писал в своей книге «Нации — пролетарии»: «Отсталости свойственно всегда оставаться отсталостью... Этот порочный круг можно разорвать только с помощью идеи органического развития, когда один новый проект подпирает другой».

Бывший секретарь экономической комиссии ООН для Европы Г. Мюрдаль писал в своей книге «Мировая экономика»: «Мнение, что процесс развития слаборазвитых стран может происходить таким же путем, как и в развитых ныне странах, поверхностно и ошибочно... Все проблемы этих стран во многих отношениях в корне отличны... С определенной точки зрения эти различия означают существование порочного круга, который можно разорвать, только прибегнув к государственному планированию в крупных масштабах и к государственному вмешательству».

Реакционный буржуазный экономист Ноув в статье, посвященной международному значению «советской модели», сетовал: «Чтобы достигнуть стадии самодовлеющего развития, страна должна пройти через этап «порочного круга»: нет рынка, так как страна слабо развита, а экономическая экспансия нерентабельна потому, что нет рынка». Из этого американский экономист делал тот вывод, что «советский опыт представляет возможную, но неприятную модель».

Когда директор французского министерства проповедует «идеи органического развития», он, конечно, покидает позиции традиционного капитализма, это теперь дело обычное, но вместе с тем он хочет сохранить позиции неокOLONИализма. Предполагается, что об «органическом развитии» бывших французских колоний позаботится олекул — французский монополистический капитал, для чего выдвигается идея «взаимозависимости» между бывшей колонией и бывшей метрополией, плетутся сети зависимости от европейского Общего рынка. Ища выхода из порочного круга, слаборазвитая страна попадает в капкан, как это случилось с некоторыми государствами южнее Сахары, входящими в Афро-Мальгашский союз.

Неоколониализм деголлевской Франции может некоторое время приносить плоды, но на нем лежит такой же отпечаток провинциализма, как на других попытках новоявленного «просвещенного монарха» способствовать в XX веке величию Франции, руководствуясь представлениями XVIII века. Людовик XIV, король-солнце, имел бы на трибуне ООН смешной вид, а с ядерной бомбой в руках был бы весьма зловещей фигурой. Столь же зловещее впечатление производят правители некоторых, еще зависящих от Франции стран Африки: французский эстет африканского происхождения, по указке из Парижа посадивший в тюрьму африканского лидера, или бывший французский парламентарий, в союзе с местными колдунами использующий невежество отсталых слоев населения.

Очевидно, что не всякое наследство идет на благо народам.



Неоколониализм во всех его разновидностях — одна из самых опасных и порой действенных попыток навязать освободившимся народам отвергнутое ими наследство, лишить завоеванного наследства, позолотить старые цепи или, как в сказке, соблазнить молодого наследника несуществующим кладом и заманить его в старую берлогу империалистического чудовища. Нечистая сила скрывается за самыми разными личинами. Таков «корпус мира», созданный американским империализмом для Латинской Америки одновременно с усилением блокады революционной Кубы; роль орудия американского империализма играют различные «фонды помощи слаборазвитым странам», в частности фонд ООН, директором которого был назначен Поль Гофман, бывший главный администратор американской организации по осуществлению «плана Маршалла». Таковы же мероприятия европейского Общего рынка, создающие золотой мост для проникновения в Африку франко-германских монополий; американскому империализму служит Международный банк реконструкции и развития, который пытался, опираясь на своих экспертов и применяя финансовый нажим, задержать реконструкцию экономики Индии и обычно кредитует мероприятия, способствующие расширению империи Рокфеллеров и других американских монополий. Вмешательство ООН в дела Конго также пошло на пользу неоколониализму, империалистическим мировым монополиям.

Очевидно, что ухищрения неоколониализма, пытающегося похитить у народов их законное наследство, не просто продиктованы злой волей и вероломством империалистических деятелей. Речь идет о тех реальных формах, в которых ныне воплощается империалистическая политика. Таковую оговорку надо сделать потому прежде всего, что догматики постоянно выдвигают на первый план субъективный фактор в историческом процессе, прокламируют положительное или отрицательное отношение к тем или иным силам, действующим на международной арене, и оставляют в тени главное — оценку реального соотношения между этими силами, оценку их возможностей в конкретной исторической обстановке.

Субъективистская характеристика, как будто свидетельствующая о вражде к империалистам, часто увязывается с бесплодным утопизмом, расчетами на успех неэффективных методов борьбы, а иногда такой подход к политике оборачивается просто-напросто обывательской, но вредной болтовней, игнорирующей суть событий. Например, в одной статье на литературные темы можно было прочесть подобные рассуждения о «предательстве и вероломстве старого мира»: «Были деловые отношения, договорные условия, и вдруг — гитлеровская Германия начала войну. Масштаб поменьше: были гарантии демократически избранному парламенту Конго, были солдаты ООН в голубых касках, и вдруг — Лумумба предательски убит»<sup>1</sup>. Из этого следовал бы вывод, будто фашизм не есть лютей враг советского народа и прогресса, а война между гитлеровской Германией и СССР — не проявление основного противоречия современности, а просто-напросто фашисты «вдруг» проявили вероломство. Видимо, кое-кто еще находится в плену уловки, с помощью которых Сталин пытался оправдать свои ошибки... Когда убийство Лумумбы, вождя борющегося конголезского народа, истолковывается как неожиданный вероломный поступок агентуры империалистов, то теряется понимание основного — того, что империалистические монополии всегда вели и ведут борьбу за сохранение в своих руках присвоенных ими богатств, используя для этой цели местных реакционеров и палачей.

Невежественная или догматическая трактовка прошлых событий приводит к извращенному пониманию современных проблем.

Западногерманский реваншизм и активизирующийся западногерманский неоколониализм представляют огромные опасности как для народов Европы, так и для народов Азии и Африки. Союзник боннских реваншистов де Голль оказал им большую услугу, когда выступил против Московского договора о частичном

<sup>1</sup> Статья Е. Серебровской в газете «Литература и жизнь» от 4 февраля 1962 года.

запрещении испытаний ядерного оружия. Догматически мыслящие люди фиксируют внимание на том, что де Голль свои политические маневры прикрывает оппозицией по отношению к политике США в Европе, но они игнорируют то немаловажное обстоятельство, что, выступая против запрещения ядерных испытаний и готовя собственные испытания бомбы, глава французского правительства делает именно то, что нужно американским агрессивным кругам, военным монополиям и американским организаторам войн, в частности против народов Азии.

Умение «срывать все и всяческие маски» с социальных и идеологических групп, под каким бы флагом они ни выступали, которое так ценил Ленин, когда Россия переживала эпоху «ломки», необходимо не в меньшей степени теперь, когда наступил переломный период в жизни всего человечества. Следовательно, и проблему европейского наследства нельзя освещать субъективно. Речь идет не о воле завещателя и не о пылком желании или нежелании наследника получить богатое наследство. Речь идет о том, что объективные предпосылки побуждают страны Азии и Африки осуществить применительно к конкретным условиям своей экономики и собственной культуры «европейские идеалы».

### НЕОБХОДИМОЕ И НЕИЗБЕЖНОЕ УСЛОВИЕ

Несчетные заявления азиатских и африканских деятелей о том, что необходимо чрезвычайно небывалое ускорение социально-экономического развития новых стран, представляют собой вместе с тем ряд более или менее авторитетных, а иногда и весьма авторитетных, свидетельств в пользу социализма. Правда, в это понятие далеко не всегда вкладывается одно и то же содержание. Порой за ним скрываются знакомые из истории Европы «наследственные болезни» вроде феодального социализма.

Успехи национально-освободительного движения закономерно становятся основой, предпосылкой, стимулом для того, чтобы в порядке дня оказалась задача социалистического переустройства или хотя бы создания материальной базы социализма. Но отсюда вовсе не следует, что новые государства Азии и Африки стали «главной зоной бурь мировой революции» или что их руководящие общественные силы весьма желают этого. Даже самые категорические заявления в пользу социализма отнюдь не содержат такого вывода.

«Мы избрали социализм нашим путем. Это наше право, и мы будем защищать его до последней капли крови... Социализм с его научными основами становится законом для всего человечества. Мы строим у себя социалистическое общество, но мы так же против экспорта революции, как против экспорта контрреволюции, экспорта капитала», — говорил президент Алжирской Республики Бен Белла.

А президент Ганы Кваме Нкрума однажды так определил общее значение социализма для Африки: «Какие бы экономические системы ни существовали в других частях мира, экономика африканского континента может развиваться лишь в том случае, если будут проводиться в жизнь социалистические идеи и социалистическое планирование».

Эти слова перекликаются с приведенными ранее выводами крупнейшего знатока мировой экономики Мюрдаля, но имеется существенная разница между обоими высказываниями: западный эксперт говорил просто о государственном планировании в больших масштабах, а африканский деятель именно о социалистическом планировании. Причем надо заметить, что президент Ганы сделал свое заявление в той самой речи, в которой он указал на возможность частных и даже иностранных капиталовложений в народное хозяйство страны, однако — «в соответствии с общим планом развития нашей экономики».

С точки зрения творческого марксизма-ленинизма в такой постановке вопроса нет обязательного внутреннего противоречия. Но именно при условии, что государство возглавляют антиимпериалистические, революционные силы, действитель-

но способные соблюдать «общий план развития». Напомним, что, когда Ленин, объявив в 1922 году об «остановке отступления», излагал стратегию строительства социализма, он анализировал формы привлечения иностранного капитала в экономику страны и говорил о государственном капитализме, какого еще не было и какой еще не описан ни в каких книгах<sup>1</sup>.

В те годы многое, что увлекало сердца и смущало умы и что претворялось в действительность, никогда ранее не существовало и не было описано ни в каких книгах. Такова была в целом задача переустройства страны, в которой еще имелись все возможные социально-экономические уклады, Ленин сказал об этом, когда обосновывал переход от военного коммунизма к новой экономической политике. Как прояснили тогда эти слова смысл происходящих событий!

Нет сомнения, что в Азии и Африке еще существуют все те уклады, о которых говорил Ленин, от патриархального до государственно-капиталистического, — последний кое-где в развитой современной форме. Очевидно, что не только для рабочего класса этих стран, но и для широких слоев населения имеют огромное значение уроки подлинно ленинской стратегии социалистического строительства. Очевидно, что надо иметь в виду наряду с фундаментальными указаниями на решающую роль индустриализации и электрификации ленинский призыв двигаться вперед «широкой и мощной массой, не иначе как вместе с крестьянством». Ленин указывал в 1922 году, что при тогдашнем состоянии производительных сил России задачи, стоявшие перед страной, надо решать «осторожно, деловито, тысячу раз проверяя практически каждый свой шаг». Но что общего имеет с этой ленинской мыслью формула о «непрерывном большом скачке»?

Непрерывный скачок — такое же внутренне противоречивое понятие, как и перманентная революция в такой исторический период, когда все страны мира втянуты в социально-экономические преобразования, но находятся на различных его этапах. Народы Азии и Африки совершают революционный переворот, когда свергают господство колониализма и, чтобы разорвать «порочный круг», выходят на путь некапиталистического развития. Но двигаться вперед им, как правило, приходится с большими трудностями, им нельзя проявлять лихорадочную поспешность. Ведь спор между наследниками еще не закончен.

«Старший брат», носитель идеологии «традиционного капитализма», процветавшего в Европе, не может рассчитывать на то, что в новых независимых странах история введет его в права наследства. Но чтобы «младший брат», глашатай социализма, смог взять в руки хозяйство, он должен обладать мужеством, терпением, любовно относясь к наследству, которое ему надо приумножить. Он должен умело учитывать интересы «среднего брата» — крестьянства.

Хотя в древних странах Азии крестьянство — носитель старинной и своеобразной национальной культуры, тем не менее его страдания и искания в эпоху «ломки» также могут быть поняты именно в свете европейского опыта.

Если бы герои поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», воскреснув, вновь пустились бы в странствие, чтобы на сей раз за пределами родного края разузнать, «кому на земле жить хорошо», они не нашли бы крестьянского рая в новых странах Азии и Африки.

В Африке, там, где существует крестьянство в европейском понимании этого слова, оно является важнейшей силой в борьбе за национальную независимость и, следовательно, объектом репрессий на территории, еще находящейся под властью империалистов или их прислужников. Если бы ожившие герои некрасов-

<sup>1</sup> В политическом отчете на XI съезде Ленин говорил: «...Ни одной книги нет, которая была бы написана про государственный капитализм, который бывает при коммунизме. Даже Маркс не догадался написать... Умер, не оставив ни одной точной цитаты...» «Государственный капитализм, это — тот капитализм, который мы сумеем ограничить, пределы которого мы сумеем установить...» «Необходимо дело поставить так, чтобы обычный ход капиталистического хозяйства и капиталистического оборота был возможен, ибо это нужно народу, без этого жить нельзя» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 243, 249, 250).

ской поэмы оказались бы, например, на крайнем западе Африки, в деревне Яму-сукро, то они были бы свидетелями того, как именно там устроили судилище над восемьюдесятью шестью противниками профранцузского режима в Республике Слоновой Кости. В бывшем французском Конго и еще кое-где странники наслушались бы речей политиканов о том, что крестьяне — «жертвы несправедливого остракизма», так как их лишили возможности культивировать тысячи гектаров земли, но здесь же они стали бы свидетелями репрессий против крестьян.

Если бы странники поехали на восток, то в Кении чувствовали бы первое полноправное центральное правительство; однако они обнаружили бы, что землю крестьяне получают не скоро — лишь тогда, когда английское влияние будет окончательно парализовано, сепаратисты прекратят свои интриги и можно будет осуществить планы переселения крестьянских семей за государственный счет, в частности — на «Белое нагорье», где монополия на земельную собственность еще в руках захватчиков.

На крайний юг Африки странники не стали бы спускаться: там африканское крестьянство, лишенное права передвижения, находится в полурабском положении.

Если бы крестьянские ходоки оказались в Египте, они, вероятно, вспомнили бы родную деревню некрасовских времен. Согласно земельной реформе 1952 года (а по соседству в Сирии — 1958 года) выкуп земли у крупных землевладельцев производится за счет крестьян. Правда, обнародованная в 1962 году Хартия национальных действий несколько улучшила условия реформы, но тем не менее огромная масса безземельных крестьян оказалась перед лицом союза новообразовавшейся сельской буржуазии и помещиков. Русские крестьяне завели бы дружбу с феллахами, состоящими в немногочисленных кооперативах, но они вряд ли там задержались бы, будучи свидетелями того, как государственные чиновники по своему усмотрению собирают налоги и раздают семена.

На другом конце Северной Африки, в Марокко, крестьяне некрасовских времен нашли бы много родственных душ: шестьдесят процентов земельных угодий сосредоточено в руках феодалов и крупных землевладельцев, а из крестьянского населения половина безземельная. Между тем в соседнем Алжире национализированы не только плантации, брошенные сбежавшими колонизаторами, но и угодья местных богачей. Социальный конфликт, «спор между наследниками», получил в двух соседних странах совершенно несходное решение. Этот спор вылился даже в международный конфликт: пограничная война против Алжира, начатая Марокко осенью 1963 года, была не только порождена борьбой за ископаемые богатства в недрах спорной части Сахары, но представляла собой попытку взять под защиту крупных землевладельцев, имущества которых переданы в свободном Алжире органам крестьянского самоуправления.

Можно представить себе и другое: ходоки, разыскивающие обетованную крестьянскую страну, где «посеешь бубочку одну, и та — твоя», оказываются в Индии. У мечтателей нашлись бы попутчики в тех землях, где древняя культура создала немало утопических учений и верований. Индия, возможно, пригрезилась самые прекрасные сны человечества. Пробуждение наступило, но утопические планы реформ еще находят сторонников в индийской деревне, там, где народ страдает от неисчислимых и острых бедствий эпохи «ломки».

Пример такого «реформаторства» — «движение за дарение и распределение земли». «Богатый и бедный приглашаются дарить землю, хотя бы одну шестую их владения, подходя к безземельному, как к другому участнику владения, брату по наследственной собственности». — писал один из сторонников этого движения. Нетрудно понять, к чему приводит процедура «дарения»: богатые землевладельцы, если они в ней участвуют, освобождаются от чересполосицы и негодных участков, округляют свои владения, а мелкое крестьянство размещается на клочках земли, выделенных сельской общиной. Зато, утверждают индийские правые социалисты, так как и мелкие крестьяне «дарят» часть своих наделов, то «возникает новое отношение к собственности», и можно надеяться, что каждое село пре-

вратится в «миниатюрную республику, микрокосм, обладающий сущностью макрокосма».

Издавательский характер подобных рассуждений очевиден. Ведь в Индии насчитываются миллионы безземельных крестьян, арендаторов, согнанных с земли, крестьян, которых разорили налоги. Как показали различные статистические исследования в самой Индии и изыскания советских авторов, аграрная реформа в Индии привела к дальнейшему расслоению в индийской деревне, часть издольщиков превратилась в капиталистических фермеров, эксплуатирующих наемный труд, а наряду с этим мелких арендаторов беспощадно сгоняют с земли. На большей части Индии полностью сохранились экономические позиции лендлордов, получателей ренты.

Чаяния и нужды трудящегося крестьянства еще не удовлетворены ни в Африке, ни в Азии. Собственно говоря, это закономерно: если слаборазвитые страны еще не вырвались из того «порочного круга», в котором оказались по вине колониализма, то от этого неизбежно страдает самый многочисленный класс, каким является крестьянство. Таким образом, мы с другого конца подошли к интересующей нас теме: значение европейского наследия для борьбы народов Азии и Африки за подлинное и полное раскрепощение.

Характеристика отношения к этой проблеме азиатского и африканского крестьянства осложняется тем, что от имени крестьянства в Азии и Африке часто выступают — или находятся под влиянием отсталой крестьянской идеологии — как деятели догматическо-сектантского толка, так и реакционные группировки, например, правые социалисты. И к тем и другим вполне применимы слова Ленина о народниках: их можно изобличить в том, что «они вместо общеевропейских идеалов сочиняют по многим весьма важным вопросам всякие самобытные благоглупости»<sup>1</sup>.

Некоторые из таких «самобытных благоглупостей» мы осветим на материале изданных в 1959 году «Очерков азиатского социализма» одного из лидеров индийских правых социалистов, Ашоки Меты, ныне отошедшего от руководства партией.

Ашока Мета сидел в тюрьме при английском владычестве в 1932 году как участник молодежного движения неповиновения, побывал в английских тюрьмах и в годы мировой войны, а после получения Индией независимости стал членом парламента и был докладчиком правительственной комиссии по обследованию продовольственного положения страны; он находился в оппозиции к правительству Неру и, изолируясь в антикоммунизме, связал свои политические расчеты с партией правых социалистов, но в июне 1963 года он объявил на партийной конференции о своем уходе с поста лидера. В своей речи на конференции, самокритически признав, что не справился с задачами, которые ставит эпоха, Ашока Мета констатировал, что «чистая оппозиционность» непродуктивна, что приходится отказаться от либерализма в экономической политике, нельзя мириться с неэффективностью предприятий общественного сектора, в то время как в частный сектор усиленно вкладываются капиталы, и вообще, как ни приятно бросить якорь в тихой бухте своих убеждений и идеалов, все же мучительно бездействовать, стоя на якоре. В заключение виднейший представитель индийских правых социалистов спросил: «Не потерял ли демократический социализм значение и смысл на нашем древнем континенте?»

Обращаясь к книге индийского правого социалиста, мы обнаруживаем, что политические идеи, которые, по собственному признанию их глашатая, не выдержали испытания временем, это прежде всего старинный народнический утопизм, приправленный весьма «современным» антикоммунизмом. Основная идея книги Ашоки Меты заключается в том, что азиатские социалисты должны «перенять некоторые идеи пионеров социализма в их первоначальной свежести и оригинальности». Любое утопическое учение встречает одобрение со стороны теоретика

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 495.

«азиатского социализма», но применить на практике он желал бы прежде всего идеи... Прудона да еще Рескина.

Если бы мы стали подробно излагать взгляды автора «Очерков азиатского социализма», то читатель, осведомленный в истории европейской и русской общественной мысли, мог бы подумать, что цитаты «подогнаны» в интересах полемики — до такой степени азиатский правый социалист повторяет анархические ошибки и заблуждения Прудона и отчасти Кропоткина. Прудон, как известно, гордившийся тем, что у него нет никакой стройной системы взглядов, соединил апелляцию к праву и вечной справедливости с надеждами на то, что бонапартистский переворот явится осуществлением социальной революции. «Азиатские социалисты» тоже пропагандируют «свободные формы ассоциированной жизни» и одновременно, как это делает, в частности, лидер их правого крыла Крипалани, стремятся в открытом союзе с помещичьей и крупнокапиталистической реакцией свергнуть правительство Неру, проводящее прогрессивную политику.

Автор «Очерков азиатского социализма» присоединяет к прудоновскому анархизму и народнические взгляды. Он прославляет «сельские общины, где соединены сельскохозяйственный труд, ручной и индустриальный труд с кооперированной собственностью и трудом». Такая сама по себе привлекательная форма общества явно неосуществима в конкретных условиях современной Индии. Как всякий утопист, теоретик азиатского социализма на деле выступает в роли защитника архаических нежизненных форм сельской жизни, а его идеология оканчивается «идеологией восточного строя, азиатского строя» (так характеризовал Ленин историческое содержание толстовщины).

Однако всем сказанным не исчерпывается эклектизм в идеологии азиатских правых социалистов. К двойной утопии — крестьянской и ремесленного сословия (Прудон и Рескин) — Ашока Мета присовокупляет одобрение европейского ревизионизма в рабочем движении, и прежде всего бернштейнианства. Воистину азиатский правый социализм соединил в себе одном все европейские «наследственные грехи».

Когда речь идет о подлинно революционных идеях, Ашока Мета не претендует на роль наследника европейской идеологии. Он отвергает идею мировой революции и присущие ей, по его словам, барочную стихийность, мощь, мистику и трагичность. Ему не нравится поэзия барокко, иными словами — он не хочет «слушать музыку революции», к чему призывал русский поэт. Зато индийский правый социалист приемлет, по его выражению, прозу ревизионизма, стиль рококо.

Однако, одобряя ревизионизм в рабочем движении и стиль рококо, индийский правый социалист поет хвалу современному капитализму; он пишет: «Вторая промышленная революция с технологическими новшествами и темпом развития, с образованием финансового капитала, его искусством рационализации гармонирует с основными требованиями ревизионизма, с духом рококо» (всюду подчеркнуто автором книги).

Это уже не простое повторение Прудона, народников или Бернштейна, тех или иных заблуждений XIX века. «Азиатское рококо» оказалось типичным европейским явлением XX века, ревизионистской апологетикой государственно-монополистического капитализма.

В начале своей книги автор «Очерков азиатского социализма» утверждал, что, «обогащенные опытом столетия», азиатские социалисты имеют возможность «пойти по уступкам Западом в его стремительном восхождении дорогам, которые достойны внимания, могут избежать многих ложных путей». На деле именно ложный путь привел лидера правых социалистов к необходимости произнести самокритичную речь перед своими сторонниками.

Вероятно, читатель заметил, что характеристика идеальной сельской общины, данная правым социалистом, удивительно похожа на тот образец коммуны, который прославляют и пыгались внедрить догматики. В истории уже не раз наблюдалась переключка между обоснованием утопизма реакционного и оправданием

утопизма революционного. А народному делу приносят вред и ложные пути, и «большие скачки» в ложном направлении.

Однако критика утопизма не должна привести к ошибочным выводам, к неверному представлению о судьбах европейского наследия и «европейских идеалов». Это может случиться, если упустить из виду два важных соображения: во-первых, высокая ступень общественной кооперации не идеал будущего, а цель, по направлению к которой человечество уже двинулось; во-вторых, старинные народные формы общественного владения не должны быть вовсе отброшены при осуществлении современных социалистических идей. На этот счет существуют многими забытые и многим неизвестные глубокие высказывания Энгельса, которые имеют непосредственное отношение к современным проблемам Азии и Африки. Мы их приведем, хотя и нарушим старое правило, запрещающее загромождать статьи длинными цитатами. Но, если автору цитата кажется интересной, почему бы ему не думать, что и читатель ее не найдет ее скучной?

В 1894 году в известном послесловии к статье «Социальные отношения в России» Энгельс писал:

«...Исторически невозможно, чтобы общество, стоящее на более низкой ступени экономического развития, разрешило задачи и конфликты, которые возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем на гораздо более высокой ступени развития. Все формы родовой общины, возникающие до появления товарного производства и частного обмена, имеют с будущим социалистическим обществом только то общее, что известные вещи, именно средства производства, находятся в общей собственности и в общем пользовании известных групп. Однако одно это общее свойство не дает нижней общественной форме способности породить из себя самой будущее социалистическое общество, этот последний продукт капиталистического общества, порождаемый им самим. Каждая данная экономическая формация должна разрешить свои собственные, из нее самой возникающие задачи; браться за разрешение задач, стоящих перед другой, совершенно чуждой формацией, было бы полнейшей бессмыслицей. И к русской общине это относится не в меньшей мере, чем к южнославянской задруге, к индийскому родовому строю или ко всякой иной общественной форме периода дикого состояния или варварства, характеризующейся общественным владением средствами производства.

Но зато не только возможно, но и несомненно, что после победы пролетариата и перехода средств производства в общественное владение у западноевропейских народов, те страны, которые только что вступили на путь капиталистического производства и сохранили еще родовые порядки или остатки таковых, используют эти остатки общественного владения и соответствующие им народные обычаи как могучее средство для того, чтобы значительно сократить процесс своего развития к социалистическому обществу и избежать большей части тех страданий и той борьбы, через которые приходится прокладывать дорогу нам в Западной Европе. Но неизбежным условием для этого являются пример и активная поддержка Запада, пока еще капиталистического. Только тогда, когда капиталистическое хозяйство будет преодолено на своей родине и в странах, где оно достигло расцвета, только тогда, когда отсталые страны увидят на этом примере, «как это делается», как заставить производительные силы современной промышленности, превращенные в общественную собственность, служить всему обществу в целом, — только тогда смогут эти отсталые страны взять курс на такой сокращенный путь развития. Но зато успех им тогда обеспечен... В России, однако... возможно будет совершить общественное переустройство почти одновременно с Западом. Это было уже высказано Марксом и мною 21 января 1882 г. ...».

Важнейшая поправка, которую внесла история в картину будущего, нарисованную Марксом и Энгельсом, заключается в том, что в России общественное переустройство совершено не «почти одновременно с Западом», а гораздо раньше, чем в Западной Европе, и социалистическая система охватила страны Восточной Европы и части Азии. Но мы знаем, что и на Западе происходят перемены, сви-

детельствующие о переходе рабочего движения на более высокую ступень по пути к решительному общественному переустройству.

Тем более интересно, что, по мнению великого революционного мыслителя, неизбежное условие ускоренного развития отсталых стран — это «пример и активная поддержка Запада, пока еще капиталистического» (подчеркнуто нами. — *Е. Г.*). В реальной действительности отношения слаборазвитых стран с крупнокапиталистическими имеют сейчас более сложный и более противоречивый характер, чем, видимо, ожидал Энгельс, хотя и не такой антагонистический, как это изображают догматики и сектанты. Во всяком случае использование новыми странами помощи и капиталистических государств не исключается полностью; этому способствует «борьба за наследников». Парадоксальной ее иллюстрацией могут служить рассуждения члена верховного суда США Дугласа; Дуглас заявил, что Соединенные Штаты, если они хотят сохранить свое влияние в мире, должны были бы относиться терпимо и к необходимости «оказывать помощь строительству социализма». Дуглас вопрошал: «Способны ли мы уважать слово «революция» или мы отдали его на откуп коммунистам?»

В подобных лживых разглагованиях противников революции и социализма есть элементы позы и какого-то интеллектуального кокетства, но они не лишены практического смысла. Ведь капиталистические страны вынуждены поддерживать довольно широкие экономические отношения со странами, вступившими на путь социализма. Предположения Энгельса не столь уж далеки от действительности.

Разумеется, история полностью, разносторонне и щедро подтвердила мысли Энгельса о решающей роли примера и помощи развитой социалистической страны, которая показывает слаборазвитым странам, «как это делается».

Таким образом, когда рассматривается значение европейского наследства для Азии и Африки, то в конечном счете речь идет именно о том «неизбежном условии», без которого курс слаборазвитых стран на сокращенный путь развития не увенчается полным успехом. Речь идет, следовательно, не о добрых пожеланиях, чьих-либо субъективных намерениях или о космополитизме, а о научной марксистской истине.

Эту истину, как известно, оспаривают те, кто выступает с лозунгом «строительства социализма собственными силами», то есть без использования активной помощи и уроков СССР, оспаривается теми, кто настаивает на самодовлеющем историческом значении национально-освободительного движения в Азии и Африке и преуменьшает международное значение опыта промышленного пролетариата Европы.

Так ставится на голову известное изречение Маркса, гласящее, что «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего». Обратное означало бы, что нынешние высокоразвитые страны в будущем окажутся на положении ныне слаборазвитых стран. Это могло бы произойти лишь на развалинах цивилизации, после ядерной войны.

Опыт промышленно развитых стран Европы отвергают и различные реакционные силы Азии и Африки. Часто дело сводится к попыткам сохранить архаические формы общественной жизни наряду с прислужничеством перед высокоиндивидуальным американским империализмом. Порой на этом строятся попытки защитить от народного гнева остатки «азиатского деспотизма», который не раз клеймили и Маркс и Ленин.

Иногда причина в другом: законное отвращение к европейскому колониализму перерастает в крайний национализм, принимает даже формы расизма. На этой же почве возникает в отсталых слоях африканского населения мегалофобия — враждебное отношение вообще ко всему иностранному, ко всему новому, непривычному, требующему усилий для освоения. Между тем «курс на сокращенный путь развития», конечно, требует как раз обратного. таких качеств, как смелость и свобода мышления, стремление воспринять и освоить все новое и еще недоступное, желание узнать на примере других, «как это делается». Но именно поэтому



по мере того, как та или иная страна продвигается вперед по пути самостоятельного государственного существования, меняется и психология людей и постепенно изживается тлетворное влияние рабской идеологии, порожденной колониализмом.

Конечно, и в этом случае «надстройка» и «база» находятся во взаимодействии. Ведь решение культурно-политических и моральных проблем обязательно требует ответа на вопрос: какое наследство принять и от какого отказаться? Таким образом, нравственно-психологическая эволюция в свою очередь способствует тому, что реализуется неизбежное условие ускоренного развития, каким является использование опыта Европы<sup>1</sup>.

В этом можно убедиться, ознакомившись с некоторыми сторонами борьбы африканских народов.

### РАЗУМ ВОЗМУЩЕННЫИ

Никогда еще в истории человечества борьба народов против чужеземного владычества не велась так открыто и неустанно и одновременно на всем пространстве целого континента, как сейчас в Африке.

Многоязычная Африка, расположенная по обе стороны экватора, на западе омываемая Атлантическим океаном, на востоке связанная через Индийский океан с Азией старинными узлами торговли, Африка, народы которой создали вместе с народами Европы великую средиземноморскую культуру, — эта Африка обрела общие цели и задачи в борьбе за раскрепощение африканских народов, за государственную независимость африканских стран. Как же сформулировать проблему европейского наследия применительно к целому континенту, борющемуся за освобождение от тысячелетнего ига? И все же как только народ Африки осознает себя не пасынком истории, а тем отпрыском человеческого рода, который «накопец ухватится ручонкой за колесо истории», пред ним встает проблема европейского наследия прежде всего в связи с задачами культурной революции.

Эти задачи приобретают в условиях национально-освободительной революции не меньшее значение и остроту, чем при социальном перевороте, тем более что успехи национально-освободительной борьбы непременно сочетаются с глубочайшими, чаще всего революционными переменами социально-экономического характера. Правда, культурное строительство в условиях колониальной революции крайне осложняется тем, что, например, в некоторых странах Африки народ, сбросивший колониальное иго, еще не может противопоставить свою собственную культуру более высокой культуре, а вернее цивилизации, угнетателей. Как раз там, где европейское наследство особенно ненавистно, его невозможно вовсе отбросить.

«Культура, а вернее цивилизация», — сказали мы, и тем самым затронута одна из «вечных проблем» и, если угодно, один из «странствующих сюжетов» общественной мысли. В художественной и политической литературе новой Африки вопрос о соотношении культуры и цивилизации, национальной и полученной в наследство, дебатировался с не меньшим жаром, нежели в русской литературе прошлого века. Африканские народы на деле опровергли распространенное в прошлом, но чуждое марксистам заблуждение, будто прогресс цивилизации и стремление к нему присущи «малой части человечества, Европы» (Л. Н. Толстой) и будто бы этот мнимый прогресс не коснулся и не коснется Азии и Африки. Лев Толстой бичевал нелепость и несправедливость такого состояния общества,

<sup>1</sup> Доказывая, что историческая необходимость требует превратить «азиатские формы труда с бесконечно развитой кабалой, со всяческими формами личной зависимости — в европейские», Ленин цитировал с одобрением (в статье за подписью В. Ильин) следующее высказывание немецкого автора: «Европейский образ мыслей и чувствования не менее необходим (заметьте: необходим. В. И.) для успешной утилизации машин, чем пар, уголь и техника» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 2, стр. 500).

когда прогресс техники — монополия одного класса. Африканские народы как раз и ликвидируют монополию класса чужеземных завоевателей на прогресс техники. Тем самым они вступают в права наследства.

Это наследство находится в запущенном состоянии. Именно в небывалой исторической обстановке, когда за свое освобождение борется целый континент, обнаружилось несовпадение понятий культуры и цивилизации. Прекрасные дороги и телеграфные линии ведут не туда, куда это нужно было бы освободившейся стране. «Каждая колония унаследовала транспортную систему, направленную к прежней метрополии», — сетовал глава правительства Танганьики Ньерере. Современнейшие самолеты, принадлежащие капиталистическим монополиям, стартуют в Африке, чтобы лететь в Европу, но нет воздушной связи между Западной и Восточной Африкой, как нет между ними и железнодорожной связи. Хорошо охраняемые границы часто представляют собой, как сказал один из африканских деятелей, «этнологическую и географическую бессмыслицу». Имеются превосходные склады, элеваторы и магазины, но они все еще принадлежат иностранным монополиям или торговым фирмам, кстати сказать, не всегда европейским или американским, то есть «белым»; в Восточной Африке существует антагонизм между местным населением и азиатским торговым капиталом. Нефтепроводы, пересекающие огромные территории, выкачивают богатства из Африки в буквальном и переносном смысле слова.

Приобретая государственную независимость, освободившиеся страны совершают первый и важнейший шаг к овладению наследством «западной цивилизации» — они создают собственную политическую культуру. Но это лишь первый шаг. Национальная, или унаследованная, культура общественной жизни все еще остается уделом привилегированной прослойки. Самое главное, конечно, заключается в том, что империалистические завоеватели еще держат в своих руках многие ключевые позиции. Но и независимо от этого страны Африки по своей социальной структуре представляют весьма пеструю картину. В одних странах еще нет четкого классового расслоения, в некоторых еще властвуют феодалы; в иных к власти пришла национальная буржуазия; в других правит бюрократический аппарат формирующегося государственного капитализма; возникает «буржуазия нового типа — буржуазия чиновников» (слова французского экономиста-аграрника Рене Дюмона); военно-бюрократические диктаторские группировки захватывают бразды правления; тем временем крестьянство становится деятельной политической силой, возрастает роль прогрессивной интеллигенции; наконец, правда еще не всюду, выходит на арену политической жизни африканский рабочий класс.

Так или иначе, но еще существует глубокий разрыв между уровнем цивилизации, воспринятой от Запада, и уровнем жизни народа. Осуждая цивилизацию, Лев Толстой говорил о роли телеграфа в России: «Все мысли, пролетающие над народом по этим проволокам, суть только мысли о том — как бы нанудобнейшим образом эксплуатировать народ... что народ становится недоволен своим положением... и что необходимо послать для усмирения его столько-то солдат». Толстовское отрицание пришедшей с Запада цивилизации и культуры отражало настроение крестьянства: «мужик... никогда не послал и не получил... ни одной депеши». Африканский безземельный крестьянин, недавний колониальный раб, готов порой, подобно русскому крестьянину при помещищем строе, отвергнуть цивилизацию. Люди, для которых мятеж является первым шагом к тому, чтобы обрести человеческое достоинство, не сразу осознают, что они наследники всей человеческой цивилизации, часть борющегося человечества.

Мировоззрение, психология, мораль людей, совсем недавно сбросивших колониальное ярмо, — очень важная проблема. Нельзя же, изучая базу, упускать из виду надстройку. Так, автор статьи, опубликованной в специализированном журнале в начале 1963 года, Г. Мирский счел нужным указать на то, что недооценка морального переворота, происходящего в душе бывшего колониального раба,

ведет к неправильному пониманию достижений национальной независимости<sup>1</sup>. Если уж экономист заговаривает о «душе», то, очевидно, моральные проблемы занимают немалое место в жизни народов, вставших на путь национальной освободительной борьбы.

Моральный переворот в душе бывшего колониального раба — явление не единовременное; это сложный процесс, проходящий через ряд этапов, и только на определенной, довольно высокой, ступени возникает потребность определить свое отношение к европейскому наследству. Эта эволюция с большим публицистическим блеском освещена в интересном произведении уже скончавшегося писателя и участника освободительной борьбы в Северной Африке Ф. Фанона. Его книга, озаглавленная «Проклятем заклейменные»<sup>2</sup>, привлекла внимание всей прогрессивной французской печати. Во Франции она вышла с предисловием Ж.-П. Сартра.

Сильная сторона книги Фанона, в частности, заключается в том, что он показал взаимодействие и противоречия между морально-политическими проблемами, волнующими борцов за освобождение Африки, и идеологией, привнесенной из Европы.

На начальной стадии борьбы, на начальной стадии морального переворота, человек уже не хочет оставаться рабом, но еще не знает, как ему жить. Колониальный раб, безземельный крестьянин, которому, подобно европейским пролетариям в XIX веке, нечего терять, кроме своих цепей, берется за оружие, оказавшись перед дилеммой: убить или оставаться рабом. Однако по мере того, как рабы, сбрасывая цепи, обретают человеческое достоинство, бывшие рабовладельцы его теряют. Лозунгом колониалиста и расиста становится: убить или поработить! Такова была психология оасовцев (книга Фанона — обвинительный акт против палачей), такова отвратительная мораль южновьетнамских карателей, такова растленная психология американских расистов и ультраправых, перешедших к открытому фашистскому террору.

Естественно, что угнетенные прибегают к насилию в ответ на насилие угнетателей. У них нет другого пути к освобождению. В этом отношении ни африканский, ни азиатский опыт не внесли существенных поправок в опыт Европы. Непротивление неизбежно приводит либо к тому, что сторонники непротивления сами переходят к активному сопротивлению, либо они расчищают почву для применения насилия с обеих сторон. И вовсе не на низком уровне культуры, а именно на ее высоком уровне существует полная ясность насчет того, что необходимо силой пресекать злодеяния палачей, фашистский террор и расистские погромы любой масти. Великий французский поэт Поль Элюар писал:

Нет неба светлее и ярче,  
Чем в утро смерти предателя,  
Нет покоя нам на земле,  
Пока можно прощать палачам<sup>3</sup>.

Это не голос восставшего раба, а свободного человека, желающего видеть чистым небо над человечеством. Это голос свободного человека, испытывающего ненависть и отвращение к палачам, насильникам и их пособникам, и он звучит с особой силой именно тогда, когда насилие перестает быть единственным, неопровержимым аргументом, каким оно является на первом этапе восстания «проклятем заклейменных».

<sup>1</sup> См. статью Г. Мирского «Творческий марксизм и проблемы национально-освободительных революций» («Мировая экономика и международные отношения», № 2, 1963). Эта статья и полемизирующая с ней по некоторым вопросам другая статья в том же журнале, Р. Аванова, Л. Степанова (№ 5, 1963), заслуживают внимания и неспециалистов, в частности как попытка творческого подхода к проблемам, догматически освещавшимся во времена культа личности, а иногда и теперь. Обе статьи опубликованы редакцией как дискуссионные.

<sup>2</sup> Frantz Fanon. Les damnés de la terre. François Maspero. Paris. 1961.

<sup>3</sup> Paul Eluard. Choix de Poèmes. Moscou, 1958, p. 78.

Африка переняла от Европы призыв: «Вставай, проклятем заклейменный!» Но опыт Европы свидетельствует о том, что человек, восставший против векового гнета, истинно свободным становится, лишь когда он перестает быть «проклятем заклейменным», освобождается от рабской психологии, когда кипит в нем «разум возмущенный».

Переход от внушенного гневом и страстью чисто негативного состояния, неприятия действительности к продиктованному разумом стремлению преобразовать действительность — есть важный элемент морального переворота, о котором здесь идет речь. Эта проблема волнует африканскую интеллигенцию и находит свое отражение и в литературе. Фанон в свою книгу включил сцену из трагедии известного поэта, в прошлом коммунистического депутата от Мартиники во французском Национальном собрании Эме Сезера. Приводим один отрывок:

#### М я т е ж н и к (сурово)

Мое имя: оскорбленный; мое прозвище: униженный; мое положение в обществе: бунтовщик; время рождения: каменный век.

#### М а т ь

Мой род: род человеческий. Мое мировоззрение: братство...

#### М я т е ж н и к

А я из рода отверженных... Мое мировоззрение... Нет, я не приму его от вас, вы меня разоружаете. Я сам его создам, это дело моих бедных сжатых кулаков, моей взлохмаченной головы.

\* \* \* \* \*

#### М а т ь

Пощади! Меня душат твои оковы. Я истекаю кровью, ибо твои раны кровоточат.

#### М я т е ж н и к

А мир меня не щадит... В каждом страдальце, погибающем от линчевания, в каждом несчастном, подвергнутом пытке, я убит и унижен...»

Мятежник, как он сам сказал о себе — недавний «верный раб, раболепнейший раб», отрекается от человеческого рода, отвергает его призыв к братству, и он же объявляет своим кровным братом каждого преследуемого и замученного человека. Но разве униженные и оскорбленные не часть человечества? Разве сострадание не великая революционная сила? <sup>1</sup> Когда Некрасов восклицал: «Уведи меня в стан погибающих за великое дело л ю б в и!» — он имел в виду стан самоотверженных борцов против самодержавия. История русского освободительного движения знает изумительные примеры того, как революционный дух сочетается с высоким гуманизмом. После приостановки казни и перед отправкой на каторгу Петрашевский сказал своим друзьям, указывая на кандалы: «Это драгоценное ожерелье, которое выработала нам мудрость Запада, дух века, всюду проникающий, а надела на нас торжественно любовь к человечеству». Известно, какое огромное значение имел высокий моральный дух большевиков, тех, кто сострадание к «проклятем заклейменным» сумел претворить в дело их освобождения. Разве опыт сердца не столь же ценен, как и опыт ума?

<sup>1</sup> Догматически мыслящие люди усматривают в сострадании нечто непродуктивное и чуть ли не порочное. Не так давно была опубликована критическая статья, в которой безотносительно от литературной позиции автора поражает утверждение, будто сострадание к герою не делает его близким читателям («Литературная газета», 8 октября 1963 года, статья М. Синельникова).

Однако пора опуститься с надстройки к базе. Без этого нельзя понять моральную эволюцию «Мятежника».

Сартр в своем предисловии к книге Фанона, впадая в преувеличение, назвал Фанона чуть ли не продолжателем Энгельса, так как он осветил в новых исторических условиях роль насилия как повивальной бабки истории. Сартр писал свое предисловие в сентябре 1961 года, когда неистовствовали оасовцы и было полезно сказать французам о том, что насилие может оказаться единственным средством спасения от варваров, которые перенесли на территорию метрополии методы фашистского террора, потерпевшие в Алжире крушение именно вследствие того, что народ Алжира ответил на насилие насилем.

Ясно, что в определенных, конкретных условиях общественной жизни необходимо прибегать к силе. Но обобщают эту мысль лишь догматики и политики авантюристского типа. Марксистская наука об общественном развитии вовсе не считает, что насилие является неотъемлемым элементом социалистической революции, органически присущим ей методом исторического действия.

Начетчики доводят до абсурда образное сравнение насилия с повивальной бабкой, забывая, что повивальная бабка — персонаж, не так уж часто появляющийся в жизни человека. Из их рассуждений вытекает, что «родовые схватки, порожденные революцией», — это столь же естественное и общепринятое состояние, как и «непрерывный скачок»...

В этой связи интересно напомнить, как иллюстрировал свое понимание насилия в общественной жизни Энгельс как раз в той главе «Анти-Дюринга», которую помнят обычно только как панегирик насильственной революции.

Речь пойдет о Робинзоне Крузо и Пятнице.

Когда Робинзон встретил своего будущего слугу, он заставил его подчиниться, выхватив шпагу и приставив ее к груди безоружного туземца. Этот эпизод Дюринг привел как иллюстрацию своей мысли, что «первичное все-таки» следует искать в непосредственной политической насильии, а не в косвенном влиянии экономической мощи».

Оспаривая приведенное положение Дюринга и высмеивая его аргументацию, Энгельс продолжил историю Робинзона и Пятницы: «Если Робинзон мог достать себе шпагу, то с таким же основанием можно представить себе, что в одно прекрасное утро Пятница является с заряженным револьвером в руке, и тогда все соотношение «насилия» становится обратным».

Однако победа Пятницы была бы основана не на производстве оружия, а на производстве вообще, на «экономической мощи», как говорит Энгельс, на «хозяйственном положении», на «материальных средствах».

Обращаясь от иллюстрации к обобщению, Энгельс — а ведь он один из основоположников марксизма — заявил (к ужасу современных догматиков), что приход к современному капиталистическому способу производства можно объяснить всецело экономическими причинами без всякой ссылки на грабеж, на насилие, на государственное вмешательство. «Первичное» и в самом насилии, писал Энгельс, — «экономическая мощь, обладание мощными средствами современной промышленности».

Но если «первичное» — это экономическая мощь, обладание крупной промышленностью, материальные средства и они имеют решающее значение для прихода нового способа производства, то в случае экономического преимущества новой системы над старой должна отпасть необходимость в том, что признано «вторичным» — в политической насильии. Но ведь это рассуждение и есть всем нам знакомое обоснование принципа мирного сосуществования во внешней политике социалистических стран и возможности мирного перехода от капитализма к социализму. Мысли, высказанные Энгельсом, оказались так называемой всеобщей истиной марксизма.

Говоря о столкновении между Робинзоном и Пятницей, о полемике между Энгельсом и Дюрингом, упомянув о взглядах догматиков на проблему насилия, мы тем самым обозрели и основные стадии интересующего нас морального пере-

ворота в душе «мятежника», последовательные стадии моральной эволюции, связанные с эволюцией борьбы за освобождение от господства колониализма. В самом деле, вслед за непосредственным столкновением с рабовладельцем наступает период организационного отпора захватчикам, а после завершения этого этапа встает задача мирного строительства: надо овладеть «материальными средствами», «экономической силой», завоевать экономическую независимость.

Вот тогда перед «мятежником» встает и проблема европейского наследства. Разумеется, отказ от голого насилия, тотального уничтожения сам по себе не упрощает проблему наследства. На этом новом этапе проблема становится сложнее. Даже отречение от наследства мучительно. Юность — это возмездие!

Послушаем Фанона: «Нам нужно отказаться от своих мечтаний, отвергнуть наши прежние верования и наши привязанности, оказавшись лицом к лицу с жизнью. Не будем терять время на пустую болтовню и лживое притворство. Расстанемся с той Европой, которая не перестает твердить о значении человека и уничтожает его всюду, где он встречается ей на пути, на всех перекрестках собственных улиц, во всех концах мира... Итак, братья, пора понять, что у нас есть дела получше, чем следовать за вот этой Европой. Европа не переставала говорить о человеке, твердила, что она печется о судьбе человека, но мы знаем теперь, какими страданиями заплатило человечество за победы европейского духа».

Итак, разрыв... Так ли это? Возмущение революционного интеллигента, воспитанного на европейской культуре и потрясенного тем, что правящим классам Европы чужды идеи европейского гуманизма, — это возмущение еще не означает отказ от подлинного наследства. Можно ли, да и следует ли вовсе отказаться от своих мечтаний и верований? Видимо, и Фанон этого не думал, когда писал: «Перед третьим миром стоит задача положить начало истории человека, который одновременно приемлет некоторые великие истины, провозглашенные Европой, но помнит также преступления Европы...»

Послушаем другой голос, тоже обращенный к Европе: «Ваше прошлое служит нам поучением, но не больше... Ваши сомнения мы принимаем, но ваша вера нас не трогает...» «Мы независимы, потому что ничего не имеем... Все наши воспоминания исполнены горечи и злобы. Образование, науку подали нам на кончике кнута. Какое же нам дело до ваших заветных обязанностей, нам, младшим братьям, лишенным наследства?»

Так писал Герцен сто лет назад. Фанон, вероятно, не читал Герцена, но оказывается как бы его единомышленником.

Какое бы отвращение, отчаянье и возмущение ни испытывал Герцен, будучи свидетелем («неприятным свидетелем для Европы») зверств буржуазного террора, торжества продажных честолюбцев и тупого мешанства, — он не терял веры в будущее Европы. «Середь грома и молний... явятся... черты нового символа веры», — писал он. Герцен знал, что «работники больших городов» Европы — это «героические провозвестители будущего».

Такая вера присуща и революционной интеллигенции новой Африки. В том-то и дело, что в таких исторических условиях, когда проблема европейского наследства встает перед целыми континентами, возможна переключка через века и материк. Во взглядах революционной интеллигенции молодых стран Африки можно обнаружить герценовский народнический утопизм и наряду с этим понимание того, что «работники больших городов» уже не только провозвестники, но и строители будущего. В смещении и конфликте различных идеологических течений обнаруживается диалектика «морального переворота» на его более высокой стадии, когда уже не удастся вовсе отделить будущее Африки от будущего Европы.

«Если мы хотим удовлетворить чаянья наших народов, мы должны наши поиски вести вне Европы», — писал Фанон, но к этому добавил: «Более того, если мы хотим удовлетворить чаянья европейцев, мы не должны обращаться к ним с их собственным изображением, с тем их идеалом общества и мышления, к которому они сами иногда испытывают огромное отвращение. Ради Европы,

ради нас самих и ради человечества нам надо, товарищи, обрести новую кожу, мыслить по-новому, попытаться поставить на ноги нового человека».

Но как «поставить на ноги нового человека»?

«Конкретная задача, стоящая перед нами, заключается не в том, чтобы обязательно выбрать между таким социализмом и таким капитализмом, как они определены людьми других континентов и эпох. Мы, конечно, знаем, что капиталистический строй — не тот образ жизни, который дал бы нам возможность осуществить наши национальные и мировые задачи. Капиталистическая эксплуатация, тресты и монополии — враги слаборазвитых стран. Напротив, отдав предпочтение социалистическому строю, строю, целиком обращенному ко всему народу, строю, основанному на том принципе, что человек есть самая большая ценность, мы сможем идти вперед быстрее, развиваться гармоничнее, благодаря чему станет невозможной нынешняя карикатура на общество, когда отдельные люди держат в своих руках всю экономическую и политическую власть во вред национальной общности».

Однако передовые люди Африки не хотят, чтобы прогресс — даже самый гармоничный на своей завершающей стадии — был достигнут за счет поколений, низведенных империализмом до положения нищих, за счет жизни поколений, вынужденных работать сверх сил. Европа, говорят они, была создана за счет богатств «третьего мира», пусть же она теперь расплачивается. Фанон требует, чтобы Европа платила Африке репарации за причиненный ущерб. Но в отличие от тех, кто видит в «третьем мире» таран, сокрушающий империализм в момент мирового конфликта, передовые деятели национально-освободительного движения, подобно Фанону, заявляют, что «третий мир не намерен организовать огромный крестовый поход голода против всей Европы». «Мы должны, — писал Фанон, — сказать и объяснить капиталистическим странам, что коренная проблема современной эпохи вовсе не сводится к войне между ними и социалистическим строем. Надо положить конец холодной войне, остановить подготовку ядерного уничтожения мира».

Несмотря на неоднородность социальной структуры африканских стран, представители всех общественных и политических течений Африки сходятся на том, что не только за бедствия, причиненные колониализмом, но и за холодную войну счет надо предъявить капиталистическим правительствам. Именно в условиях мирного сосуществования национально-освободительное движение одерживает все новые победы. Поэтому Африка связывает свои надежды не с мировым конфликтом, а с прекращением холодной войны.

В современных условиях борец за свободу уже не находится перед дилеммой: «убить или оставаться рабом», а проводники империалистической политики уже не могут осуществить свое стремление «убить или поработить». Ведь лозунг «уничтожить, чтобы жить», примененный в масштабе всей Земли, — это и есть философия ядерной войны, которую не приемлет разум возмущенный человечества.

Но не является ли надежда на всемогущество разума человечества тоже «наследственным грехом», хотя и невинным? Не есть ли это дань утопизму просветителей XVIII века? Нет, речь идет не об утопии, а о реальной действительности XX века. Именно в наше время, несмотря на угрозу ядерной катастрофы, разумная практическая политика стремится осуществить на всех континентах те европейские идеалы, о которых говорил Ленин. Идеалы социализма — достояние всего человечества.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН

★

## ИВАН ДЕНИСОВИЧ, ЕГО ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ

1

**Т**рудно представить себе, что еще год назад мы не знали имени Солженицына. Кажется, он давно живет в нашей литературе и без него она была бы решительно не полна. Каждый новый его рассказ — хвалит, ругает ли его критика — не оставляет читателя безучастным. О нем говорят, его цитируют, судят его с какой-то особой, необычной для наших литературных споров требовательностью, которая есть первый знак того, что мы по-настоящему задеты и взволнованы. Заурядность располагает к благодушию оценок, но тот, кто поразил нас при первом появлении, не может рассчитывать на снисходительность. И таков уж закон читательской психологии или, если угодно, предрассудок ее, что, какие бы новые темы и формы ни разрабатывал Солженицын в «Матренином дворе» или рассказе «Для пользы дела», ему не избежать сравнений с его первой повестью — к выгоде или невыгоде для нее. Так или иначе, но повесть «Один день Ивана Денисовича», с которой А. Солженицын вошел в литературу, остается для большинства читателей как бы эталоном его деятельности художника. Тем полезнее сейчас, когда в критике уже высказаны различные точки зрения на талант Солженицына. оглянуться назад и пристальнее всмотреться в эту маленькую повесть.

«Один день Ивана Денисовича» был прочитан даже теми, кто обычно повестей и романов не читает. Один такой «нерегулярный» читатель сказал мне: «Я не знаю, плохо или хорошо это написано. Мне кажется, иначе и написать нельзя».

Повесть поражала жестокостью и прямо-той своей правды.

Это был тот редкий в литературе случай, когда выход в свет художественного произведения в короткий срок стал событием общественно-политическим.

Н. С. Хрушев дал высокую оценку этой повести, тепло отозвался о ее герое, сохранившем достоинство и красоту трудового человека и в нечеловеческих условиях, о правдивости изложения, о партийном подходе автора к явлениям столь горькой и суровой действительности. Сам факт появления повести был воспринят людьми как подтверждение воли партии навсегда покончить с произволом и беззакониями, омрачавшими недавнее наше прошлое. И понятно, что гражданская смелость автора была отмечена прежде и повсеместнее, чем его художественная смелость.

Иной склонен был думать, что успех писателю принесла сама тема — острая и новая, и еще что Солженицыну ничего не стоило написать свою повесть, потому что Иван Денисович — это он самый и есть — просто сел за стол да записал бесхитростно историю одного своего дня. Мнение лестное для автора, до такой степени слившегося в нашем сознании с героем, но наивное и несправедливое. Правдиво рассказать о жизни заключенных в лагере ничуть не проще, чем написать, скажем, о буднях войны, о стройке или колхозе. Дело здесь не в теме, а в таланте, то есть в чувстве правды автора и умении нам эту правду передать. Что же касается простодушной догадки, что сам Солженицын и есть Иван Денисович, оттого и авторская задача его была легка, то последние рассказы многим помогли раз-



убедиться в этом. Подобно автору «Мадам Бовари», говорившему «Эмма — это я», Солженицын мог бы сказать о себе, что он — это и старуха Матрена, и молодой лейтенант Зотов, и партийный работник Грачиков, то есть все те лица, которые изображены в его рассказах с такой высокой объективностью и знанием человеческого сердца, но в которых вовсе не растворяется без остатка личность писателя.

Художественная смелость Солженицына в его первой повести сказалась уже в том, что он не потворствовал обычным нашим понятиям об украшениях художественности. Он не построил по существу никакого внешнего сюжета, не старался покруче завязать действие и поэфффектней развязать его, не подогревал интерес к своему повествованию ухищрениями литературной интриги. Замысел его был строг и прост, почти аскетичен — рассказать час за часом об одном дне одного заключенного, от подъема и до отбоя. И это была тем большая смелость, что трудно было себе представить, как можно остаться простым, спокойным, естественным, почти обыденным в такой жестокой и трагической теме.

Солженицын разочаровал тех, кто ждал от него рассказа о злодеяниях, пытках, кровавых муках, об эксцессах бесчеловечности в лагере, о мучениках и героях каторги. Странно признаться, но первое впечатление, которое мы испытали, начавши читать повесть, было: и там люди живут. И там работают, спят, едят, ссорятся и мирятся, и там радуются малым радостям, надеются, спорят, бывает, подшучивают друг над другом...

Как нарочно (не сомневаюсь, что нарочно), автор выбрал для рассказа относительно благополучную пору в лагерной судьбе своего героя. Ведь было и так, что на Севере, в Усть-Ижме, куда поначалу попал Иван Денисович, зиму без валенок ходили, есть же совсем было нечего, и «доходил» уже Шухов кровавым поносом. Да и режим там был не в пример суровой. «В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь...» Но о той поре жизни Иван Денисович вспоминает скользь, к случаю и обычно для того только, чтобы подчеркнуть преимущества нынешнего Особлага — «здесь поспокойней, пожалуй».

Самое же парадоксальное и смелое, что и

в этой сравнительно легкой полосе лагерного срока автор выбирает из длинной череды дней, проведенных Иваном Денисовичем за колючей проволокой, день не просто рядовой, но даже удачный для Шухова, «почти счастливый». К чему это? Не хочет же он в самом деле уверить нас, что и в лагере «жить можно»?

Что пользы в праздных вопросах. Вспомним лучше, какие чувства пережили мы, открыв впервые повесть Солженицына и начавши читать эту, казавшуюся неуклюжей, грубовато-небрежной и в то же время подчинявшую нас какому-то своему могущественному ритму, прозу:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать».

Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить».

Веско, тяжело, как отрубленные, падают эти слова, и вот уже отодвигается, расплываясь в очертаниях, только что окружавший нас привычный, живой и вольный мир, и мы оказываемся где-то за огромным снежным голым полем, за двумя рядами колючей проволоки, за предутренней тьмой, раздираемой накрест двумя прожекторами с угловых вышек. Вот сейчас мы очнемся вместе с Шуховым на клопяной вагонке в деревянном, с паутиной инея по стенам бараке. С ним вместе, закутавшим ноги в телогрейку, натянувшим на голову одеяло, еле угревшимся и нездоровым, будем тянуть эти минуты после подъема, пока власть имеющая рука Татарина не сбросит Шухова с нар. И потом выйдем из барака и пойдем за ним по двору, где бегают, запахнувшись в бушлаты и дрожа от мороза, ээки, мимо столба с термометром и рельса на толстой проволоке — в надзирательскую, мьить пол. А после, кое-как управившись с этой работой, опять на мороз...

Так, миновав лишь несколько первых страниц, мы побываем вместе с Шуховым в штабном бараке, санчасти, столовой. а потом вернемся ненадолго к его вагонке —

вот уже и весь лагерь как на ладони, кроме разве что БУРа, который стоит за дощатым заплотом в центре лагеря и будет стоять каким-то мрачным наваждением до конца повести, когда туда поведут погорячившегося на «шмоне» кавторанга.

Солженицын делает так, что мы видим и узнаем жизнь ээка не со стороны, а изнутри, «от него». Старый лагерник Шухов живет в тех особых условиях, когда все вещи и отношения получают иную, чем обычно, цену: то, что казалось важным и значительным на свободе, здесь часто выглядит мешающим и лишним, зато другие вещи, прежде мало замечаемые, приобретают ни с чем не сравнимую важность. Надо знать эту иную шкалу ценностей, чтобы понять Шухова. А для этого Солженицыну очень важно рассказать о том, что и как едят его герои, что курят, где работают, как спят, во что обуваются и одеваются, чем укрываются на ночь, как говорят между собою и как с начальством, что думают о воле, чего сильнее всего боятся и на что надеются. Тут как бы полный лексикон подробностей лагерного быта, описанного художником с социально-этнографической точностью, и, наверное, всякому, кто будет писать об этом после Солженицына, невольно придется ступать в его след.

В лагере все делается по своему чину и ряду, в согласии с незнакомыми на воле понятиями обо всем — об удаче и неудаче, о чести и бесчестии, о приличии и неприличии. И разве когда забудешь, раз прочитавши, такую, например, подробность: за едой косточки рыбки из баланды ээки плюют на стол, собирают их в кучку, а потом смахивают со стола, и они на полу дохрустывают. «А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно».

Такое внимание ко всему обиходу жизни лагеря художественно оправдано еще тем, что Иван Денисович, которого автор дал нам в проводники по каторжному аду, человек по-крестьянски дотошный и практичный, а восемь лет лагеря еще приучили его быть внимательным ко всякой мелочи, ибо от этого зависит благополучие, здоровье и самая жизнь лагерника. Вот он, воспользовавшись оплошностью повара, ловко «закошил» две лишние миски каши; вот подобрал по дороге кусок ножовки: заточить ее — ножичек сапожный выйдет, ему в бараке цены нет — обувь починяя, подработать можно...

Автор задерживается все время на маленьких удачах Шухова, точно старается растянуть счастливые для него минуты, а драматические моменты его лагерной жизни как бы отводит в тень.

Но ведь и о мере несчастья человека можно дать понятие, рассказав о том, что кажется ему счастьем. Все, к чему давно притерпелись глаза Ивана Денисовича, что вошло в его быт и стало казаться обычным, по существу своему страшно и бесчеловечно. И когда мы читаем в конце повести, что Шухов засыпал «вполне удовлетворенный», потому что на дню у него выдалось много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он «закошил» лишнюю кашу и т. д. — это приносит нам не чувство облегчения, но чувство шемящей, мучительной боли.

О том, что день этот для Ивана Денисовича был «почти счастливым», автор говорит без тени саркастической усмешки, со спокойной серьезностью. Шухов в самом деле доволен своим днем, хотя удачи его большей частью проявились, так сказать, в негативной форме; они состояли в том, что на этот раз он избежал обычных лагерных напастей: «не посадили... не выгнали... не попался... не заболел». И если все-таки сквозь строгую объективность рассказа проступает здесь горькая ирония, то это ирония самого положения вещей, самих обстоятельств, в которых такой день может считаться счастливым. В этом и состоит сила автора, что он смотрит на жизнь одновременно, вместе со своим героем и дальше, глубже его.

Если бы Солженицын был художником меньшего масштаба и чутья, он, вероятно, выбрал бы самый несчастный день самой трудной поры лагерной жизни Ивана Денисовича. Но он пошел другим путем, возможным лишь для уверенного в своей силе писателя, сознающего, что предмет его рассказа настолько важен и суров, что исключает суетную сенсационность и желание ужаснуть описанием страданий, физической боли. Так, поставив себя как будто в самые трудные и невыгодные условия перед читателем, который никак не ожидал познакомиться со «счастливым» днем жизни заключенного, автор гарантировал тем самым полную объективность своего художественного «свидетельства» и тем беспощаднее и резче ударил по преступлениям недавнего прошлого.

Сила этого простого эпического рассказа об одном обычном дне лагерного срока еще и в том, что, когда мы читаем, как Шухов встает, как завтракает, как ведет его на работу, как он работает, как обедает в перерыв, как возвращается с работы,— когда проходит перед нами весь этот обычный порядок трудового дня, мы не можем не думать о том, что и как делал бы Шухов, будь он на воле, и еще о том, чем тогда, в эти дни и часы, были заняты мы сами.

В повести точно обозначено время действия — январь 1951 года. И не знаю, как другие, но я, читая повесть, все время возвращался мыслью к тому, а что я делал, как жил в это время. Помню, ходил в университет на Моховой по утреннему скрипучему снежку мимо Кремля, любил смотреть на его красивые, недоступные, чуть подбеленные изморозью стены, сдавал зимнюю сессию, зубрил только что введенный курс «сталинского учения о языке», сочинял сценарий студенческого капустника, бегал на дружеские вечеринки... В том январе газеты писали о прокладке русла Волго-Дона и о скоростных плавках стали, об укрупнении колхозов и продвижении на север культуры грузинского чая, о близких выборах и о войне в Корее, о юбилее Алишера Навои и финальных играх на кубок по хоккею. Страна жила своими большими и малыми заботами, и мы жили всем этим вместе с нею.

Но как же я не знал об Иване Шухове? Как мог не чувствовать, что вот в это тихое морозное утро его вместе с тысячами других выводят под конвоем с собаками за ворота лагеря в снежное поле — к объекту? Как мог жить я тогда так мирно и самодовольно? Вроде тех девушек-студенток, что повстречались бригадиру Тюрину в поезде: «Едут мимо жизни, семафоры зеленые...»

Вот от каких мыслей груднее всего отвяжась.

## 2

Но тут я слышу голос, заставляющий меня вздрогнуть: «И все же хочется спросить: правы ли некоторые наши критики, безоговорочно принимающие образ Шухова таким, каким он дан в повести?» Это спрашивает Ф. Чапчатов из журнала «Дон» (№ 1. 1963). Немного озадачивает сама форма вопроса: можно подумать, что кри-

тик был коротко знаком с Иваном Денисовичем Шуховым еще прежде, чем прочел о нем в повести. Такой Иван Денисович, каким мы вместе с миллионами читателей узнали его из книги Солженицына, оказывается, не сходится с тем Иваном Денисовичем, каким рисует его воображение критика. Сугубо профессиональный феномен восприятия! Подобное раздвоение впечатлений вряд ли возможно у обыкновенного читателя, но в критике оно встречается.

Как тут не вспомнить о старом-престаром различии двух способов критики — нормативного и аналитического. Коротко говоря, нормативный подход состоит в том, что у критика еще до знакомства с произведением, о котором он будет судить, готовы понятия обо всем, что касается этого произведения. Критик заранее знает, как должен выглядеть основной герой, чем должен завершаться конфликт, в каких пропорциях должны находиться светлые и темные краски, каков при этом должен быть «фон» и т. п. Читая затем книгу, он производит несложную работу, в чем-то схожую с портняжным ремеслом: накладывает готовые мерки, прикидывает, соответствует ли результат прежним измерениям, закрепленным в своде правил, и если нет — находит произведение неудачным, если да — отходит удовлетворенный. Хуже всего, когда такой критик начинает советовать автору одно укоротить, другое «припустить», прикидывая при этом платье на себя или, что не лучше, на того стандартного «болвана», который торчит в углу прихожей в ателье.

В противоположность нормативному аналитический способ критики состоит в том, чтобы подходить к произведению как к отражению живой, противоречивой, непрестанно меняющейся жизни и, исходя из свидетельства художника, выносить суд о самом произведении и о жизни, в нем изображенной. Все это — азы материалистической эстетики, которые были провозглашены еще Добролюбовым и научное подтверждение которым мы находим в ленинской теории отражения. Если их приходится повторять, то лишь потому, что нормативная критика, не слишком обнажающая свою уязвимость, пока она имеет дело с книгами, написанными по нормативным же правилам, становится крайне беспомощной и неумелой, попросту теряется, когда ей приходится столкнуться с произведением, возникшим из глубины жизни, передающим ее сложную диа-

лектику, открывающим что-то действительно новое, прежде в литературе не испытанное.

Отношение критики к повести «Один день Ивана Денисовича» сложилось не просто. Горячо поддержанная при появлении печатью (рецензии в «Правде», «Известиях», «Литературной газете»), повесть позднее в некоторых журнальных статьях получила не сходную с первоначальной, осторожно скептическую и даже откровенно отрицательную оценку. Никто, впрочем, не выражал сомнения в пользе открытого обсуждения в литературе столь острой темы. Критика повести пошла по другому пути.

Выступившая с обзором прозы Л. Фоменко нашла, что повесть Солженицына «еще не дает всей правды о тех временах». «Повесть Солженицына при всей ее художественной отточенности и жестокой, горькой правде,— писала она в «Литературной России» (11 января 1963 года),— все же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное «нет!» сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи». Вскоре на страницах того же издания («Литературная Россия», 18 января 1963 года) это утверждение было оспорено. Г. Ломидзе здраво рассудил, что нельзя требовать от автора объять необъятное. Он обратил внимание Фоменко на то, что Солженицын написал не роман-эпопею, а всего лишь маленькую повесть. «Как это в одном дне жизни заключенного возможно схватить диалектику всех связей, борений и противоречий эпохи!» — возражал Г. Ломидзе.

Сочувствуя второму критику, нельзя, однако, признать сильным его аргумент. Сам того не желая, он принял какой-то извиняющийся тон и невольно прибег к той же нормативной системе понятий, что и его оппонент, пытаясь установить некую иерархию жанров, согласно которой роман-эпопея в отношении правды изображения заранее получает преимущество перед повестью. Но разве нельзя и в маленьком рассказе «подняться до философии времени, до широкого обобщения»? Разве это не аксиома, что художник, если он художник истинный, способен в малой капле отразить целый мир?

Что же до повести Солженицына, то удивляться надо, на наш взгляд, не тому, что он чего-то «не отразил» и «не обобщил», а тому, напротив, как широко захватил он жизнь, как много сумел рассказать в столь малых пределах, как один день одного лагерника. В самом деле, мы не только узнали обиход жизни заключенных, их подневольную работу и скудный радостями быт. Мы узнали там людей, в каждом из которых отозвалось что-то типическое, существенное для понимания времени.

Герои Солженицына, разделившие одну судьбу с Иваном Денисовичем, появляются в повести незаметно и просто, словно переступают бесшумно порог, не требуя особого представления со стороны автора; они не позируют перед читателем, погруженные в свои дела и заботы, часто всего лишь несколькими словами перекинутся с Шуховым и уступят место другим, а потом в течение этого долгого дня появятся еще не однажды, уже как хорошо знакомые и близкие нам чем-то люди — бригадир Тюрин, кавторанг Буйновский, герой Бухенвальда — Сенька Клевшин, Цезарь Маркович, мальчонка Гопчик... Крестьяне, солдаты, люди интеллигентного круга, они думают о многом по-разному и говорят о разном — не только о повседневном лагерном быте, но и о том, с чем связано их прошлое: о коллективизации, о войне, об искусстве, о том, как живет деревня,— и это очень важные страницы книги. Чего стоит одна история жизни бригадира Тюрина, рассказанная им самим,— поразительное по своей глубине и силе место повести!

Так можно ли упрекать писателя за бедность и неполноту его изображения? Перед нами предстал мир многосторонний и живой, со множеством своих связей, качеств, отношений, не сводимых к одной лишь специфике «лагерной темы». Потому что, заклеив произвол, Солженицын показал и то, как люди, в обычной, «вольной» жизни различные между собою, в этих исключительных условиях с особой резкостью и открытостью проявляют заложенные в них и прежде свойства — будь то сила духа, уважение к труду, внутренняя честность или приспособленчество, жалкий паразитизм. В лагере Солженицына интересовал не только лагерь — его интересовали люди и эпоха, или, если сказать конкретнее, советские люди в эпоху культа личности «Многих людей, обрисованных здесь в трагическом

качестве «зэков», — замечал Твардовский, — читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний». Не в этом ли истинный масштаб повести, широта ее обобщения?

Нельзя упускать из виду и то, что в художественном произведении в отличие, скажем, от статистического справочника достоинство полноты и многосторонности определяется не количеством затронутых тем, а качеством самого изображения. У настоящего художника в одной беглой, вскользь оброненной детали жизнь предстанет более многообразно, чем в торопливом «отражении» десятков тем в каком-нибудь пухлом иллюстративном романе.

Иначе считают авторы мелькающих время от времени в некоторых журналах придирчиво раздраженных отзывов о повести Солженицына. Отзывы эти обычно носят характер булавочных уколов исподтишка, и их вовсе не стоило бы замечать, если бы они не стали в последнее время слишком назойливыми. Критику «Огонька» ничего не стоит, например, расхваливая новый роман И. Лазутина — автора популярного детектива «Сержант милиции», с младенческой литературной безответственностью заметить: «В отличие от повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» роман И. Лазутина поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни» («Огонек», № 39, 1963). Так и сказано, как о вещи само собой разумеющейся, что в отличие от повести Солженицына роман И. Лазутина многогранен. Что подделаешь, если автору этой заметки недорого его критическая репутация, но зачем он ставит в неловкое положение автора книги, которую хочет похвалить, и журнал, где он это печатает?

Вообще говоря, когда Солженицына упрекают в том, что он рассказал в своей повести не все, что можно было бы рассказать о лагерях тех лет и о жизни страны в целом, удивляет искусственный характер этих требований, род странной неблагодарности по отношению к писателю. Вместо того чтобы подивиться его таланту и гражданскому мужеству, тому, как глубоко и правдиво все в нарисованной им картине, где не найдешь, кажется, ни одной точки, ни одного штриха

вымученного и фальшивого, — автора начинают укорять в том, что и за пределами его картины осталось немало предметов и лиц, достойных изображения. Такая ненасытная требовательность еще понятна, когда она есть часть признательности художнику за его работу и поощрение к новым трудам, но она мелка и неумна, когда с помощью такого приема хотят бросить тень и на само произведение как на что-то неполноценное, недовершенное. И скверно выглядишь тот критик, который, узнав от Солженицына о трагедии жизни Ивана Денисовича, пережив первое потрясение и едва дав ему устояться, спешит учить писателя, как надо было рассказать об этом, чтобы удовлетворить его сполна.

Тут надо сделать оговорку. Мы принимаем как нечто безусловное, что первым движением души любого читателя повести будет горячее сочувствие ее герою, чувство горечи и возмущения при виде безвинно осужденных на жесточайшие муки людей, негодование по поводу злодеяний поры культа личности. И трудно представить себе такого читателя, который в качестве главного впечатления от повести вынесет недовольство самим Иваном Денисовичем, его характером, образом мыслей, поведением в лагере и т. п. Трудно, но не вовсе невозможно, потому что такой читатель существует. Это критик Н. Сергованцев, написавший для журнала «Октябрь» статью «Трагедия одиночества и «сплошной быт» (№ 4, 1963).

Указав вначале, что, на его взгляд, повесть Солженицына «содержит в себе немало глубоких противоречий», Н. Сергованцев предъявляет Ивану Денисовичу Шухову настоящий обвинительный акт, составленный по всем правилам нормативной критики и напоминающий о тех показательных судах, какие устраивались у нас в двадцатые годы в школах над литературными героями Онегиным и Печориним, когда ученики, поощряемые наставниками-педологами, учились искусству общественного поношения. Я приведу это рассуждение Н. Сергованцева возможно полнее, позволив себе лишь выделить в тексте некоторые места, на которые хочется обратить специально внимание читателя:

«Герой повести, Иван Денисович, не является исключительной натурой: это «рядовой» человек, притом «рядовой» в самом точном смысле

этого слова. Его духовный мир весьма ограничен, его интеллектуальная жизнь не представляет особого интереса. Но в целом Иван Денисович в немалой мере интересен. Чем же?

Прежде всего тем, что именно «рядовой», обыкновенный человек поставлен в центр трагических событий, что все события переданы сквозь «призму» его восприятий. Хочется знать, как же простой человек, выдвинутый автором в качестве глубоко народного типа, будет осмысливать ту потрясающую обстановку, которая его окружает.

И по самой жизни, и по всей истории советской литературы мы знаем, что типичный народный характер, выкованный всей нашей жизнью,—это характер борца, активный, пытливый, действенный. Но Шухов начисто лишен этих качеств. Он никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам, а покоряется им душой и телом (?). Ни малейшего внутреннего протеста, ни намек на желание осознать причины своего тяжелого положения, ни даже попытки узнать о них о более осведомленных людей—ничего этого нет у Ивана Денисовича. Вся его жизненная программа, вся философия сведена к одному: выжить! Некоторые критики умилились такой программой: дескать, жив человек! Но ведь жив-то, в сущности, страшно одинокий человек, по своему приспособившийся к каторжным условиям, по-настоящему даже не понимающий неестественности своего положения. Да, Ивана Денисовича замордовали, во многом обесчеловечили крайне жестокие условия—в этом не его вина. Но ведь автор повести пытается представить его примером духовной стойкости. А какая уж тут стойкость, когда круг интересов героя не простирается дальше лишней миски «баланды», «левого» заработка и жажды тепла.

Здесь критик прерывает свой прокурорский монолог, чтобы сообщить читателю, что он не собирается «строго судить героя А. Солженицына». «...Мой жизненный опыт не дает мне на это права»,—спохватывается он. Но, разделившись с литературными приличиями при помощи этой фигуры вежли-

вости, молодой критик с удвоенной энергией обличает Ивана Денисовича, черты характера которого, как считает он, унаследованы «не от советских людей 30—40 годов», а от патриархального мужичка. «Не от советских людей...»—критический прием, слишком хорошо известный, но в последние годы не практиковавшийся в литературе. Н. Сергованцев снова вводит его в оборот.

Даже когда Н. Сергованцев вспоминает, что с Шуховым мы знакомимся в условиях, мягко говоря, необычных, в каких мы впервые видим героя советской литературы, он делает это так, что все камешки опять-таки летят в огород Шухова: «Та суровая действительность, в которой жил Шухов, могла по-всякому изуродовать человека». Бросается в глаза, что, говоря о «суровой действительности», в которой «жил» Иван Денисович, критик выбирает здесь слова эпически спокойные, зато уж с Шуховым не церемонится—суровая действительность его «изуродовала», «планомерно вытравила в нем,—как пишет дальше критик,—все человеческое».

Особенно настаивает Н. Сергованцев на «трагедии одиночества», якобы определяющей образ Ивана Денисовича. «Узость «жизненной программы» Ивана Денисовича,—пишет критик,—привела к тому, что он, в сущности, одинок. Ни Алеша-баптист, ни кавторанг Буйновский, ни Цезарь—его соседи по бараку—не смогли стать близкими ему людьми. Автор не раз подчеркивает, что Иван Денисович не понимает многих своих собратьев по несчастью... Не понимает Иван Денисович и жизнь, которая осталась за колючей проволокой. «Жизни их не поймешь»,—думает он».

И как окончательный вывод: «Нет, не может Иван Денисович претендовать на роль народного типа нашей эпохи».

Весьма необъективно расценив далее рассказы Солженицына «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» (в последнем критик усмотрел идею «сострадания к предателю»), Н. Сергованцев отнес произведения писателя к числу тех, которые «оставляют чувство глубокой неудовлетворенности, поскольку воссоздают жизнь односторонне, без исторической перспективы», и тут же заодно отказал им в художественности, поскольку «истинно художественное произведение открывает перед читателем необозримые горизонты жизни», а у Солженицына он этого не обнаружил.

Пусть не сердится читатель, что мы так подробно цитируем и пересказываем суждения Н. Сергованцева. Они интересны по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, статья Н. Сергованцева единственная, в которой выражено прямое и безусловное осуждение всего творчества Солженицына в целом. Во-вторых, потому, что в своем отношении к образу Шухова он с наибольшей резкостью и определенностью выразил то, что высказывалось более смутно и осторожно в некоторых других статьях вроде уже упомянутой выше статьи в журнале «Дон». Таким образом, точка зрения Н. Сергованцева не является сугубо индивидуальной, субъективно исключительной. И хотя я не думаю, чтобы среди читателей нашлось много ее сторонников, она заслуживает внимания как выражение некоторой позиции, пусть не очень прочной, но упорной в своих пристрастиях, унаследованных от вчерашнего дня нашей жизни.

Пожалуй, первое, что отмечаешь в рассуждениях Н. Сергованцева, это его небрежно-ироническое отношение к самой задаче изображения «рядового» человека-труженика, «интеллектуальная жизнь» которого не представляет для критика интереса. Снисходительно, свысока отзываясь о духовном мире Ивана Денисовича, он выговаривает ему за невнимание к мнению людей «более осведомленных». Сам Иван Денисович выглядит здесь как безнадежно тупое и ограниченное существо, которому, по его крестьянской темноте, остается лишь внимать людям «активным» и «пытливым». Критик досадует, что у героя Солженицына не возникает даже потребности получить у этих людей необходимые указания и разъяснения насчет своей судьбы.

Что могли ответить на вопросы Ивана Денисовича «осведомленные люди» в Особлаге зимой 1951 года — об этом еще следует подумать. Для нас несомненно другое — заслуга писателя, выбирающего своим героем человека, условно говоря, рядового и обыкновенного.

Впрочем, рядовым человек кажется тому, кто горопливо проходит перед фронтом, не заглядывая в лица. Тому же, кто сам стоит в ряду, его положение не кажется ни рядовым, ни обыкновенным.

Появление в литературе такого героя, как Иван Денисович, — свидетельство дальнейшей демократизации литературы после XX

съезда партии, реального, а не декларативного сближения ее с жизнью народа. Чехов говорил, что о Сократе легче писать, чем о барышне или кухарке. Опыт показывает, что легче писать и об академниках-селекционерах, о секретарях райкома, о главных агрономах и директорах МТС, чем об Иванах Денисовичах и тетках Матренах. В годы культа личности многие литераторы привыкли больше интересоваться тем, что происходит в комнате правления колхоза, чем под всеми остальными крышами деревенских изб. Не оттого ли изображение Солженицыным героя рядового, обыкновенного воспринимается критиком как опасная новизна?

Спору нет, для советской литературы, как ни для какой другой, важна тема руководителей, организаторов и вдохновителей. Однако, если исходить из марксистско-ленинского взгляда на вещи, эта тема по меньшей мере неполна без изображения людей руководимых и организуемых, людей самых обыкновенных, несущих ношу каждодневного труда, составляющих, по выражению Ленина, «самую толщу широких трудящихся масс». Так что ирония по поводу «рядового», обыкновенного человека тут ни к чему.

«Рядовой» герой Солженицына кажется Н. Сергованцеву незаконно пробравшимся в литературу, и он старается возможно гуще очернить его, чтобы отказать ему в народности. Если подытожить кратко суждения критика о Шухове, то они сводятся к тому, что, во-первых, Иван Денисович примирился, приспособился в лагере, утерять человеческие черты; во-вторых, что животные интересы целиком подчинили его себе и не оставили места для сознательного, духовного; в-третьих, что он трагически одинок, разобщен с другими людьми и едва ли не враждебен им.

Такое толкование повести не должно удивлять, поскольку Н. Сергованцев, верный приемам нормативной критики, рассуждает как бы вне и вопреки тексту книги. Следя за его рассуждениями, в которых странное раздражение и демагогический пафос в избытке возмещают логику, начинаешь думать даже, что он перепутал и прочитал по ошибке другую вещь, а не ту, что написана Солженицыным и называется «Один день Ивана Денисовича».

Ведь в этой повести о Шухове и его судьбе говорится совсем иначе.

## 3

О прошлом Ивана Денисовича знаем мы мало, но и того, что знаем, достаточно, чтобы понять, каков он есть человек. Жил Шухов до войны в маленькой деревне Темгенёво, работал в колхозе, кормил семью — жену и двух девочек. Началась война — на войну пошел и воевал честно: был ранен на реке Ловать, ему бы в медсанбат, а он «доброй волею в строй вернулся». Потом армию окружили, многие попали в плен, но Шухов из плена бежал и по болотам да по лесам к своим выбрался. А тут обвинили его в измене: мол, задание немецкой разведки выполнял. «Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание».

Сказано это со спокойным и горьким юмором, но, признаться, от юмора такого — мурашки по коже. Словно сидят они со следователем рядом и беседуют дружелюбно, как дело обставить поудобнее, что Шухов-де родине изменил, за которую кровь пошел проливать и столько вытерпел. В самом же деле знал Шухов, что, если не подпишешь — расстреляют, и хотя можно представить себе, что он в те минуты пережил, как внутри горевал, удивлялся, протестовал, но после долгих лет лагеря он мог вспомнить об этом лишь со слабой усмешкой: на то, чтоб всякий раз возмущаться и удивляться, не хватило бы никаких сил человеческих.

Умирать ни за что ни про что было глупо, бессмысленно, противоестественно. Шухов выбрал жизнь — хоть лагерную, скудную, мучительную, но жизнь, и тут задачей его стало не просто выжить как-нибудь, любой ценой выжить, но вынести это испытание судьбы так, чтобы за себя не было совестно, чтобы сохранить уважение к себе. Может быть, Иван Денисович и не рассуждал так заранее, даже наверное не рассуждал, но сердцем именно так чувствовал и руководился этим чувством.

Упрекают Ивана Денисовича в том, что он будто бы примирился с лагерем, «приспособился» к нему. Но не то же ли это самое, что упрекать больного за его болезнью, несчастного за его несчастьем! Конечно, опыт восьми лет каторги в Усть-Ижме и Особлаге не прошел для Шухова даром, он выработал в себе некоторые внешние реакции, которые тут есть как бы условие

существования: соблюдай лагерный режим, поклонись надзирателю, не пускайся в препирательства с конвоем — ведь «качать права» перед Волковым не только опасно, но бессмысленно. И можно лишь удивляться, в какой целостности остаются при этом основные его нравственные понятия, как мало поступается он своей гордостью, совестью, честью. Его житейская мудрость и практическая сметка, лукавство и знание что чего стоит — эти свойства, которые в крови у русского крестьянина и рождены опытом не одного дня, сохраняют в Шухове силу жизненности, помогающую ему перенести тяжелейшие страдания и остаться человеком.

И ведь это при том, что такое большое, порой всепоглощающее значение имеют для Ивана Денисовича в лагере две заботы — не ослабеть от голода и не замерзнуть. В условиях, чем-то схожих с изначальной борьбой за существование, заново обнаруживается ценность простейших «материальных» элементов жизни, того, что всегда и бесспорно необходимо человеку — еды, одежды, обуви, крыши над головой. Лишняя пайка хлеба становится предметом высокой поэзии: Новым ботинкам Ивана Денисовича автор слагает целую оду: «...в октябре получил Шухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в каптерку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, беспорядок — чтобы ээк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навылет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берег, соли-долом умягчал, ботинки новехонькие, ах! — ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинок».

И с той же доброй крестьянской обстоятельностью и даже с ноткой нежности говорит о табаке, который продает латыш: «Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой». И о каше: «...ложкою обтронул кашу с краев. Вот эту минутку надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, аккуратно в рот класть и во рту языком переминать».



Еду автор описывает особенно подробно, основательно, можно даже сказать — любовно, потому что это желанная, поэтическая минута в жизни лагерника: ведь он живет здесь «для себя». «Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином». Так что, как ни странно это прозвучит, за едой он больше всего чувствует себя личностью, человеком, который над собою волен. Тут уж его интерес, его право распоряжаться собой.

Важно и другое. Лишняя пайка хлеба, которой так дорожит Иван Денисович и о которой так много думает, — не просто поддержка и утеха для вечно ноющего желудка, но средство независимости от начальства, «кума», богатого лагерника, первое условие внутренней самостоятельности. Пока сыт и силы еще есть для работы — и в голову не придет унижаться, выпрашивать, «шестерить». Шухов всегда рад разжиться хлебом, добыть табачку, но добыть не как «шакал» Фетюков, рыскающий по тарелкам и униженно засматривающий в глаза, а так добыть, чтобы не уронить себя, соблюсти свое достоинство.

Солженицын очень тонко и последовательно отмечает эту связь материальной, так сказать, и нравственной стороны дела. Шухову на всю жизнь запомнились слова первого его бригадира старого лагерного волка Куземина: «В лагере вот кто погибает: кто миски лизет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». Эти три выхода ищут для себя нравственно слабые люди, их-то и ждет в самом деле позорное приспособление. Слова Куземина верны уже в том прямом и простом смысле, что, выбирая легкое, человек теряет сопротивляемость, и это часто приводит к физической гибели. Но еще важнее и безусловнее тут некий нравственный закон: Куземин предупреждает против гибели моральной. Здоровая народная нравственность запрещает такое самоунижение, как миски лизать, — человек не должен превращаться в животное, не должен терять чувство достоинства. То же и с санчастью. Начнешь надеяться на болезнь — глядишь, и совсем расклеился, раскис... Я уж не говорю о третьем — кто ходит к «куму», оперуполномоченному, «стучать»: тот вовсе погибший человек, хоть в обыденном смысле его судьба может сложиться благополучно. «Насчет кума — это, конечно, он загнул,—

поправляет Куземина Иван Денисович.— Те-то себя берегают. Только береженье их — на чужой крови».

Шухова не берут все эти низкие соблазны, потому что другая у него основа жизни, другой неписанный кодекс нравственности — нравственности трудового человека. Эта внутренняя основа крепка и строга у него настолько, что не расшатала и не погубила ее долгие годы каторги. Он не махнул на жизнь рукой и не опустился, остался тем же работающим и честным крестьянином, солдатом, мастеровым. И когда автор вскользь замечает о Шухове, что «не мог он себя допустить есть в шапке», — за этой одной подробностью возникает целый мир представлений, нравственных понятий, стойко охраняемых в себе Иваном Денисовичем. Тут не только верность добрым обычаям и традициям «нормальной», вольной жизни, а пронесенное через все муки, не потерянное в унижениях лагеря человеческое достоинство.

При всей объективности своего художественного письма, Солженицын умеет сказать о герое прямо и ясно, не оставляя повода для двух толкований. С уважением и даже какой-то гордостью за своего героя говорит автор о бессребреничестве Ивана Денисовича, его неумении и нежелании ловчить: «Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился».

Иван Денисович не считает грехом подработать, услуживая товарищам по бараку: сшить богатому бригаднику чехол на рукавички или в посылочную за Цезаря Марковича постоять — тут его труд, его руки, его расторопность, и стыда в этом нет. Но, получая для Цезаря посылку, он не выпрашивает у него свою долю и даже не задумывает ему. Это уже больше, чем просто выжить, выжить любой ценою. «Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ, — говорит о нем автор, — и чем дальше, тем крепче утверждался». Слово «утверждался» не требует тут дополнений — «утверждался» не в чем-то одном, а в общем своем отношении к жизни.

И это при том, что Шухов слишком хорошо знает цену пайке хлеба и теплой одежде и поневоле постоянно привязан мыслями к тому, как бы не пропал припрятанный им в матрасе кусок или как удоб-

нее приспособить на лицо «тряпочку с рубезочками», чтобы не обморозиться на ходу.

Конечно, все эти заботы легко можно счесть прозаическими, мелкими и высокомерно пожуричь Ивана Денисовича за узость его кругозора и за то, что интересы его не простираются дальше лишней миски баланды и жажды тепла. Можно, уподобившись птицам небесным, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают, презирать в душе разговоры о голоде, холоде, пайке хлеба, о какой-то тряпочке с рубезочками, о магаре. Можно, не ведаясь с такими бедами, как недоедание, недосыпание, пронизывающий до костей холод, относиться к этому слегка брезгливо: зачем вспоминать о неприятном — давайте говорить о высоком, о жизни духа, о сознательности... Но чего стоит такое фальшивое идеальничанье? И не кажется ли оно смешным перед мужественной правдой и большой идейностью повести Солженицына?

Что-то похожее на эти сентенции внушает Ивану Денисовичу Алешка-баптист: «Молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед богом! Молиться надо о духовном...» Слова Алешки как будто и бескорыстны и искренни, но как наивна и бессильна его вера по сравнению с мужицким здравым смыслом Ивана Денисовича.

У Шухова — такая внутренняя устойчивость, вера в себя, в свои руки и свой разум, что и бог не нужен ему. И тут уже несомненно, что эти черты безрелигиозности в широком смысле слова — вопреки мнению критиков, твердящих о патриархальности Шухова, — не из тех, что бытовали в народе от века, а из тех, что сформировались и укрепились в годы советской власти.

По инерции Иван Денисович еще иной раз перекрестится — но в ад и в рай он не может верить и не верит. Он верит в себя, в свой труд, верит в товарищей по бригаде, в бригадира Тюрина, а мы верим в него как в живую частицу народа. И это самая материальная и в то же время самая духовная вера.

В том и заключается для нас оригинальность и высокое значение Солженицына как художника, что духовное содержание он открывает не вне своего «рядового» героя и его бедного, страшного быта, не поверх

его, а в нем самом, в трезвой и точной, без прикрас, картине лагерной жизни.

Шухов рассуждает и в самом деле мало, не философствует, не умствует специально. Но ведь почти все, что мы узнаем из повести, — это от него, Ивана Денисовича, мы узнаем, и можно только подивиться тому, какой у него острый, чуть ироничный и по-народному точный взгляд на вещи. Вот думает он, например, о строительстве нового объекта Соцгородка в снежном голом поле, где заключенные должны, прежде чем строить, «ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от самих себя натягивать — чтоб не убежать». Сказано — как припечатано. И хоть повод для этой мысли был совсем конкретный — очень уж не хотелось Шухову, чтобы их с утра на тот новый объект погнали, — но стоит за этим и более общее сознание бессмыслицы и бесчеловечности всей системы репрессий против ни в чем не повинных советских людей как против врагов советской власти, иначе сказать, против себя же самих.

Шухову нету времени на праздные мысли; все его заботы так истинны и неотложны, что ему не приходится их выдумывать, они сами за ним идут и требуют постоянной сообразительности, постоянного напряжения сил — физических и духовных. А духовное для Шухова, как я уже сказал, это не абстрактное философствование, а непосредственное отношение к жизни, к людям и к труду, — к труду, может быть, прежде всего.

В сцене кладки стены здания ТЭЦ Шухов проявляется весь, и обойти эти страницы — значило бы не понять самого главного в Иване Денисовиче. Уж и когда, не запомню, читали мы в нашей прозе такое поэтическое и одухотворенное описание простого рабочего труда; автор так окунает нас в его ритм и лад, что, кажется, сам чувствуешь напряжение всех мышц, и тяжесть, и утомление, и дружный азарт работы. После «производственных» романов, где внутренняя, личная жизнь героя легко отслаивалась от описаний самого процесса труда и где нам становилось невыносимо скучно, как только автор с самоуверенностью дилетанта начинал шеголять подробностями технологии производства, эти страницы Солженицына удивляют как открытие. Оказывается, можно самым подробным образом, с дотошной обстоятельностью описывать работу каменщика и не только не

наскучить, но полностью захватить внимание читателя, увлечь и растрогать.

Чтобы лучше понять Шухова, когда он работает на кладке стены, надо помнить, что он не так прост, чтобы ко всякому труду, какой он ни будь, относиться без разбора. Погнали его в надзирательскую пол мыть, а он протер его слегка, тряпку, не выжав, за печку бросил, а воду на дорожку, где начальство ходит, плеснул. «Работа,— рассуждает Иван Денисович,— она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху». Та работа, что за зря или по пустому принуждению,— не по душе Шухову.

Другое дело на «объекте», где бригадир его да латыша Кильгаса поставил, как мастеров, на каменную кладку. И тут не только в том причина, что это общий труд бригадный, где нельзя подвести, иначе плохо закроят процентку. Для Ивана Денисовича в этой работе нечто большее — радость мастерства, полного и свободного владения своим делом, то вдохновение работы, которое пробуждает в голодном, оборванном эске человеческую гордость и чувство достоинства.

У Ивана Денисовича руки рабочего человека, а глаз мастера, повадка мастера. Вот он срубает лед, намерзший на старой кладке, сам же свою работу обдумывает: «А думка его и глаза его вычувывали из-под льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтура, а теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут — провалина, ее выровнять за один ряд нельзя, придется ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась — это спрямить ряда за два. И разделил он стену невидимой метой — до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до Кильгаса». По мере того как Шухов «обвыкает со стеной, как со своей», подневольный труд мало-помалу начинает превращаться в труд независимый, самостоятельный. Зачем? казалось бы, Солженицыну этот парадокс? Но пока мы недоумеваем, автор продолжает и развивает эту тему.

Раствор, который подносят в носилках из обогревалки, сразу схватывает на морозе. Чуть зазевался, положил шлакоблок неров-

но, а он уже косо примерз, не поправишь. «Но Шухов не ошибается. Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждет». Здесь точно камень оживает под руками Шухова. Шлакоблок, который «лечь хочет», и стена, которая его «ждет», внезапно делают этот мир теплым, обжитым, домашним, послушным уверенному мастерству.

И еще одна неожиданная подробность: Шухову даже жаль, что время быстро идет и пора кончать работу. Вот уже к вахте все побежали, домой собираются. А Шухов, разгорячившись, все подгоняет своего напарника: «Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок». Пока раствор есть, не может Шухов работу бросить. «Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и побегли. Но так устроен Шухов подурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули». И с той же бережностью относится Шухов к своему инструменту — мастерку, который тщательно припрятывает в растворной. То, что Шухову не всякий мастерок сойдет, а нужен именно этот, облюбленный им, потому что легок и по руке,— в этом тоже чувствуешь не только крестьянский бережливый разум, но и гордость рабочего человека — печать его личности, творческого начала в нем.

Вот тут и проясняется смысл этого парадокса, его связь с общей идеей повести. Когда на картину труда жестоко-принудительного как бы наплывает картина труда свободного, труда по внутреннему побуждению — это заставляет глубже и острее понять, чего стоят такие люди, как наш Иван Денисович, и какая преступная нелепость держать их вдали от родного дома, под охраной автоматов, за колючей проволокой.

Невольно начинаешь думать о том, как нужен, просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе, где после войны мужики наперечет. Как бы он со своей совестью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз и свою семью вытаскил бы из нужды...

Из скупых строчек писем, приходивших два раза в год, Иван Денисович мог лишь догадываться об истинной мере неблагопо-

лучия в родной деревне; еще меньше мог знать он о том, что Темгенёво вовсе не было исключением в последние годы жизни Сталина. Шухову горько подумать, что его деревня живет тяжело, бедно. Но когда он говорит: «жизни их не поймешь», он не только жалеет своих близких и односельчан, но в чем-то и недоумевает, недоумевает, как человек с рабочей совестью: «Видел Шухов жизнь одиночную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали — этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?» В этом тревожном вопросе «А с сенокосом же как?» слышим мы голос беспокойства Ивана Денисовича, крестьянской его души. Как можно забросить такое серьезное дело, как сенокос, ради пусть легкого и «огневого», но какого-то сомнительного промысла красилёй.

Писала Ивану Денисовичу жена, что красилёй эти, что ковры по трафареткам делают, ездят по всей стране и деньги гребют тысячами, пообстроились все. Но не по душе Ивану Денисовичу братья за те ковры. «Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать». Есть что-то нечистое, мало почтенное в самой легкости этого занятия.

Было бы уместно вспомнить тут Салтыкова-Щедрина, сказавшего как-то, что народ верует в три вещи: «в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство». Хоть и мог выглядеть соблазнительно для Ивана Денисовича заработок красилей, но и стыден был ему этот промысел как озорство. «Легкие деньги — они и не весят ничего, — рассуждает Шухов, — и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?»

Шухов с подозрением относится к легким деньгам, к тому, что сулит выгоду без усилий и труда, потому что в нем глубоко укоренено чувство нравственного долга, которое в конечном счете основывается на смутном сознании того, что если тебе блага жизни стали даваться слишком легко — значит, есть кто-то, кто принял теперь на свои плечи твою долю труда и ему стало тяжелее.

Шухов ни на кого не станет перекладывать свою ношу, он знает силу и умение сво-

их рук и оттого сохраняет ту внутреннюю устойчивость, душевное здоровье, которое в жестоких условиях лагерного произвола позволяет ему не обессилеть, не надломиться, не получить равнодушия ко всему, а верить в жизнь, в ее перемены к лучшему. И сколько нужно народного оптимизма, чтобы в самую тяжелую минуту думать: «...переживем! Переживем все, даст бог, кончится!» Может быть, в таком роде оптимизма нет слишком большой определенности, может быть, надежда эта на лучший исход родилась не из твердого знания и предвидения — откуда бы им и взяться? — а скорее из интуитивного чувства, что должна же в конце концов правда восторжествовать над несправедливостью, но как отдаленно, что не смял, не погубил лагерь в Шухове эту надежду.

Кроме труда, другая внутренняя опора Ивана Денисовича, помогающая ему жить и «утверждаться», это его отношения с людьми — соседями по вагонке, товарищами по бригаде. Едва ли не на каждой странице мы убеждаемся, что годы каторги не заставили Шухова озлобиться, ожесточиться, за что, случись даже так, трудно было бы его винить. Но в нем сохранились вопреки всему доброта, отзывчивость, сердечное, благожелательное отношение к людям, за которое ему в бригаде платят тем же. Разве не уважают его бригадир и кавторанг, разве не связан он крепким рабочим товариществом с Кильгасом и Сенькой Клевшиным, разве не «ластится» к нему привязчивый мальчонка Гопчик? «Этого Гопчика, плута», любит Иван Денисович, может быть, тем сильнее, что собственный его сын помер маленьким, две дочери дома остались, и теперь чувствует он временами в себе эту нерастратченную нежность отцовства.

А какую симпатию внушают Шухову два эстонца, оба белые и длинные, похожие друг на друга, как братья родные. Это о них думает он с таким добросердечием и наивностью: «Вот, говорят, нация ничего не означает, во всякой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов не видал — плохих людей ему не попадалось». Педант поторопится оспорить эту мысль, но разве не важнее то, с какой стороны проявился здесь сам Шухов?

И так ко многим людям в бригаде, кроме, конечно, тех, кто мало этого заслуживает, испытывает Иван Денисович чувства уважения и товарищества.

Вообще говоря, после Шухова бригада — второй главный герой повести Солженицына. Бригада как нечто пестрое, шумное, разнородное, но в то же время и как одна большая семья. Это слово не нами выдуманно, оно взято из повести. Когда в перерыв, сгрудившись у огня в обогривалке, примолкнувшие бригадники слушают рассказ Тюрина о своей жизни, Шухов думает: «Как семья большая. Она и есть семья, бригада». Эти люди могут казаться со стороны жестокими, грубыми, но они никогда не откажут в поддержке, товарищеской солидарности. И о какой «трагедии одиночества» может идти речь, когда даже свой труд, свое умение и мастерство, к признанию которого Иван Денисович относится ревниво, он ценит и как часть общего, артельного труда бригады. «Стояла ТЭЦ два месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чем ее души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозика трещит; ни обогривалки, ни огня искорки. А все ж пришла 104-я — и опять жизнь начинается» Разве не слышна здесь гордость трудом именно как трудом общим, коллективным?

Конечно, важную роль играет тут материальная сторона дела: при общей оплате за труд возрастает и взаимозависимость («Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду?»). Но возникающее в бригаде чувство трудового товарищества не сводится только к этому. Ловчить для себя на общих работах никто, кроме разве «шакала» Фетюкова, не решится. Тут правит своего рода сознательная дисциплина с полным доверием друг к другу и к своему бригадирю. В 104-й ни ссор, ни вздору, ни препирательств — дружная, спорая работа. «Вот это оно и есть — бригада, — удовлетворенно замечает Шухов. — Начальник и в рабочий-то час работаю не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал — работать, значит работать». Шухов принимает как закон жизни эту трудовую солидарность и — пусть это выглядит еще одним парадоксом — стихийно рождающееся чувство коллективизма. В отношениях людей точно сами собой возникают черты и свойства, характерные для свободного социалистического общества, и все это вопиет против несправедливости и нелепости произвола, жертвой которого стали простые люди труда.

Но не только в работе, а в самых обыч-

ных нуждах и превратностях лагерной жизни закон товарищества позволяет эку Щ-854 не чувствовать себя одиноким и беззащитным. Когда Татарин стаскивает его с нар и уводит мыть пол в надзирательской, Шухов ни минуты не сомневается в том, что, хоть он и не успел шепнуть, а товарищи приберегут ему завтрак, догадаются. Или потом, на объекте, когда, увлекшись работой, он опаздывает к воротам, а надо еще мастеров припрятать, и Шухов забегает в растворную, Сенька Клевшин ждет его у дверей, и Шухов благодарно думает: «Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе».

Иван же Денисович в свою очередь не жалеет, что вторую миску каши, которую он «закошил» и которая принадлежит ему по праву, отдаст кавторангу. И не жметса, когда эстонец Эино делится с ним табачком, сам оставляет Сеньке Клевшину: «на, докури, мол, недобычник». Диву даешься, как, каким усилием души сохранилась в этих измученных людях живая человечность, желание поддержать друг друга — ведь крошка табака для Ивана Денисовича дороже золота.

А когда на последних страницах книги кавторанга уводят в БУР — сколько сердца, сколько неподдельного сочувствия проявляют к нему товарищи по несчастью. Бригадир Тюрин пытается отвести от него беду, хитря с надзирателем, Шухов волнуется за него, прислушиваясь к спорящим голосам у себя на вагонке, а Цезарь тайком сует Буйновскому сигареты. «Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодрись, кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь?»

И как смешно и неуместно выглядят после всего этого рассуждения критика о «трагедии одиночества» Ивана Денисовича; слишком явно, что речь в повести идет о другой трагедии — трагедии честных советских людей, ставших жертвами произвола и насилия.

В литературной критике есть разные способы выразить свое недовольство тем или иным героем, тем или иным произведением, точно так же, как в жизни есть разные манеры выказать свою неприязнь к человеку. Можно открыто осудить книгу, а можно с видом полного участия к ее замыслу попробовать развенчать близкого автору героя и тем самым опять-таки поставить под сомнение истолкование писателем явленной жизни.

По поводу Ивана Денисовича в той части

критики, которая отнеслась к повести Солженицына скептически, сложился своего рода штамп. Критик подходил к повести осторожно, словно примериваясь, сожалел о горькой судьбе ээка и тут же спрашивал: но идеальный ли герой Иван Денисович? Сам себе спешил ответить «нет» и начинал сетовать на то, «до каких унижений опускается порой этот мастер — золотые руки ради лишней пайки хлеба, как ввелись в него инстинкты звериной борьбы за существование, как в конечном счете страшна его примиренная мысль, завершающая этот мучительный день...» (я цитирую одну из газетных рецензий). Такую вольную трактовку образа Шухова можно было бы еще раз оспорить, но нам важнее сейчас обратить внимание на другое.

А почему, собственно, Иван Денисович должен быть идеальным героем? Мы видим достоинство Солженицына как художника как раз в том, что у него нет псевдонароднического сентиментальничанья, насильственной идеализации даже тех лиц, которых он любит, трагедии которых сочувствует<sup>1</sup>. У Шухова при желании можно насчитать немало реальных, а не выдуманных недостатков. Взять хотя бы то, как робко, покрестьянски почтительно относится Иван Денисович ко всему, что представляет в его глазах «начальство», — нет ли тут черточки патриархального смирения? Можно, вероятно, найти у Шухова и иные несовершенства. Но недостатки Ивана Денисовича не таковы, чтобы переносить упор с его трагиче-

<sup>1</sup> Рабочий Мелитопольского завода В. Иванов, письмом которого «Известия» (№ 306, 1963) открыли недавно обсуждение повести «Один день Ивана Денисовича» в связи с выдвижением ее на Ленинскую премию, прав, отмечая путаницу в суждениях о творчестве А. Солженицына некоторых критиков, в частности В. Чалмаева. Следует согласиться, что в Шухове нелепо видеть «идеал народного героя». Сам писатель не претендовал на создание такого рода «идеала», хотя и показал в своем герое народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т. п.

Удивляет только, что, признавая повесть «произведением ярко художественным», «очень ценной книгой», В. Иванов в то же время сводит значение образа Шухова к некой документальной его правдивости. Ему кажется, что «обобщают и типизируют» образ Ивана Денисовича — и притом ложно — критики, а не сам его создатель. Но такого в литературе не бывает. Ни одному критику не удалось еще «типизировать» нетипичный образ. И хотя письмо В. Иванова оснащено

ского положения на его якобы слабость и несостоятельность, с беды его на вину.

Тут пора внести одно уточнение. «Замечали ли вы, — писал в свое время Чернышевский, — какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему, — говорить в ином тоне было бы вам совестно». Другое дело, продолжал свою мысль Чернышевский, если страдающий человек сам может изменить свою судьбу, но не пользуется своими правами и возможностями — тогда не лишними будут укоризны ему.

Приняв этот критерий Чернышевского, что можем мы сказать о положении Ивана Денисовича? Если бы Шухов знал, в чем причина его трагедии, мог бороться со злом, сопротивляться беззаконию и не сделал этого — тогда счет к нему был бы, естественно, строже. Но что он мог знать, чему сопротивляться, с чем бороться?

Вся система заключения в лагерях, какие прошел Иван Денисович, была рассчитана на то, чтобы безжалостно подавлять, убивать в человеке всякое чувство права, законности, демонстрируя и в большом, и в малом такую безнаказанность произвола, перед которой бессилён любой порыв благо-

литературоведческой терминологией, а также теоретическими определениями и оговорками, по тону скорее профессиональными, чем любительскими, он, борясь с критической путаницей, только услил ее.

Жаль также, что открытое письмо под броским заголовком «Не приукрашен ли герой?» лишь в малой мере посвящено самой книге Солженицына, а ведь на Ленинскую премию выдвинута именно повесть, а не критические статьи о ней. Правда, о выдвижении повести В. Иванов, как он сам сообщает, узнал лишь по экстренному звонку из редакции, когда уже закончил свое письмо. Но успешность публикации и неудачный заголовок усугубили двойственный характер письма, так как создали ложное впечатление, что речь идет о недостатках повести Солженицына, а не о промахах ее толкователей

родного возмущения. Администрация лагеря не позволяла энкам ни на минуту забывать, что они бесправны и единственный судья над ними — произвол. Им напоминала об этом плетка Волкового, который сек людей в БУРе, им напоминали об этом, лишая их отдыха в воскресенье и выгоняя на работу в неурочный час.

Попадая в лагерь и не зная со свежа всей меры произвола и собственной беззащитности перед ним, считая происшедшее с тобой лично недоразумением, ошибкой, люди могли, как кавторанг Буйновский, горячо возмущаться происходящим. Вместе с Иваном Денисовичем мы сочувствуем этому взрыву протеста кавторанга, ощутившего в себе оскорбленное достоинство советского гражданина. «Вы не советские люди! Вы не коммунисты!» — кричит Буйновский, в запале ссылаясь и на «права», и на девятую статью Уголовного кодекса, которая запрещает издевательство над заключенными. Но вместе с волной горячего сочувствия к этому чистому, идейному человеку приходит и острое чувство жалости.

При всем благородстве его порыва есть в нем что-то беспомощное. На Волкового выкрики кавторанга не производят впечатления, а сам Буйновский еще отсидит за это в БУРе. Тут даже не наказание горько, а полная бесцельность и бессмысленность протеста. Поэтому Иван Денисович и жалеет кавторанга как дитя малое, неразумное.

Солженицын не был бы Солженицыным с его жестокой реалистической правдой, если бы он не сказал нам о том, что кавторанг — этот властный, звонкий морской офицер — должен превратиться в малоподвижного, осмотрительного энка, чтобы пережить двадцать пять лет отверстанного ему срока.

Неужели так? Как мучительно верить этому. Ах, как хотелось бы нам, чтобы он протестовал каждый день и каждый час, без устали обличая своих тюремщиков, не думал бы о холоде и о миске с кашей, сжался бы в один комок нервов — и все-таки продолжал борьбу.

Но есть ли в этом реальность? Не одно ли это благодушное пожелание?

Чтобы бороться, надо знать, во имя чего и с чем бороться. Сенька Клевшин знал, с кем он боролся в Бухенвальде, когда готовил восстание в лагере против немцев, а что ему делать здесь, если администрация Особлага — и в этом трагический парадокс —

представляет его же родную советскую власть? Как разобраться в этом клубке противоречий?

За восемь лет лагерей Шухов, как и его товарищи по несчастью, мог убедиться, что его судьба — не исключение, не случайная ошибка: рядом сидело множество безвинных людей — коммунистов, простых тружеников, людей, преданных советской власти. Попытки добиться восстановления справедливости, письма и прошения, которые посылались заключенными в высшие инстанции, вплоть до адресованных лично Сталину, смягчения участи никому не приносили, оставались без ответа. А домой из лагеря никто не возвращался даже после конца срока. Для всех заключенных рано или поздно становилось очевидным, что закон «выворотной», что справедливости не докличешься, сколько ни кричи, и что, стало быть, тут система репрессий, а не отдельные ошибки. Так возникал вопрос: кто же виноват во всем этом?

У инюго мелькала дерзкая догадка о «батьке усатом», другой гнал от себя, наверное, эти крамольные мысли и не находил ответа. Не в том ли и была для Ивана Денисовича и его товарищей главная беда, что на вопрос о причинах их несчастья ответа не было. Были догадки, но догадки не вооружают — вооружает знание. И потому, когда утихала первая боль обиды и оскорблений, оставалось только неотступное чувство совершенной над ними несправедливости.

Критики, которые хотели видеть Шухова «пытливым» и «активным», упрекали его в том, что он мало говорит и думает о причинах своего положения. Но зачем ему после восьми лет заключения устраивать самому себе безысходную нравственную пытку? Что он знал, то знал твердо, а чего не знал, того, к нашей общей беде, и не мог знать.

Конечно, и нам хотелось бы, чтобы Шухов и его товарищи осознали бы природу и последствия культа личности, сидя в лагере, и даже вступили бы с ним в борьбу. Но не выглядит ли это применительно к реальным условиям, о которых идет речь, самой беспочвенной утопией?

Вот почему упрекать Ивана Денисовича в том, что он не борется, не отстаивает свои права, что он «примирился» со своим положением энка и не хочет думать о причинах своего несчастья, — значит проявить,

говоря словами Чернышевского, «пошлую бесчувственность».

Достаточно и того, что в Иване Денисовиче с его народным отношением к людям и труду заложена такая жизнеутверждающая сила, которая не оставляет места опустошенности и безверию. И этот оптимизм тем более зрел и реален, что рассказ о судьбе Шухова вызывает в нас самое живое и глубокое возмущение преступлениями поры культа личности.

## 4

Наше представление об Иване Денисовиче как народном характере было бы, пожалуй, неполным, если бы Солженицын показал нам только то, что сблизжает Шухова с его товарищами по несчастью, и не увидел в лагерной среде своих противоречий и контрастов. Я говорю сейчас не о том очевидном различии, какое существует между «шпионами делаными», которые лишь по делам «проходят как шпионы, а сами пленники просто», и настоящими шпионами вроде маленького «молдавана», получившего законное возмездие. Я не имею здесь в виду и тайной вражды заключенных со «стучачами», подобными некоему Пантелееву, которого оставляют днем под видом больного в бараке и который внушает Ивану Денисовичу настроенное и брезгливое чувство.

Сложнее и деликатнее вопрос о взаимосвязях, внутреннем соотношении фигуры Шухова и таких значительных в художественной концепции повести лиц, как Цезарь Маркович или кавторанг. Тут светотени возникают так органически и ненавязчиво, что надо получше вслушаться и вдуматься в рассказанное, чтобы верно истолковать замысел автора.

Соблазнительно легким решением было бы противопоставить Ивана Денисовича, как человека с небогатой душевной жизнью, людям интеллигентным, сознательным, живущим высшими интересами. Такому соблазну поддался в своей статье «Во имя будущего» («Московская правда», 8 декабря 1962 года) И. Чичеров. С сожалением отметив, что «Шухов многого не понимает», указав на «каратаевскую интонацию в раскрытии его духовного, и все же бедного, мира», критик дал писателю несколько советов, как ему улучшить свою повесть. «...Повесть была бы еще сильнее, еще крупнее и значительнее, — писал

И. Чичеров, — если бы в ней более подробно и глубоко был развернут образ-характер кавторанга Буйновского или «высокого старика». Может быть, этот старик и не был коммунистом. Но он был интеллигентом». И, перейдя от добрых советов к квалификации промахов автора, критик заявил без обиняков: «Существенным недостатком повести, на мой взгляд, является то, что в ней не раскрыта эта интеллектуальная и моральная трагедия людей остро думающих, и не только о том, что стряслась «бяда», а и о том, как и почему все это произошло?!»

Не думаю, чтобы И. Чичеров всерьез рассчитывал на то, что Солженицын возьмется дополнять и поправлять повесть согласно его конструктивным предложениям. Эти советы и нарекания надо рассматривать скорее как риторическую фигуру, своеобразный прием критической укоризны, который все еще никак не выйдет из употребления, несмотря на давнее предостережение Добролюбова: «Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что в нем есть; это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего в нем нет и что бы должно было в нем находиться». Жаль, что слова эти редко вспоминают. Не вспомнились они критику и на этот раз. Представляет, однако, интерес, что, рассуждая о том, как надо было Солженицыну написать повесть, И. Чичеров ясно выразил свое понимание ее конфликта, противопоставив Шухова людям «остро думающим».

Чтобы у нас не оставалось никаких сомнений в том, что именно не понравилось ему у Солженицына, критик объяснил: «Беспокоит меня в повести и отношении простого люда, всех этих лагерных работяг к тем интеллигентам, которые все еще переживают и все еще продолжают, даже в лагере, спорить об Эйзенштајне, о Мейерхольде, о кино и литературе и о новом спектакле Ю. Завадского... Порой чувствуется и авторское ироническое, а иногда и презрительное отношение к таким людам».

Итак, с одной стороны, «простой люд», «лагерные работяги», с другой — «переживающие» интеллигенты; с одной стороны, надо понимать, Тюрин. Шухов. Клевшин. с другой — кавторанг, Цезарь Маркович, «высокий старик».

Есть в таком подходе к делу что-то от



старого и пошлого предрассудка, согласно которому «простые люди» — люди труда — и думают и чувствуют беднее, чем мы сами, рассуждающие о них с таким уверенным чувством превосходства. Вряд ли сам И. Чичеров, додумав свою мысль до конца, стал бы на ней настаивать. Более того, я думаю, что в применении к Солженицыну решительно непригодна сама попытка искать противопоставление в плоскости «народ — интеллигенция» и видеть в Иване Денисовиче героя «от сохи», суждения которого придадут, так сказать, «антиинтеллигентский» оттенок повести.

Взгляд на вещи у Солженицына не просто другой, но в принципе отличный от этого, возникающий на иной глубине понимания явлений жизни, исходящий из другой системы измерения, чем та, какой пользовался критик. Для Солженицына не существует деления на «простой люд» и «интеллигентов», в лагере он видит более общее и важное различие — людей трудовых и людей, сознательно или бессознательно паразитирующих на чужом труде. Ту же мысль можно выразить и на более привычном для Ивана Денисовича лагерном жаргоне: речь идет, условно говоря, о работагах, «вкальвающих» на обших работах, и о придурках.

О работагах, изображенных Солженицыным, мы говорили как будто достаточно. Но несправедливо мало внимания уделили до сих пор придуркам. А между тем эта часть заключенных и сама по себе сильно занимает автора повести, и позволяет бросить как бы дополнительный свет на фигуру Ивана Денисовича.

Мы помним, что Шухова на все лады упрекали в «приспособлении» к горестным обстоятельствам. Но критики почти не обратили внимания на манеру приспособления придурков, выделяющихся из «серой массы» работаг и становящихся своего рода аристократией лагеря.

Таким «аристократом» среди эзков был дневальный по штабному бараку, за которого Ивану Денисовичу с утра пришлось мыть пол. Этот придурок имел доступ в кабинет майора и начальника режима, обслуживал им «и с некоторых пор» считал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко».

В людях, презирующих общий труд и выбирающих любой ценой долю полегче, развивается самоуверенное и хамоватое

лакейство. Получая высокую пайку, ухитряясь жить в сносных условиях даже в лагере, придурки чувствуют за собой право третировать работаг как людей второго сорта.

Вот гвоздем торчит за спиной кладущего стену Шухова десятник Дэр, который на воле в министерстве работал и здесь «дозорщиком» устроился. Этот бездельник горазд советы давать и покрикивать на каменщиков, а когда сам стал однажды показывать, как кирпичи класть, «так Шухов обхохотался». В таких же «наблюдателях», как окрестил их Иван Денисович, ходит другой придурок — Шкуропатенко. От него тоже добра не ждп. И мало чем лучше их те, кто услугами и подношениями начальству добился теплого местечка внутри лагеря, пристроился на кухне, в конторе или на складе.

Вспомним хотя бы, как в посылочную, куда изо всех сил поспешал по поручению Цезаря Иван Денисович, зашли, никого не спрося, оттолкнув переднего в очереди, парикмахер, бухгалтер и один из КВЧ. Тут в обычно ровном, беззлобном тоне рассказа прорываются нотки ненависти: «Но это были не серые эзки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работаги считали ниже дерьма (как и те ставили работаг). Но спорить с ними было бесполезно: у придурки меж собой спайка и с надзирателями тоже». Слова эти звучат резко и непримиримо. Они естественны в устах раздосадованного, обиженного Ивана Денисовича.

Это не значит, конечно, что автор не допускает, чтобы среди «придурков» — в конторе или на кухне — начисто не встречались достойные люди, которым просто-напросто в какую-то минуту повезло или помогла их прошлая профессия, как, например, художникам, которых подряжали обновлять эзкам номера и писать надзирателям картины. Да и в санчасти, бывало, работали самоотверженные врачи и фельдшеры, которые спасали людей, бескорыстно помогали заключенным и которых язык не повернется назвать «придурками». Точно так же не значит, что всякий вышедший на общие работы — уже тем самым хороший трудовой человек. «Шакал» Фетюков и в бригаде «придуривается», старается прожить на чужой счет. Прежде Фетюков в какой-то конторе большим начальником

был, на машине ездил, а теперь он — одна обуза для 104-й. Ставит его бригадир носилки с раствором подносить — на это ума вроде не надо. Но Фетюков и тут ловчит, носилки тихонько наклоняет, раствор выхлупывает, чтобы легче нести.

Все это так, и, однако, не только различия в объективном положении, но в самих внутренних побуждениях, моральных стимулах людей делают достаточно четкой границу, отделяющую «работяг» от «придурков».

С этой точки зрения полезно взглянуть и на Цезаря Марковича, за которого как будто слегка обиделся И. Чичеров. В самом деле, мягкий, интеллигентный человек, кинорежиссер, трубку курит, рассуждает об Эйзенштейне — к чему тут ирония? Справедливость требует заметить, что автор не говорит о Цезаре лично ничего худого, есть даже что-то располагающее в этом вежливом, незлобивом человеке, так занятом воспоминаниями и интересами своей прежней профессии. Жаль, конечно, его, как жаль и других безвинно пострадавших, оторванных от дома, от любимого дела.

Но есть одно, чего не обойдешь. Только что все шли в одной колонне, равные друг другу, и Цезарь угощал Шухова недокурком от сигареты, но вот показались ворота зоны, а потом и сам объект, и Цезарь отделяется от общего строя, не спеша идет к конторе. Можно рассудить и так: кому какая судьба, ведь он человек образованный, интеллигентный. Но кавторанг тоже человек образованный, а работает с бригадой на объекте, таскает носилки, «как мерин добрый», и на судьбу не жалуется, хоть валится от усталости к концу дня.

Причина столь приятных привилегий Цезаря проста. Два раза в месяц он получает из дому богатые посылки, «всем сунул, кому надо», получил освобождение от общих работ, устроился помощником нормировщика в контору. Иван Денисович не слишком осуждает за это Цезаря, хотя сам он, как помним, «давать на лапу» не умел и в лагере не научился. Великодушно относясь к людским слабостям, Шухов не может винить Цезаря и за то, что, «подмазав» кому-то, тот получил право носить меховую шапку. В этой меховой шапке, с трубкой во рту Цезарь выглядит, должно быть, совсем не по-лагерному импозантно. И хоть ничего противоестественного нет

в том, что люди цепляются за всякую возможность, чтобы облегчить свою участь, но Шухову как-то ближе кавторанг, который работает с ним «на общих», и мы тоже чувствуем за Буйновским это преимущество непререкаемой нравственной силы.

Изящный эстетизм Цезаря, его интеллигентные манеры, то, как он курит трубку, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то», — все это находится в резком противоречии с низкой прозой тех усилий, какими добываются в лагере относительное благополучие и покой, дающие выход приятным воспоминаниям и милым сердцу разговорам.

Цезарь как должное принимает услуги Шухова, за которые иной раз по неписаному условию отблагодарит его своей пайкой. Во время обеда Иван Денисович спешит с миской в контору. «Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере», — как бы между прочим замечает автор. А едва вернувшись с работ в лагерь, Шухов несетя занимать Цезарю очередь в посылочной, сам же Цезарь, «себя не роняя, размеренно» идет в другую сторону, чтобы сменить Ивана Денисовича, когда дело приблизится к выдаче.

Цезарь Маркович смотрит на Шухова несколько по-барски, замечает его существование только тогда, когда он оказывается для чего-то нужен ему. Духовная жизнь Ивана Денисовича его вовсе не интересует по ее видимой примитивности. То, что Шухов не способен обсуждать с ним мастерство монтажных стыков или крупный план у Эйзенштейна, уже ставит его в глазах Цезаря неизмеримо ниже того круга людей, с которыми молодой кинорежиссер привык считаться, — людей интеллигентных, или, говоря словами наших критиков, «остро думающих», «осведомленных». Повстречай он Ивана Денисовича на свободе — и ему не о чем будет сказать с ним двух слов.

Цезарь искренне увлечен кинематографом, но в том, как он говорит о своем кумире Эйзенштейне, в самом способе разговора есть что-то от слишком знакомых, ходовых мнений, с принудительностью моды господствующих по временам в узком кружке людей, связанных с искусством, где иные имена звучат заклинанием и паролем. И. Чичеров заступился перед Солженицыным за тех интеллигентов, которые

«все еще продолжают в лагере спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде...» О Мейерхольде в повести не сказано ни слова, но психологически понятно, почему он мог залететь здесь к Чичерову: Мейерхольд так Мейерхольд — не все ли равно, если это лишь знак особо утонченных духовных интересов, своего рода свидетельство об интеллигентности.

В искусстве Цезаря больше всего интересует, как это сделано, он привык дорожить формой, приемом, самой атмосферой творчества. Цель искусства, то, пробуждает ли оно в людях добрые чувства, кажется ему делом второстепенным. В этом суть его спора с жилистым стариком каторжанином в конторе. Развалившись у стола и покуривая трубку, Цезарь благодушествует.

«— Нет, батенька,— мягко этак, попуская, говорит Цезарь,— объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку у рта задержав, сердится X-123.— Так много искусства, что уже и не искусство! Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании».

Спор разгорается сильнее, и старик, возмущенный ссылкой Цезаря на то, что иной трактовки «не пропустили бы», гневно возражает: «Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»

Почти в каждой статье о повести Солженицына приведена эта действительно замечательная сцена, где старик каторжанин, побивая слабые аргументы Цезаря, произносит слова, исполненные высокого гражданского достоинства. Но мало кто из критиков заметил присутствие в этой сцене третьего лица — молчаливо стоящего с миской в руках, принесенной в контору, Ивана Денисовича. Шухов терпеливо ждет, потом откашливается, желая обратить на себя внимание, и наконец Цезарь замечает его. Но как замечает!

«Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху,— и за свое:

— Но слушайте, искусство — это не что, а как».

Способ, каким Цезарь принимает от Шу-

хова кашу, пожалуй, больше развенчивает его, чем поражение в споре об искусстве.

Шухов не торопится уходить из уютной конторы, где так приятно стоять у раскаленной докрасна печки, он еще надеется, что Цезарь угостит его куревом. «Но Цезарь,— говорит Солженицын,— совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной. И Шухов поворотясь, ушел тихо». Становится горько-горько за Ивана Денисовича после этих слов, и возникает невольная неприязнь к такому вежливому и симпатичному Цезарю Марковичу. Он может еще позволить себе роскошь поспорить вволю о пляске опричников с личиной, а Шухову пора на объект, к своим.

Я не сомневаюсь в законности тех интересов, которые занимают Цезаря. Я мог бы даже посочувствовать его одержимости мастерством Эйзенштейна, как всякому живому человеческому пристрастию. Но я признаю большую, так сказать, существенность за тем, что волнует Ивана Денисовича, что составляет его заботы. Как не подумать о том, что Цезарю Марковичу не пришлось бы рассуждать в конторе, в тепле, за миской с кашей, которую принес ему Шухов, о сцене в соборе, если бы целый день в здании ТЭЦ не работала бы бригада, проценты выработки которой он, по счастливому своему положению, определен под-считывать.

В Цезаре нет хищного своекорыстия, его наивный эгоизм чаще вызывает у нас улыбку, чем досаду и негодование. Но ища себе долю полегче, Цезарь приобрел своего рода глухоту к тому, что волнует окружающих его людей. Попытка остаться в кругу привычных «московских» интересов есть способ самозащиты против тяжелых впечатлений лагеря. Но эти же разговоры об Эйзенштейне, о кино как бы отстраняют его от таких людей, как Шухов, изолируют от них и лишают ответственности перед ними. «Высшие» интересы искусства не сопрягаются с «низшими». прозаическими интересами жизни, которыми поневоле заняты Иван Денисович и его товарищи. И если Шухов твердо верит в то, что жизнь не есть озорство, то этой веры не хватает, похоже, Цезарю Марковичу, как не хватало ее «красилям», основавшим новый «веселый» промысел в родной деревне Ивана Денисовича.

В самом главном, в отношении к жизни и к труду, что-то неожиданно сближает утонченного Цезаря Марковича с Краси-

ми из деревни Темгенёво. И точно так же вопреки ожиданию у интеллигентного, идельного человека Буйновского находится больше общего с Иваном Денисовичем, чем с Цезарем, несмотря на то, что тот в бригаде «одного кавторанга и придерживается», видя лишь в нем достойную себе компанию. Одно это начисто отвергает мысль о каком-либо противопоставлении народа и интеллигенции у Солженицына. Принцип деления тут другой.

Кавторанг не «придуривается», не ищет, как обойти беду легче, миновать жребий работяг. И хоть туго приходится ему без привычки к физической работе, он безропотно выполняет приходящуюся на его долю часть общего труда бригады. «Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет» — одно это вызывает у Ивана Денисовича молчаливое уважение к нему и чувство внутреннего родства, какого он не может испытывать к Цезарю.

И чтобы у нас не оставалось сомнений в том, чем и как различны между собою Цезарь и кавторанг, Солженицын сводит их вместе на вахте перед возвращением домой после долгого трудового дня. «И Цезарь тут, от конторских к своим подошел. Огнем красным из трубки на себя попыхивает, усы его черные обындевели, спрашивает:

— Ну как, капитан, дела?

Грето му мерзлого не понять. Пустой вопрос — дела как?

— Да как? — поводит капитан плечами. — Нароботался вот, еле спину распрямил.

Ты, мол, закуришь догадайся дать».

Цезарь догадывается, дает капитану закуришь и начинает отводить с ним душу в любимом разговоре.

«Уговаривает Цезарь кавторанга:

— Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните?

— М-да... — Кавторанг табачок покуривает.

— Или коляска по лестнице — катится, катится.

— Да. Но морская жизнь там немножко кукольная.

— Видите ли, мы избалованы современной техникой съемки...

— И черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были?

— Но более мелких средствами кино не покажешь!

— Думаю, это б мясо к нам в лагерь

сейчас привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя в котел бак ухнули, так мы бы...»

Один критик увидел в этом разговоре некий нравственный урон для кавторанга, которого автор якобы уравнил в самом образе мыслей с «шакалом» Фетюковым, заставив говорить о сомнительном мясе так, как будто и он не отказался бы его отведать. Подробность в самом деле не слишком эстетичная. Но нельзя сказать, что она не у места. Автор резко спустил Цезаря с небес на землю, разбил условно-эстетическое восприятие им мира, иронически соотнеся пусть самый удачный кинематографический прием с неподдельной и грубой реальностью. Способ не новый, много раз с успехом служивший Толстому, но и здесь оказавшийся кстати. Прислушиваясь к разговору Цезаря и кавторанга, мы чувствуем особенно остро различие их положения: один из собеседников только что вернулся из жарко натопленной конторы в созерцательно-благодушном настроении, другой же отработал целый день на жестоком морозе и, естественно, несколько грубее и проще смотрит на жизнь.

С Иваном Денисовичем Цезарь не станет говорить об Эйзенштейне, о котором тот, наверное, даже и не слышал. Но кавторанг, которого Цезарь по образованности и кругу интересов считает ровней себе, выражает тот взгляд на вещи, который, без сомнения, должен был бы одобрить и разделить Шухов. Хотелось бы, конечно, чтобы Иван Денисович стоял на более высокой ступени культуры и чтобы Цезарь Маркович, таким образом, мог бы говорить с ним решительно обо всем, что его интересует, но, думается, и тогда взгляды на многое были бы у них различны, потому что различен сам подход к жизни, само ее восприятие.

Иное дело кавторанг или тот высокий молчаливый старик, которого с уважением рассматривает Шухов за ужином. Старик этот был интеллигентом, по догадке И. Чичерова, и, должно быть, крепко воевал за справедливость, потому что сидел он по лагерям да по тюрьмам несчетно и ни одна амнистия его не коснулась. Но достоинства своего не утратил, себя не потерял. «Лицо его все вымотано было, но не до слабости фтиля-инвалида, а до камня гесаного. темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, выдать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком».

Отношение Шухова к придуркам, точно

так же как его недоумение по поводу легкого промысла красилей, имеет в своей основе народное отношение к труду и к моральному долгу совместно работающих людей друг перед другом.

Обо всем этом стоит говорить подробнее, потому что, как ни удивительно, «придурки» тоже не остались в литературе без защиты и покровительства. В повести Б. Дьякова «Пережитое» («Звезда», № 3, 1963), написанной, видимо, не без влияния Солженицына и с внешним усвоением некоторых ее интонаций, по одному вопросу — вопросу о «придурках» — идет нескрываемая полемика с «Иваном Денисовичем».

Героя повести Б. Дьякова, собравшегося в первый день своего лагерного срока выйти на общие работы, урезонивает более опытный инженер. Он дружески советует ему поскорее устроиться руководителем художественной самодеятельности при лагере, чтобы избежать общих работ. Инженер предупреждает новичка, что в лагере сидят не только жертвы беззакония, но и «настоящие мерзавцы», с ними-то и предстоит борьба. Сам же лагерный режим может показаться не слишком тяжелым, если вести себя умело: «В шахматы играет? Очень хорошо! Тогда вам известно: иной раз кажется — мат неизбежен, но... напряжение мысли, расчет, ход конем или рокировка, или пешку в ферзи и — жизнь выиграна!.. Вы, разумеется, понимаете аллегории?»

Эти аллегории понимают все. Но Шухова почему-то невозможно представить делающим «ход конем». И Тюрина. И кавторанга. Вспомним, что о своей болезни Шухов говорит в санчасти «совестливо, как будто зарясь на что чужое», и присаживается с градусником под мышкой на самый край лавки, «невольно показывая, что санчасть ему чужая». Герой же Б. Дьякова — мы не осуждаем его за это, а лишь констатируем — сначала лечит в лагерной больнице свою застарелую грыжу, потом устраивается библиотекарем, затем инсценирует роман для художественной самодеятельности и организывает подписку на заем среди заключенных. Словом, заботы эти иного сорта, чем те, что волновали Ивана Денисовича.

Что ж, разные, вероятно, были лагеря, разные люди в них сидели, и по-разному переживалось происходившее. Но вот прямое рассуждение, вложенное Б. Дьяковым в уста одного из героев повести: «Придурками в лагере называют тех заключенных, кото-

рые выполняют хозяйственные или канцелярские работы. Правда, есть ээки, считающие, что придурки — особо привилегированные, подхалимы и доносчики... Это неверно! Конечно, попадают и такие. А в основном придурок — знаете кто? Умный заключенный при дураке начальнике».

Наконец-то слово найдено, и сомнению не остается места. Придурок — умный заключенный, устроившийся при дураке начальнике, — должен чувствовать свое несомненное превосходство и над теми дураками работягами, которые на ледяном ветру, в мороз тяжелым трудом зарабатывают свою скудную пайку. Его душу не только не будет царапать совесть, но он испытает прямо-таки самодовольство при мысли, что придумал ловкий «ход конем», а какой-нибудь Шухов никогда до этого не додумается, так и будет таскаться на работу с бригадой — бедолага. Шкуропатенко, Дэр, разевшийся за столовой, я не говорю уж о нашем безобидном и добродушном Цезаре Марковиче, — все они будут выглядеть в таком случае «умными заключенными» при дураках начальниках, а Тюрин, Клевшин, кавторанг — недалекими ээками, которым поделом, что они трудятся «на общих», если приспособиться половчее ума не хватило. Но думать так можно, лишь вовсе не предполагая в человеке других интересов, кроме шкурных, и других побуждений, кроме тех, что подсказывает инстинкт самосохранения, какими бы высокими соображениями это ни маскировалось.

У Ивана Денисовича и у кавторанга, у Тюрина и у Клевшина иное отношение к людям и к труду, отношение, которое мы вправе назвать народным вне зависимости от того, принадлежат ли эти люди к «народу» или к «интеллигенции» в старом понимании слова. Это народность не внешняя, не показная, а глубоко коренящаяся в них, внутренняя, стойкая, которая особенно дорога Солженицыну и которая сообщает его книге тон мужественного оптимизма.

Солженицыну близки заветы русской литературы прошлого века — народность Некрасова и Щедрина, Толстого и Чехова. Но тот взгляд на народ, какой выражен в его повести, характерен именно для советского писателя и, больше того, для писателя, вошедшего в литературу в последние годы, ознаменованные важными переменами в нашей жизни.

В различных областях духовной деятель-

ности, в том числе в литературе и искусстве, тоже есть свой тяжелый и серьезный труд сенокоса и свой прибыльный и легкий промысел красилей, работающих по модному трафарету. Отношение к труду может объективно сближать и разделять людей, независимо от того, колхозники они или интеллигенты, Шуховы или кавторанги. И Солженицын с новым правом мог бы повторить замечательные слова Чехова: «Все мы народ и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Народному отношению к труду противостоит еще ныне мешанское желание прожить полегче, устроиться поприбыльнее, поживиться на чужой счет. Но в каких бы формах ни проявляло себя мешанство — в грубо корыстных или возвышенно интеллектуальных, в раболепно смиренных или начальственно повелительных, — мы всегда в конечном счете распознаем его по отношению к труду и трудовым людям. Значение повести Солженицына в том, в частности, и состоит, что она помогает ясно понять это.

Разоблачая беззакония, ставшие возможными при Сталине и противоположные всей природе социалистического общества, повесть «Один день Ивана Денисовича» отвергает и то отношение к народу, на котором основывалась идеология культа личности. Сталин отгораживался от народа государственными карательными органами и хотя в своих речах часто поминал и хвалил народ, сам относился к трудовым людям с плохо скрытым презрением. «Сталин не верил в массы, — говорил на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1962 года Н. С. Хрущев. — Он состоял членом рабочей партии, но не уважал рабочих. О людях, вышедших из рабочей среды, он пренебрежительно говорил: этот из-под станка! Куда, мол, он суется!» Слово «народ» превращалось в устах Сталина в пустую абстракцию. Словно бы все вместе — были народ, а каждый в отдельности уже не имел к народу отношения.

Восстанавливая социалистическую законность, ленинские нормы общественной жизни, партия придала новую значительность и такому понятию, как «народность». С этой точки зрения появление в литературе повести Солженицына было заметным собы-

тием. «Такие произведения, — сказал об «Одном дне Ивана Денисовича» Л. Ф. Ильичев, — воспитывают уважение к трудовому человеку, и партия их поддерживает».

Солженицын написал эту повесть, потому что не мог ее не написать. Он писал ее так, как исполняют долг — без всяких уступок неправде, с полной открытостью и прямоотой. И потому его книга, при всей жестокости ее темы, стала партийной книгой, воюющей за идеалы народа и революции.

Нас могут спросить: а где же анализ мастерства автора, формы произведения? В самом деле, мы не говорили отдельно, как это обычно принято, о «художественных особенностях» повести, но убеждены, что мы все время говорили о них, едва лишь заходила речь об Иване Денисовиче, Цезаре, кавторанге, о самой атмосфере «счастливого дня» или о сцене работы на ТЭЦ, потому что искусство Солженицына — это не то, что выглядит как эффектное внешнее украшение, пристегнутое где-то сбоку к идее и содержанию. Нет, это как раз то, что составляет плоть и кровь произведения, его душу. Неискушенному читателю может показаться, что перед ним кусок жизни, выхваченный прямо из недр ее и оставленный как он есть — живой, трепещущий, с рваными краями, сукровицей. Но такова лишь художественная иллюзия, которая сама по себе есть результат высокого мастерства, умения художника видеть людей живыми, говорить о них незахватанными, точно впервые рожденными на свет словами и так, чтобы у нас была уверенность — плаче сказать, иначе написать было нельзя.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» прожила в нашей литературе всего год и вызвала столько споров, оценок, толкований, сколько не вызвала за последние несколько лет ни одна книга. Но ей не грозит судьба сенсационных однодневок, о которых поспорят и забудут. Нет, чем дальше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться ее значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо было ей появиться. Повести об Иване Денисовиче Шухове суждена долгая жизнь.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Л. Лебедева.** Люди на «Воейкове». — **Вл. Солоухин.** Годы и судьбы. — **Ф. Светов.** «Просто» или «не просто» детектив? — **Е. Алексанян.** Книга о мастере прозы. — **Н. Мацуев.** Новый библиографический указатель. — **А. Синявский.** «Пойдем со мной...»

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Б. Яковлев.** Живые ленинские черты. — **А. Китайгородский.** Пути развития науки. — **В. Писарев.** Мужество ученого. — **А. Турнов.** Под присмотром «славных парней». — **Ю. Генкер.** Встречи с Югославией. — **И. Кравченко.** Книга о Тейаре де Шарден.

### Литература и искусство

#### ЛЮДИ НА «ВОЕЙКОВЕ»

**Юхан Смуул.** Японское море, декабрь. С эстонского. Авторизованный перевод Леона Тоома. «Дружба народов», № 8, 1963.

**Ю**хан Смуул — страстный искатель людей на земле. Его писательская страстность проявляется в стиле, в манере не так уж часто, «взрывы» происходят на фоне эпически спокойного, сдержанного, иногда полного иронии повествования — и они тем действеннее, оправданнее, убедительнее. Эта особенность манеры Ю. Смуула сыграла немалую роль в том, что его полюбили читатели, но, конечно, это не только особенность манеры. То, что на первый взгляд кажется неожиданностью, на самом деле бывает подготовлено в повествовании Смуула всем ходом предшествующего изложения, всем его содержанием, внешне как будто бы и не слишком связанным с моментом наибольшего напряжения. В этом отношении его новое произведение «Японское море, декабрь» оказалось, пожалуй, еще более цельным, более единым, чем его широко известная «Ледовая книга».

Между поездкой Ю. Смуула в Антарктику и поездкой на Дальний Восток, на корабль метеослужбы «Воейков», прошло около четырех лет. Примерно столько же времени разде-

ляет и появление в печати двух книг, таких похожих и вместе с тем так серьезно отличающихся одна от другой.

«Ледовая книга» представляет, так сказать, «классический» дневник путешествия: размечены точными датами весь путь корабля в Антарктику, пребывание на ледяном материке и обратный путь. События проходят перед читателем в хронологическом порядке. Естественно, что автор не просто регистрирует их, но отбирает те, которые более всего укладываются в замысел книги. И все же дневник есть дневник; Ю. Смуул отказался от прямой «дневниковости» в «Японском море» не случайно и не только потому, что, как он говорит во вводной главе, не может два раза подряд использовать этот прием в путевых записках. Здесь же он приводит и другое, по-видимому главное, соображение: «несущественное затуманивает существенное, неважное — важное, истины одного дня гнетут нас и приковывают к земле».

«Ледовую книгу» никак нельзя назвать собранием истин одного дня — по этому по-

воду незачем и спорить. И хотя Смуул говорит там: «...меня интересует прежде всего море и жизнь корабля, сам корабль», само содержание книги заставляет воспринимать эту фразу как метафору. Люди вокруг, их связь со временем — вот главный объект писательского внимания Ю. Смуула. Но там, где есть дневник, неизбежно выступает на первый план как литературный герой сам автор. Это с одной стороны. А с другой, степень художественного обобщения характеров в дневнике несколько ограничена — и об этом справедливо говорит Ю. Смуул в «Японском море».

В очерке о поездке на Дальний Восток автор как лирический герой сохранен, и это понятно. Но он, если можно так выразиться, дополнен рядом отлично написанных, жизненно типических людей-современников. Для них и о них создана книга, продолжившая и по-новому раскрывшая те линии, которые прочерчены были и в «Ледовой книге».

В «Японском море», между прочим, почти нет путешествия. Корабль «Воейков» в очерке большей частью неподвижен. К нему и по нему движутся люди — каждый со своей работой, своим отношением к жизни, своей. так сказать, походкой. Благодаря им живет и «Воейков», без них представляющий собой мертвую массу. Это с большой выразительностью подчеркнул Ю. Смуул в самой композиции очерка.

...Вот он, автор, прибыл в качестве корреспондента самолетом к месту назначения — во Владивосток. Несколько очень точных штрихов из жизни большого портового города — жизни достаточно кипучей, пестрой и противоречивой, даже когда дело идет в субботу к ночи. Финал самолетно-автомобильного путешествия — человек стоит холодной ночью на берегу и тщетно пытается вызвать шлюпку с корабля. Неподвижной, безответной громадой застыл «Воейков», никто не отзывается на хриплые оклики вконец замерзшего корреспондента, не догадавшегося дать телеграмму о своем прибытии и даже не запасшегося необходимым пропуском, — это последнее обстоятельство еще выйдет ему боком в дальнейшем. Наконец на берегу появляется возвращающаяся из города корабельная уборщица; на ее голос тотчас возникает из мрака корабельная шлюпка... Мытарства кончены? Нет. Еще предстоят неприятные разговоры с перевозчиком, с дежурным штурманом. Но всему бывает предел: корреспондент благополучно

водворен в каюту прессы. Остается только выспаться в тепле и включиться в бурный ритм корабельной жизни. Но... «дверь на миг приоткрылась, и в каюту через плечо лодочника заглянул Большой Халль, дух моей морской тоски».

Большой Халль... Ему посвящена целая глава в книге Ю. Смуула. Это действительно страшноватый дух — дух бездеятельности, выключения из человеческих связей, дух мрачной сосредоточенности лишь на своих собственных мыслях. «Человек сидит на расстоянии метра от тебя, на расстоянии промежутка между койками, но вас разделяет тысяча километров тоски, и этих километров не преодолеть ни звуку, ни слову, ни радости, которой ты хотел бы поделиться».

Тяжелая тоска, обрастающая множеством долгих размышлений (и о смерти тоже!), тоска расслабляющая, мешающая подключиться к тому, что единственно спасает от нее — к работе, темпу, движению, духовно действительному общению с другими людьми. Кому это не знакомо — не только на море?

Пока на «Воейкове» нет тех людей, работой которых и жив этот корабль, Большой Халль бродит по каютам. Но чем ближе появление аэрологов, чьи руки запустят в небо метеорологические ракеты, тем меньше простора Большому Халлю: «...лишь к заботам друга относись как к чему-то значительному и серьезному. А свои заботы держи при себе».

И дальше все страницы «Японского моря» по существу отданы тому, что Юхан Смуул формулирует так: «характеры и ракеты». Люди — и их отношение к работе, к своему месту в жизни, друг к другу, к тому, что они знают и умеют.

Иван Иванович Корягин и «люди Ивана Ивановича» — руководимая им группа из шести ребят-аэрологов, чьи покрасневшие от ветра и холода лица появляются на палубе «Воейкова», как «шесть солнц». Люди Ивана Ивановича изучают то, что может быть выражено одним лишь словом «погода», — словом, раскрытию поистине многообразного содержания которого посвящен в очерке один из лучших стилистических «взрывов» Смуула...

Капитан Тимофей Федорович. Тихий человек неромантической наружности, подчеркнуто скромно отходящий в сторону в тех случаях, когда на корабле вершат свои таинственные дела «ракегчики». Но это отнюдь не «фигура для формы». Человек с



большой морской биографией, на суше до сих пор живущий очень неустроенно — с женой и двумя взрослыми детьми в двенадцатиметровой комнате, — он на корабле хозяин там, где положено ему быть таким. И все чувствуют его спокойное присутствие — спокойное и необходимое.

Гидрохимик Татьяна Иосифовна со своими «скучными» пробирками. «Ах, скучное дело! Что же тут скучного? Профану все скучно, а гидрохимия — особенно... На гидрохимию наплевать только тем директорам фабрик, которые травят в реках всю рыбу, спуская в воду всякие отходы... Я молчу, вы молчите. Кто же должен поднимать крик?»

А ведь это по-настоящему страшно — непоколебимое самодовольство профана, «принципиального невежды», который не работает, а занимает должность! Есть такой и на «Воейкове» — первый помощник капитана, сосредоточивший, как многие, ему подобные, свои рабочие помыслы на придумывании себе, по точному выражению Ю. Смуула, фиктивного дела: «Так рождаются лишние слова, не действующие на людей, так придумываются доклады, в которых все без различия иностранные порты изображаются в паническом свете, так возникает брюзгливое чиновничье недоверие ко всем нижестоящим».

Ю. Смуул чрезвычайно резко противопоставил в «Японском море» человека и «мгуную бутылку», знающего работника и профана, настоящего ученого и невежду. Если говорить о социальной значимости очерка, то, мне думается, именно в этом противопоставлении, выношенном и продуманном, она в основном и заключена. Трудно недооценить своевременность и современность этой всеобъемлющей (почти в такой же степени, как и погода!) и острой проблемы — пусть она в данном случае возникает из наблюдений над ограниченным во времени отрезком жизни одного лишь корабля. Ю. Смуул склонен подчеркнуть: море не суша, корабль не сухопутное учреждение. Что ж, он, наверное, прав в том отношении, что в условиях корабельного быта многое проверяется строже и определеннее, чем вне таких условий. Поэтому черты жизни Большого мира здесь видны, быть может, яснее, чем где-либо еще...

В «Ледовой книге» есть интересное рассуждение о так называемом «болевым пороге» — медицинском термине, которому

Ю. Смуул находит оригинальное истолкование применительно к литературе. Врачи называют людьми с низким болевым порогом тех, кто особенно нетерпелив к боли и поэтому сильнее страдает от нее. Ю. Смуул говорит: «У нас, писателей, болевой порог должен быть невысоким по отношению ко всему вокруг, что болит и вызывает боль... Тогда мы, правда, скорее изнашиваемся... тогда в нашей жизни нет подлинного покоя, но жить иначе нет смысла».

Думается, он прав. И когда прочтешь «Японское море, декабрь», думается, что Ю. Смуул идет все дальше именно по этому не очень спокойному пути. Но избранный Ю. Смуулом жанр позволяет весьма отчетливо увидеть, так сказать, и самый процесс литературных поисков писателя. К тому же автор склонен еще и подчёркивать «обнаженность конструкций», используя это, очевидно, как один из приемов в борьбе со штампом, стереотипностью, банальностью формы, могущей иногда излишне упростить и содержание. Я имею в виду в данном случае не реально существующие черты двух последних книг Ю. Смуула, а возможную опасность, которую, кажется, ощущает и он сам. Быть может, это ощущение в какой-то степени обуславливает резкость тона в той полемике, в которую вступает время от времени автор с неким абстрагированным литературным критиком или с писателем, ложно понимающим свои задачи.

Наверное, нет в искусстве более «заезженного» образа, чем полный раздражения, обмакивающий перо в желчь, паразитирующий на живом древе литературы тот самый критик, которого давным-давно затоптали бы до смерти, будь в нем хоть что-нибудь живое, плотское. Но ничего такого в нем нет, как, впрочем, нет в нем ничего и от одной из разновидностей реально существующей литературной критики. А она, как известно, бывает всякая — и по-настоящему художественная, смелая, творческая, и вульгарно-социологическая либо формалистическая, а то и попросту зашутельская либо апологетическая и т. п. Но что-то редко приходится наталкиваться в художественном произведении, ну, например, на страстный панегирик Великому Критику или на пространное рассуждение о вреде вульгарно-социологических оценок.

Да это, наверное, и ни к чему было бы — не на месте. А вот «красногубый вурдалак» жадно тянущийся к животворным истокам

чужого творческого гения с недвусмысленным намерением их иссушить, появляется часто. Появляется (рука об руку с Большим Халлем?) и на палубах смууловских кораблей. Кто же он и есть ли за ним все же какое-либо содержание? Мне кажется, есть, и оно, это содержание, не сводится лишь к тому, что за время существования литературы критики написали немало плохих, брюзгливых статей и рецензий и тем заслужили яростную нелюбовь писателей. Думается, «вурдалак» наш персонифицирует все схематическое, далекое от животрепещущей социальной истины, от настоящей правды и настоящей красоты, все бли-

зоркое и равнодушное, что стоит на пути у творчества, что мешает писателю и с к а т ь.

Быть может, какие-то из этих черт оказывают порой не только «извне», но и «изнутри», проникают почему-либо в творческую лабораторию и, наверное, вызывают у художника, ощущающего их временное воздействие, наиболее обостренную реакцию, наиболее резкий протест. Что ж, протест оправдан. Надо надеяться, в душе Ю. Смугла он будет жить всегда в таком вот широком значении — это необходимая опора в пути.

Л. ЛЕБЕДЕВА.

★

## ГОДЫ И СУДЬБЫ

Н. Коржавин. Годы. Стихи. «Советский писатель». М. 1963. 116 стр.

Обычно с выходом первой стихотворной книги связывается понятие о начинающем, ну, или, скажем, только что начавшем поэте. Многие, я знаю, по выходе первой книги определяют начало своей творческой биографии, ведут исчисление своего, так сказать, литературного стажа.

Но сколько поэтов — столько и судеб. У каждого настоящего поэта своя, не похожая на других судьба, если даже все остальное было, как у сверстников: рождение в такие-то годы, школа, комсомол, война, учеба, работа, любовь... Творческая биография идет своим особым путем, у нее свои своеобразные законы.

Еще в 1945 году, то есть почти двадцать лет назад, в литературных объединениях Москвы среди писателей и любителей поэзии хорошо знали (тогда-то вот действительно начинающего) поэта Н. Коржавина.

Несколько позже (но не позже 1947 года) он считался одним из самых способных студентов в Литературном институте имени Горького.

Хорошо или плохо, когда первая книга выходит двадцать лет спустя как итог двадцатилетней работы писателя в литературе? В аннотации к первой книге Н. Коржавина «Годы» так и сказано: «...итог двадцатилетней творческой деятельности поэта».

Отметив, что, как бы то ни было, все же это не должно считаться нормальным, скажу, что тут можно судить по-разному. Если поэт далек от животрепещущей, современной ему действительности, если он пишет,

к примеру, стихи об античных героях или что-нибудь из жизни рыцарского средневековья или вообще имеет дело с вечными и неизменными категориями, никак, даже в глубине подтекста, не соприкасающимся с современностью, то пусть его... Если даже и тридцать лет спустя выйдет книга у такого поэта, большой беды не будет. Но и то ненормально. Может быть, хотя бы формальной стороной своего творчества (если оригинален) он все же мог бы участвовать в общем литературном процессе, влиять на него.

Если же речь идет о поэте гражданского звучания, о поэте, так сказать, подключенном к высоковольтной сети современности, то задерживаться ему никак нельзя, а если задержка произошла не по его вине, то ее нужно рассматривать как несчастье.

В самом деле, представьте, что воин выпустил стрелу во вражеский стан на Куликовом поле. А стрела ненормальным образом повисла в воздухе и упала в намеченное место двадцать или тридцать лет спустя. Много ли от нее будет толку?

Книга Н. Коржавина, конечно, не полный итог его двадцатилетней работы, потому что в нее не включено большое количество характерных для поэта стихотворений. А то, что относительно давние стихи звучат по-современному, то, что они выдержали проверку временем, то, что стрела и промедлив достигает цели, нужно отнести за счет двух обстоятельств. Во-первых, за счет поэтической талантливости автора и, во-вторых,

за счет того, что, как и двадцать лет назад, вполне определенно и четко разделение сил на земном-шаре, что, как и двадцать лет назад, продолжается революция и борьба света и тьмы не утратила своей напряженности.

Кто мне скажет, через сколько десятилетний утратит свой накал, оставит нас равнодушными (или наших подросших детей, или подросших детей наших детей) коротенькое стихотворение Н. Коржавина под названием «Над книгой Некрасова», хотя оно и отнесено к началу Великой Отечественной войны?

...Столетье промчалось — и снова.  
Как в тот незапамятный год,  
Коня на скаку остановит,  
В горящую избу войдет.  
Ей жить бы хотелось иначе,  
Носить драгоценный наряд.  
Но кони все скачут и скачут.  
А избы горят и горят.

В разговорах о поэзии нет-нет да и промелькнет выражение: «Это стихотворение, мол, хорошее, но в нем нет ощущения противника». Я вспомнил об этом к тому, что Н. Коржавин чаще всего полемичен. Противник, конечно, разный как в жизни, так и в споре. В одном случае он заслуживает яростного гнева, как, например, в сильном стихотворении «Дети в Освенциме».

Мы много слышали про это черное место на земле. Я тоже был там на экскурсии и видел тонны очков, или тонны зубных щеток, или тонны стоптанных башмаков — и все это, пожалуй, страшнее, чем просто человеческие трупы, когда все уж ясно, без недомолвок.

Н. Коржавин тоже сказал свое слово об Освенциме, причем он нашел во всем этом самую болевую точку:

Мужчины мучили детей.  
Умно. Намеренно. Умело.  
Творили будничное дело,  
Трудились — мучили детей.

Детям было не понятно, чего от них хотят мужчины, думали, что это за непослушание. Кроме того,

По древней логике земли,  
От взрослых дети ждут защиты.

Попрание человеческих законов раскрывается здесь с особенной силой:

Они хватались за людей.  
Они молили. И любили.  
Но у людей «идеи» были.  
Мужчины мучили детей.

Я заговорил о чувстве противника в стихотворении. Это не обязательно фашизм, как в только что процитированных строчках. Речь идет о том, что поэт полемичен (внутренне полемичен) во всяком стихотворении.

Молодой поэт Павел Коган когда-то написал по-юношески задорные строчки:

Я с детства не любил овал,  
Я с детства угол рисовал.

Н. Коржавин отвечает ему полемически:

Меня, как видно, бог не звал  
И вкусом не снабдил ут́онченным.  
Я с детства полюбил овал  
За то, что он такой законченный.

Это не заслоняет поэту всех острейших противоречий мира, он заканчивает стихотворение:

Но все углы и все печали  
И всех противоречий вал  
Я тем большее ощущаю,  
Что с детства полюбил овал.

Как легко и спокойно в этом споре выигрывает Н. Коржавин: его решение мудрее, и старшее, и глубже.

Или вот полемика с модными иногда и кое-где «натурами», вернее — взглядами:

Не ценят знанья тонкие природы,  
Искусство любит импульсов печать.  
Мы ж, Рафаэль, с тобой — литература!  
И нам с тобой здесь лучше промолчать.

Они в себе себя ценить умеют.  
Их мир — оттенки собственных страстей.  
Мы ж, Рафаэль, с тобой куда беднее —  
Не можем жить без бога и людей.

Их догмат — страсть. А твой — улыбка  
счастья.

Твой спокойно сомкнуты уста.  
Но в этом слиты все земные страсти,  
Как в белом цвете слиты все цвета.

Если говорить о главных мотивах книги «Годы», то я бы назвал два главных мотива: ощущение революции и ощущение России. Эти два мотива звучат то по отдельности, то переплетаясь между собой, то сливаясь воедино в таких разных на первый взгляд стихотворениях, как приводившиеся уже «Над книгой Некрасова», как «Стихи о моей звезде», «В эпоху войн и революций...», «Невеста декабриста», «О время резкое мое...», «Легкость» (о Пушкине), «Уход» (о Льве Толстом), «Русской интеллиген-

ции», «Церковь Покрова на Нерли», «Бородино»...

Эти два мотива — ощущение революции и России — в Н. Коржавине живут вполне органично. В одном стихотворении он заявляет:

Я не был никогда аскетом  
И не мечтал сгореть в огне.  
Я просто русским был поэтом,  
В года, доставшиеся мне.

В другом он пишет:

Где вы, где вы?  
В какие походы  
Вы ушли из моих городов?  
Комиссары двадцатого года,  
Я вас помню с тридцатых годов.  
Вы вели меня, люди стальные.  
Отгоняли любую беду...

Восторгаясь романтикой революции и гражданской войны, поэт умеет остановиться и перед другой красотой, потому что сочетание их обеих и есть Россия:

По какой ты скроена мерке?  
Чем твой облик манит вдали?  
Чем ты светишься вечно, церковь  
Покрова на реке Нерли?..  
Так в округе твой очерк точен,  
Так ты здесь для всего нужна,  
Будто создана ты не зодчим,  
А самой землей рождена.

В маленькой аннотации, которую я уже упоминал, написано также, что в книгу включены стихи «о событиях истории, перекликающихся с событиями сегодняшней жизни нашего народа».

Перелистывая книгу, не находишь более яркого исторического события, легшего в основу стихотворения, чем Бородино. О Бородине Н. Коржавин написал длинное стихотворение, как бы даже небольшая поэма. Что ж, действительно она во многих своих частях, многими строчками «перекликается с событиями сегодняшней жизни нашего народа».

Впрочем, автор сразу же, оказавшись на Старой Смоленской дороге, начинает говорить о том, что путь от границы и до столицы знаком и нам, что в самый суровый час и мы познали, сколько человеческой крови стоит иногда каждая верста родной земли. И кто может утверждать, что следующие строки написаны о кутузовских войсках, а не о русских войсках 1941 года:

А мимо шли устало роты  
В густой пыли родной земли,

Полны надежды и заботы,  
Полны тоски. Но мерно шли.  
Над ними липы шелестели,  
Томили душу им поля...  
Неужто будет в самом деле  
Под кем-то эта вот земля...

Дальше свободолюбие России противопоставляется эгоистическое властолюбие полководца, вождя, решившего прибрать Россию к своим рукам, надеть на нее ярмо, поработить — одним словом, посягнувшего властвовать над Россией:

Он, завладевший колесом  
Истории, творивший даты,  
Предавший все, презревший все...  
Всю даль надежд, всю ширь идей,  
Почтивший наглым безразличием,  
Оставивший из всех страстей  
Одну пустую страсть к величью...

В 1951 году (время написания поэмы) эти слова могли быть отнесены к любому последующему (после Наполеона) властолюбцу, сознательно или бессознательно использующему Россию как пьедестал, как опору для достижения собственного величия и собственной славы.

В патетическом обращении к России поэт восклицает:

Россия! Родина! Россия!  
Вставай! Живи! Твой час настал.  
Слова и мысли — все простые,  
И доблесть на виду — проста...  
И как тот демон, «дух свободный»,  
Подумать даже втайне мог,  
Что ты отдашь за блеск холодный  
Крутую даль своих дорог?

Теперь мне хотелось бы сказать несколько полемических слов об одной особенности поэзии Н. Коржавина. Дело в том, что поэт в своем творчестве (тоже полемически и последовательно) почти начисто игнорирует зрительный образ, краски, живопись — словом, то, чем, на мой взгляд, не должен пренебрегать поэт. Я знаю, что сам Н. Коржавин в спорах на эту тему любит ссылаться на стихотворение Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может...» В самом деле, ни одного зримого красочного образа (образа в хрестоматийном смысле слова), а — гениально.

Н. Коржавин мог бы продолжить примеры, и он их наверняка знает. И у Тютчева, и у Некрасова, и у Блока много стихотворений. сцементированных не столько чувством. воплощенным в краски, но держа-

шихся на мысли, заключенной в отточенную логическую формулу, на афоризме.

Все это так. Но все же Пушкин умел сказать: «Сквозь волнистые туманы пробирается луна»; у Некрасова находим: «Там из-за старой, нахмуренной ели красные грозды калины глядели»; у Блока нас восхищает: «Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлеи, и вязнут спицы росписные в расхлябанные колени»; даже Тютчев, наиболее, так сказать, чисто философский поэт, рисует (именно рисует) волнующую картину:

На месяц взглянь: весь день, как облак  
тощий,

Он в небесах едва не изнемог.—  
Настала ночь — и светозарный бог,  
Сияет он над усыпленной рошей!

При всей философичности его стихов, они полны самых неожиданных, самых зримых, самых точных образов. Они блещут красками, они осязаемы, в восприятии их участвуют все пять человеческих чувств, а не один только разум.

Н. Коржавин сознательно отстаивает свое понимание поэтической образности в статьях и в стихах. У него есть стихотворение

«Рассудочность», в котором он пытается объяснить эту особенность своей поэзии и спорит с теми, кто называет его поэзию рассудочной:

Все оставалось: путь, и цель, и свет,  
Но жизнь подчас теряла вкус и цвет...  
И должен был твой разум каждый день  
Вновь открывать, что значат свет и тень...  
Он осязанье мыслью подтверждал,  
Он сам с годами вроде чувства стал.

В том-то и дело, что в роде чувства. Но никогда, ни в какие времена разум не сможет подменить чувства, ум — сердца, логическая схема — тепловкровной человеческой плоти (я говорю здесь не о поэзии Н. Коржавина в целом, а о том, к чему может привести отмеченная тенденция, если на ней настаивать). Если жизнь порой теряет вкус и цвет, как сказано об этом в стихотворении, то не задача ли поэта вернуть ей и вкус, и цвет, и жаркую ее плотность. Конечно, в белом цвете сливаются все цвета радуги. Но мы, люди земли, больше любим, когда цвета предстают перед нами в разнообразнейших радостных земных сочетаниях.

Вл. СОЛОУХИН.

★

## «ПРОСТО» ИЛИ «НЕ ПРОСТО» ДЕТЕКТИВ?

Юлиан Семенов. Петровка, 38. Повесть. «Москва», № 8, 9, 1963.

Случайно услышанный разговор: «Давай, старик, сочиним детектив? Вот так просто: сядем, набросаем планчик — сначала в самом общем виде, потом слегка разработаем и — поехали! Главу ты — главу я, а потом обменяемся. Во-первых, уже придумать и писать такую штуку одна радость, во-вторых — одним словом понятно, что «во-вторых»!..»

Может быть, и нет в таком разговоре ничего предосудительного. Может быть, именно так, весело и легко, и следует работать в жанре детектива. И получится примерно так: ...Страшный крик разорвал ночную темноту. Через несколько минут возле изуродованного трупа остановилась милицмейская машина. Тщательный осмотр места происшествия ничего не дает. Но вот обнаружена недокуренная сигарета — убитый курил куда более дешевые; экспертиза, потом еще один почти случайный шаг, сопоставления, женщина, ассоциация — след становится

отчетливее; еще одна экспертиза, еще одна женщина, еще одна ошибка преступника и — «на него выходят»; затем засада, схватка, припертый вещдоками (вещественными доказательствами), преступник «раскалывается».

Здесь возможны сотни вариаций, но суть такого, мягко говоря, штампа не меняется — это «просто детектив». А «Петровка, 38» — «не просто детектив», во всяком случае по замыслу автора.

Юлиан Семенов — писатель пытливый, энергичный, легко перемещающий действие своих произведений из Москвы в Магадан, с Запада на Дальний Восток, увлекающийся людьми сильными, профессиями романтическими, — в своей новой повести остается все время в Москве и главным образом в центре — Петровка, улица Горького, площадь Пушкина, Курский вокзал. Правда, дважды герон едут в подмосковную Тарасовку, но ведь и это путешествие не бог весть какое

дальнее. Сжатая рамками центральных улиц и площадей Москвы, залитой ярким летним солнцем, сверкающей витринами магазинов, ослепительными улыбками загорелых юношей и девушек, повесть Ю. Семенова необычайно насыщена драматическими, трагическими, кровавыми происшествиями. Их значительно больше, чем в других произведениях писателя, хотя там бушуют метели, герои совершают тысячекилометровые перелеты в тяжелых метеорологических условиях: обледенения, трещины во льдах и т. п.

Писатель задумал повесть о нашей советской милиции, которая «меня бережет», об уголовном розыске, о людях, ведущих работу трудную, требующую поистине самоотверженности. Причем трудность работы органов милиции даже не в том, что она утомительна, полна опасностей, так сказать, никак не может быть «нормированной». «Разве это ужас? — объясняет в повести десятикласснику Ленке оперуполномоченный Садчиков. — То, что людей в тюрьму приходится сажать, — вот у-ужас (герой заикается. — Ф. С.). В нашем д-деле самое страшное — это всех возненавидеть. В дерьме мы работаем, к-как настоящие ассенизаторы, п-понимаешь? А их любить н-надо, людей, о-очень любить. Иначе — к-какой смысл нам работать?» И дальше Садчиков говорит себе сам: «Раз уж он взял на себя великую муку — знать зверство и бороться с ним, — так, значит, все это надо держать в себе самом». Одним словом, это и трудности нравственного характера.

В повести то и дело звучит скрытая, а порой явная полемика с произведениями, вольно или невольно искажающими облик работников органов милиции, изображающими их примитивно и схематично. «По книге, — говорит Росляков, — нам только какую-нибудь пуговицу покажи — мы тут же убийцу разыщем. Или посмотрим на человека — и сразу скажем: кто он такой, откуда родом и чем занимался десять лет тому назад. Глупость какая! А ведь печатают и читают». А коллега Рослякова Садчиков с грустной иронией вспоминает неперемнную деталь всякого произведения о милиции: «Все милицейские герои в кино звонят домой, а жены спрашивают, что они кушали на завтрак. Хм-хм!..»

К сожалению, Росляков и Садчиков правы. Сколько у нас печатают еще книг, в которых проницательным героям бывает вполне достаточно увидеть пресловую «пугови-

цу». Да что пуговицу — они и так землю под тобой на десять метров видят! И все они непременно звонят женам!

Но беда в том, что и повесть Ю. Семенова не является исключением из этого ряда. На первых же страницах «Петровки, 38», в главе с музыкальным названием «Интродукция», неизвестные убивают милиционера Копытова — человека семейного, чадолюбивого и доброго. Преступникам нужен револьвер. Одна за другой грабят скупка, домовая лавка, приходная касса; юноша-десятиклассник, поэт, украв отцовский пистолет, чтобы застрелиться, случайно оказывается словно бы причастным к вооруженному грабежу. Убийца проникает в дом всемирно известного академика-хирурга, чтобы похитить картины эпохи Возрождения и не менее ценные иконы, потом приходит в дом знаменитого скрипача, чтобы убить его и завладеть драгоценной скрипкой; убийца вот-вот ударит скрипача молотком по затылку... Главный преступник — рецидивист, в прошлом власовский подполковник-контрразведчик — травит стрихнином запутавшегося в жизни, но пытавшегося встать на правильный путь шофера, а потом сжигает труп, облив его бензином. Одного из преступников хватают на улице, возле такси, несут в подъезд, где обезоруживают, другого берут в лифте, на третьего прыгают через окно. Ужасны воспоминания убийцы: он видит отца — бериевского генерала, тот приходил домой под утро, у него была синяя шея, он бил жену нагайкой, запирали ее в уборной, а потом приводил «молчаливых, пьяных женщин»...

Прямо скажем: экзотика арктических исследований — опасности, штормы, метели и белые медведи — бледнеет рядом с такой «экзотикой» большого города. Автор, вероятно, чувствуя, так сказать, банальность такого сюжета, старается спасти положение пространнейшими характеристиками, эрудицией, которыми он наделяет своих героев. Эрудиции много, но характеры получились, в общем-то, примелькавшиеся, так сказать, « типовые ».

На Петровке, 38 создается специальная группа для ликвидации банды, убившей милиционера Копытова.

Три сыщика, вошедшие в группу для ликвидации банды: старший Садчиков, Костенко и Росляков. Что это за люди? Садчикову за сорок, у него жена Галина Васильевна — хирургическая сестра, двое ребят-

шек — Леночка и Никита. Он любит жену, но так занят на работе, что у него просто не остается на семью времени и сил. Иногда Садчиков звонит жене по телефону, но что скажешь, кругом народ. «Галка,— сказал Садчиков как можно веселее,— привет. Ну, что ты? Как дела?» — «Изумительно...» и т. д.

Садчиков — человек начитанный. Он знает Чапека (цитирует известный рассказ о поэте, который «по своим хитрым ассоциациям» помог сыщикам установить номер машины преступника: «О, шея лебедя, о грудь, о барабан!»), он знает редкие издания Хлебникова, рассуждает о тайнах творческого процесса: «Импульсы — великая штука. Если ты в сплошной р-р-розовости живешь — какой ты к бесу поэт? Так, демагог, да и только».

Костенко помоложе, жену его зовут Маша, а дочь Ариша, они гостят в деревне и пишут Костенко милые письма: «Миленький мой, как ты там один? Я тебе, наверное, ужасно надоела со своими посланиями. Но спрашивать тебя, как и что ты ешь,— нелепо, потому что я все прекрасно знаю, а помочь, даже если б жила рядом,— не смогла. Говорят, когда питаешься без режима, надо есть аскорбинку» и т. д. Костенко высказывается о «Ломброзо и его школе», интересуется астрономией и очень любит МХАТ, вернее, не столько вообще МХАТ, сколько «Дядю Ваню»: «Когда ему делалось плохо или не ладилось на работе, он шел в МХАТ на «Дядю Ваню», но только обязательно — чтобы с Ливановым», и уходил «радостным и спокойным».

Росляков — третий сыщик — самый молодой, ему двадцать пять лет, жены у него нет. Он читал Станиславского (предполагаемому свидетелю он говорит: «По Станиславскому — вызовите цепь ассоциаций»), ходит на работу в неизмеримо модном костюме, он «предельно вежлив» с ворами, всегда обращается к ним на «вы», но (?) он же мастер спорта по самбо, и одному бандиту, обманутому наружностью Рослякова, он так сдавил руки, что тот потерял сознание, а придя в себя сказал: «Начальник, вы — ничего себе. В законе. Я вас уважаю за силу». На Петровке, 38 хорошо знают страсть Рослякова: «Третий из довольно скромного своего оклада он тратил на консерваторию и Зал Чайковского». Его приохотил к музыке пианист Малинин, совершенно покоровив исполнением Равеля. Он «ощущал ее (музы-

ку.— Ф. С.) в себе», «весь обмяк и ощутил огромную, блаженную усталость». Росляков размышляет и на темы современные. Он считает, например, что нельзя относиться к ресторану, «как к вертепу» — «ресторан — советское учреждение или нет?» Он полагает, что не мешало бы в то же время понастроить побольше танцзалов, дешевых кафе с маленькими джазами и не закрывать их до двух часов ночи. «Рослякову казалось, что над этим вопросом тяготеет инерция». А между тем «что делать молодым влюбленным?»

Справедливости ради следует признать, что внешне сотрудники МУРа в повести Ю. Семенова отличаются друг от друга значительно более, так сказать, радикально: Садчиков «худ как палка», а Росляков поражает воображение своей мускулатурой («У парня мускулатура, смертоносная для дам,— говорит знаменитый хирург, оперирующий тяжелораненого Рослякова.— Вообще мне всегда было непонятно, почему женщины так падки на мышцы...»); Садчиков заикается, а Костенко и Росляков нет; кроме того, у Костенко две макушки: «У меня, простите, две макушки на том месте, где у прочих затылок».

Впрочем, едва ли следует преувеличивать значение таких «различий» во внешности героев и приветствовать подобный метод индивидуализации характеров. Едва ли читатель обнаружит здесь какое-то принципиальное расхождение с произведениями, над которыми герои повести «Петровка, 38» так ехидно иронизировали: там жены звонят в уголовный розыск и спрашивают, что муж «кушал на завтрак» — здесь героиня спрашивает об этом в письме. Там «сотруднику» достаточно показать «пуговицу», он видит человека насквозь — здесь сыщики прибегают к помощи ассоциаций, Ломброзо и Равеля.

Кстати, о Равеле. Известно, что в милиции работает сейчас много людей с высшим образованием, с широкой эрудицией. Но может ли только поверхностное «называние» деятелей культуры дать хоть какое-то представление об образовании, духовной жизни героя? А между тем автор «Петровки, 38» необычайно широко этим «приемом» пользуется. Его герои бесконечно сыплют именами: Станиславский, Достоевский, Шопен, Чехов... Изображенный мельком комиссар цитирует Саади, опровергает Гегеля: «Дудки, милый Гегель. Загнул ты здесь,

дорогой». Вообще подробности, якобы характеризующие героев, придумываются автором с поразительной легкостью. Один цитирует Саади, а другие и того проще: «...профессор (академик, которого чуть не убили.— Ф. С.), оперируя, всегда матерился. Галина Васильевна давно привыкла к этому, и если профессор молчал, ей было как-то не по себе». «Ешь ты с копытю»,— шутит явно поощряемый дамским вниманием профессор. «Гоп со смыком, это буду я...»— поет он.

Дают ли такие, прямо скажем, поверхностные «психологические» приметы, жонглирование именами и цитатами хоть какое-то представление о богатстве духовной жизни людей, занимающихся трудным и необычайно нужным для общества делом, о времени, в которое они живут? Не сталкиваемся ли мы здесь все с теми же прямолинейностью и схематизмом, всего лишь «интеллигентно» сдобренными всевозможными литературными реминисценциями?

Нет никакой необходимости останавливаться подробнее на сюжете повести. Он весь (с незначительными отклонениями) умещается в трафарете «просто детектива», о котором шла речь выше. Автор лишь осложняет этот шаблон, вводя в действие Леньку Самсонова — милого, честного, талантливого юношу, тяжело переживающего семейные неурядицы, попавшего из-за них да из-за вполне невинного озорства в трудное положение. Ленька случайно оказывается свидетелем преступления, формально в него замешанным, но по существу именно он помогает расследованию, дает «первый след». Ленька делает это сознательно, самоотверженно, он искренне страдает и раскаивается в том, что оказался вместе с преступниками...

Ну, а настоящие преступники — что это за люди, в чем их конфликт с обществом, в котором они живут, как они дошли до жизни такой? «Вот как ты д-думаешь, отчего люди становятся бандитами?» — спрашивает Садчиков Леньку. «Наверное, от глупости». — «Нет. Водка. наших бандитов формирует водка, водка, еще раз водка и семья — если она п-плохая. Ну и пьют же у нас водку! Черт его знает, зачем пьют».

Итак, семья и водка (на второй части этой тирады ни герой, ни автор не задерживаются: действительно — «зачем пьют»?!). И перед нами Чита — он же Костя Назаренко — ничтожный пижон, пустой, трусливый малый, с юности мечтавший лишь о легкой,

веселой жизни, готовый на все ради денег. Сударь-Ромин — сын бериевского генерала-изувера. После ареста отца Сударь занялся спекуляцией, потом стал прокалывать шилом баллоны у машин, потом попробовал наркотики, потом появился Прохор — и дело было поставлено на широкую ногу. А Прохор уж совсем патологический изверг и душегуб: убить человека, подсыпать в водку стрихнин или цианистый калий в колбасу, сжечь человека, облив его предвварительно бензином,— для него это, как говорится, раз плюнуть. Он «принципиальный» преступник и подводит под свои рассуждения «современную» базу: «В наш век надо каждой минутой жить. Как... водород рванут — так все марсианам останется. Живи, гуляй, пока можно!» Рисуя перед Сударем заманчивые планы организации убийства академика и скрипача, он говорит: «Недельку трупники полежат, а нынче жара стоит — пусть они мусора-то ищут следов. Там вонь будет, следов не будет, Санечка».

Откуда такие люди? Что формировало такие характеры? В повести только одно объяснение — семья, водка...

Конечно же, водку лучше не пить, разве что по торжественным случаям. И неурядицы в семье действительно подчас отрицательно сказываются на воспитании детей (кстати сказать, в повести Ю. Семенова здесь, несомненно, противоречие: ад в семье Самсоновых не помешал формированию характера превосходного паренька — Леньки). Все это справедливо. Но ведь у художественного произведения (в том числе и в жанре приключенческой повести) и у брошюры, выступающей против употребления спиртных напитков,— разные задачи...

В «Петровке, 38» все, что не имеет непосредственного отношения к сюжету-трафарету, что не является самим «сюжетом», все то, что должно составлять «воздух» повести — реальная жизнь,— кажется лишним, случайным. Во всяком случае совсем не обязательны, банальны и ничего не объясняют фельетонные скандалы хорошего и усталого папы Самсонова с мешанкой и склочницей мамой, горькие размышления хирурга-академика о старом товарище, «зарезанном» им на операционном столе, водевильные стелания импрессарию Арончика, интуиция когорого спасла знаменитого скрипача Коку, слащаво-приторная суета, организованная героями повести вокруг запутавшегося Леньки: сыщики звонят в школу,



справляются о том, какую тему сочинения Ленька выбрал, что написал, что ему поставили, бегут за Ленькой, чтобы его обрадовать, потом решают ничего ему не говорить — он может эту поспешность неверно истолковать, спорят о том, ехать арестовывать Леньку на оперативной машине или на обыкновенной, чтобы ему это было психологически легче, затем делают вид, что они его вообще не смогли найти, и т. д. и т. п.

Порой случается, что, закрыв книгу, читатель простодушно недоумевает: почему автор не сказал ему в ней ничего нового, ничего такого, чего бы он и без того не знал или не мог бы прочесть в газетной информации? Зачем такая книга написана — может быть, просто потому, что, говоря словами Марка Щеглова, есть такая профессия — писать книги? «В литературной среде, — писал М. Щеглов, — принято уничижительно выражаться о наивных, но вполне понятных требованиях читателей: «Напишите книгу о пожарниках», «Почему нет героя повести — милиционера?» и т. п. Однако мало кто замечает, что по существу способ оценки литературных произведений у нас порой не высоко отлетает от этого «напишите о пожарниках».

Ни у кого не может вызвать сомнений

важность замысла «Петровки, 38». Внимание общественности к работе органов милиции сегодня особенно велико. Но совершенно естественно, что такая ответственная тема и материал требуют и полноценного художественного уровня изображения.

«Что уж вы так? — скажут нам. — Приключенческая повесть, детектив — читатель ждет этого много лет, в этом жанре он крупно «недополучил». Поблагодарим лучше автора за дерзание, за то, что он попытался удовлетворить эту читательскую жажду. Да, верно, вещь неглубокая, да, порой она шаблонна, примитивна, сусальна, местами даже фальшива, но (!) — увлекательна, но тема ее необычайно актуальна, важна, бьет в точку, нацелена на главное»...

Пожалуй, нет необходимости еще и еще раз говорить о том, что важность темы не «извиняет» художественную слабость произведения, что такое произведение не может «бить в точку, нацеливать на главное». Пример повести Ю. Семенова — убедительное тому свидетельство. Художественные просчеты оказали плохую услугу и интересному замыслу, и серьезному материалу, которым располагал писатель.

Ф. СВЕТОВ.



## КНИГА О МАСТЕРЕ ПРОЗЫ

Л. Левицкий. Константин Паустовский. Очерк творчества. «Советский писатель». М. 1963. 406 стр.

Монографическое исследование молодого критика Л. Левицкого о Константине Паустовском прежде всего восполняет количественный пробел в критической литературе о талантливом писателе. (Достаточно вспомнить, что пятидесятилетний творческий путь Паустовского был обобщен лишь в одном небольшом и, естественно, неполном исследовании С. Львова, вышедшем в 1956 году.)

Но дело, конечно, не только в этом. Новая книга о Паустовском получилась главным образом потому, что за подробным разбором больших и маленьких повестей, рассказов, статей из поля зрения Л. Левицкого ни на минуту не выходит сам создатель этих произведений со всеми своими размышлениями, исканиями, заблуждениями и находками.

С самого же начала автор монографии

последовательно отстаивает своеобразие писателя, его «свой», не похожий ни на чей другой путь в литературе. Левицкий вспоминает критиков двадцатых, тридцатых годов, которые, упорно игнорируя романтический склад дарования писателя, стремились «перевести» его на рельсы строго реалистической литературы, не видя социального, общественного пафоса темы природы у Паустовского, особенностей его лирического восприятия мира, пытались противопоставить этому так называемую социальную, остросюжетную прозу. Это «своеобразие человеческого и художнического видения» исследователь раскрывает тонко и интересно. Искусный литературоведческий анализ сочетается в книге с ясной, свободной манерой изложения, и читается она легко не оттого, что уровень исследования недостаточ-

но профессионален, но благодаря умению живо, привлекая литературные и исторические параллели, проводя аналогии с творчеством близких Паустовскому писателей, вести читателя к нужным обобщениям.

Л. Левицкий правильно ищет истоки зрелого Паустовского в его ранней новеллистике, угадывая за увлечением призрачной красотой ирреального мира — тоску по красоте и гармонии жизни и человеческих отношений, по прекрасному человеку. Противоречие мечты и действительности, увиденное писателем, не сразу понявшим грандиозность свершившейся революции как торжества справедливости и красоты в действительной жизни, сменилось осознанием того, что его страна стала родиной осуществляющейся на глазах мечты. Поиски героя в заокеанских краях, в мире экзотики сменились утверждением его на переднем крае борьбы за преобразование природы, человеческих отношений. Переход от пассивного созерцания жизни к живому участию в ее созидании в начале тридцатых годов и весь ход творческой эволюции привели к появлению «Кара-Бугаза» и «Колхиды», выдвинувших Паустовского в первые ряды молодой советской прозы. Так, шаг за шагом прослеживает автор этапы формирования писателя, подводит его к встрече со своей темой — преобразования природы, к осознанию новой судьбы героя — советского человека, творца новой действительности.

Всякий раз, касаясь того или иного произведения Паустовского, критик не забывает подчеркнуть, выделить то принципиально новое, что отличает его от предыдущего, что характерно для развивающейся авторской позиции. Так, в «Кара-Бугазе», кроме того, что там впервые выпукло предстала тема пересоздания природы, появился подлинный герой — романтик, энтузиаст, труженик, что повесть полемически заострена против псевдоромантики-экзотики, критик подчеркивает еще одно очень важное для писательского роста обстоятельство — появление в произведениях Паустовского примёт времени: не внешних, но действительных, дыхания современности, то есть того, чего так не хватало раннему Паустовскому.

В монографии интересно обрисован герой Паустовского, главным образом его новеллы тридцатых — пятидесятых годов, выделено то основное, что объединяет этих людей разных профессий и возрастов — мастеровых, лесничих, писателей, народных умель-

цев, — любовь к своему труду, природе, человеку, Родине, ко всему доброму и прекрасному в жизни.

При всем положительном отношении к писательской деятельности Паустовского исследователь умеет быть объективным, когда нужно вскрыть недостатки, касается ли это некоторых особенностей художнического видения или вопросов художественного мастерства. Так, Левицкий правильно замечает, что, воссоздавая определенный художественный тип, Паустовский не всегда может придать ему ярко индивидуальные черты, указывает на слабость Паустовского в построении сюжета. Вместе с тем, помня, что перед ним писатель романтического склада, Левицкий рассматривает героя Паустовского с учетом этой особенности мировосприятия художника.

Обратившись к творчеству писателя конца тридцатых годов, а именно — к созданию Мещорского цикла очерков и рассказов, нам кажется, исследователь недостаточно внимательно отнесся к этому переломному моменту в идейно-творческой эволюции Паустовского. Так, он объясняет появление темы природы Средней России у писателя двумя обстоятельствами: «Отчасти, видимо, возраст диктовал свои требования. Чем старше становится человек, тем сосредоточеннее делается его взгляд. Ему открывается то, мимо чего он раньше проходил. Оказал влияние на Паустовского и Левитан». А между тем оставляется почти без внимания собственное признание писателя, очень показательное и важное. Вот как оно приводится в книге: «Паустовский склонен даже думать, что встреча с Мещорой произвела полный переворот в его художественном сознании». Дело тут, конечно, не только в Мещоре. К этому времени писатель окончательно утвердился в понимании прекрасного как красоты в обыкновенном. Став певцом неброской, неприметной красоты Мещорского края, Паустовский отошел от поисков прекрасного в исключительном, экзотическом. Таким образом, это обращение к Мещоре имело принципиальное значение для эволюции художника, начавшего с поисков прекрасного, счастья, человеческого — вне действительности и прошедшего к новому пониманию красоты. Прекрасное в природе стало рассматриваться им и как проекция его в человеке, красота — как отражение душевного богатства, чистоты, мир природы был поднят до символа Родины.

Свободно чувствует себя автор в вопросах литературной теории. Правильно подметив жанровое своеобразие творчества Паустовского, что он новеллист по преимуществу, автор монографии делает пространный экскурс в историю новеллы и подводит его к творчеству Паустовского, выделяет особенности новеллы Паустовского. Жаль только, что не раскрывается ее своеобразие как бы изнутри, в художественной плоти произведения. Этого конкретного художественного анализа иногда не хватает и когда автор исследования касается «секретов» художественного мастерства Паустовского, стремясь показать писателя — тончайшего стилиста, поэта прозы. Впрочем, в большей мере это уже компетенция специального исследования, нежели монографической работы, где глубина проникновения в материал не должна идти в ущерб широте охвата всего богатства «писательского портфеля».

Мы уже упоминали о важном достоинстве монографии — умении сплавить «строчечную суть» произведений с их автором, вычертить точно и ярко писательскую индивидуальность во всей совокупности взглядов, в своеобразии писательской судьбы. Это особенно заметно на добротном анализе автобиографической повести и «Золотой розы», где облик писателя рисуется наглядно и четко в сложности и порой противоречивости своего художнического видения.

В подходе к автобиографической «Повести о жизни» снова чувствуется способность исследователя осмыслить и оценить произведение на большом фоне автобиографической и мемуарной литературы. В результате — правильно схваченные особенность и преимущество художественной автобиогра-

фии Паустовского (что выражает присущее всему творчеству писателя своеобразие), как метко определила литературовед Т. Хмельницкая, «любопытное сочетание двух жанров, казалось бы, несовместимых, — мемуаров, дающих широкую картину эпохи, и лирического стихотворения в прозе». Л. Левицкий, однако, не всегда объективен в оценке. Тонко подметив, что с третьей части автобиографическая повесть переходит в мемуары, свидетельство очевидно, автор монографии более, чем следовало бы, снисходителен к увлечению писателя (в последних частях) незначительными подробностями биографии, по существу не всегда насыщенными духом эпохи.

Зато Л. Левицкий достаточно последователен в оценке «Золотой розы», где, правильно защищая Паустовского от обвинения в эстетстве, критик указывает на то, что в книгу о писательском труде не вошли органично размышления над проблемами мировоззренческого порядка, тесно связанными с вопросами художественного мастерства, стиля и т. д., что недостаточно точно и порой субъективны некоторые литературные формулировки.

Жаль, что в книге не рассматривается вопрос о месте Паустовского в современном литературном процессе, о том, как современные молодые писатели (Ю. Нагибин, С. Антонов, Ю. Казаков и другие) взяли на вооружение лучшее у Паустовского. А лучшее, и это прекрасно передано в умном, серьезном исследовании, — взволнованный лиризм, умение передать людям веру в красоту их сердец, в величие духа, в величие земли — Родины.

Е. АЛЕКСАНИН.

г. Ереван.

★

## НОВЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

История русской литературы конца XIX — начала XX века. Библиографический указатель. Под редакцией К. Д. Муратовой. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1963. 519 стр.

Среди «белых пятен» литературной библиографии самым заметным «пятном» было отсутствие библиографии русской литературы начала XX века. Это постоянно ощущалось всеми, интересующимися литературой, уже по одному тому, что большое число советских писателей, выступавших в

печати в первые годы (и даже в первые десятилетия) советской эпохи, начинали свою литературную деятельность до Октябрьской революции. Среди них можно назвать таких писателей, как Горький, Серафимович, Вересаев, Тренев, и многих других. Поэтому опубликование ранее не учтенных библио-

графических материалов о писателях дореволюционных лет представляет для советских читателей и литературоведов особую ценность.

И вот наконец такой справочник появился. Весь основной материал справочника состоит из двух разделов: Часть 1. Общий отдел и Часть 2. *Personalia*.

Первый раздел содержит библиографию на определенные темы, а второй состоит из библиографий отдельных писателей, расположенных в алфавитном порядке (Аверченко, Айзман, Айхенвальд и т. д.).

В предисловии «От редактора» говорится: «Задача общих литературных библиографий (к ним относится и настоящий библиографический справочник) состоит в подборе материалов, широко отражающих общественно-литературную борьбу определенных исторических периодов и ее изучение... Составители настоящей библиографии стремились ознакомить многочисленных читателей — литературоведов, студентов филологических факультетов, пытливых любителей русской литературы, библиотекарей со статьями и книгами, разносторонне раскрывающими пути развития литературы в пролетарский период русского освободительного движения». Проще сказать, новый справочник предназначен для всех, литературой интересующихся.

Достаточно беглого просмотра самого указателя, чтобы убедиться в том, насколько богато и разнообразно его содержание и какой большой труд был проделан составителями столь необходимого справочного пособия.

Из четырехсот сорока семи страниц основного текста указателя почти четыреста страниц занимает «*Personalia*». Этот раздел и разработан наиболее тщательно: библиография отдельного писателя дает сведения об изданиях его произведений, о биографических материалах и критической литературе. Справочник снабжен также и подсобным аппаратом в виде «Предметного указателя» и «Алфавита имен и наименований периодических изданий, кружков и обществ», дающих хорошую ориентацию во всем материале указателя.

Не приходится сомневаться в том, что рецензируемый справочник займет видное место среди основных пособий по литературе.

Однако нельзя не отметить и некоторую неопределенность типа справочника, неясность принципов отбора материала и его

неполноту. А ведь читатель с самого начала должен знать, что он может найти в данном справочном пособии.

Прежде всего не понятно, почему справочник носит название «История русской литературы». История — это расположение событий, явлений в порядке их появления. Подобранная по темам библиография (первый раздел) и собрание библиографических монографий писателей (второй раздел), данных не в хронологическом, а в алфавитном порядке, — это не история.

Не ясна также и фраза «конца XIX—начала XX века» Библиография, по-моему, не должна оперировать такими неопределенными понятиями, как «конец», «начало». Ведь вполне естественным может быть вопрос: «С какого же года следует считать начало конца и конец начала?»

Назвав свой справочник библиографией общего типа, составители фактически отказались от этого и дали скорее справочник типа «семинарцев» (первый раздел) и «*Personalia*» — всего сто пятьдесят девять авторов.

Разгадку такого положения можно найти в «Предисловии». «Отбор имен писателей (159) был предопределен в основном отбором имен в X томе «Истории русской литературы», изданном Институтом русской литературы Академии наук СССР в 1954 году» (стр. 5).

С этим нельзя согласиться, так как история литературы за определенный период и библиография литературы за тот же отрезок времени — далеко не одно и то же. История литературы и любые литературоведческие работы появляются на основе собранного литературного материала (то есть библиографии), а не наоборот. Поэтому составители справочников общего типа должны давать более полный материал.

Первым в рецензируемом справочнике назван Аверченко, о котором дана обширная библиография. Но почему же в таком случае в справочнике не упоминаются такие пользовавшиеся известностью писатели, как поэты Н. Агвишев, Л. Андрусон, прозаик С. Ан—ский и другие? Наряду с этим специальной библиографии заслужили писатели, едва ли известные и литературоведам, как, например, писательницы О. Н. Ольнем, И. Гриневская и другие.

Таким образом, значительное число писателей начала XX века, а следовательно, и критическая литература о них остаются вне

поля зрения советского читателя и исследователя литературы.

Необъяснимо также, почему в справочнике творческая деятельность одних писателей (умерших в двадцатые годы) освещается до конца, а деятельность других в основном освещена лишь до 1918 года. Так, из справочника можно узнать о деятельности Демьяна Бедного только в дореволюционный период, а о Валерии Брюсове до 1924 года и т. д. Таким образом, не может идти речь об исчерпывающей полноте справочника. Название «общий» указывает лишь на характер издания. В указателе нетрудно обнаружить и частные недочеты различного рода. Так, статья о «Собрании сочинений» А. Куприна (в «Вопросах литературы») в справочнике учтена, а статья о «Собрании сочинений» В. Короленко, опубликованная в том же журнале (№ 4, 1957),

пропущена. Писатель Кармен (отец Р. Кармена) назван Львом, а нужно — Лазарь; не всегда точно указаны даты рождения и смерти писателей, а иногда такие даты отсутствуют. Встречаются и «досадные опечатки».

Впрочем, едва ли стоит уделять внимание мелким недочетам, почти неизбежным в большом библиографическом труде. Главное заключается, на наш взгляд, в неясных критериях, положенных в основу нового указателя.

Думается, что эта книга требует всестороннего обсуждения, для того чтобы при дальнейшей работе над ней она стала еще более полноценным указателем, посвященным тому периоду русской литературы, которому до настоящего времени уделялось нашей библиографией так мало внимания.

Н. МАЦУЕВ.

★

### «ПОЙДЕМ СО МНОЙ...»

Роберт Фрост. Из девяти книг. Перевод с английского под редакцией и с предисловием М. А. Зенкевича. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 144 стр.

Знакомство советских читателей с Робертом Фростом только началось. Но уже первые, по преимуществу журнальные, публикации, первые встречи с творчеством американского поэта позволяли судить о размерах открывшегося перед нами явления. Тем больший интерес вызывает сборник «Из девяти книг», выпущенный Издательством иностранной литературы и демонстрирующий поэзию Фроста на длительном ее протяжении, с девяностых годов прошлого века до шестидесятых нынешнего, в переводах М. Зенкевича, И. Кашкина и А. Сергеева. В отдельных образцах этот сборник довольно широко и целостно охватывает наследие Фроста, а главное — доносит дыхание его поэтического мира.

Искусство больших поэтов, как правило, имеет несколько уровней глубины, воздействия, постижения и поражает разнообразием связей, неожиданностью контактов, которые оно устанавливает с сознанием поколений. Сама природа искусства предполагает многомерное — для разных людей разное — погружение в мир художественных образов. переполненных смыслом и таящих в себе нескончаемые возможности понимания. Каждая эпоха заново прочитывает

классиков. Да и в пределах нашего индивидуального восприятия каждый может заметить, что безусловная содержательность прочитанного и увиденного оставляет в душе след, подобный обещанию на дальнейшие, еще более удивительные открытия. Мы способны по многу раз возвращаться к одной книге и, расставаясь с нею, всякий раз ощущаем, что она только ждет нового случая, чтобы опять рассказать нам что-то неслыханное.

Именно это чувство затягивающей глубины, ощущение заманчивой, убегающей перспективы возникает у вас, когда вы впервые вступаете в поэзию Фроста, и растет по мере того, как вы вчитываетесь в нее и живаетесь. Но помимо впечатляющей силы, всегда присущей искусству и тем более властной, чем произведение совершеннее, здесь сказывается и специфический фростовский взгляд на вещи, манера изображения. Фрост воспроизводит действительность преимущественно в таких поворотах, что картина, им нарисованная, сама мало-помалу вас заманивает и затягивает.

Его картины — и это уловлено в ряде предлагаемых переводов — стереоскопичны. Они обступают зрителя, как деревья в лесу,

за которыми то и дело проглядывают другие стволы и просветы, создающие иллюзию, что там, за очередным поворотом, будет достигнута цель, которую мы невольно преследуем, пока не замечаем, что лесу нет конца, а то, ради чего мы пустились в дорогу, собственно говоря, находится уже у нас за спиной. Эта аналогия с прогулкой по лесу напрашивается при чтении Фроста. Его лирика не только богата такого рода мотивами (естественными для человека, живущего на природе), но, можно сказать, основана на подобном «вхождении» поэта (а за ним и читателя) в изображаемый мир, представленный в трех измерениях и преисполненный таинственной, увлекательной глубины и значительности всего, что в нем происходит. Уже пристальное внимание автора к самым обыкновенным вещам, подчеркнутая конкретность и какая-то многообещающая обстоятельность рассказа о том, что его окружает,—заинтриговывают нас и наводят на подозрение, что не все так обыкновенно и просто в жизни, как это может показаться с первого взгляда,—лишь стоит оглядеться и приглядеться к местности, куда нас завели.

В ненастный день, бродя по мерзлой топи.  
Я вдруг подумал: «Не пора ль домой?  
Нет, я пройдусь еще, а там посмотрим».  
Был крепок наст, и только кое-где  
Нога проваливалась. А в глазах  
Рябило от деревьев тонких, стройных  
И столь похожих, что по ним никак  
Не назовешь и не заметишь место,  
Чтобы сказать: ну, я наверняка  
Стою вот здесь, но уж никак не там.  
Я просто знал, что был вдали от дома.

Так начинается стихотворение Фроста «Дрова». И хотя поначалу речь ведется в обыденном, непринужденном тоне (а скорее именно в силу этой ненавязчивой, ни к чему не обязывающей, но внимательной к миру неторопливости рассказа), мы незаметно проникаемся окружающим увиденным и, сделав первый шаг, уже заодно с поэтом не можем сказать, стоим ли мы «вот здесь» или «там». Мы уже перемещаемся по лесу, по ходу повествования, вслед за случайной птичкой, что, перелархивая от дерева к дереву, уводит нас все глубже и дальше, пока наконец не наталкиваемся на поленницу дров, брошенную кем-то в лесу бог весть почему и когда, не наталкиваемся на мысль, к которой нас подвели путем медленно разворачивающегося, обстоятельного рассказа, самого по себе, казалось бы, ничем

не примечательного, если бы все здесь прямо или косвенно не вело к этой авторской мысли и не освещало ее издали, задолго до того, как она оформилась в виде философической ламентации по поводу брошенных дров и отсутствующего хозяина:

Рубили здесь не в нынешнем году.  
Да и не в прошлом, и не в позапрошлом.  
Пожухла древесина, и кора  
Растрескалась, скрутилась и отстала.  
Осела кладка. Ценкий ломонос  
Уже схватил поленья, как вязанку.  
И слева их держало дерево,  
А справа — кол и ветхая подпорка,  
Готовые упасть. И я подумал,  
Что только тот, кто вечно видит в жизни  
Все новые и новые задачи,  
Мог так забыть свой труд, труд топора,  
И бросить здесь, от очага вдали,  
Дрова, чуть согревающие топь  
Бездымным догоранием распада.

Человек, чье непостоянство вызвало у рассказчика упреки и сожаления, как таковой, как действующее лицо отсутствует, даром что действие развивается по направлению к нему, виновнику происшедшего, смысловому и композиционному фокусу стихотворения. Роберту Фросту свойственны этого типа поэтические композиции, в которых источник действия вынесен за кулисы либо расположен в некотором удалении, где-то в стороне, позади, и бросает от т у д а рассеянный свет на авансцену рассказа. Благодаря боковому свету огущается драматичность события, создается впечатление глубины, объемности, протяженности во времени и пространстве. Фигуры переднего плана, повернутые лицом к источнику, их освещающему, в этом резком ракурсе меняют свое значение и обретают новую, дополнительную осмысленность, иной раз превосходящую их собственную первоначальную данность.

Так, стихотворение Фроста «Смерть батрака» строится на бытовом диалоге хозяина и хозяйки фермы, спорящих между собою, пустить или нет в дом старого батрака, вернувшегося с дороги и не представляющего больше для них практического интереса. Но этот передний план, в котором отсутствует главный герой и предмет разговора — батрак, — служит экраном, позади которого, за стеною, тем временем совершается главное: пока о нем судачат и препираются, человек умирает. Лишь в самом конце мы узнаем об этом, но трагический финал, то, что происходит невидимо для нас, за стеною, просве-



Телескоп, превратившийся в Звездокол и как бы совместивший в себе колку дров с созерцанием звезд,— вот образ в духе Фроста, всегда стремившегося к тому, чтобы соотносить противоположные планы и таким путем вывести средствами поэзии целостную концепцию мирового бытия.

Таков был Звездокол, и колка звезд.  
Наверное, приносит людям пользу,  
Хотя и меньшую, чем колка дров.  
А мы смотрели и гадали, где мы?  
Узнали ли мы лучше наше место?  
И как соотносить ночное небо  
И человека с тусклым фонарем?  
И чем отлична эта ночь от прочих?

Русскому читателю может показаться странным, что в большом и вместительном поэтическом мире Фроста не нашлось места индустриальному городу, технике и другим сторонам современной цивилизации, обязательным, в нашем представлении, для американского образа жизни. У него мы не заметим машин и небоскребов, но увидим цветы и деревья с душою живых существ, услышим пение птиц и даже повстречаем оленей, как если бы всю страну, которой он отдал себя, покрывали леса и пастбища. Урбанистические мотивы менее его трогают, чем античные эклоги. Несмотря на это (что хорошо чувствуется и в переводах на русский язык), Фрост остается поэтом ярко выраженного национального и притом вполне современного склада. Но его тяготение к сельской жизни, к провинции не случайно: философско-эстетическая направленность лирики Фроста прочно связана с идеалом цельного, здорового человека, с традициями борьбы за независимость Америки, с верностью демократии Вениамина Франклина, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна. Близость к природе, к деревенскому труду, к почве служила ему залогом нравственной чистоты, непосредственности и духовной свободы, которые он не променял бы ни на какие блага комфорта и технического прогресса, вызывавшего у Фроста достаточно скептическое отношение (см., например, стихотворение «Научная фантастика»). Отсюда же и его апелляция к прошлому, возврат к «истокам», к «основам», не исключавшие вместе с тем открытого взгляда в будущее, приятия жизни в самом широком смысле.

Бесспорно, поэт-философ, привыкший ходить пешком и, наблюдая жизнь, размышлять над ее истоками, Фрост не совпадает с современными темпами. Но он смотрит в глубь вещей, мелькающих на поверхности, и потому его медлительный, задумчивый шаг подчас их обгоняет. Все его творчество звучит как приглашение в дорогу по старой, родной земле, где за любой безделицей скрывается новое чудо.

Пойду на луг прочистить наш родник.  
Я разгребу над ним опавший лист,  
Любуясь тем, как он прозрачен, чист.  
Я там не задержусь.— Пойдем со мной.

Стихотворение, откуда взяты эти строки, послужило элиграфом ко всему сборнику переводов из Роберта Фроста, к книге безусловно удачной, подготовленной с тщательностью и поэтическим вкусом. О высокой культуре стихотворного перевода, с какою она выполнена, можно было бы сказать много добрых слов, если бы чувство живого общения с истинной поэзией, чувство, вынесенное из знакомства с книгой, не делало это излишним и не покрывало бы все остальное. Хочется лишь отметить, что наряду с такими известными мастерами, как Михаил Зенкевич и Иван Кашкин, в сборнике широко представлен молодой поэт Андрей Сергеев, которому, в частности, принадлежат прекрасные переводы особенно сложной и, пожалуй, наиболее интересной повествовательной лирики Фроста.

В итоге остается пожелать, чтобы в дальнейшем сборник стихотворений Фроста был переиздан в расширенном виде. У этой поэзии большое будущее, длинный путь.

Когда я устаю от размышлений  
И жизнь мне кажется дремучим лесом,  
Где я иду с горящими щеками,  
А все лицо покрыто паутиной.  
И плачет глаз, задетый острой веткой,—  
Тогда мне хочется покинуть землю,  
Чтоб, возвратившись, все начать сначала.  
Пусть не поймет судьба меня превратно  
И не исполнит только половину  
Желания. Мне надо вновь на землю.  
Земля — вот место для моей любви.—  
Не знаю, где бы мне любилось лучше.  
И я хочу взбираться на березу  
По черным веткам белого ствола  
Все выше к небу — до того предела,  
Когда она меня опустит наземь.  
Прекрасно уходить и возвращаться...

А. СИНЯВСКИЙ.



Политика и наука

## ЖИВЫЕ ЛЕНИНСКИЕ ЧЕРТЫ

**В. Д. Бонч-Бруевич. Избранные сочинения. Том III. Воспоминания о В. И. Ленине. 1917—1924 гг. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 447 стр.**

В обширной мемуарной литературе о Ленине особое место принадлежит воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича. Три десятилетия — с 1894 по 1924 год — он был одним из ближайших помощников Ленина, исполнителей его конспиративных, издательских, а в 1917—1920 годах и правительственных поручений. Воспоминания эти поражают богатством выразительных штрихов и деталей. Не все в них, естественно, может выдержать строгую научную критику. Ведь сам мемуарист еще в 1930 году с горестью признавался, что множество наблюдений кануло в вечность и их нет возможности восстановить, а многое совершенно изгладилось из памяти. Но его записи драгоценны глубокой преданностью автора тому, кто, как он пишет, был «судьбой отмечен для жизни в тысячелетиях». К тому же мемуарист стремился рассказать о Владимире Ильиче Ленине и его эпохе не походя, чтобы успеть к очередной юбилейной дате, а напрягая всю память, изучая документы, изучая литературу, проверяя себя в беседах с современниками и участниками общей работы...

Немалая часть мемуарных записей о октябрьских событиях ленинского революционного пути вошла во второй том «Избранных сочинений» В. Д. Бонч-Бруевича, изданный еще в 1961 году и охватывающий преимущественно широко известные работы, напечатанные в свое время и на страницах «Нового мира» (№ 1 за 1929 год и № 8 за 1945 год).

Однако по богатству нового, как правило, впервые публикуемого или по крайней мере впервые за долгие годы воспроизводимого материала заключительный том издания значительно превосходит два предшествующих тома, предназначенных в основном для относительно узкого круга специалистов — историков русской общественной мысли.

Уже много лет в Центральном музее В. И. Ленина показывают кинодокументы, снятые при жизни Владимира Ильича. Особенно выразительны среди них кадры ленинской прогулки по Кремлю в середине сентября 1918 года.

С Лениным беседует высокий бородач с

портфелем, плотно набитым бумагами. В нем нетрудно узнать первого управляющего делами Совнаркома. Это он уговорил в тот день Владимира Ильича выйти на первую прогулку и — тайно от него! — устроил киносъёмку, чуть ли не тем же вечером продемонстрированную в рабочих клубах Москвы.

Время тогда было грозное. По Москве в связи с покушением на В. И. Ленина ходило множество слухов. Говорили, что Ильич скончался от раны. Бонч-Бруевич решил противопоставить этим слухам самую убедительную и наглядную аргументацию — кинодокументы.

В 1955 году Бонч-Бруевич, вступивший к тому времени уже в девятый десяток, писал: «История наша заговорит теперь полным голосом о деятелях революции, расставит всех по местам, где они на самом деле были, и расскажет грядущим поколениям всю правду-истину».

Именно этой цели по-своему служит рецензируемая книга. Она повествует о Ленине и его соратниках: Свердлове и Калининне, Дзержинском и Кржижановском, Луначарском и Семашко, Чичерине и Красине, Скворцове-Степанове и Воровском, Лепешинском и Ольминском.

Из впервые публикуемых особенно значительных материалов можно привести записанную В. Д. Бонч-Бруевичем беседу с Владимиром Ильичем об антимарксистском культе личности. В сентябре 1918 года Ленин встретил управделами СНК такой взволнованной речью:

— Это что такое?.. Смотрите, что пишут в газетах... Читать стыдно. Пишут обо мне, что я такой, сякой, все преувеличивают, называют меня гением, каким-то особым человеком, а вот здесь какая-то мистика... Коллективно хотят, требуют, желают, чтобы я был здоров... Так чего доброго, пожалуй, доберутся до молебнов за мое здоровье... И откуда это? Всю жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности, отдельного человека, давно порешили с вопросом героев, а тут вдруг! опять возвеличивание личности!.. Ведь это же ужасно... Надо это сейчас же прекратить... Это не

нужно, это вредно... Это против наших убеждений и взглядов на отдельную личность...

И Ленин тотчас же поручает автору воспоминаний вместе с Ольминским и Лепешинским разъяснить его пожелания редакциям столичных газет и журналов с тем, чтобы они незамедлительно («с завтрашнего дня») заняли страницы своих изданий «более нужными и более интересными материалами», раз и навсегда прекратив это возвеличивание личности, недостойное коммунистов.

Центральное место в данном томе принадлежит книге Бонч-Бруевича «На боевых постах Февральской и Октябрьской революций». Вышедшая двумя изданиями в 1930 и 1931 годах, книга эта с тех пор не переиздавалась, давно став библиографической редкостью. Не меньший интерес представляют и многие другие воспоминания автора. Такова, к примеру, запись его разговора с Лениным по телефону в тревожные июльские дни 1917 года, сразу после того, как давний знакомый Владимира Дмитриевича — Н. С. Каринский, связанный с прокуратурой Временного правительства, сообщил о подготовке антиленинской провокации.

— Сообщенное вами — серьезно и важно, — сказал тогда Владимир Ильич.

Столь же серьезными и важными были и многие другие сообщения и поступки Бонч-Бруевича. Это на его квартире, ставшей ныне мемориальным музеем, Ленин в первую послеоктябрьскую ночь написал декрет о земле.

Немало сделал Бонч-Бруевич, возглавив комиссию по борьбе с погромами и контрреволюцией в Петрограде — первый советский орган государственной безопасности, предшествовавший ВЧК. Ему принадлежит честь секретной подготовки оперативного осуществления одного из важнейших ленинских декретов — декрета о национализации банков. Именно он организует глубоко законспирированный переезд Советского правительства из Петрограда в Москву.

В те дни выяснилось, что Московская область создала свой, возглавленный М. Н. Покровским «Совнарком» со всеми комиссарами вплоть до наркома по иностранным делам. Владимир Ильич от души посмеялся над этим административным восторгом работников «первопрестольной» и сказал, что вот теперь «москвичи войдут в

сношение с Тверью, Новгородом, Псковом, Рязанью, и мы начнем с того, что шагнем лет на шестьсот назад, а потом... потом. крепко потузив друг друга под микитки, примемся объединяться».

«Московское царство», как его шутивно окрестили в то время, разумеется, ликвидировали. Владимир Ильич настоял на полном устранении «этой нелепости».

Ленин непримиримо боролся с бюрократизмом, видя в нем величайшую опасность для партии. Когда руководители различных советских ведомств стали жаловаться Владимиру Ильичу на то, что Управление делами Совнаркома «засыпает» их различными ходатайствами и письмами советских граждан, он сказал Бонч-Бруевичу:

— Смотрите, не успели мы сделать революцию и согнать одних чиновников с их насиженных мест, как наши собственные чиновники уже до такой степени забюрократились, что недовольны тем, что то население, которым они управляют, хлопочет о своих собственных нуждах, подает просьбы и жалобы... Для того мы и создали государственный аппарат, чтобы он, подавляя буржуазию и иные владеющие классы, устраивал жизнь тех, кого прежде эксплуатировали. **На** поверку оказывается, что и мы еще не прочь от них отмахнуться и не дать им разъяснений наших же законов, нашего собственного дела. Это никуда не годится, с этим надо бороться изо всех сил...

Напечатанные впервые еще в 1929 году на страницах газеты «Батрак» воспоминания Бонч-Бруевича, содержащие эти записи, и сегодня состоят на идейном вооружении партии, по-прежнему непримиримой к бюрократам всех рангов.

Известна большая забота Ленина об охране и литературных памятников. Вскоре после победы Октября в одну из ночных бесед по дороге из Смольного на квартиру Бонч-Бруевича, где Владимир Ильич прожил около двух недель, он так сформулировал задачи советского архивного дела:

— Нам совершенно необходимо собрать все рукописи классиков и других писателей, привести их в полный порядок и издать, так же как и все другие материалы для изучения **нашей** обширной литературы XIX века, **нашей** критики, публицистики, истории. Ведь в них отражалось очень многое из революционной и общественной борьбы своего **времени...**

И Ленин еще в ту послеоктябрьскую ночь наметил пути развития нашего музейного дела. Он считал необходимым всюду и везде собирать находившиеся тогда еще в частных и далеко не всегда надежных руках библиотеки, архивы, рукописи. И не только по литературе, но и по критике, публицистике, истории, искусству.

— Мы должны показать всему миру, что значит истинно культурная работа в стране, где власть перешла к рабочему классу...

Запись этих ленинских слов публикуется впервые. Но Бонч-Бруевич, долгие годы руководивший созданным им Государственным литературным музеем, сотрудники которого недаром прозвали его «гением собирательства», делом показал, как следует осуществлять и этот ленинский призыв.

Многим дополняет рецензируемый том уже сложившиеся представления о литературно-эстетических взглядах Ленина. Здесь, правда, составители почему-то обошли известный «набросок из воспоминаний» — «Ленин о поэзии», появившийся в № 4 журнала «На литературном посту» за 1931 год и освещающий отношение Ленина к поэзии Маяковского, Демьяна Бедного и произведениям устного народного творчества. К сожалению, с большими купюрами воспроизведен обстоятельный обзор «Пометки Ленина на «Книжной летописи» 1917, 1918 и 1919 годов», напечатанный в 7—8 томе «Литературного наследства» за 1933 год, как и статья в № 4 «Советской этнографии» за 1954 год — «В. И. Ленин об устном народном творчестве».

Приведенные в этих работах ленинские высказывания и замечания о послеоктябрьской поэзии, беллетристике и публицистике, о русском фольклоре как памятнике народно-освободительной борьбы, о русской классической литературе как отражении русской революции — требуют особого разбора и анализа. Отметим лишь записанные мемуаристом суждения Ленина о формализме. В последней редакции, публикуемой по рукописи статьи «Владимир Ильич и украшение Красной столицы», Бонч-Бруевич воспроизводит беседу с ним о кубистских памятниках и барельефах, сооруженных кое-где в Москве восемнадцатого года.

— Как можно было допустить, чтобы эта декадентщина была возведена на наших пролетарских улицах? — говорил тогда Владимир Ильич. — Кому нужны эти формы, которые зрителю ничего не говорят?.. То

безобразие, которое сделано вместо Кропоткина на стене Малого театра, я видеть не могу. Мне оскорбительно за Петра Алексеевича, что его могли изобразить в таком виде. Ведь это какая-то обезьяна изображена, а не человек, полный мысли и огня, которого мы все так хорошо знаем. Нельзя, чтобы любой дилетант допускался к изображению тех или иных исторических лиц без всякой проверки и критики.

Характеризуя ленинские архитектурные вкусы, мемуарист вспоминает, как отталкивала Владимира Ильича, по его выражению, «казенщина, схематичность домов, которые не привлекают своей внешностью. Он всегда говорил, что жилище человека должно быть прекрасно и удобно построено, и вместе с тем нарядно и красиво снаружи... Все казарменное отталкивало Владимира Ильича...»

Жаль, что в том не вошел — хотя бы в извлечениях — очерк «Владимир Ильич в первые годы после Октября», напечатанный в 1955 году. Здесь автор приводит высказывания В. И. Ленина о Москве тех лет и ее социалистическом переустройстве.

Почему-то составители — Ю. Я. Коган и К. Б. Сурикова — пренебрегли и многими страницами брошюры «Ленин и совхоз «Лесные поляны» (его бессменным директором автор воспоминаний был в 1920—1929 годах). Здесь особенно актуальны ленинские высказывания о создании вокруг Москвы молочнотоварных, свиноводческих, птицеводческих и овощеводческих ферм.

Впрочем, отсутствие названных (да и многих других) работ Бонч-Бруевича, видимо, объясняется ограниченностью объема книги. Никак, однако, нельзя согласиться с тем, что составители по-своему переделывают некоторые тексты мемуариста. Им не следовало бы забывать мудрое правило Ленина-редактора: «Поменьше бояться того, что автор подписанной статьи выразится по-своему». К несчастью, именно этого редакторы тома, видимо, как раз и опасаются больше всего на свете. Здесь не место для подробной текстологической критики. Ограничимся поэтому лишь немногими примерами.

Очерк «Страшное в революции» в авторских редакциях 1926 и 1930—1931 годов открывали строки, отмечавшие «удивительный революционный порядок и бодрое спокойствие» в красной столице «новой России».

Тем не менее мемуарист тут же вспоминает и про памятные ему «дни понижения настроения и прямого упадка революционного творчества в некоторых наших рядах».

Составители бесцеремонно вычеркнули все эти выражения автора. Без каких бы то ни было оговорок и даже отточий опущены и строки, отмечающие в «полосе петроградских событий того времени» один яркий «эпизод, где проявилась стальная воля Владимира Ильича». То же происходит и со строками о «красочной, но трагической картине того времени».

Автор воспоминаний ссылается на «деятели 75-й комнаты Смольного», где размещалась возглавлявшаяся им следственная комиссия по борьбе с погромами. Редакторы превращают деятелей в «сотрудников». Автор называет матроса Железнякова «прирожденным вождем». Редакторы низводят его лишь до «вожака».

Многие поправки совершенно произвольны. Автору хотелось сказать «невыразимо». Редактору больше нравится «нестерпимо». Автор пишет о «страшном деле». Редактор «исправляет»: «жарком»... Можно привести буквально сотни подобных примеров непрошеного и некомпетентного редакторского вмешательства. Видимо, подготовителям чужды живость и образность литературного стиля. Но ведь читателю интересны воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича, дышащие атмосферой его времени, а не стилистические предрешения его редакторов.

— Мне хотелось бы напомнить такой факт,— говорил Н. С. Хрущев на XXII съезде партии.— В дни, когда наша страна отбивалась от яростных атак белогвардейщины и иностранных интервентов, Советское правительство обсуждало вопрос о государственном гербе. На первом проекте герба был изображен меч. Владимир Ильич резко выступил против этого. «Зачем же меч? — сказал он.— Завоевания нам не нужны. Завоевательная политика нам совершенно чужда; мы не нападаем, а отбиваемся от внутренних и внешних врагов: война наша — оборонительная, и меч — не наша эмблема».

Источник этих немаловажных положений отчетного доклада ЦК — воспоминания Бонч-Бруевича. Именно он сохранил для истории высказывания основоположника советской внешней политики мира и дружбы между народами.

Прошло более трех десятилетий, и воскресившая июльские дни восемнадцатого года запись свидетеля исторических событий стала неотъемлемым звеном цепи доказательств последовательности и неизменности ленинских принципов мирного сосуществования, по-прежнему определяющих генеральный курс нашей дипломатии. Такой актуальной может быть мемуарная литература, когда в далеком прошлом она находит отправные позиции важнейших политических процессов наших дней.

Б. ЯКОВЛЕВ.

★

## ПУТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Глазами ученого. От Земли до галактик. К ядру атома. От атома до молекулы. От молекулы до организма. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 739 стр.

В наш дни наука прочно вошла не только в жизнь, но и в литературу и искусство. В стихи поэтов пробрался позитрон и мю-мезон, герои психологических романов обсуждают проблемы теории относительности... Наука заняла столь значительное место в жизни общества, что у каждого мало-мальски мыслящего человека невольно возникает желание получить представление о путях ее развития, о том огромном влиянии, которое оказывает и окажет это развитие на условия человеческого существования.

Стремительный разворот научных исследований поражает воображение. Если подсчитать число деятелей науки со времени возникновения человечества до наших дней, то окажется, что девяносто процентов — наши современники. В прошлом веке число работников науки исчислялось тысячами, сегодня миллионами, а в третьем тысячелетии, надо думать, к науке окажется причастным каждый десятый.

Пятьдесят тысяч научных журналов выходит во всем мире. За один 1960 год в них

было опубликовано миллион двести тысяч статей. Каждые десять—двадцать лет объем научных исследований удваивается. Даже если сегодняшний темп сохранится, то вступление в третье тысячелетие работники науки отметят несколькими десятками миллионов научных сообщений за год.

Наука стала государственной деятельностью. Без нее немыслимо коренное изменение промышленного производства — сказочная автоматизация самых сложнейших операций, создание фабрик и заводов, управляемых машинами. Без глубоких научных исследований невозможно развитие военного искусства.

Примерно девяносто пять исследователей из сотни решают практические задачи, продиктованные государственной необходимостью. Прикладные науки — техническая физика, техническая механика, химическая технология, агрономия, медицина — повседневно решают такие задачи, как организация новой технологии производства, создание новых материалов, более быстрых и более удобных путей сообщения, увеличение урожайности почвы, создание новых медикаментов.

Большие проблемы решают исследователи в области естествознания. Их интересует, почему вещи ведут себя так, а не иначе, как взаимосвязаны события в мире вещей, как устроен окружающий мир.

Что же нужно делать для того, чтобы объяснить мир? На заре науки казалось, что для этого достаточно хорошенько подумать. Мы бы недалеко продвинулись, если бы следовали этому методу древних греческих мудрецов. Для того, чтобы природа открыла свои тайны, ее надо умело спрашивать. Вопросом является лабораторный эксперимент. Природа ставится в особые, искусственные условия. Высокие давления, сверхнизкие температуры, мощный поток света или радиоволн — под такой атакой природа сдается и удовлетворяет любопытство исследователя.

В чем состоит познание природы, к которому так настойчиво стремится армия физиков, химиков, биологов? Лунные и солнечные затмения своей непонятностью вселяли чувство мистического ужаса в души наших предков. После того, как были открыты законы движения небесных тел, астрономы с огромной точностью вычислили наперед все возможные затмения. Явле-

ние перестало быть непонятным, как только мы научились его предвидеть. Несколько десятков лет тому назад было обнаружено, что излучение раскаленных газов состоит из ряда четких спектральных линий. Это было раздражающе непонятно. После того, как было открыто строение атома, физики могут предсказать заранее, как будет выглядеть спектр излучения или поглощения того или иного вещества. Явление может быть предсказано, оно перестало быть непонятным.

Ряд разделов физики носит в настоящее время вполне законченный характер. Благодаря этому можно, например, во всех деталях предсказать характер движения небесных тел, спутников и ракет. С точностью измерений можно предвычислить тепло, которое выделится при химической реакции, — термодинамика является законченной областью знания. На основании законов электродинамики, стройное здание которой также служит образцом законченности, можно предвидеть траектории электронных лучей, путешествующих внутри сложных систем конденсаторов и магнитов.

Но гораздо более внушительным будет список, если мы начнем перечислять области науки, где предвидение невозможно или осуществимо лишь в самых общих чертах. Физики еще плохо предсказывают свойства вещества, исходя из его структуры; химики, вообще говоря, не умеют предвидеть ход химических реакций. Объяснение биологических процессов находится на зачаточной стадии развития.

Там, где предсказание невозможно, приходится, к сожалению, ограничиваться описанием. Огромный накопленный материал ждет новых научных идей и методов, которые позволят охватить его с единой точки зрения и покажут, что все явления — следствие небольшого числа генеральных законов природы.

О том, как далеко продвинулись к желанной цели исследователи всех областей естествознания — от микромира до макромира, — можно судить по книге «Глазами ученого», вышедшей только что в издании Академии наук СССР. Этот солидный труд является коллективным. При этом среди авторов мы не встречаем случайных имен. Это ведущие советские исследователи, каждый из которых внес немало в развитие той области естествознания, о которой он

рассказывает. Книга разбита на четыре части: 1. От Земли до галактик. 2. К ядру атома. 3. От атома до молекулы и 4. От молекулы до организма. Каждый из разделов содержит от трех до семи статей. Разумеется, даже и в этом фундаментальном труде нельзя было объять необъятное. Не все разделы естествознания представлены в равной степени. Кое-чего не хватает (не нашли места в книге, например, проблемы физики твердого тела, кибернетики), зато богато представлена химия.

Однако тот огромный материал, который содержится в этом уникальном издании, достаточен и для того, чтобы почерпнуть в нем сведения об интереснейших фактах, добытых наукой, и для того, чтобы уяснить себе степень завершенности тех или иных разделов естествознания, и для того, чтобы почувствовать дух современной науки, очень не похожий на образ мышления естествоиспытателя прошлого века.

Тайны микромира с его загадочными противоречиями, с его дерзким наступлением на так называемый здравый смысл, как правило, живо интересуют всякого интеллигентного читателя, которому и адресована эта книга. Любопытство его будет удовлетворено статьями, в которых с разных позиций и углов зрения и с разной степенью популярности обсуждаются проблемы элементарных частиц. Это статьи Н. Н. Боголюбова и М. К. Поливанова, И. Е. Тамма, И. М. Франка.

Основная трудность понимания микромира состоит в необходимости отказа от наивного убеждения, что познание сводится к зрительному представлению. Мы легко представляем себе «волны», легко представляем себе «частицы». Мы не можем представить себе объекта, который ведет себя двойственным образом, как это делают микрочастицы. Но представление вовсе не нужно для познания. Никто «не представляет себе» движущегося электрона, но от этого электрон не становится непонятым. Задача теоретической физики, подчеркивают авторы статей, заключается не в разработке зрительно представимых моделей, которые в принципе и невозможны, а в нахождении законов, связывающих настоящее с будущим. Особенно отчетливо эта мысль высказана в конце статьи И. Е. Тамма. С этой позицией нужно примириться — так устроены мы и таков мир. Только тогда

станут ясными достижения и горести физиков-теоретиков, еще не знающих, является ли предсказанная теорией и открытая в дни печатания рецензируемой книги тридцать четвертая элементарная частица последней или нет.

В богатой фактами статье И. М. Франка читатель, несомненно, обратит внимание на поучительную историю открытия атомной энергии. Из исследований строения атомного ядра, практическая значимость которых не предвиделась никем, выросло величайшее открытие, повлиявшее на человеческую жизнь и государственную политику. Работа исследователей, изучающих мир, лишенная практических целей и продиктованная замечательным человеческим инстинктом — любознательностью, — обязательно рано или поздно вливается в общее русло человеческого прогресса.

Нам кажется несомненным большое впечатление, которое оставят у читателя статьи книги, посвященные химии. Огромная работа химиков — «архитекторов молекул», создающих сотни тысяч новых веществ, способна поразить воображение. Пока что лишь нащупываются пути создания веществ с наперед заданными свойствами, и из сотен новых веществ непосредственно нужным оказывается, может быть, лишь одно. Но грандиозная работа не пропадает даром. Не говоря уже о том, что синтез, скажем, одного полипропилена оправдывает труд целой армии химиков (многие из которых так или иначе подготовили это открытие), вся эта грандиозная работа приближает к раскрытию законов химических реакций, а значит — к познанию прямого пути, ведущего к нужному веществу.

Вероятно, наиболее увлекательными проблемами современной науки являются области молекулярной биологии. Физики, химики, математики и биологи совместно работают над созданием этой науки, которой суждено, без сомнения, величайшее будущее. Эта область естествознания, ставящая перед собой цель — объяснить биологические явления и управлять ими на молекулярном уровне, находится еще в зачаточной стадии своего развития. Но уже и сейчас сколь увлекательны ее успехи! Вот один лишь яркий пример, который мы находим в статье И. Л. Кнунянца о белках и



## МУЖЕСТВО УЧЕНОГО

Н. М. Тулайков. Избранные произведения. Критика травопольной системы земледелия. Сельхозиздат. М. 1963. 312 стр.

Восшедшие в сборник работы академика Николая Максимовича Тулайкова, написанные в двадцатых — тридцатых годах, представляют значительный интерес и в настоящее время. Многие его мысли звучат так, будто высказаны сегодня. Две работы — «Системы земледелия в хозяйствах Зернотреста в засушливых районах» и «Рецензия на книгу В. Р. Вильямса «Почвоведение. Общее земледелие с основами почвоведения» — ранее нигде не были опубликованы.

В докладе на мартовском Пленуме ЦК КПСС в 1962 году Н. С. Хрущев, высоко оценивший Тулайкова как опытного агронома и видного ученого, приводил его критические замечания по поводу травопольной системы земледелия. При рассмотрении задач по улучшению руководства сельским хозяйством, говорил он, необходимо обратить особое внимание на искоренение последствий травопольной системы земледелия В. Р. Вильямса». Н. С. Хрущев высказал пожелание об издании рецензии Н. М. Тулайкова на книгу В. Р. Вильямса «Почвоведение».

Внедрение травопольной системы началось в нашей стране в то время, когда на смену мелкому крестьянскому хозяйству пришло крупное коллективное хозяйство. Это было в те годы, когда на Западе развернулось промышленное производство минеральных удобрений, сельскохозяйственных машин и сельское хозяйство шло по пути интенсификации. И было ясно, что травопольная система, пропагандируемая Вильямсом, по своей производительности значительно уступает системам земледелия наиболее развитых западных стран. Там она не удержалась, так как не могла соперничать по продуктивности с плодоперемной, пропашной системой.

Травополье в наших условиях резко снижало площади под наиболее ценными зерновыми и пропашными культурами. Так, в 1961 году под многолетними и однолетними травами было занято в стране 36,1 миллиона гектаров да под чистыми парами, на которых ничего не росло, еще 16,1 миллиона гектаров. Урожай же трав были ничтожны. Таким образом, в 1961 году из сельско-

хозяйственного производства выпали 52,2 миллиона гектаров земли. Было ясно, что такую систему земледелия надо сломать.

Спрашивается, как могла возникнуть такая система? Произошло так потому, что Сталин поверил уверениям В. Р. Вильямса, что урожан в стране можно поднять способами, не требующими больших капитальных вложений. Так, Вильямс считал, что достаточно обеспечить мелкокомковатую структуру почвы — и проблема повышения урожайности полей будет решена. А для того, чтобы почва состояла из мелких комочков (от десяти до двух миллиметров в поперечнике), Вильямс рекомендовал сеять смесь многолетних трав, как злаковых, так и бобовых, например, гимофеевку с клевером. Эту идею он почерпнул из работ проф. Костычева, который доказал, что в условиях степных черноземов травы способствуют восстановлению структуры почвы и накоплению плодородного перегноя. Но практика степных хлеборобов в восстановлении урожайности выпашанных земель говорила о пятнадцати-двадцатилетних залежах, или «перелогах», а Вильямс считал, что такой же процесс в травопольных севооборотах может закончиться в два-три года. Такая система не только не обеспечивала создания мелкокомковатой структуры почвы, но даже и сохранения прежнего почвенного плодородия; почвы беднели.

Странное место занял в системе В. Р. Вильямса извечный друг крестьянина — навоз; Вильямс рекомендовал применять навоз в высушенном виде, в виде сыпца (перегноя), уже потерявшего большую часть удобряющей способности.

Опасность распространения травопольной системы прекрасно понимали наши видные ученые. Еще в 1928 году академики Ферсман, Фаворский, Курнаков, Прянишников, Бах, Зелинский подали записку Совету Народных Комиссаров, в которой содержалась развернутая программа развития химии и производства минеральных удобрений. Однако система В. Р. Вильямса устраивала Сталина: введение травопольной системы не требовало крупных вложений в сельское хозяйство; не надо было строить заводы для производства минеральных удобрений.



Советские ученые не могли оставаться в стороне от серьезной проблемы подъема нашего сельского хозяйства, отстававшего от Западной Европы более чем на сто лет. В нашей сельскохозяйственной науке сформировались тогда две школы: с одной стороны — школа В. Р. Вильямса, считавшего, что только травопольная система возможна в условиях Советского Союза, а с другой — школа Менделеева, Тимирязева, Прянишникова, которая считала, что развитие сельского хозяйства Союза должно идти по пути интенсивного развития механизации и химизации, широкого использования минеральных и органических удобрений, увеличения посевов бобовых культур — накопителей атмосферного азота. Поддержанная Сталиным, победила травопольная система. Самым вредным в ней было основное положение Вильямса — о необходимости ее распространения во всех климатических и почвенных областях Советского Союза. Вильямс писал: «...Мы за травопольные севообороты повсеместно, во всех областях СССР, вот в чем главное значение дальнейшей реконструкции растениеводства».

Жизнь показала, насколько было ошибочно такое утверждение и какой материальный ущерб оно нанесло сельскому хозяйству. Нужно было немалое мужество, чтобы в тех условиях выступить против травопольной системы. Многие ученые, в том числе и Н. М. Тулайков, им обладали.

В рецензии на книгу В. Р. Вильямса «Почвоведение» академик Н. М. Тулайков писал: «Я должен заявить здесь, что трактовка академиком Вильямсом вопросов общего земледелия даже противоречит его попытке применить диалектический метод мышления в вопросах почвоведения. Все основные вопросы общего земледелия решаются им в полном отрыве от особенностей объекта общего земледелия — почвы, к которой должен прилагаться тот или иной прием ее обработки. Мне кажется, что в этом отношении академик Вильямс отступил далеко назад, спустился на ту ступень знания и понимания протекающих при вмешательстве человека в почву процессов, когда наши представления о географии и типах почв Союза покоились на случайных заметках географов, ботаников и геологов, а о протекающих в почвах

процессах мы судили так, как судили об этом педологи немецкой школы конца прошлого столетия».

Тулайков подверг суровой критике положение Вильямса о зяблевой вспашке, так как Вильямс утверждал, что «указанный порядок основной или зяблевой обработки относится ко всем почвенным разностям, всем климатическим зонам и всем последующим культурам». «Я думаю,— писал Тулайков,— всякий согласится с тем, что пересохшую почву надо обрабатывать как-то иначе, чем почву, пахотный слой которой пресыщен водой от постоянного перепадующих дождей. Что слитная с осени вспашка увлажненной почвы будет резко отличаться от глыбистой вспашки по выходе из-под снега весной и что к ним нельзя применять одних и тех же приемов предпосевной обработки».

Особое значение имеет утверждение академика Тулайкова о конечных выводах академика Вильямса: «И еще раз приходится пожалеть, что во всей книге... нет никаких цифровых данных, могущих охарактеризовать течение процесса структурообразования на различных его этапах и могущих быть до известной степени объективными его измерителями... Как можно допустить, что на всей огромной территории Советского Союза... можно было найти одно общее решение вопроса, один общий рецепт для лечения всех его недугов...»

«Надуманное травополье» встало высоким барьером на пути прогресса нашего земледелия. Вот почему мартовский Пленум ЦК КПСС (1962 года) решительно осудил его. Воплощается в жизнь мечта академика Тулайкова, голос которого не исчез бесследно, а с новой силой зазвучал в этой книге.

Теперь, когда партия принимает решающие меры по реконструкции нашего сельского хозяйства, когда один за другим возникают заводы минеральных удобрений, мы особо должны чтить подвиг Н. М. Тулайкова — неутомимого борца за плодотворную, пропашную систему, за широкое применение минеральных удобрений.

*Проф. В. ПИСАРЕВ.*

## ПОД ПРИСМОТРОМ «СЛАВНЫХ ПАРНЕЙ»

С. Гоудсмит. Миссия «Алсос». Перевод с английского В. Н. Дурнева. Госатомиздат. М. 1963. 190 стр.

М. Рузе. Роберт Оппенгеймер и атомная бомба. Сокращенный перевод с французского Т. Е. Гнединой и А. Н. Соколова. Госатомиздат. М. 1963. 149 стр.

На полках библиотек одна за другой выстраиваются книги, посвященные истории покорения атома и ученым, которые принимали в этом участие. В чем-то они неизбежно повторяют друг друга, в чем-то дополняют, в чем-то вступают в спор.

Нетрудно предсказать, что книги С. Гоудсмита и М. Рузе, недавно вышедшие в русском переводе, привлекут внимание самых разнообразных читателей. Любители приключенческой литературы с жадностью прочтут о действиях американской разведывательной миссии, целью которой было установить, насколько далеко продвинулась в Германии работа над атомным оружием, а также овладеть ее плодами. В книге же М. Рузе ставятся такие специфические, хотя и имеющиеся на деле весьма широкое звучание, проблемы, как трудность популяризации современных научных достижений и в то же время — насущная необходимость переноса многих научных принципов в другие области жизни.

Хочется остановиться на одной общей для обеих книг проблеме — наука и политический «климат» (по выражению С. Гоудсмита), в котором ей приходится существовать.

Книга С. Гоудсмита вышла в 1946 году, книга М. Рузе — спустя шестнадцать лет. Естественно, что французский публицист располагал большим историческим материалом, чем американский физик.

С. Гоудсмит главным образом доказывает, что «наука под пятой фашизма не была и, по всей вероятности, никогда не будет равна науке демократических стран».

М. Рузе описывает, как погиб «миф о существовании гармонии между ученым-философом и государством американской демократии».

«У нас этого быть не может» — называется последняя глава книги С. Гоудсмита. Не скрою, однако, что, читая ее, это категорическое заявление вскоре начинаешь воспринимать как умоляющее заклинание. Ведь уже тогда С. Гоудсмит признавался: «...в нашей среде есть некоторые симптомы, наводящие на размышления... Ведь нет разницы между законом штата Теннесси, направ-

ленным против учения об эволюции природы, и нацистскими установками против современной физики. Мы не отбираем нацистов для преподавания в наших университетах, но определенная расовая дискриминация у нас существует... Трудности, возникшие перед Комиссией по атомной энергии после ее создания, ясно показывают, как близки мы к повторению ошибок нацистов» и т. д.

Если же обратиться к фактам, приводимым у М. Рузе, да и во многих других книгах последних лет, и сопоставить их с наблюдениями, сделанными Гоудсмитом в Германии, то картина получится поистине поразительная.

«Самодовольство, ущемление интересов чистой науки и жандармские методы управления наукой» — вот главные причины, породившие, по свидетельству С. Гоудсмита, отставание науки в гитлеровской империи.

Одной из самых важных ошибок немецких ученых автор «Миссии «Алсос» считает мнение о заведомом превосходстве германской науки над всеми прочими. «Я убежден, что в настоящее время мы идем еще значительно вперед Америки», — возвещал физик Вальтер Герлах в 1944 году!

С. Гоудсмит неодобрительно отзывался и о существовавших в США после войны мнениях, будто американцы обладают «секретом» атомной бомбы и потому находятся «далеко вне всякой возможности соперничества». Однако своих собратьев американский ученый считал свободными от этих предрассудков.

Между тем М. Рузе вполне убедительно показывает, что недооценкой советской науки страдал даже Роберт Оппенгеймер. Первый атомный взрыв, осуществленный в СССР, явился для американских ученых, по выражению Роберта Юнга, «чудовищным сюрпризом». И если С. Гоудсмит мечтал увидеть лица самоуверенных немецких знаменитостей, когда они услышали об атомной бомбардировке Хиросимы, то четыре года спустя его ученые-соотечественники могли бы ему доставить не менее поучительное зрелище.

В «Миссии «Алсос» нарисована поистине драматическая картина упадка немецкой науки, обусловленного стремлением сделать науку послушной служанкой нацистских «доктрин», не осмеливающейся на самостоятельные исследования, а всего лишь иллюстрирующей фашистские догмы.

Не без тревоги вспоминал С. Гоудсмит, что и в США существует известная недооценка «серьезных наук», предпочтение людей «типа Эдисона» (то есть ученых практического склада) тем, кто закладывает теоретические основы будущих достижений. «Мы должны убедить нашу молодежь,— заявляет автор книги,— что новые идеи более важны для их страны и для всего мира, чем новые приспособления, пусть эти последние и приносят больше немедленной выгоды».

М. Рузе напоминает, с каким холодком поначалу отнеслись американские военные круги к «интеллигентским рассказам» о неизвестном оружии, «основанном на уравнениях нескольких университетских профессоров». При этом недоверие к «абстрактной теории» укреплялось определенными националистически-расовыми предрассудками и подозрительностью: ведь многие из инициаторов атомного проекта недавно эмигрировали в Америку.

Конечно, можно понять С. Гоудсмита, когда он, в полной мере ощутив убийственный «климат», в котором очутилась немецкая наука, с отрадой вспоминал тогдашнее положение отечественной, американской науки. Однако история сыграла с научным руководителем миссии «Алсос» довольно горькую шутку.

Мимоходом С. Гоудсмит юмористически поведал о том, как в поисках немецких атомных секретов ему однажды пришлось заинтересоваться даже... выгребной ямой.

Это заставило меня вспомнить, как в гейневской поэме «Германия» богиня — покровительница Гамбурга предлагает поэту заглянуть в дыру стульчака Карля Великого, обещая, что там «предстанет грядущее взорам».

Увы, во время своей миссии и С. Гоудсмит в какой-то мере заглянул в будущее, которое грозило его любимой американской науке, и в нос ему ударили не только гнетущий запах разложения гитлеровского рейха, но и «грядущий смрад» маккартизма и разнузданной «охоты за ведьмами».

Велика ирония истории! С. Гоудсмит приводит отзывы о миссии «Алсос» как об «од-

ном из самых прекрасных примеров сотрудничества военных и гражданских людей» и сам пишет о «полнейшем доверии», которое питали ученые сотрудники миссии к ее главе — полковнику Пашу.

Да, да! — тороплюсь я предупредить недоуменные вопросы читателей, уже знакомых с историей Роберта Оппенгеймера. Это тот самый контрразведчик Борис Паш, который еще в 1943 году требовал отстранения ученого от атомного проекта на основании его прежних «левых» заблуждений и связей с коммунистами.

В книге М. Рузе, как и у многих других авторов, Борис Паш со своими сотрудниками реально воплощает собой постепенно стягивавшиеся вокруг американской науки «путы самого беспощадного аппарата принуждения: аппарата военной безопасности».

«Само собой разумеется,— откровенничал впоследствии Борис Паш,— что мы никогда с Оппенгеймера не спускали глаз, и могу сказать, что каждый его шаг был известен, каждое письмо прочитано, каждый телефонный разговор подслушан, каждая встреча проверена и изучена».

Беседы Паша с Оппенгеймером, запутавшимся в сетях контрразведки и тщетно пытавшимся заслужить ее доверие, охарактеризованы у М. Рузе как «диалоги между котом и мышью».

С. Гоудсмит же восхваляет Паша как «большого специалиста в части подбора людей», аттестует его сотрудников по разведке как «прекрасных парней» и растроганно сообщает: «Полковник Паш никогда не покидал нас». (Деталь действительно весьма красноречивая!)

Эти «два лица» полковника Паша, отчетливо выступающие в разбираемых книгах, замечательно передают суть отношений реакционных американских политиков, которым служит Паш, к науке и ученым.

«Мы сделали работу за дьявола»,— с горечью сказал однажды Оппенгеймер. И верно: плоды научных открытий объединенных им в Лос-Аламосе ученых пошли на пользу искателям наживы и военных авантюров. И поскольку труды ученых были ему полезны, Желтый Дьявол смотрел на них благосклонным оком.

Но как только ученые начинали действовать самостоятельно и как-либо противиться планам «сильных мира сего», к ним тотчас обращалось совсем иное лицо вчерашнего «друга» и «покровителя».

История Роберта Оппенгеймера — лучший тому пример. Стоило вчерашнему «отцу атомной бомбы» задуматься о судьбах человечества и высказаться против создания термоядерного оружия — и сразу пришли в движение щупальца ФБР, ожили до поры дремавшие в сейфах, как свернувшиеся змеи, магнитофонные записи высказываний ученого и киноплёнки, запечатлевшие «порочащие» его встречи. Тогда выяснилось, что пачка всевозможных донесений и документов об Оппенгеймере, накопленных «славными парнями» Бориса Паша, почти достигла высоты человеческого роста.

Ученому было поставлено в вину даже то, что его научное мнение, высказанное в ответ на официальный запрос правительственных учреждений, не отвечало расчетам последних. И так, как и в гитлеровской Германии, наука, прежде чем сказать свое слово, обязывалась сообразоваться с тем, будет ли оно угодно политическим владыкам страны! Так же, как в Германии тридцатых годов, по определению одного автора, «свободное выражение идей, следование по путям независимо от того, куда они могли привести, считалось чуть ли не государственной изменой», подлинная научная объективность становилась политически зазорной и «свобод-

да дорог правды», дорогая Оппенгеймеру как ученому, явно шла на убыль.

Можно думать, что не напиши С. Гоудсмит свою книгу так рано, он вряд ли с удовольствием вспоминал бы свое сотрудничество с Борисом Пашем и едва ли утверждал бы, вспоминая атмосферу гитлеризма, что «у нас этого быть не может».

Возможно, он присоединился бы к тем ученым, которые, трезво взвесив последствия огромных научных достижений, пришли к выводу, что в этом мире невиданных грозных сил человек может выжить лишь поднявшись до вершин общественной и политической мысли и отвергнув реакционную идеологию.

Когда эта рецензия была уже написана, раздалась выстрелы в Далласе. Разыгравшаяся там трагедия только на первый взгляд не имеет отношения к нашей теме. «Славные парни» вроде полковника Паша, не упускавшие из виду ни одного движения ученых, теперь не только не уберегли президента, но с замечательным «простодушием» позволили сбить себя со следа убийц. Бедняжки! Они тренированы только для «охоты за ведьмами». Они рвутся со своих в ее ожидании.

Неужели опять дождутся?!

**А. ТУРКОВ.**

★

## ВСТРЕЧИ С ЮГОСЛАВИЕЙ

**Родолуб Чолакович. Записки об Освободительной войне. Сокращенный перевод с сербского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 790 стр.**

Эта книга повествует о событиях, отошедших в область истории, но, прочитав ее, становишься как бы живым их участником, встречаешься, как со своими друзьями, с героями того времени, со страной и народом, которые их вырастили, воспитали. Автор — видный государственный, политический и общественный деятель Югославии, член ЦК СКЮ Родолуб Чолакович — принимал активное участие в Освободительной войне югославского народа с фашизмом.

Р. Чолакович не ставил перед собой цель — написать историю войны. Его книга — рассказ участника отдельных событий, записи впечатлений человека, вынесшего на своих плечах все тяготы войны. Читатель познакомится с действиями отдельных пар-

тизанских отрядов; он как бы перенесется в памятный 1944 год, когда Советская Армия вместе с вооруженными силами, руководимыми маршалом Тито, освободила Югославию и ее древнюю столицу Белград.

«Я, — отмечает автор, — вел запись обо всем, что мне казалось значительным и заслуживающим внимания, и особенно о людях, которые вынесли на себе все бремя нашей борьбы...»

«Записки» — не просто неприятательные воспоминания одного из видных участников этой героической эпопеи. Как говорит автор, он хотел дать подлинный отчет, свидетельство о том, что может быть сделано простыми людьми, когда они не считаясь ни с какими жертвами готовы бороться за свободу и лучшее будущее.

Как справедливо отмечает автор предисловия Д. Севьян, в «Записках» захватывает внимание не только живое, волнующее описание эпизодов героической борьбы народов Югославии против чужеземных и «отечественных» угнетателей и их пособников, но и множество интереснейших подробностей, касающихся национальных особенностей, народного быта, местных условий, меткие, психологически тонкие зарисовки характеров самых различных людей — то благородных, решительных и мужественных, неутомимых, никогда не падающих духом, горячо любящих жизнь, но готовых на самопожертвование в этой великой борьбе; то злобных и жестоких, эгоистичных людишек с мелкой душонкой, трусливых и подлых, способных на любое предательство.

Яркими и запоминающимися получились страницы, посвященные отношению югославского народа к Советскому Союзу и его славной армии, думам, чаяниям и надеждам, которые связывали трудящиеся этой страны с героической борьбой СССР против фашизма.

Свой волнующий рассказ Родолюб Чолакович начинает с июля 1941 года, когда, как известно, началась вооруженная борьба народов Югославии против гитлеровских оккупантов, и кончает одной из великих побед второй мировой войны — освобождением в октябре 1944 года столицы страны Белграда.

«Освобождение Белграда,— говорил Иосип Броз Тито,— для наших народов имеет историческое значение особенно потому, что страна этих измученных народов является той ареной, где совместно проливали кровь сыны великого Советского Союза с достойными сынами Югославии». Без Советского Союза, подчеркивал Тито, «была бы невозможна победа над фашистскими захватчиками, было бы невозможно освобождение Югославии, было бы невозможно создание новой Югославии».

Уже в первые дни после нападения гитлеровской Германии на СССР ЦК СКЮ обратился к народам своей страны, провозгласив, что борьба Советского Союза — это и их борьба, что СССР борется против коварного и сильного врага, под чьим ярмом стонут югославы. В общей битве с фашизмом ковалась советско-югославская дружба, в совместной борьбе за мир, независимость и социализм крепло братство наших народов.

Еще только зарождалось партизанское движение в Югославии, еще отступала Советская Армия под натиском превосходящих сил врага, но простые люди этой славянской страны обращали свой взор к советскому народу. Автор «Записок» в то время организовывал партизанское движение и много ездил по стране. В селе Ярменовцы, расставшись со своим боевым другом, рабочим-обувщиком, активистом белградской партийной организации Филиппом Клянич Фица, он вошел в корчму, сел за стол и заказал завтрак. «Пока готовили яичницу, — пишет Чолакович, — я попросил хозяйку, высокую пожилую женщину, дать мне умыться и вышел во двор к колодцу. Поливая мне, она вдруг спросила:

— Скажи мне по правде, Россия победит?

Меня удивил этот вопрос, вернее тон, каким он был задан. Она спрашивала так, как будто от моего ответа зависела вся ее судьба, будто это был для нее вопрос жизни и смерти... Мне показалось, что я ее знаю очень давно, и я сказал то, что думал:

— Конечно. Россия победит. Это так же верно, как то, что солнце взойдет! — И я протянул обе намыленные руки к солнцу, встававшему из-за леса.

Она облегченно вздохнула.

— Дай-то бог, сынок! Что было бы с нами, если б злодеи победили!»

В тяжелых условиях, не имея на первых порах необходимого вооружения, обмундирования и продовольствия, бойцы партизанских отрядов наносили врагу ощутительный урон, уничтожали вражеские коммуникации, людскую силу и технику. Участвуя лично в военных операциях, автор «Записок» смог живо описать их.

На первых порах тактика партизан заключалась в проведении мелких операций, которые показывали всему народу цели партизанской борьбы, поднимали его моральный дух, вселяли веру в победу. Из месяца в месяц масштабы ее расширялись. От диверсий и нападений на поезда и колонны противника партизаны переходили к открытым сражениям. «Особенно ожесточенным,— отмечает автор,— был бой на острове Хваре. Немцы высадились на этот остров, чтобы все сжечь и уничтожить, как они это сделали на островах Браче и Корчуле. Наши, напав с воздуха, потопили их суда,

чтобы они не смогли спастись бегством, а затем высадились и истребили этих гадов всех до одного...»

Семь раз по приказу гитлеровского командования фашисты вели наступление на партизанские районы. Но благодаря самоотверженности и стойкости югославских бойцов все эти операции были сорваны. Известно, что во время последнего наступления в мае 1944 года в районе города Орвара гитлеровцы, выбросив десант, пытались захватить Верховный штаб Народно-освободительной армии и руководство Коммунистической партии. Однако и на этот раз они потерпели провал.

Победы Советской Армии еще более укрепляли в югославских бойцах то чувство долга, которое с самого начала воспитывала в них Коммунистическая партия Югославии, призывая еще крепче бить врага. Победные знамена Советской Армии все ближе приближались к границам Югославии. «В бесчисленных сражениях,— пишет автор,— от польской границы до Волги и в обратном наступательном марше пали миллионы воинов Красной Армии, и, однако, теперь уже всем ясно, что она победит. Тяжка и неизвестна была бы судьба человечества, если бы не было на свете этой силы, сумевшей противостоять гитлеровским ордам, вступить с ними в длительную схватку и в конце концов победить».

В Югославии погиб каждый десятый житель, а каждый пятый остался без крова. Гитлеровские захватчики разрушили две трети железных дорог, многие заводы и фабрики, уничтожили одиннадцать миллионов голов скота.

С каждым годом усиливалось сопротивление фашистским оккупантам. К концу войны силы Народно-освободительной армии Югославии возросли до пятидесяти двух дивизий. Эта мощная армия сковала около сорока немецких дивизий.

В ожесточенной борьбе с фашизмом народ этой страны не был одинок. Вместе с Народно-освободительной армией, возглавляемой маршалом Тито, сражались, выполняя свой интернациональный долг, солдаты и офицеры Страны Советов. Как известно, в конце сентября 1944 года советские соединения пересекли югославскую границу, а затем, после успешного форсирования Дуная, состоялась братская встреча с боевыми югославскими друзьями. Совместная

победоносная борьба против фашистов закончилась их разгромом. Народ этой страны обрел долгожданный мир и счастье.

Двадцать девятого ноября 1945 года, вскоре после победы, одержанной югославскими и советскими воинами, Учредительное собрание Югославии приняло Декларацию, которая провозглашала низвержение монархии и установление республики. Этот день ежегодно отмечается Югославией и ее друзьями как большой национальный праздник.

Волнующие страницы посвятил автор «Записок» завершающему этапу борьбы — освобождению Белграда, когда советские и югославские воины в едином порыве нанесли врагу сокрушительный удар. По-братски тепло принимали своих освободителей жители Югославии.

«Горожане,— пишет автор,— дав волю своим чувствам, обнимают советских воинов, угощают их, подносят вино. Какой-то толстяк левой рукой обнял красноармейца, а правой подносит ему стакан вина и пытается изъяснить свои чувства:

— Братец ты мой, четыре года я тебя ждал, клянусь самым дорогим для тебя! Понимаешь? — и предлагает выпить из его стакана».

«Я всматривался в лица бойцов: усталые симпатичные русские люди. Жители машут им, выносят хлеб и табак; едва колонна остановится, горожане подходят, жмут им руки, некоторые начинают их целовать, стараются выразить свою благодарность и приветствовать их приход».

Значительное место в «Записках» автор уделяет организующей деятельности Коммунистической партии Югославии, роли товарища Тито в создании Народно-освободительной армии, моральной и военной поддержке со стороны Советского государства в годы второй мировой войны.

«Дружба народов наших стран имеет славную историю,— говорил Н. С. Хрушев во время своего пребывания в Югославии в августе—сентябре 1963 года.— Она скреплена совместной борьбой за общие цели, за свободу и независимость... Советские люди высоко ценят большой вклад героического югославского народа, руководимого югославскими коммунистами во главе с товарищем Иосипом Броз Тито, в дело разгрома фашизма».

В числе советских журналистов мне довелось побывать в Югославии осенью

1962 года. В городе Горни Милаовац я познакомился с Драганом Чировичем, работавшим там, как сказал он мне, на строительстве фабрики. Когда он узнал, что говорит с человеком, приехавшим из Советского Союза, он обрадовался, как это бывает при встрече с земляком.

— Я сражался в 1944 году в этих местах вместе с русскими,— говорил Драган,— и хорошо помню их геройство.

В дни пребывания в Югославии особенно приятно было видеть, как народ дорожит дружбой, рожденной в совместной борьбе, о которой так живо и ярко рассказывает Чолакович. Не забыты жертвы Советской страны, не забыта пролитая ее сынами кровь. В центре югославской столицы — мемориальное кладбище советских и югославских воинов. Здесь среди стройных берез и ветвистых платанов похоронены

Герой Советского Союза майор Мозговой, лейтенант Дабкин, сержант Фролов... Запомнилось, что на одном из камней просто написано: «Мишка-танкист». На другом — девичье имя «Маша».

Под мирным небом бьет ключом мирная жизнь этой по-настоящему красивой страны, которая, успешно залечив раны войны, развивает промышленность, сельское хозяйство, культуру и науку.

Растет и крепнет советско-югославская дружба. Ширятся во всех областях связи между двумя странами. Окрепшие и закаленные в годы войны дружба и сотрудничество СССР и Югославии, о которых ярко и интересно говорится в «Записках», имеют все основания для дальнейшего развития.

Ю. ГЕККЕР.



## КНИГА О ТЕЙАРЕ ДЕ ШАРДЕН

Giancarlo Vigorelli. Il gesuita proibito. Vita e opere di P. Teilhard de Chardin. II Saggiatore. Milano. 1963. 396 p. (Джанкарло Вигорелли. Запрещенный иезуит.

Жизнь и труды Тейяра де Шарден. Иль Саджаторе. Милан. 1963. 396 стр.)

Книга Вигорелли — подробное, основательное, обширно документированное исследование творчества крупного французского ученого и философа Пьера Тейяра де Шарден — геолога, зоолога, антрополога и автора многочисленных сочинений в области философии и социальных проблем.

Новое произведение Вигорелли сразу же было оценено в итальянской печати как «первое, которое полностью поднимает в Италии завесу над мучительной жизнью Тейяра». Когда через несколько дней после появления книги в залах книжного магазина Эйнауди состоялось «представление» книги итальянским читателям, толпа энтузиастов буквально штурмовала собрание. Сотрудник газеты «Унита», специалист по вопросам религии Паоло Сприано справедливо отметил во время дискуссии, что одни только события личной биографии Тейяра де Шарден вполне могут объяснить интерес к нему широких кругов читателей. Все же, конечно, не сама история полувековых гонений Тейяра церковными властями и руководителями иезуитского ордена, к которому он принадлежал, вызывает на Западе столь большой интерес к этому ученому и философу, и даже не его выдающиеся исследо-

вания в области геологии, палеонтологии или антропологии. Философские взгляды Тейяра де Шарден, ставшие известными главным образом в последние годы и уже после его смерти, возбудили живейший интерес и симпатии прогрессивных слоев и породили обширную литературу о Тейяре. Новая книга о нем Д. Вигорелли принадлежит к числу наиболее интересных и обстоятельных работ о французском ученом и мыслителе. Успех книги объясняется не только искусством опытного эссеиста, каким является Д. Вигорелли, но прежде всего тем, что автору глубоко близки идеи Тейяра де Шарден, благодаря чему он смог стать авторитетным выразителем и истолкователем их.

Джанкарло Вигорелли, пятидесятилетие которого исполнилось в минувшем году, принадлежит к кругам прогрессивной левой христианской интеллигенции, которая ведет упорную борьбу с реакционным клерикализмом, настойчиво ищет сближения с марксизмом, с передовыми идеями нашего времени. Д. Вигорелли — генеральный секретарь Европейского сообщества писателей, которое проводило летом прошлого года в Ленинграде дискуссию о судьбах

современного романа. Он автор многочисленных литературно-критических произведений, редактор журнала «Эуропа Леттерариа», сотрудник ряда итальянских и иностранных периодических изданий. Среди исследований Д. Вигорелли — история современной французской литературы от Роже Мартен дю Гара до Жан-Поля Сартра («Французские рукописи», 1959). В творчестве Грамши, Лабриолы, в деятельности «левых католиков» Вигорелли стремится отыскать основу для совместной с социалистами и коммунистами борьбы с реакцией, за будущее мира. Поэтому и деятельность Тейара он оценивает прежде всего с позиций гуманистических исканий, как попытку создать оптимистическую картину поступательного развития человечества, неуклонно восходящего к вершинам лучшего будущего.

Книга Вигорелли — в большей мере творческая биография Тейара, чем его жизнеописание. Однако даже бегло описанные автором внешние события жизни этого ученого весьма красноречиво свидетельствуют о гнетущей обстановке травли, в которой жил Тейар. Подчинявшийся особенно строгой, средневековой дисциплине «Общества Иисуса», он не имел права опубликовать свои не только философские, но и сугубо специальные произведения без санкции различных орденских инстанций. Лишь после того как на титульном листе его рукописи появлялись магические формулы «*Nihil obstat*» («Нет препятствий») и «*Imprimatur*» («К печати»), автор мог издать свой труд.

В 1924 году Тейара принудили подписать «акт повинования». «Церковные власти,— писал один из биографов Тейара П. Леруа,— уже ранее встревоженные смелостью некоторых его философских взглядов, которые к тому же возбуждали жадный интерес, сочли желательным отстранить его от преподавания и лишить его всех возможностей им заниматься». В сентябре 1947 года Тейар, которому тогда уже было шестьдесят шесть лет (он родился в 1881 году), получил приказание ничего вообще не писать ни о философии, ни о теологии. За несколько лет до смерти Тейара его друзья приняли меры, чтобы его неопубликованные труды не попали в руки церковного начальства.

Значительную часть своей жизни Тейар провел в своего рода ссылке в Китае, Африке. Соединенных Штатах, куда власти ордена изгоняли ученого, стремясь изоли-

ровать его от единомышленников. Им в самом деле удавалось неоднократно доводить Тейара до глубокого нервного кризиса, но заставить его замолчать они так и не смогли. После смерти Тейара в 1955 году во Франции, а затем и в других странах началась публикация его книг, многочисленных статей, писем. Однако в Италии католические экстремисты продолжают по указаниям таких мракобесов, как кардинал Оттавиани, запрещать перевод и публикацию работ Тейара. В последний раз этот запрет был подтвержден осенью прошлого года, накануне открытия второй сессии Ватиканского собора.

Боязнь идей Тейара — лишь одно из проявлений серьезной борьбы в современном католицизме и кризиса религии в наше время. Оказавшись перед необходимостью приспособления к современному миру, от развития которого религия безнадежно отстает и которому она противоречит, церковь неизменно оказывается во власти непреодолимых противоречий. С одной стороны — она стремится заключить союз с наукой и даже использовать ее достижения, если это возможно, с другой — она глубоко враждебна последовательно-научным философским выводам из открытий науки. Попытки усвоить данные науки, построить псевдосовременную социальную доктрину сочетаются со стремлением правого крыла церковников насколько возможно подавить все новое, что несет с собой прогресс, оказывать всяческое давление на инакомыслящих, что и испытал на себе в полной мере Тейар де Шарден. Вигорелли не раскрывает эту характерную основу взаимоотношений Тейара с церковью и некоторых противоречий его собственного развития, но читатель, следуя страницам за страницей по пути исканий Тейара, не может не видеть, как была сдавлена и изуродована религией деятельность ученого.

Тейар де Шарден, ученый с мировым именем, председатель Французского геологического общества, член Французского института и обладатель многих отличий, «слава французской науки в области палеонтологии и геологии», был вынужден заново открывать уже признанные передовой наукой законы эволюции природы, идеи движения, изменения, прогресса, трансформизма. Один из первых исследователей синантропа, он пытался увязать свои открытия с наивным евангельским мифом о сотворении человека из глины, как бы оправ-



дываться, объясняя, что «под этой глиной» следует понимать субстанцию, постепенно возникавшую из совокупности вещей таким образом, что человек должен был быть вылеплен не буквально из некоторого количества бесформенной материи, но в результате длительного усилия из «Земли» всей целиком». Скованный догмой, Тейяр пытался вложить научный смысл в библейское сказание, может быть, даже представить его своего рода «догадкой» о «подлинном» происхождении потустороннего мира, для которого не оказалось места в природе и в науке, но от которого не мог отказаться Тейяр-теолог, придя к истолкованию преисподней как «структурного элемента вселенной».

Это перетолкование религиозной фантастики не ново, в разной форме оно практикуется так называемыми «модернистами», стремящимися освободиться от пут обветшалых, утративших силу убеждения догм, но сохранить религиозные представления о сверхъестественном. Однако Тейяр де Шарден пошел дальше простого осовременивания религиозных верований и создал на основе своих представлений об эволюции материи и живой природы социально-философскую теорию, которая надолго приковала внимание как его единомышленников, так и его врагов.

«Церковь,— писал Тейяр еще в 1918 году,— точнее, ее правители не имеют в настоящее время никакого представления о реальной жизни». Д. Вигорелли показывает, как Тейяр пришел к системе взглядов, которая оказалась в резко противоречии с официальной церковью. Выступив против проповеди абстрактных, лишенных действительного содержания идеалов милосердия, он заявил, что «оно оказалось бы неблагочестием, если бы не стало милосердием конкретным, направленным на благо других людей».

Тейяр создает теорию космогонической эволюции, развития природы через эволюцию неживой природы — к жизни, к сознанию, к человеку. Человек — вершина и цель эволюции, но не завершение ее, вместе с человеком эволюция продолжается. В человеке процесс эволюции становится осознанным и продолжается в направлении совершенствования личности и общества. Тейяр при этом отвергает «слепой» эволюционизм и считает, что развитие мира имеет определенную цель, а значит кем-то направляется,

иными словами — над эволюцией природы стоит высшее разумное, точнее, сверхразумное начало, то есть бог. Однако даже при условии сохранения прерогатив бога учение о прогрессирующем развитии общества решительно расходится с традиционными религиозными представлениями о будущем человечества.

В самом деле, не только христианская, но и другие религии, которые учат о загробном воздаянии и второй жизни в потустороннем мире, по самой сути своей исключают перспективу совершенствования жизни на земле. Лишь некоторые, так называемые «либеральные» протестантские теологи одно время проповедовали возможность создания «града божьего на земле». Но действительность капиталистического мира, в незабываемость которого они свято верят, заставила их отказаться от этого своеобразного религиозного утопизма. И вот вразрез с основой основ религии Тейяр де Шарден стремится рассматривать историю человечества как развитие, как движение к преодолению изолированности индивида и утверждению Человечества, в котором наивысшее развитие отдельной личности совпадает с ее наибольшим взаимодействием (Тейяр говорит «взаимопроникновением») с другими личностями. Разрыв с догмой очевидный!

Каким образом осуществится процесс эволюции, Тейяр, конечно, сказать не мог. Он считал его автоматическим осуществлением христианской любви — нетрудно видеть, как далек он от понимания подлинных исторических процессов. Сам Тейяр де Шарден был уверен, однако, что его теория не только не противоречит марксизму, но служит его подтверждением. Д. Вигорелли придерживается того же мнения. Он не согласен с марксистскими критиками Тейяра, в частности с Р. Гароди, который показал фантастический характер гуманизма Тейяра. Д. Вигорелли ошибочно полагает, что, провозгласив прогресс законом (даже неизбежностью) эволюции, он тем самым освободился от права и обязанности прибегать к «классовой борьбе».

Заблуждения Тейяра вполне объяснимы. Но понятен и исключительный резонанс, который имеют на Западе его идеи.

Мыслящий человек пресловутого «западного» мира утомлен и дезориентирован множеством негуманистических и глубоко пессимистических философских течений, навязанными ему представлениями о «плюрализ-

ме», то есть множественности истин, в результате чего он лишен возможности решить, что же в самом деле нравственно, что прогрессивно, как определить цель своего существования. Его привлекает критика Тейаром безнадежной и глубоко упадочнической философии экзистенциализма, не предлагающей человеку никаких перспектив. Его тяготит разорванное представление о мире современного позитивизма, и он глубоко сомневается в истинах религии. Поэтому когда Тейар де Шарден рисует цельную, по-своему оптимистическую картину гармонического развития человечества, его слушатель отворачивается от реакционных общественных теорий. В этом большое положительное значение наследства французского ученого.

Автор книги о Тейаре де Шарден хорошо показал, какой широкий круг социальных и политических проблем интересовал Тейара. Выступив первоначально с индивидуалистических позиций против войны («война,— писал он с фронта в 1916 году,— есть крайний и аномальный случай отказа от прав и надежд индивида»), Тейар пришел к представлению о невозможности войны в век

атомного оружия. Он крайне неприязненно относился к «истерическому антикоммунизму», с которым он столкнулся в 1948 году в Америке. Он писал в то время Т. Манну: «Я считаю катастрофической нашу внешнюю политику, поддержку, которую мы оказываем всем формам реакции в мире, и глупой — всеобщую кампанию против коммунистов, учитывая к тому же более чем объяснимое воздействие коммунизма на голодные и угнетенные массы...»

Д. Вигорелли подчеркивает в книге возможность диалога тейаровских идей с марксизмом.

О Тейаре уже написаны сотни книг и статей, толкующих его самым различным образом; идет настоящая борьба «за наследство» философа. Книга Д. Вигорелли вполне может служить источником объективных знаний о Тейаре, арбитром в многочисленных спорах о нем. Автор заслужил признательность читателя — и не только итальянского,— создав обширное и беспристрастное произведение о Тейаре де Шарден.

**И. КРАВЧЕНКО.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ЖИВОЕ СЛОВО ИЛЬИЧА.** По местам выступлений В. И. Ленина в Петрограде в 1917 году. Лениздат. 1963. 135 стр. Цена 34 к.

На ноябрьском (1962) Пленуме ЦК КПСС тов. Н. С. Хрушев, подчеркивая тесную связь В. И. Ленина с массами, говорил о нем: «Он выступает на митингах — на одном, на другом. Разве других ораторов не было? Были. Но Ленин хотел бывать на заводах, хотел не только говорить, но видеть, как живут люди, хотел знать и чувствовать дух рабочих, для которых он жил и трудился».

Книга «Живое слово Ильича», написанная группой ленинградских авторов, живо рассказывает о бурных днях 1917 года, о встречах Владимира Ильича Ленина с рабочими и крестьянами, солдатами и матросами.

Постоянное общение Владимира Ильича с народом давало ему возможность быстро находить контакт с любой аудиторией. Ильичу было достаточно одной острой реплики из зала, замечания, чтобы уловить настроение слушателей и, воспользовавшись им, разить врагов, привлекая на свою сторону новых друзей.

«Впервые слушая Ильича, — вспоминал солдат М. Г. Приезжинский, — я убедился в том, как могуч его ораторский талант, как велика сила его воздействия на массы. Он умел в простой, популярной форме изложить сложнейшие вопросы переживаемого момента».

Авторы книги приводят множество интересных фактов, подтверждающих огромное влияние живого ленинского слова на слушателей. Вот один из них.

Как-то рабочий В. С. Кудряшов привел на заседание Петроградского Совета своего семидесятилетнего отца. Всю ленинскую речь старик слушал стоя. Вернувшись к себе на Смоленщину, старый крестьянин стал страстным агитатором за советскую власть. Живое слово Ильича передавалось из уст в уста, проникало в самые глухие деревеньки, поднимало людей на борьбу за новую жизнь.

Выступления В. И. Ленина в Петрограде в 1917 году — у Финляндского вокзала, в Таврическом дворце, в Смольном и в других

местах — имели огромное значение для победы революции.

Г. Трофимов.

★

**МИРОСЛАВ ЗИКМУНД, ИРЖИ ГАНЗЕЛКА.** Перевернутый полумесяц. Перевод с чешского. «Молодая гвардия». М. 1963. 342 стр. Цена 99 к.

М. Зикмунд и И. Ганзелка широко известны у нас своей интересной книгой «Африка грез и действительности», а также увлекательными повествованиями о поездке по странам Южной Америки («Там, за рекою, — Аргентина», «Через Кордильеры», «К охотникам за черепами» и «Меж двух океанов»).

Весною 1959 года авторы вновь отправились в путешествие, на этот раз — по странам Азии. «Перевернутый полумесяц» — первая книга, рассказывающая об этой грандиозной поездке.

Как и в прежних своих путешествиях, авторы передвигаются на чешских автомашинах «татра». Выехав из Праги, Зикмунд и Ганзелка проехали по Австрии, Югославии, Албании и Болгарии. После этого попали в Турцию, Сирию, Ливан.

Природа, архитектура городов, язык и народное искусство, исторические памятники и различные особенности быта в каждой стране — все это привлекает внимание путешественников. Как и в предыдущих поездках, путешествие предшествовала серьезная и кропотливая подготовительная работа. Авторы обнаруживают разностороннюю, отнюдь не дилетантскую эрудицию во многих вопросах. Но основной объект их наблюдений — это трудовой народ, рабочие, ремесленники, крестьяне.

Из социалистической Болгарии мы вместе с рассказчиками переносимся в капиталистическую Турцию. Авторы заставляют нас во всем почувствовать здесь влияние американской военной. Книжные магазины завалены американскими «бесселлерами» в соблазнительных обложках. Всевозможные ограничения, полицейские запреты. Множество «закрытых районов», куда путешественникам не разрешают заезжать...

Но здесь же, в Турции, путешественников встречают на пути приветливые, гостеприимные люди, готовые угостить всем, что

есть в доме, хотя многие из них живут на грани нищеты

Книга содержит богатейший познавательный материал: география, экономика, история, археология. В литературном отношении по сравнению с прежними их книгами авторы заметно шагнули вперед. Особенно хорошо у них пейзажи и зарисовки городов. Но, вероятно, самое ценное в книге — ее светлый дух интернационализма, дружелюбное отношение к трудящимся разных стран.

Фотографии (число которых очень велико) свидетельствуют о незаурядной наблюдательности и высокомастерстве авторов.

**В. Шпринк.**

★

**ПРЕСТУПНЫЕ ЦЕЛИ — ПРЕСТУПНЫЕ СРЕДСТВА. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941—1944 гг.).** Госполитиздат. М. 1963. 324 стр. Цена 45 к.

В этом сборнике, изданном на русском, немецком и французском языках, помещены документы варварства и бесчеловечности фашизма. Они — объективный свидетель тех мрачных дней, когда гитлеровцы, вторгшись на территорию СССР, истязали и уничтожали советских людей.

«...Сегодня расстреляны 300 жителей Киева. За каждый новый случай поджога или саботажа будет расстреляно значительно большее количество жителей...» Это объявление коменданта города Киева генерала Эбергарда от 2 ноября 1941 года — один из сотен и тысяч подобных документов.

Фашисты разрушали и сжигали города, уничтожали памятники науки и культуры, — осущестляли свою варварскую тактику «выжженной земли».

Вот выдержка из директивы штаба верховного главнокомандования немецких вооруженных сил от 7 октября 1941 года: «Фюрер вновь принял решение не принимать капитуляции Ленинграда или позднее Москвы даже в том случае, если таковая была бы предложена противником». И далее: «Это относится также и ко всем остальным городам: перед их захватом они должны быть уничтожены огнем артиллерии и воздушными налетами с тем, чтобы побудить их население к бегству».

Но известно, что никакими репрессиями не удалось гитлеровским извергам подавить волю советских людей к сопротивлению.

В сборнике помещены документы, взятые из фондов Международного военного трибунала в Нюрнберге и Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Использованы также документы, хранящиеся в центральных государственных и местных архивах Украинской, Белорусской, Латвийской, Литовской и Эстонской советских социалистических республик.

Документы и фотографии, опубликованные в этой книге, еще раз напоминают о ве-

ликой освободительной миссии Советской Армии, которая избавила Европу от коричневой чумы, и настораживают народы против происков западногерманских реваншистов и их заокеанских союзников.

**Г. Харченко.**

★

**А. АБРАМОВ. Мавзолей Ленина. «Московский рабочий».** М. 1963. 84 стр. Цена 13 к.

«Сегодня я видел Ленина», — сказал мне соседский мальчишка Витька, побывавший со своим третьим классом в Мавзолее В. И. Ленина. Ни Витьку, ни его товарищей нисколько не удивляло то обстоятельство, что они, родившиеся через тридцать лет после смерти Ленина, могли встретиться с ним. Впрочем, к этому чуду уже давно привыкли миллионы людей. При словах «Москва. Красная площадь» в их сознании возникает величавый силуэт Мавзолея, поражающий гармонией простых и строгих форм, той естественностью, с которой усыпальница человека, который и теперь «живее всех живых», вписалась в древний облик сердца Москвы — Красную площадь.

Об истории создания Мавзолея, о беспремерном бальзамировании тела, позволившем сохранить его неизменным в течение десятилетий, рассказывается в небольшой по размеру, но очень емкой книге А. Абрамова.

С волнением читаются страницы, в которых описаны те трое суток, в течение которых советские инженеры и рабочие с помощью революционных эмигрантов — поляков, венгров, финнов — в тридцатиградусные январские морозы днем и ночью возводили усыпальницу по проекту архитектора А. В. Щусева. Уже 27 января 1924 года, тогда еще деревянный, Мавзолей принял тело вождя, забальзамированное академиком А. Абрикосовым.

За восемьдесят секунд свидания с Лениным посетители Мавзолея, конечно, не успевают рассмотреть траурный зал, где в стеклянном саркофаге покоится его тело. Они не сводят глаз с лица человека, имя которого вдохновляет на борьбу за мир и счастье все народы земли.

**Л. Серебрянник.**

★

**П. Н. ТРЕТЬЯКОВ, Е. А. ШМИДТ. Древние городища Смоленщины.** Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1963. 192 стр. Цена 1 р. 62 к.

Тот, кто бродил по дорогам и тропам Смоленщины, не мог не встретить на своем пути небольшие холмы с мощными земляными валами и глубокими рвами — остатками древних городищ. Бесчисленное количество их вот уже много веков возвышается в этом краю лесов, озер и болот. Древние городища стали неотъемлемой частью пейзажа Смоленщины, придавая особый колорит неяркой, неброской, но глубоко волнующей ее



Мы узнаем из аннотации к книге, что автор ее Антонина Баева тяжело больна. Судьба ее несколько напоминает судьбу Николая Островского. Она сама говорит о себе:

Я, как ломоть от каравая хлеба.  
Своей бедой отрезана от мира.  
Но мир со мной,

И он не даст,  
Ис даст мне превратиться  
В нахохленную, злую птаху в клетке!  
И он мне карандаш к руке подвинул,  
Чтоб я смогла, как все,  
Дышать ветрами,  
Смогла бы славить труд  
И славить жизнь

Которые сама открою людям.

Внимательный читатель услышит эти слова.

Отношение Баевой к миру, к дорогам жизни — всегда активно, а не созерцательно. Все время она тянется к людям и общей работе. Ей бы открывать «у Тардоки-Яни кладовые с рудой». У нее самой «охочие руки», как у описанной ею старухи на брусничной поляне. Теперь в этих охочих руках — карандаш, который не раз уже становился у советских поэтов «пристрелянной винтовкой».

Для меткости стрельбы надо в совершенстве овладеть мастерством. Можно упрекнуть Баеву в некотором однообразии ритмов, в том, что белый стих ее недоработан, написан несколько по старинке, и в том, что в ее поэтический словарь врываются такие выражения, как «наплевать» или «в итоге боя». Но все данные для дальнейшей работы над стихом и словом у нее есть.

Надежда Павлович.

★

**ВИКТОР ФИНК.** Литературные воспоминания. «Советский писатель». М. 1963. 335 стр. Цена 62 к.

Воспоминания Виктора Финка обнимают собой сорок с лишним лет нашего беспокойного времени. Достаточно прихотливо складывалась в эти годы и биография самого автора «Иностранного легиона». В 1909 году он стал студентом юридического факультета в Париже, а в 1914-м, в первые месяцы империалистической войны, вместе с другими молодыми людьми, застигнутыми во Франции началом военных действий, пошел на фронт, чтобы в качестве солдата Иностранного легиона воевать против солдата Вильгельма Второго. Вернувшись на родину в 1917 году, Фиск немало повидал и путешествовал, но первая крупная его вещь сделана на материале пережитого в военные годы. Теперь в своих воспоминаниях он возвращается к тем временам, чтобы рассказать о людях, с которыми сводила его судьба. Он был знаком с Роменом Ролланом, с Вайян-Кутюрье, с Жаном-Ришаром Блоком, он видел Жореса, он помнит Париж в годы, предшествовавшие войне, и, побы-

вав в нем снова в 1937 году, с полным знанием предмета пишет об изменениях, происшедших в жизни великого города.

Рассказы о встречах с знаменитым путешественником В. Арсеньевым, с драматургом Фридрихом Вольфом, с автором книги «50 лет в строю» А. Игнатьевым, с А. Макаренко относятся уже ко времени пребывания Финка в Советском Союзе. Одна из наиболее драматических глав книги — глава, посвященная поездке в Испанию на писательский конгресс, происходивший во время гражданской войны, когда делегатам приходилось иногда прерывать заседания из-за артиллерийских обстрелов.

Превосходно рассказано в этой книге о ленинских местах в Париже. Сумрачный хозяин знаменитого сарая в Лонжюмо, где Ленин в 1911 году основал партийную школу для русоких рабочих, и парижский фотограф, бывший когда-то соседом Ленина в доме по улице Мари-Роз, с их наивными представлениями об исторической роли их давнего знакомого и бесхитростными воспоминаниями о встречах с ним, выглядят достоверно и живо, простодушием своим отлично подчеркивая точность добытых Финком сведений. Однако в воспоминаниях Финка иной раз крупными фактами сопровождаются чересчур распространенными комментариями. Это заметно в главах о Франции тридцатых годов, о Р. Роллане. В какой-то степени сказанное относится и к очерку о Макаренко. Автор воспоминаний, судя по всему, близко знал его, но, рассказывая о нем, слишком настойчиво стремится убедить читателя в значительности этого человека при помощи рассуждений об его уме и таланте и мало показывает его в живых житейских коллизиях.

Но эти отдельные недочеты не мешают воспоминаниям Финка быть красноречивым документом эпохи, да к тому же еще показанной в неожиданном ракурсе. Необычная биография в сочетании с умением видеть и показывать виденное — все это не могло не дать в итоге интересной книги о времени и о себе.

Г. Мунблит.

★

**Н. ДЕМИНА.** «Троица» Андрея Рублева. «Искусство». М. 1963. 97 стр. Цена 1 р. 15 к.

Не удивительно, что иконы Рублева — и в частности знаменитая «Троица» из иконостаса Троицкого собора — давно уже стали предметом пристального внимания исследователей. Кисти знаменитого иконописца принадлежат, как сказано в одном из рукописных памятников XVII столетия, «многие святые иконы, чудны зело и украшены», а творчество его, глубоко самобытное и национальное в своей основе, во многом предвосхищает дальнейшие пути древнерусской живописи.

Работу Н. Деминной о рублевской «Троице», пожалуй, не назовешь легкой для восприятия. Это серьезное исследование искусствоведа, снабженное многочисленными ци-

татами, ссылками на источники. Но для читателя, не страшасьего внешней сухости изложения и искренне интересующегося искусством, знакомство с этим исследованием будет, несомненно, полезным.

О шедевре древнерусской живописи говорится не просто как о лучшем произведении Рублева, но как о явлении, исторически подготовленном ростом народного самосознания. Прежде чем приступить к анализу «Троицы» с ее сложной символикой, Н. Демина вводит читателя в круг идей и представлений эпохи, в которую жил и творил Рублев, помогает живо ощутить неповторимое своеобразие этого времени. Именно отсюда — интерес к взглядам современников гениального иконописца, отсюда и попытка наметить взаимосвязь художественного метода Рублева с мировосприятием русских людей XIV—XV веков. Мысль, что в единении ангелов «Троицы» воплощена мечта русских людей о мире и взаимном доверии на Руси, подтверждается конкретным анализом самой «Троицы».

Своеобразие живописи Рублева заключено и в необычной для икон гамме цветов, светлой, созвучной краскам неяркой рус-

ской природы, и в любви Рублева к плавной, закругленной линии.

Художник предстает на страницах работы Н. Деминой как человек поэтически-созерцательного склада, стремящийся к гармонии ума и сердца. Его творчество носит просветленный, жизнеутверждающий характер, проникнуто добротой, любовью к людям. Это и отличает Рублева от других современных ему художников-иконописцев, которые своими иконами стремились внушить людям страх перед лицом сурового неумолимого бога, запугать неизбежностью возмездия за грехи.

Во вступлении к книге Н. Демина пишет, что цель исследования в том, чтобы подвести современного человека к пониманию глубоко национальных основ искусства Рублева. Думается, что эта задача автором решена успешно. Если добавить, что книга со вкусом иллюстрирована и что иллюстрации полиграфически хорошо выполнены, то можно с уверенностью утверждать, что новое исследование о «Троице» найдет своего читателя.

Л. Яковлева.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ПОЛИТИЗДАТ

**Ускоренное развитие химической промышленности — важнейшее условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа.** Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н. С. Хрущева, принятое единогласно 13 декабря 1963 года. 30 стр. Цена 3 к.

**Н. С. Хрущев.** Ускоренное развитие химической промышленности — важнейшее условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа. Доклад и Заключение слово на Пленуме ЦК КПСС 9 и 13 декабря 1963 года. 127 стр. Цена 15 к.

**Ю. Алексеев.** О свободе творчества. 79 стр. Цена 7 к.

**П. Куцобин.** Современная Индия. Расстановка классовых и политических сил. 127 стр. Цена 19 к.

**Марксизм-ленинизм о материально-технической базе коммунизма.** Сборник. 399 стр. Цена 63 к.

**Мир социализма в цифрах и фактах. 1962 г.** Справочник. 111 стр. Цена 13 к.

**Н. Подгорный.** 46-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов 6 ноября 1963 г. 32 стр. Цена 3 к.

**А. Чертков.** Рассказы о «Житиях святых». 111 стр. Цена 9 к.

### СОЦЭКГИЗ

**В. Вахрушев.** Колониальная политика империализма в послевоенный период. 183 стр. Цена 57 к.

**И. И. Игнатович.** Крестьянское движение в России в первой четверти XIX века. 466 стр. Цена 1 р. 26 к.

**Н. В. Медведев.** Теория отражения и ее естественнонаучное обоснование. 286 стр. Цена 98 к.

**И. Д. Прохоренко.** Перерастание социалистических производственных отношений в коммунистические. 132 стр. Цена 21 к.

**З. И. Романова.** Экономическая экспансия США в Латинской Америке. 270 стр. Цена 90 к.

**Современный объективный идеализм.** Критические очерки. 477 стр. Цена 1 р. 45 к.

**К. А. Тимирязев.** Наука и демократия. Сборник статей. 1904—1919 гг. 498 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Экономика капиталистических стран в 1962 году** (Экономически развитые страны). 247 стр. Цена 47 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**П. Автомонов.** Так рождались звезды. Повесть. Перевод с украинского. 388 стр. Цена 68 к.

**М. Амир.** Чистая душа. Роман. Перевод с татарского. 568 стр. Цена 95 к.

**Б. Байрамов.** Листья. Роман и повести. Перевод с азербайджанского. 424 стр. Цена 79 к.

**М. Борисова.** Белый свет. Стихи. 80 стр. Цена 12 к.

**О. Волков.** Клад Кудеяра. Очерки. 313 стр. Цена 36 к.

**М. Ганна.** Я ищу тебя, человек. Рассказы и повесть. 236 стр. Цена 39 к.

**О. Гукасян.** Весенняя повесть. Перевод с армянского. 144 стр. Цена 31 к.

**Л. Гурунц.** Шумит Воротан. Роман. 365 стр. Цена 69 к.

**Л. Деляну.** Песни разных времен. Стихи. Перевод с молдавского. 144 стр. Цена 17 к.

**Э. Каган.** Свежее сено. Рассказы. Перевод с еврейского. 155 стр. Цена 23 к.

**В. Катаев.** Горох в стенку. Юмористические и сатирические рассказы и фельетоны. 509 стр. Цена 80 к.

**В. Костров.** Первый снег. Стихи. 75 стр. Цена 10 к.

**Ю. Левитанский.** Земное небо. Стихи и поэма. 130 стр. Цена 16 к.

**В. Львов.** С начала жизни до конца. Стихи. 184 стр. Цена 20 к.

**С. Малашкин.** Крылом по земле. Роман. 582 стр. Цена 1 р.

**Павленко в воспоминаниях современников.** 416 стр. Цена 85 к.

**Ю. Полухин.** Взрыв. Повесть. 207 стр. Цена 24 к.

**В. Сорокин.** Ручное солнце. Стихи. 80 стр. Цена 11 к.

**А. Твардовский.** Теркин на том свете. 104 стр. Цена 11 к.

**Ю. Трифонов.** Утоление жажды. Роман. 372 стр. Цена 70 к.

**Я. Ухсай.** Новость. Стихи и поэма. Перевод с чувашского. 52 стр. Цена 9 к.

**У. Фохт.** Пути русского реализма. 264 стр. Цена 66 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Генрих Бёльл.** Где ты был, Адам? Роман. Перевод с немецкого. 248 стр. Цена 57 к.

**Роберт Бернс в переводах С. Маршана.** Избранное в двух книгах. Книга первая. 263 стр. Цена 35 к. Книга вторая. 224 стр. Цена 30 к.

**Джин Девэнни.** Сахарный рай. Роман. Перевод с английского. 272 стр. Цена 70 к.

**Димитр Димов.** Осужденные души. Роман. Перевод с болгарского. 288 стр. Цена 60 к.

**Франсиско Колоане.** Огненная Земля. Рассказы. Перевод с испанского. 224 стр. Цена 43 к.

**Хосе де ла Куадра.** Морская раковина. Рассказ. Перевод с испанского. 168 стр. Цена 36 к.

**Я. Кэрю.** Прикосновение Мидаса. Роман. Перевод с английского. 272 стр. Цена 72 к.

**Немецкая новелла XX века.** Перевод с немецкого. 623 стр. Цена 1 р. 71 к.

**Новозеландские рассказы.** Перевод с английского. 448 стр. Цена 1 р. 28 к.

**Рангя Рагхав.** Гибель великого города. Роман. Перевод с хинди. 407 стр. Цена 90 к.

**Солдаты свободы.** Стихи. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 32 к.

**М. Хаддад.** Перевернутая страница. Роман. Перевод с французского. 120 стр. Цена 18 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Л. Владимиров.** Путь к нулю. 136 стр. Цена 20 к.



**Антал Гидаш.** Мартон и его друзья. Роман. Перевод с венгерского. 455 стр. Цена 97 к.  
**А. Иванов.** В краю долгой весны. Роман. 240 стр. Цена 50 к.  
**Вс. Иванов.** Хмель. Сибирские рассказы. 1917—1962 гг. 334 стр. Цена 63 к.  
**Сборник воспоминаний о А. Косареве.** 112 стр. Цена 17 к.  
**В. Тихонов.** Земля, машины, труд. Очерк. 192 стр. Цена 21 к.  
**Фантастика.** Сборник. 367 стр. Цена 68 к.  
**А. Федоров.** Плата за счастье. Записки летчика-командира. 286 стр. Цена 58 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Вопросы химизации животноводства.** Применение биологически активных препаратов. 304 стр. Цена 1 р. 52 к.  
**В. Далин.** Грахх Бабеф накануне и во время Великой французской революции (1785—1794). 616 стр. Цена 2 р. 83 к.  
**Очерки истории молдавской советской литературы.** 301 стр. Цена 98 к.  
**А. Панкратова.** Формирование пролетариата в России (XVII—XVIII вв.). 492 стр. Цена 2 р. 74 к.  
**Социалистическое народное хозяйство СССР в 1933—1940 гг.** 668 стр. Цена 2 р. 82 к.  
**Структурные и функциональные основы психической деятельности.** Материалы симпозиума. 92 стр. Цена 26 к.  
**Т. Трифонова.** Русская советская литература тридцатых годов. 163 стр. Цена 34 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Э. Агости.** Нация и культура. Перевод с испанского. 263 стр. Цена 1 р. 3 к.  
**Г. Аддарян.** На переднем крае. Стихи. Перевод с западноармянского. 127 стр. Цена 18 к.  
**Б. Аляви.** Белая стена. Рассказы. Перевод с персидского. 212 стр. Цена 57 к.  
**Ф. Бонт.** Разоружение или война. Перевод с французского. 90 стр. Цена 16 к.  
**Я. Дембовский.** Психология обезьян. Перевод с польского. 330 стр. Цена 1 р. 45 к.  
**З. Зоммер.** ...и никто по мне не заплачет. Роман. Перевод с немецкого. 252 стр. Цена 84 к.  
**Из современных французских поэтов.** Сборник. Перевод с французского. 125 стр. Цена 22 к.  
**Сикава Тацудзо.** Стена человеческая. Роман. Перевод с японского. 639 стр. Цена 1 р. 87 к.  
**К. Калчев.** Новые встречи. Роман. Перевод с болгарского. 235 стр. Цена 79 к.  
**А. Кан.** Время решений. Очерки. Перевод с английского. 208 стр. Цена 41 к.  
**О. Кемаль.** Проществие. Роман. Перевод с турецкого. 228 стр. Цена 63 к.

**Э. Колдуэлл.** Дженни. Ближе к дому. Романы. Перевод с английского. 311 стр. Цена 99 к.  
**А. Курелла.** Пешка в большой игре. Роман. Перевод с немецкого. 391 стр. Цена 1 р. 32 к.  
**К. О'Брайен.** В Катангу и обратно. Перевод с английского. 461 стр. Цена 1 р. 66 к.  
**Д. Олдридж.** Последний изгнанник. Роман. Перевод с английского. Том I. 448 стр. Цена 1 р. 62 к. Том II. 415 стр. Цена 1 р. 58 к.  
**Н. Палумбо.** Заплесневелый хлеб. Роман. Перевод с итальянского. 199 стр. Цена 51 к.  
**Поэты-современники.** Стихи зарубежных поэтов. 147 стр. Цена 26 к.  
**Рассказы французских писателей.** Перевод с французского. 500 стр. Цена 1 р. 49 к.  
**А. Рибейру.** Когда воют волки. Роман. Перевод с португальского. 220 стр. Цена 61 к.  
**Ю. Тувим.** Цветы Польши. Фрагменты поэмы. Перевод с польского. 68 стр. Цена 15 к.  
**Д. Хадзис.** Последние дни нашего городка. Рассказы и повесть. Перевод с новогреческого. 321 стр. Цена 77 к.

#### ЮРИЗДАТ

**Я. Дзюбинская.** Какими документами подтверждается трудовой стаж при назначении государственных пенсий. 58 стр. Цена 5 к.  
**В. Ионас.** Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. 138 стр. Цена 33 к.  
**Б. Леонтьев.** Ответственность за хозяйственные преступления. 192 стр. Цена 30 к.  
**В. Соловьев.** Борьба с должностными злоупотреблениями, обманом государства и приписками по советскому уголовному праву. 144 стр. Цена 22 к.  
**А. Цепин.** Льготы учителям. 66 стр. Цена 6 к.

#### КАЛИНИНГРАДСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**В. Ерашов.** Июнь — май. Повесть. 279 стр. Цена 63 к.  
**Чекисты.** Повести и рассказы. Книга 1. 206 стр. Цена 47 к.

#### «МОЛОДЬ» (КНЕВ)

**И. Заседа.** Граница откроется в полночь. Повести. 258 стр. Цена 49 к.  
**Н. Кель.** Трудная деталь. Повесть. 226 стр. Цена 52 к.  
**Ю. Черный-Диденко.** Синяя блуза. Повесть-воспоминания. 317 стр. Цена 44 к.

#### СМОЛЕНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Н. Антонов.** Смотри прямо в лицо. Роман. 416 стр. Цена 80 к.  
**В. Шамков.** Светлый путь (Рассказы бывалых людей). 86 стр. Цена 4 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова. 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 2/XII-63 г. Объем 18 п. л.

Формат бумаги 70×108/16.

Подписано к печати 29/XII-63 г.

9 бум. л.—24,66 печ. л.

А 11820.

Зак. 2260.

Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Принимается подписка на серию брошюр

## «Народный университет культуры»

Серия брошюр «Народный университет культуры» была организована три года тому назад, чтобы помочь слушателям народных университетов и всем занимающимся самообразованием. Задача серии — излагать основы наук с учетом их современных достижений и применения на практике.

За это время редакция накопила ценный методический опыт, и брошюры стали пользоваться большой популярностью.

Учитывая пожелания читателей и опыт работы народных университетов, редакция в 1964 году будет придерживаться того же направления, что и в предыдущие годы. Основы наук будут излагаться в определенной системе и в соответствии с программами народных университетов. Как и раньше, кроме основного текста по теме, брошюры будут содержать рекомендательные списки литературы, советы по работе с книгой, указания, как закрепить и углубить полученные знания, как применять их в практической деятельности.

Все брошюры написаны на высоком научном уровне. Авторами их являются известные ученые, специалисты-практики, писатели, искусствоведы, журналисты.

Следует особо отметить, что методика разработки тем, обилие конкретных примеров, ясность и живость языка и дополнительный справочный материал делают брошюры всех факультетов доступными не только для слушателей народных университетов, но и для самостоятельной работы по самообразованию на дому.

В 1964 году брошюры будут издаваться по семи факультетам: естественнонаучному, технико-экономическому, сельскохозяйственному, литературы и искусства, правовых знаний, педагогическому, здоровья. Общий объем брошюр по каждому факультету 60 печатных листов.

### Подписная цена на один факультет:

На год	1 руб. 80 коп.
» полугодие	90 коп.
» квартал	45 коп.

Подписка принимается в пунктах подписки «Союзпечати», почтамтах, городских, районных узлах и отделениях связи, а также общественными распространителями печати на заводах, фабриках, шахтах, промыслах, стройках, в колхозах, совхозах, в учебных заведениях и учреждениях.

В «Прейскуранте подписных цен на советские газеты и журналы» брошюры «Народный университет культуры» помещены под индексами 72914 — 72920.